СЕРГЕЙ ЧЕРЕПАНОВ

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ



Сергей Черепанов

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ



Сергей Черепанов

Родительский дом

ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

ЧЕЛЯБИНСК
ЮЖНО-УРАЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1988

84Р7—4
Ч—46

Рецензент С. И. ИОНИН

Черепанов С. И.

Ч-46 Родительский дом: Повести и рассказы.— Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1988.— 400 с., 1 л. портр.

(В пер.): 1 р. 80 к., 15 000 экз.

Жизнь деревни двадцатых годов, наполненная острой классовой борьбой, испытания, выпавшие на долю новых поколений ее,— главная тема повестей и рассказов старейшего уральского писателя.

Писатель раскрывает характеры и судьбы духовно богатых людей, их служение добру и человечности.

Ч $\frac{4702010200-076}{М162(03)-88}$ 28—88 84Р7—4

ISBN 5-7688-0028

Богатство

1

Полагалось избе Петра Кудеяра стоять на бедняцкой улице подле гумен, посреди таких же старух-развалюх, а она выперлась на Первую, между дворами Саломатова и Хорькова. У тех крыши на домах под железом, кладовухи каменные, бани и то под тесом. На Кудеяровой избе — дерн, на нем трава да полынь выше печной трубы.

Хотел Саломатов откупить это место, построить новый дом для женатого сына, но Кудеяр не уступил: оно фамильное, непродажное!

Силком выжить его никто не решался: он был портным и, как поп отец Николай, один на весь Малый Брод.

Сидячая работа сделала его сутулым.

Детей он не наплодил, хотя прожил с Надеждой в согласии много лет. Днем в избе Кудеяр голоса ее не слыхал: то она в огороде, то в поле. Он и попривык, от скуки, разговаривать с господом богом. Старый бог, бородатый, с золотым кругом над головой, в белой одежде, похожей на ночную бабью рубаху, был намалеван на иконе, а икона поставлена на божнице, в святом углу избы, над портняжным столом.

На рассвете ходил Кудеяр на Сорное болото, там у него постоянно стояли подле камышей плетенухи-ловушки. Достал из них карасей, а на обратном пути у берега нашел кем-то сваленное в воду пшеничное зерно. Вначале глазам не поверил: достал со дна горсть и такого дал матерка — табунок гагар с плеса шарахнулся, как от выстрела. Зерно, воза два или три — урожай с десятины, уже набухло и зацвело.

Днем, пыхнув табачным дымом в сторону божницы и продолжая метать петли на шубе, он выговорил всевышнему сердито:

— Вот сидишь ты на белом облаке, вроде деда Мирона на пуховой перине, и, поди-ко, не видишь-не слышишь, какая у нас в селе сотворяется безобразия! Или уж совсем от-

ступился от земного-то миру?! Пошто над тем варнаком, коему вздумалось эвон сколь хлебушка загубить, громом не вдарил, молоньей его не пронзил? «Ах ты, мол, сукин сын! Я, мол, даю людям свой божий дар на пропитание, а ты — сам не ам и другим не дам». Да протянул бы на него свою длань, сграбастал за шиворот и отправил чертям на поджарку!

Бог и глазом не моргнул.

— Или на людей губы надул? — спросил Кудеяр.— Изобидели они тебя. Кои-то молятся для блезиру, а партейцы, те совсем отрицают. Вот и окажи себя... Помоги хоть варнака изловить. Знак подай. Надоумь! Нам, мужикам, с простым-то умом не допытаться. На Саломатова можно подумать, на Хорькова, на Согрина, на Окунева, эвон сколь их на Первой улице проживает, все лишенцы, супротивники. Им хлебушко легко достается. Батраки да должники горбы гнут. Чужой труд не жалко. А ты хоть меня надоумь: который из них виноват? Я что сделаю? Пьяный напьюсь, оглоблей у того варнака окошки в доме побью!

Чтобы бог не признал его хвастуном, Кудеяр истово перекрестился:

— Накажи, коль не сделаю! Ведь кругом такая нужда. Погляди, господи, к примеру, на семейство Добрынина: один кусок хлеба делят на семерых.

Иван Добрынин был давний друг Кудеяра, малосильный мужик, непробойный, лошаденки и то нет, а в застолье едоки мал мала меньше.

Отложив шубу на стол, разогнув усталую спину, Кудеяр обозлился:

— Молчишь? А кто ты есть, господи, на самом-то деле? Нарисовал тебя богомаз. Вся икона стоила рупь с полтиной. Хоть срамным словом тебя обнеси — с божницы не слезешь, подзатыльник не дашь.

Он уже давно сомневался, а не снимал икону с божницы: пустой угол для глаз непривычен. Да и без бога совсем было бы тяжко с раннего утра в одиночестве корпеть над портняжным столом. Со двора, к людям, выходил редко. Только в субботние дни парился в бане вместе с Добрыниным или с ним же сумерничал, отдыхая на зеленой полянке. Но от Ивана ума не набраться, весельем не разживиться.

— Неправедно живем, и оттого нету равенства,— более мирно, но огорченно произнес Кудеяр.— Врозь живем. Не душевно.

Он погасил цигарку, облокотился на стол и задумался: а может, это совсем не так? И что есть душа, где ей быть

надлежит?

В оградке квохтали куры, кошка на подоконнике умывалась лапой и мурлыкала, а Кудеяр горестно повздыхал: «Надоест все-таки людям: одному все, другому ничего! Вот сосед Хорьков и вот я, мы с ним равны лишь лысыми головами, да и то его лысина на свету блестит, а моя задубелая. Году не пройдет, а он уж наперед других тащит овчины: то ему новый тулуп шей, то боркован, то еще женские лопоти́ны. Для чего столько? В кладовуху уторкает, сам ходит почти в ремках. А что у меня?»

Огляделся по сторонам: голо в избе. Ни единого половика на полу. У дверей лоханка, над ней рукомойник. У Надежды справной одежонки нет, не в чем к отцу-матери в гости сходить.

— Это ты, господи, человеков попортил,— сурово взглянул Кудеяр на божницу.— Пошто сатану от людей не изгнал? Пошто их разрознил?

Выговорив богу, он усмехнулся:

— Наверно-таки, перестану я с тобой дальше якшаться! Иную веру приму. Тебя с божницы уволю, кину в чулан, а сам определюсь к магометам. Алла бисмилля! Аракчинку надену, пятерых жен заведу, махан и бешбармаки начну ашать.

Он живо представил себя: сидит в аракчинке на нарах. И хохотнул. Но, как раз в эту пору, с улицы подошел к раскрытому окошку Павел Иванович Гурлев и всю приятную картину порушил.

— К тебе зайти можно, Петро Федосеич?

— А пошто же нельзя? — обрадованно сказал Кудеяр.— В избе я один, да еще бог-молчун.

У порога Гурлев вытер подметки сапог об лоскут сермяги, прошел в наклон под полатями, сел на лавку.

Молод мужик и подвижной, а вот одет и обут не по званию: сапоги сильно поношенные, подпоясанная широким армейским ремнем линялая гимнастерка уже давно просится с плеч, и брюки галифе на себя не похожи. Наметанным глазом портного Кудеяр сразу приметил на правой штанине дыру.

— Видать, неминя ко мне загнала?

— Да уж неминя,— подтвердил Гурлев.— Собака порвала. Давеча к Юдину заходил. А у него волкодав бегал в ограде без привязи. Ладно, не укусил.

— Ты гость у богатых не очень желанный,— посочувствовал Кудеяр.— Собаки у них как стражники супроть партейцев. Миру нет и не будет. Вы, партейные, за свое, а

богатые за свое. Им, всем лишенцам, не хлебушко жалко, а то, что воли им не даете. Утресь нашел я в Сорном болоте, как бы не соврать, наверно, тыщу пудов гнилого зерна.

Гурлев не удивился, а только заметил:

— Не многовато ли?

— Может, не тыщу, но пудов сто, не меньше,— сбавил Кудеяр.— На дне, под водой, синим-синё!

— Куда попало валят, лишь бы не сдавать в казенный амбар,— подтвердил Гурлев.— Вчерась парнишки в назьмах нашли пудов тридцать. Голимая гниль.

Гурлев говорил спокойно, хотя Кудеяр ожидал, что находкой в Сорном болоте его поразит, он тоже заматерится, спохватится и сразу побежит дознаваться.

— Но хлебушко-то при чем виноват? Как же можно на него посыкнуться?

— Тут у нас самое больное место, вот кулаки и бьют по нему,— нахмурил лоб Гурлев.

— Да, уж пожалуй! — согласился Кудеяр.— А отчего все зло происходит? Я вот нашенских мужиков знаю наперечет, старого и малого, богатого и бедного уже не раз измерял своим портняжным аршином: кто шире, кто уже, кто выше, кто ниже. Да вдобавок ко многим уж пригляделся: тот хитер, этот ничем не побрезгует, лишь бы нажиться, третий отца родного ограбит, а есть и такие — на пустом месте дыра! Эвон моему дружку Ване Добрынину я уж не раз выговаривал: «Вот преставишься ты, на тот свет прибудешь, в небесный рай. Много ты в земной жизни натерпелся, и полагается тебе, согласно святому писанию, получить белые андельские крылья, светлый круг вокруг головы. Бог тебя спросит: «Прежде доложи, чем в земной жизни отличился, что доброго сделал, какую о себе память оставил?» А тебе и слова не молвить, ни хрена не творил, окромя сопливых детишков. Тогда бог спросит другое: «Доложи и про грехи свои: где и как пакостил, кого омманул, что своровал?» И на это молчок. Тогда бог клюшкой тебе по загривку вдарит: «Ступай отсюда прочь! Нету тебе места ни в раю, ни в аду! Ты в пустом месте дыра!» Ну, зато богатый в любое место пролезет. Не силком, так в обход. Небось, за порченый хлеб от сатаны откупится!

— Славно ты толкуешь, Петро Федосеич, только сам-то не лучше Добрынина,— с улыбкой заметил Гурлев.— Хоть бы раз пришел к нам в сельсовет, чем-то помог, лишь для себя живешь. Вот и сейчас: нашел в болоте зерно, но ведь не прибежал к нам, шум не поднял, не кинулся дознаваться, чье оно? А разве мы повсюду успеем?

— Ремесло не дозволяет. Никто ведь ко мне не придет, куска хлеба не даст. Ты эвон какой огурец, молодой и удалой, а я уже весь изработан...

Он погладил ладонью лысину, примял волоски.

— Впрочем, давай-ко снимай галифе, я наведу им порядок.

— Нельзя ли зашить прямо на мне? — попросил Гурлев.— Невзначай кто в избу зайдет или в окошко заглянет.

— По твоей должности партейного секретаря, конечно, не положено находиться в исподнем, но и мне нельзя свою работу исполнять худо-плохо. Айда, лезь на полати, полежи там покуда.

Порванные галифе Кудеяр тщательно осмотрел, прищуриваясь, что-то прикинул, надел наперсток и постучал им по столу.

— Совсем уж износилися твои шаровары, Павел Иваныч! Который год носишь их не снимая?

— С той поры, как поступал в красную кавалерию,— ответил Гурлев с полатей.— Значит, уж десятый год миновал.

— Долгонько. Сукно, правда, крепкое,— как знаток определил Кудеяр,— но уже просит замены. Могу обмундировать тебя заново. Постараюсь. Все ж таки ты постоянно у людей на виду.

— Обойдусь без обновы.

— Ай, Ульяна скаредничает?

— Самому неохота. Привык.

Себя он иначе представить не мог: служба солдатская для него еще продолжалась.

— Дивлюсь я на тебя,— дружески произнес Кудеяр, приступая к ремонту.— Уроженец ты нездешний, взрос не на тутошней земле, а пуще родного для Малого Брода стараешься.

— Здесь не другая страна. Та же Рассея. А в ней вся земля одинакова: нету разницы — кто где родился и взрос. Верно, в своей-то деревне жить вроде милее, как подле материнского подола, да и просторнее. Там у нас лесов мало, больше степь и степь, конца ей не видно, а здесь леса почти сплошняком. Поначалу скучал.

Гурлев на минутку прикрыл глаза, а степь — вот она, вся открылась до горизонта, летит по ней ветер, качаются ковыли и хлеба колосистые, а выше яркое небо...

Никто ему путь в свою деревню не преграждал, Ульяна даже не знала, откуда он родом. А просто там пристанища не было. В восемнадцатом году белоказаки избу сожгли,

отца и мать расстреляли. Своими глазами пришлось увидеть, как отца вывели из ревкома, как белый офицер самолично развалил ему саблей грудь, а потом, уже чуть живого, пристрелил из нагана: «Большевик, сука продажная! Вот тебе земля и свобода!» Искали они и его, младшего Гурлева. Заодно бы спровадили на тот свет. Он парень уже тогда был приметный: ростом выше отца, шире в плечах, хотя шел всего девятнадцатый год. Не нашли. Отлежался в густом коноплянике. Ночью тайком уволок отца и мать в степь, закопал в одну яму; теперь, пожалуй, не найти. Никто не видел, сколь слез пролилось на могилку. Тогда же и сердце зажглось: подался добровольцем в Красную Армию...

— Ты уснул там, что ли? — спросил Кудеяр.— Чего молчишь?

— Нечего ответить, вот и молчу,— нехотя отозвался Гурлев.

— Ну ладно! А хочешь, подремли там покуда, возьми подушку под голову. Поди шибко намаялся, хлебушко-то спать не велит.

Гурлев притворно зевнул, задвинулся на полати подальше от матицы и снова незвано-непрошено, как сон, привиделась степь, только ночная, темная, без дорог. Вся округа была тогда занята белоказаками. Почти неделю скрывался от них, оголодал, обтрепался. Красные были где-то за Чебаркульской станицей: оттуда рокотали орудия. На окраине сторожко постучался в окно одинокой избы. Старуха проживала в ней, вроде нищенка. Соврал ей, будто в поезде лихие люди ограбили, и попросил поесть и попить, да хоть на один день дать приют. Может, и догадалась старая, что обобрать молодца не так уж и просто, один пятерых переборет, а не отказала, оставила ночевать. На другой день уже в сумерках мимо избы проскакали пятеро казаков. Как тогда ударила в голову отчаянная мысль — выкрасть коня, и теперь еще не понять. Казаки остановились по соседству, у богатого двора. От старухи узнал: гостят они тут всякий день, не стерегутся, пьянствуют допоздна. На этот раз казаки, видать, не собирались загуливаться, ушли в дом и даже не разнуздали коней, поставили их у забора. Почему-то из всех коней сразу поглянулся гнедой. Очень уж статным и сильным он выглядел: не конь, а огонь! И седло на нем новое. И характер без норова: сам морду протянул, обнюхал, не шарахнулся в сторону. Конь всегда узнает седока: то ли он гож для него, то ли не гож. Сладились быстро. Как поддал Гнедку пятками по бокам, взял сразу в на-

мет — пыль завилась под копытами. Ищи-свищи!..

— Старье, так оно и есть старье,— недовольно ворчал Кудеяр.— А были, однако, модные галифе!

Для него это просто вещь, изношенная, тертая-перетертая. А хозяину достались они не от купли-продажи, а лично от командира кавэскадрона. Геройский был командир, по фамилии Звягин. Он сам обучал новичка добровольца орудовать шашкой, а вскоре после успешного боя с белоказаками велел выдать вот эти самые галифе. «За храбрость и уменье сражаться! — сказал потом перед строем.— Красный боец Гурлев! Ты теперь солдат Революции!»

Память! Куда ни пойди, все, что делаешь, все, что мучительно терзает или приносит радость,— она вот тут...

Вспоминать, однако, приходилось не часто. Только при случае.

Гурлев спустился с полатей и сел на лавку к столу.

— Поторопись немного, Петро Федосеич.

Кудеяр от души ему посочувствовал:

— Хлопотно все же, Павел Иваныч, партейным-то быть. Эко сколь в Малом Броде народишшу. Каждого выслушай, уважь, помоги, а иной небось тебе голову вскружит. Ты ему так, а он — этак...

— Всяко бывает.

— Неужто миром нельзя обойтись?

— У нас с кулачеством линии разные...

— А я вот до конца сообразить не могу: как это вы, партейные, весь народ собираетесь уравнять? Допустим, позагоняли в кольхоз, не то в коммуну, а дальше что? Не табун ведь, на один выпас загнали — тут тебе трава и пасись! Думаю, никому еще не удавалось подергать бога за бороду. Равноправными люди только в бане бывают, когда нагишом. Да и не дано нам поверх того, что есть, переделать и заново совершить. Шибко малы мы, к тому же беспрестанно грешим. Как ты нас оттуда, от грехов-то, на свою линию уведешь?

На сугорбую спину Кудеяра через окно заскочил солнечный зайчик, высветил его оттопыренные уши и венчик редких рыжеватых волос вокруг лысины.

— Я в нашей партейной линии, Петро Федосеич, ни разу не сомневался,— сурово сказал Гурлев.— Доведется, так и жизнь за нее отдам. Но и на небо не полезу, мы с богом врозь. Твой бог нам счастья не даст. Подступит пора, ты сам увидишь. Нужду люди создали, значит, они же и покончат с ней...

На слова Гурлев был всегда скуповат, как пахарь на

пашне, когда надо дело делать, класть борозды, не пялиться в небо.

Кудеяр даже не успел полюбоваться на свою работу. Гурлев надел галифе, на прощание промолвив «спасибо». Шел он по улице круто, размашисто, чуть покачиваясь, будто ехал в седле.

В сельском Совете он поручил председателю Федоту Бабкину ближе к вечеру собрать богатых хозяев, затем взял порожнее ведро и, никому слова не говоря, отправился пешком на Сорное болото.

Путь туда был не ближний, за поскотиной полевая дорога виляла между пашнями и березняками, кое-где прерываясь протоками, выбегала на бугор и оттуда скатывалась к Сорам.

Плес, на который указал Кудеяр, был с другой стороны, от тальников и желтого камыша, в стороне от проезжей дороги: место скрытое, сонное. Вода на плесе лишь слегка рябила под ветром, выводок лысых гагар даже не спрятался в зарослях, когда Гурлев зачерпнул со дна болота более половины ведра пшеницы злостно загубленной. Казалось, это вовсе не зерна, в которых еще недавно было много солнца и света, а утопленники, посинелые, скользкие, противные до дурноты.

Осмотрев берег, Гурлев ничего не упустил из внимания: вот стояли телеги, колею заполнило грязью, а вот вдавыши от конских копыт, раздавленный червивый пенек. Не торопился хозяин, свалив зерно, поскорее убраться. Аккуратно сработал!

По этой аккуратности невольно зарождалось подозрение на Согрина: уж у того-то ничего на дорогу с возу не упадет!

В сельском Совете Гурлев высыпал сгноенное зерно на стол у окна, для большей наглядности.

На улице вечерело, дневной свет становился жиже, а подле домов ложились длинные тени.

Один по одному, лениво, нехотя сходились по вызову богатые хозяева, иные закаменело угрюмые, иные в недоумении: еще что-то сельсоветчикам вздумалось? Но, переступив порог, снимали картузы, вежливо гнули спины и солидно мостились на лавку.

Гнилое зерно никого из них не смутило, ни у одного не скривило рот, не дрогнули брови, не вспыхнул в глазах испуг.

Бабкин перебирал какие-то бумаги в шкафу, тянул время, а Гурлев, опираясь плечом о косяк, сидел на подоконнике и молчал.

Крайним, ближе к дверям, нахохлившись, горбился старовер Саломатов, обросший волосьями, грузный и нелюдимый: родного отца выжил из дома, у сестры приданое отобрал. Рядом Хорьков притулился — в залатанном пиджаке. Иван Юдин: даст в долг двадцать — отдай тридцать. Казанцев: этот, пожалуй, живет поскромнее, чем Юдин, зато, если у него в сундуках покопаться, можно и золотишко найти. Уже давно люди говорят: своего богатства он не выказывает, в церкви больших свеч не ставит, свыше пятака в доход попу не дает. Схожи с ним и вот эти — Шунайлов, Щелканов, Ческидов, Чесноков — дородные мужики, до черноты загорелые. Прежде, до революции, Чесноков был целовальником, крупно взял из казны на продаже водки. А Щелканов занимался ямщиной.

Позднее всех явился Прокопий Согрин. Живет из окон в окна с сельским Советом, только через дорогу перейти, а заставил ждать явно намеренно. Он один из всей этой кулацкой верхушки уже давно уплатил все налоги, полностью вывез хлеб в казенный амбар, сколько полагалось с него по раскладке, в своем хозяйстве работает наравне с батраками.

Согрин прошел прямо к столу, взял горсть гнилого зерна, понюхал, горестно качнул головой:

— Ай, ай, что делают люди! — И, бросив зерно обратно, возмущенно добавил: — Судить надо за это! Принародно судить!

Зато глаза у него были холодные, замороженные.

Он уселся на стул впереди всех, оперся пудовыми кулаками в колени и приготовился слушать Гурлева, но тот сделал вид, будто пропустил сказанное мимо ушей, и ровным, ничуть не взволнованным голосом заговорил издалека:

— Граждане кулаки! Вы же знаете: Рассея крайне нуждается в хлебе. У нее каждый пуд на счету. Нынче мы проводим летние заготовки, приходится подбирать все излишки зерна, у кого они есть. Надо же совесть иметь, надо же понимать, что трудящие, которые в городах, для нас же стараются, чтобы мы имели товары. А что же у нас получается? Тут кое-кто желает нас убедить: дескать, излишков нету, самим нечего есть. А вот сгноено зерно, нашли его в Сорном болоте, да, окромя того, еще воз зерна вчера обнаружен в загумнах, в навозных кучах. Как все это понимать? Кому это охота трудящих людей голодом заморить? Кому приспичило Советской власти подгадить? Сейчас пока недосуг дознаваться, ни у кого на лбу метки нет, в чужую душу заглянуть невозможно, а следов даже собака никак

не унюхает. И добровольно никто не сознается. Но ведь сотворил такую пакость кто-то из вас?

Он выждал, не возразит ли кто, не обидится ли, но кулаки лишь переглянулись между собой, под Согриным стул слегка скрипнул, Юдин вынул из кармана платок и утер им нос, старовер Саломатов стал еще темнее лицом.

— А теперь возьмем вопрос с другой стороны,— более внушительно произнес Гурлев.— Возмещать ведь придется! Хлебное зерно в болото не с неба свалилось, взросло на земле, выходит, оно не твое, не мое, а народное. И народ вправе стребовать его полной мерой. С кого? Тут надо по справедливости поступить. Виновника нету, пусть вину берет на себя все ваше сословие.

— Да какая же это справедливость? — вроде не понял Согрин.

— Один за всех, все за одного! По нашим прикидкам, загублено сто двадцать пудов. Вот вас тут дюжина собралась. Порешим так: с каждого, помимо раскладки плана, дополнительно по десять пудов. Хотите найти, кто напакостил,— потрудитесь, сами найдите и по-свойски с ним посчитайтесь.

— Я не согласен,— поднялся со стула Согрин.— Каждый из нас живет сам по себе. Да и нету такого закона, чтобы все за одного свой горб подставляли.

Юдин, Шунайлов, Ческидов и Чесноков тоже замахали руками, в один голос наотрез отказались:

— Не можем!

— Мы хоть и лишенцы, но зачем же нас дотла разорять и что случится в селе, заставлять отвечать,— добавил Хорьков.— То ли я виноват, коли справно живу от своего труда? То ли не такой же хлебороб, как все протчие мужики?

— Такой, да не такой,— спокойно возразил ему Гурлев.— Куда же ты излишки сбагрил? На базар! По дорогой цене. Да на самогон перегнал. А что полагалось по раскладке государству продать, тут постой-погоди.

— Нету излишков,— упрямо заявил Хорьков.— Можешь самолично мои анбары оследовать. Осталось до нового урожая только на фураж скоту да семье на пропитание.

— А сколь спрятано в тайниках?

— Пойди найди!

— Граждане кулаки! — обратился Гурлев ко всем.— Мы уже вам не раз поясняли, чтобы призвать вас к сознательности. Положение в стране с хлебом трудное. Не зря поди товарищ Сталин выступал на Пленуме ЦК нашей партии и дал указание: к тем, кто злостно противится, излишки

хлеба утаивает — беспощадно применять 107-ю статью Уголовного кодекса. Так что на нее прошу не напрашиваться, дорого обойдется...

— Однако стращать нас, Павел Иваныч, никак не годится,— умеренно прервал его Согрин.— Страхом дела не сделаешь. Разумность нужна. Давай так возьмем в рассуждение: с прошлой осени, сразу после молотьбы мы по хлебу рассчитались? Я хоть сейчас могу квитки показать, сколь мной сдадено хлеба в казенный анбар. Ну, тогда с осени было легче: сколь надо себе на потребу — оставил, остальное, хоть и по дешевке, вам отдал, повинность выполнил. А откудов же теперь излишки появятся?

— Вам про то лучше знать, а понадобится, так мы вместе с вами поищем!

— А у вас на то права есть? — вспыхнул Хорьков.

— Сельсовет постановит, вот тебе и закон!

— Иного решения не будет, граждане кулаки,— подтвердил Федот Бабкин.— К казенному анбару вам показывать дорогу не потребуется. Прошу, чтобы завтра же зерно было сдано, как положено с каждого! И на том до свиданьица!

Он, как постоянный напарник Гурлева, тоже немногословный, понимающий свое назначение, в разговорах с кулачеством был более крут.

Согрин уходил из сельсовета последним, у порога задержался, деловито заметил:

— По существу, конечно, все правильно, Павел Иваныч! Хоть и обидно: где же совесть-то у людей! Выходит, никому, даже ближнему, нельзя доверять. А жить как? Вот я сегодня же соберу все излишки зерна, сдам, но вдруг снова случится оказия, опять безвинно отвечать придется и позор принимать?

— Поговори со своими,— посоветовал Гурлев.

— Я-то поговорю, но не ручаюсь, будет ли толк. Разве каждому в душу заглянешь? Попу на исповеди и то поди правду не скажут. Губить хлеб — грех великий, за то бог не простит...

Гурлев проводил его долгим взглядом.

В заозерье, за дальними лесами, большое вечернее солнце закатилось и багровым пламенем охватило край неба.

Бабкин ушел домой ужинать. Пора было и ему, Гурлеву, кончать дела, а идти домой не влекло. Он сел к окну, облокотился и глубоко задумался.

2

В ночь на 4 августа 1928 года над селом Малый Брод пронеслась гроза. А днем, когда сильно парило, сосед секретаря сельской партийной ячейки Павла Гурле́ва маломощный середняк Никифор Шишкин начал дележ с женой. Прожил мужик женатым почти двадцать лет, никогда со своей Степанидой не ссорился, жил примерно и вдруг, на удивление селу, подал на развод. Районный судья Кривоногов разбирался с ними долго, советовал помириться, но, обиженная поведением мужа, Степанида не стала его прощать. Обвинял ее Никифор в измене. Даже поколотил немного. Кто-то солгал, будто в те ночи, когда муж оставался ночевать в поле, пускала Степанида к себе молодого любовника. Кто же этот любовник, Никифор доискаться не мог, а вдобавок подтрунил над ним Согрин: дескать, от слабого мужа любая баба станет поглядывать на сторону. На суде Гурлев выступал и тоже пытался помирить соседей. «Кому ты веришь-то? — спрашивал он Никифора.— Чуждому нам человеку! Ведь если добраться до сути, то никто иной, а только сам же Согрин плюнул вам в души». Между тем против Согрина никаких доказательств ни у кого не нашлось. Мужики и бабы, сидевшие в зале клуба, где судился Никифор, между собой пошушукались, а никто голоса не подал. Многие из них ходили к Согрину на поклон: были у него маслобойня, молотилка, и нередко давал он взаймы деньги на определенный срок.

Детей у Шишкиных не было, и по приговору суда при расторжении брака полагалось поделить все имущество пополам. Но тут опять как-то вмешался Согрин, подстрекнул Степаниду не уступать мужу ничего, а коль сказано делить поровну, то, значит, так и делить: все движимое и недвижимое. Никифор тоже взъярился, и началось невиданное в селе сокрушение обжитого, годами выстраданного, политого тяжким потом хозяйства. Как на представление, сбежались к двору Шишкиных мужики, бабы, парни, девки, а парнишки облепили плетни и заборы, улюлюкали, визжали, так занятна казалась им разыгравшаяся в семье драма. Никифор распилил пополам телегу, разрубил на две половинки хомут и всю конскую сбрую, кур и гусей разогнал на два табунка, а Степанида вытаскивала из избы во двор одежду и обувь, бросала на чурбак и рубила пополам мужнины брюки, исподнее белье, рубахи, свои юбки и сарафаны. Публика ахала при каждом взмахе топора, а стоявший тут же в толпе Согрин, пряча усмешку, поддакивал:

— Вот это полное равноправие!

Не осталось бы у Шишкиных ни кола, ни двора, если бы не успели к этому времени вернуться из поездки в Калмацкое Павел Иванович Гурлев и председатель сельсовета Федот Бабкин.

Резко осадил коня Гурлев у двора Шишкиных, зычно заорал на Никифора, уже начавшего ломать крышу избы.

— Сто-ой, зараза в бок твоей матери!

Это было самое страшное ругательство, которое применял он, и Никифор оторопело опустил лом.

— Слазь оттуда, дурная башка! — приказал более спокойный Федот.— Довольно самоуправничать! Почему не позвали судисполнителя? Вот я вас за такой дележ, тебя и Степаниду, закрою на пару деньков в каталажку, там скорее охолонете!

— Ты мне не указывай,— огрызнулся Никифор.— Я наживал, и никто не волен запретить!

Между тем лом бросил, стал слезать по лестнице вниз.

А Согрин отступил от ворот двора, замешался в толпе зевак и ускользнул бы, да Степанида вдруг истово заголосила, сорвала с головы платок, кинулась лицом в кучу тряпья.

— Позор-то какой, господи!

Ее тяжкое горе заставило мужиков встать стенкой, перегородить отступление Согрину, чтобы он встретился лицом к лицу с Гурлевым.

Приземист и коренаст, тяжел на руку был Согрин, а Гурлев на голову выше, широк в кости, с чуть покатыми плечами. Доведись бы схватиться им, столкнуться грудь в грудь, так и земля зашаталась бы. Но еще не доспел тот день.

— Не тебя ли проклинает Степанида, Согрин? — спросил Гурлев, багровея.— Зачем ты здесь? Чего тут потерял? Чужую беду, как из колодца водичку, черпаешь?

— Шел мимо, остановился,— мирно ответил тот, кинув опасливо взгляд на лицо Гурлева.— Зря ко мне не вяжись, Павел Иваныч.

К вечеру, когда Шишкины помирились, дневная испарина уступила резкой прохладе, потянувшей из-за озера, со стороны гор. Большое вечернее солнце закатилось за черную тучу, без зари, будто провалилось в омут и сразу погасло.

Туча широко расползлась по небу, а вскоре разразилась над Малым Бродом большой грозой. Не выдержав напора тугого ветра, сломалась и, выворотив корни, грохнулась на

гряды вековая осина в огороде Прокопия Согрина. С избы Михайлы Суркова срезало крышу, кинув ее на поляну перед двором. Повыбивало окна в домах, где хозяева не догадались закрыть ставни. В гумнах разметало стога старой соломы. А вода вешним половодьем пенилась и бурлила по канавам и овражкам.

После грозы остался над селом сумеречный туман, морошливый, тоскливый, как остывший пар в промозглом предбаннике.

Изба Павла Гурлева, крытая дерном, промокла насквозь. По беленому потолку растекались большие талые разводья, частые капли шлепались на пол, на столешницу, на скамейку у стен. Половики, недавно сотканные Ульяной и впервые настланные ради прошедшего накануне ильина дня, от обильной влаги утратили нарядный вид. Из-за них и принялась Ульяна реветь, затем припомнила мужу, что крыша давно не перекрыта свежим дерном, на чердаке куры поразгребали насыпь, и, наконец, опять растревожила свою давнюю боль.

— Не зря же люди-то бают про таких, как ты: чужую беду к сердцу приму, а свою погожу! — гневно выговорила она Гурлеву.— Тебе чужие дороже, чем свой двор и хозяйство!

— Для меня чужих нет никого, окромя кулаков,— стараясь не растравлять жену, сказал он.— Давай-ко, не начинай навивать!

— Правду слышать не хочешь?

— Твоя правда несправедливая! Не попрекай меня тем, к чему моя душа не лежит.

— Так зачем живешь со мной? Спать да жрать! А больше тебя ничто не касается! Это я, дура, сама виновата: навязала на себя такое горе-несчастье! Молодость загубила! Думала ведь, ты хороший хозяин, стану за тобой как за крепкой стеной, а теперь вот колочуся одна, гну горб, вылезти из нужды не могу. Кто же ты мне: муж или постоялец?

Сознание, что муж — не муж, а приживальщик какой-то, было для нее самым горьким. Гурлев уже много раз пытался убедить ее, что она неправа, жить надо совсем не так, как жили, сами для себя, а просторнее и шире, просветлять ум, очищать душу, то есть чисто и честно жить для великого добра в мире.

Ульяна всегда сопровождала ответы ссорой, ни сердцем, ни умом не воспринимая ни одной его мысли и ничего не желая из того, к чему он сам так страстно стремился.

— Глухая ты баба, Уля! Черствая. Хоть самую малость подумала бы о моей главной линии жизни: я всем богатства хочу, всем удовольствия! А ты куда меня гнешь? Чем ругать-то, пошла бы со мной вместе...

— Для чего? Подолом пыль за тобой подметать!

Короткий мир между ними снова нарушился. Ульяна не скоро приходила в себя. Каждый раз успокаивалась она лишь в одиночестве. И сам Гурлев находил утешение только порознь с ней. На людях.

Он обул сапоги, кинул на плечи старый пиджак и вышел со двора.

Сумерки сгущались. Черная заволока сыпалась с ненастного неба. Тускнели, расплываясь во мраке, очертания колодезных журавлей, изб и надворных построек.

Свернув в переулок, где грязи и воды было меньше, Гурлев вдруг отшатнулся и зажмурился от ослепительной вспышки. То шаровая молния, вынырнувшая из тучи, ударила в купол церкви и там взорвалась, разодрав кровельное железо. Купол сразу же охватило пламенем. Огненные языки, обвиваясь вокруг креста, озарили округу багровым светом.

— Еще этакого чуда нам не хватало! — обозлился Гурлев.— На подмогу кулачеству и боженька лезет..

3

В ту же ночь, за болотами и буграми выгона, в ближнем лесу Межевой дубравы, завыла волчица. Днем, до грозы, она отлучалась из логова, а Барышев обнаружил его и уничтожил волчат. Волчица нашла следы. Они привели ее сначала к полевой избушке, потом к стогу сена, укрывшись в котором, Барышев пережидал ливень и сумерки. Отсюда она уже не выпускала его из виду и тоже долго стояла в кустарнике, слушая тревожный шум в селе, смотрела издали на пылающую колокольню и страдала от жажды мести.

Не с добром возвращался в свое село Павел Барышев. Сторонился больших дорог, избегал людей. Оборванный, голодный, измученный дальним путем, в целости и сохранности донес он сюда только ненависть.

Стоя у плетня выгона, за которым окутанные мглой лежали гумны, огороды и дворы сельчан, он еще размышлял: нужно ли пробираться дальше? Не переждать ли, пока село совсем успокоится? Уж каким отчаянным и рисковым он был, а все же страшился.

Внезапный вой волчицы и ее горящие зелеными огоньками глаза заставили его перемахнуть через плетень и забыть осторожность.

Не переставая, бежал он, пока миновал пустыри и переулки, все время чувствуя за собой зверя. Дальше у него сил не хватило. Перемогая приступ кашля, спрятался в чью-то баню, захлопнул за собой дверь и упал на полок.

Под утро во дворах начался петушиный переклик. Из бани Барышев вышел на берег озера и отсюда,с задворок Первой улицы, стал искать двор Прокопия Согрина, единственного хозяина в Малом Броде, который мог его приютить. Жизнь за прошедшие годы не стояла на месте. Кто-то перестроил свои конюшни, у кого-то повырастали в огородах березы и тополя. Поколебавшись, Барышев выбрал двор под железной крышей, широкий, просторный, и, таясь, пробрался к задним воротам. Тут еще раз осмотрелся. Больше его ничто не встревожило, хотя показалось странным, что в загоне для скота было пусто. Только одна корова лежала под навесом, пережевывая жвачку. Но на это он внимания не обратил и, приоткрыв ворота, проскользнул к завозне, затем к дверям кладовой, оттуда к крыльцу. А здесь вдруг замер на месте: на крыльце сидел какой-то старик...

То деду Савелу Половнину не спалось, не лежалось после пожара. Он хотел честно и справедливо решить свои взаимоотношения с господом богом, не сумевшим оберечь и защитить церковь. Множество сомнений бродило в голове деда, когда перед ним нежданно-негаданно встала фигура обтрепанного, обросшего бородой незнакомого мужика.

— Кто ты таков? — приподымаясь, спросил дед Савел.— Зачем явился?

— Не боись, старик! — в растерянности пробормотал Барышев.

— Не здешний вроде... Личность твоя незнакомая.

— Прохожий я,— сообразил Барышев.— Издалека иду. Попроситься ночевать не успел, ненастье в лесу застало. А проголодался шибко. Вот и надумал...

— У меня поживиться нечем!

— Может, закурить найдется?

Савел откинул полу шубенки, которой укрывался от сырости, и сунул руку в карман штанов. Барышев быстро наклонился, схватил погодившийся у крыльца кирпич.

— Да ты не стой,— сказал дед и указал на ступеньку.— Садись. Покуда покуришь, про жизню свою расскажи. А на дальнейшую путь я калачик хлеба тебе найду.

Барышев шагнул к крыльцу, левой рукой принял протянутый ему кисет с табаком, а правой со всего размаху ударил старика по голове.

Удар пришелся в лоб над бровью. Половнин охнул, но неожиданно быстро схватил Барышева за глотку и повалился на него всем своим могучим телом.

— А-а, варнак!..

Падая, Барышев ударился затылком о каменную плиту. Прямо перед его глазами навесилось большое, носатое лицо Савела, а огромные пальцы все туже и туже зажимали горло.

— Пусти... за ради Христа... придушишь ведь,— прохрипел Барышев.

Половнин ослабил руки, но подняться ему не позволил:

— Ах, бродяга! Лежи смирно, не то вдарю! Зашибу в один дых! Да повернись со спины, ляжь брюхом вниз, пока поганые твои руки кушаком свяжу. В сельсовет отведу, там повинишься, коли не хотел добром уходить...

Прижимая его коленями, дед начал снимать с пояса тканый кушак, но та черная судьба, которую уже не раз клял и чертыхал Барышев, сделала ему большую уступку.

В загоне замычала корова. Затем взревела. Послышался волчий рык. Половнин кинулся выручать свою единственную кормилицу...

Барышев больше не таился, убегая из злосчастного двора. Тут, на Первой улице, он узнал, наконец, просторный дом Согрина и, прильнув к окну горницы, постучал в стекло пальцем.

Прокопий Екимович встретил его неприветливо и сразу увел в маслобойню, подальше от домочадцев.

— Ай, ай! — проговорил он, вздувая лампу.— Не ко времени тебя принесло, Павел Афанасьич! Ночь сегодня тревожная выдалась. Церква горела. И на себя ты по обличью стал не похож. Кабы не узнал я твой голос, так и не впустил бы к себе. Был молодой, бравый. И куда все с тебя подевалось?

Измазанный грязью, мокрый, с вытянувшимся и заостренным носом, со скулами, обтянутыми морщинистой кожей, с лихорадочным блеском глаз, глубоко запавших, этот гость вызывал отвращение у сытого, обиходливого Согрина.

— Ты сначала пожрать дай,— устало попросил Барышев.— И спрячь меня понадежнее. Шумок небольшой получился. В темноте заплутался я...

— То исть, как заплутался?

— В чужой двор забрел.

Согрин обругал гостя дураком и растяпой.

— Ничему, видно, не научила тебя бродячая жизнь, Павел Афанасьич! Половнина в молодости оглоблями не могли захлестать, и сейчас сила у него свыше лошадиной. Так куда ж ты на него с кирпичом-то?

— Побоялся: если узнал он меня, то выдаст!

— Вряд ли узнал,— обдумав, решил Согрин.— Ничего от тебя не осталось от прежнего! С того света пришелец...

— Насмехаешься, что ли, Прокопий Екимыч? — злобно спросил Барышев.

— Так, баю шутя. Худо, наверно, жилось?

— Не с чего было хорошо жить. Дай же пожрать!

Согрин сходил в чулан и принес крынку молока, калач, чашку сметаны, потом кинул ношенную батраком одежду.

— Значит, поднял ты шумок, Павел Афанасьич, и оставаться тебе здесь нельзя. Давай, поешь, попей, переоденься в сухое и отправляйся с богом...

— Куда?

— Схоронись покуда. Только не в Малом Броде. Половнин, конечно, поутру побежит в сельсовет заявлять на тебя. Искать станут. Ты не иголка, в сено не спрячешь. Какая-нибудь собака нанюхает, донесет, и всему делу конец.

— Хоть бы сутки передохнуть!

— Нельзя. Часу нельзя. Эвон уж вторые петухи пропели, скоро утро настанет.

— Гонишь?

— Нет. Хочу поступить разумно.

Добыв из кожаного бумажника сто рублей, Согрин предупредил:

— Это на первую пору. Недели две-три проживешь. Поправишься. Ступай пока в город. Там народу много, скорей затеряешься. А мне потом письмецо пришли по прежнему адресу, в Калмацкое, к Зинаиде. И не смей своевольничать.

Барышеву такой тон не понравился:

— Вдруг ослушаюсь? Здесь останусь?

— Тогда пеняй на себя...

— Сничтожишь?

— Немедля! Ради твоей личности делом не попущусь! Не становись мне, Павел Афанасьич, поперек путя! У меня руки далеко достают...

Барышев согнулся, как отчаявшаяся собака, взятая на железную цепь.

— Только за этим ты звал меня?

— Это я лишь напомнил. Не забывай, кто ты есть! У тебя выбору нету: если не станешь служить мне, то примешь жестокий конец! Либо я порешу, либо советская власть тебя расстреляет. А умирать-то охота ли?

— Подыхать никому не охота, Прокопий Екимыч,— сказал Барышев.— И все же не за тем я согласился вернуться. Горит душа!

— Пусть горит, но дотла не сгорает,— не меняя хозяйского тона, предупредил Согрин.— Тем будет слаще любое дело, кое тебе поручу.

— А много ли вас?

— С кем будет нужно, тебя сведу. Ведь не на всякого, хотя бы на свата и на родного брата, можно с уверенностью положиться. Чуть пришпорит их — продадут! За-ради собственной шкуры.

— А я-то полагал: вас здесь сила! — разочарованно выдохнул Барышев.

— Большой силы уже нигде не набрать, время сработало супротив нас. Не к чему ублажать себя сказками. В кустанайских степях наши пытались подняться. И чего же добились? Ровно, как муха быка укусила. Нет, Павел Афанасьич, теперь надо входить в настоящее рассуждение и сознавать, на что ты возможен.

— Мелочи предлагаешь, Прокопий Екимыч?

— Это уж как сказать!

— И, значит, велишь уйти?

— Уйди! Скоро хлеба поспеют, начнется жатва. Тогда позову. Но еще раз надпоминаю: не своевольничай!

— Ладно уж! — вяло отозвался Барышев.— Не сумлевайся. Только про бабу-то мою расскажи. Из твоего письма я мало что понял. Как она тут?

— Ничего твоей бабе не сделалось,— сказал Согрин.— Любовничает с другим мужиком...

Барышев рванул ворот рубахи.

— Убью!

— Спробуй посмей! — стукнул кулаком Согрин.— Твоя баба гроша не стоит перед тем, какие ущемления и порухи доставляют партейцы! Вот ты попросту бандит...

Барышев при этом слове вздрогнул, скрипнул зубами, и Согрин более мягко добавил:

— Бандит в том смысле, куда привела тебя дорога с Колчаком. И не бывать тебе сейчас в миру, отрезал ты в него для себя все путя. Но что же теряешь ты? Самого себя, да бабу и немудрящее хозяйство. А у нашего сословия из-под ног выбивают все основание, на чем мы держались.

Спокон века жили тут наши деды и прадеды, имели власть и доходы, а теперич стали мы как болячки на теле. Но поправить положение нельзя. Я читаю газеты, слежу, о чем они пишут, и выходит так: наступает нашему сословию полный конец! Так что же, принять его безропотно или же по мере возможности отквитаться?

Согрин на минуту замолк, осмотрел Барышева, угрюмо ковырявшего вилкой столешницу, и обдумал, не говорит ли ему лишнего.

— Одичал ты, Павел Афанасьич, по тайге-то шатаясь!

— Прогадал я, должно быть! — Барышев передернул плечами и бросил вилку.— Зазря вышел оттуда. Кабы знатье, что на мелочи хочешь разменивать...

— Не торопись! — перебил Согрин.— Ну остался бы и, как гнилой обабок, загнулся там на корню. А то, что жизнь твоя ничуть не удалася и стал ты бродягой (за это слово прости, иначе назвать невозможно), что нету у тебя родного угла, ни хозяйства, что с бабой на твоей же перине спит твой враг, неужели все это можешь простить?

Пробудил зверя в Барышеве: у того от бешенства зажглись зрачки во впадинах под бровями.

— Или трусом стал? — еще подхлестнул Согрин.— Если боязно, ступай обратно, я не задерживаю. А мы справимся без тебя!

— Ты дело говори,— потребовал Барышев.

— Хорошо, поясню, как могу. Значит, пушек у нас нету, войска тоже не наберем, зато есть наша сила в хлебе. Он, хлеб-то, всему голова. Не пожравши, человек отощает, а тощий — плохой работник. Вот и выходит, каждый пуд зерна, который я не дам нынешней власти, сгною в земле, не то сожгу,— это мой выстрел в самое живое место. Нынешним летом партейцы проводили летние заготовки. По крохам хлеб собирали: с кого двадцать фунтов, с кого пуд. Ночь-ноченски торчали в Совете. И нас там держали почти безвыходно. Приперла, стало быть, советскую власть нужда. Коли так, нужду эту надо, как прореху, дальше рвать.

Он снова помолчал, обдумывая и решая, не наговорить бы лишнего.

— О том, что ты одичал в тайге, Павел Афанасьич, я сказал не с желанием оскорбить тебя, а надобно усвоить дальнейшую линию. Отошло ведь времячко, когда саблями махали. Станешь себя наяву выказывать — в одночасье пропадешь! А какой с того толк, самому-то в петлю лезть? Не хочешь смириться, идти власти на поклон, становиться к стенке или в тюрьме глохнуть — действуй скрытно! Я так

полагаю: нас в государстве тысячи, и если каждый не даст власти хотя бы один пуд зерна, и то наберутся тысячи пудов, а если сумеет кого-то ввести в сумление, опять же тысячи супротивников зашатаются. Столб, врытый в землю, червь точит помалу. И в темноте. Ясно?

— Да уж куда яснее,— согласился Барышев.

— Потому я советую: не кидайся на стенку — лоб расшибешь! А с бабой своей еще успеешь расправиться!

Через час, пока не рассеялся мрак, Согрин вывез Барышева в Межевую дубраву и верстах в шести от села высадил с телеги.

Перекинув котомку с припасом через плечо, тот углубился сразу в бездорожье, в березовые леса, напрямик к городу.

Согрин огорченно покачал головой. Как такому довериться? Барышев действительно выглядел натуральным бродягой, до крайности опустившимся, и не внушал никаких надежд.

Но ничего лучшего не было.

— Вот так-то, Гурлев! — вполголоса молвил он, поворачивая подводу обратно в село.— Через Барышева с тобой рассчитаемся...

4

В те же августовские дни, перед жатвой, Федор Чекан собрался на постоянную работу в деревню. В путевке, которую он получил в окружном комитете партии, было указано: «Направляется в распоряжение Калмацкого райкома для использования на культурно-просветительном фронте». Накануне отъезда Федор попрощался с Лидой Васильевой. Любовь у них была недавняя, еще не окрепшая, не проверенная временем, но ему казалось, что кроме Лиды он никогда и никого не полюбит, что она единственная, с которой может соединить свою жизнь. Лида тоже говорила, будто он для нее очень дорог, а поехать вместе с ним отказалась.

— Зачем? Я горожанка. Деревня меня ничем не прельщает. И у тебя в жизни не это самое главное. Ты вскоре можешь стать машинистом, потом выдвинуться на какую-нибудь руководящую должность...

— А если не на руководящую? — усмехнулся Федор.

— Не навечно же останешься на паровозе,— пожала плечиками Лида.— Всякий мужчина прежде всего должен подумать о своей семье, как ее обеспечить...

— Подумать я могу и в деревне.

— Ты что же,требуешь от меня жертвы? — расстроенно спросила Лида.— Сегодня собрался в село, завтра тебя пошлют куда-нибудь на Северный полюс, к белым медведям, и я обязана буду за тобой всюду ездить...

Она была единственной дочерью главного кондуктора Захара Власовича, человека, уважаемого на производстве, но слабого в семье, где все существовало «только для Лидочки».

— Ты будешь работать,— не очень уверенно попытался убедить ее Федор.

— Я! Работать!.. Так зачем мне муж?

И Федор сказал:

— Ну, что же, моя белокурая, синеглазая. Покуда прощай! Не знаю, можно ли измерить, что в жизни важнее: любовь или долг? Для меня важно то и другое! И ты на досуге реши: или на весь наш век вместе или врозь навсегда!

До села Калмацкого ему удалось доехать на попутной подводе.

День клонился к вечеру. Солнце уже стояло низко над домами, поливая окна желтоватым меркнущим светом. Райком партии находился в центре села, на берегу прорезавшей площадь тихой, под тополями, речки. Дом бывший купеческий, с резными карнизами и с магазином на первом этаже, с парадным крыльцом, откуда на второй этаж вела крутая лестница. Прочитав вывеску, Федор поднялся наверх и сразу же из коридора увидел кабинет секретаря райкома Антропова. Дверь была раскрыта настежь, а сам Антропов сидел за столом, склонив над бумагами массивную золотисто-рыжую голову. Поставив сундучок у входа, Федор причесал взмокшие под кепкой волосы, поправил на себе гимнастерку и постучал об косяк согнутым пальцем.

— Входи, я один тут,— чуть зевнув и прикрывая рот ладонью, сказал Антропов.— Из города, что ли, прибыл?

— По путевке,— подтвердил Чекан.— В ваше распоряжение...

— Ну, садись,— кивнул Антропов на стул у стола.— Будь, как дома!

«Экий здоровущий,— с удовольствием отметил Федор.— И все лицо и руки в веснушках. Из деревенских мужиков, наверно». Простая ситцевая рубаха на груди Антропова была расстегнута, рукава по локоть засучены, а во взгляде больших серых глаз под широкими и тоже очень рыжими бровями наряду с любопытством сквозило что-то спокойное, умиротворенное окружающей тишиной. «Наверняка, местный человек,— уже увереннее подумал Федор.— Найдем ли

общий язык?» Но Антропов уже успел по-своему оценить приезжего. Внешний вид Чекана ему понравился. Не слабак. Не баловень. Плечист и на ногах стоит крепко. Одет по-современному, в комсомольскую форму «юнгштурм»: защитная гимнастерка с открытым воротом, под ней белая рубашка, подпоясан широким ремнем, а на ногах брюки «галифе» и гетры с ботинками. И лицо у парня открытое, чисто побритое, без тени смущения. «Значит, бывалый парень,— решил про себя Антропов.— Приживется!» Только недоверчиво взглянул на зачесанные к затылку густые русые волосы Чекана и, приметив светлые, с ореховым оттенком глаза, недовольно подумал: «Не стал бы тут ловеласничать! К таким девки льнут!» Поэтому чуть построже спросил:

— В комсомоле давно?

— Да, и вместе с тем уже пятый год в партии.

— Ладно! — смягчился Антропов.— С образованием как?

— Средняя школа. Курсы помощников машинистов. Вечерняя совпартшкола. Ну, и самообразование. Хочу, если время и обстоятельства позволят, поступить в институт.

— В какой?

— В железнодорожный или в строительный.

— Почему так неопределенно? — уже совсем добро и мягко спросил Антропов.— На одной ладони сразу два арбуза не удержишь.

— То и другое нравится,— откровенно сказал Чекан.

Заметив на поясе у него кожаную кобуру с револьвером, Антропов неодобрительно прищурился:

— А пушку-то с себя сними, положи подальше, чтобы люди не видели. Время, конечно, сейчас суровое, нет-нет да и постреливает кулачье в деревнях в наш партактив, и потому без оружия для самообороны обойтись нельзя, но лучше держать его в кармане. Наше главное оружие — это слово, убеждение.

Чекан тотчас же снял кобуру с ремня.

— Теперь расскажи биографию,— предложил Антропов.— Окружком первого попавшегося к нам не послал бы, человек ты, видать, проверенный, однако и мне знать нужно.

Чекан улыбнулся.

— Биография у меня короткая и еще вся впереди.

— Уж что есть, то давай!

— Мне двадцать пять лет...

— Женат? — перебил Антропов.

— Еще не успел. Дед был кузнецом и отец кузнец. Меня тоже готовили в кузнецы. С шестнадцати лет я работал на заводе вместе с отцом, подручным. Но в двадцатом году послали с рабочим продотрядом на заготовки хлеба в деревнях, а когда через полгода вернулся, то в кузницу не пошел, поступил на работу в паровозное депо, был сначала учеником, потом стал кочегарить на паровозе, учился и последние два года ездил помощником машиниста.

— Начало хорошее,— одобрил Антропов.— И для деревни, значит, не новичок. Небось, когда продразверстку проводили, и в перестрелках приходилось участвовать?

— Всякое бывало. Двух моих товарищей бандиты убили, а меня миновало...

— Ну, а кроме кузнечного и паровозного дела, еще чем владеешь? На досуге чем можешь заняться?

— Умею играть на гармошке. Дробить «чечетку». Стихи умею читать. Участвовал в драмкружке.

— Пригодится,— довольно кивнул Антропов.— Все пригодится. А мне вот пришлось тут заново со многими делами знакомиться. Я ведь тоже с производства, с нязепетровского завода. И тоже кузнец. Уже третий год здесь. Понимаю теперь, как надо и в какие сроки пахать и сеять, когда сено косить, когда урожай убирать. А главная трудность все же не в этом, самое главное — постичь психологию, характер деревенского человека, уметь убеждать людей, распознавать, кто наш друг, кто недруг. И тебе овладения этой наукой не миновать.

— Понимаю,— согласился Чекан,— не в гости приехал.

— Именно, не в гости,— подчеркнул Антропов.— Обстановка сейчас в деревне сложная. Я бы даже сказал, сложнее, чем в начале двадцатых годов. Кулак тогда еще на что-то надеялся. А теперь подступило другое время, и кулачество знает об этом из газет, из решений нашей партии. Начинается решительный переход от политики ограничения и вытеснения кулачества к политике его полной ликвидации как класса. Поэтому классовая борьба обострилась. Мы повсеместно встречаем не только саботаж при заготовках хлеба, но участились пожары, нападения на партийный и советский актив. Враги действуют скрытно, тонко, темными ночами пользуются винтовочными обрезами и огнем, поймать их трудно. Кроме того, стараясь мстить нам, они нагоняют на деревенское население страх. А ведь страх, при той темноте и невежестве, еще здесь существующим,— большая сила. Все это ты учитывай...

— Так куда же вы направите меня? — спросил Чекан,

заметив, что Антропов слишком уж обстоятельно объясняет ему обстановку.— На советскую или на партийную работу?

— Прислал тебя окружком на культурный фронт, значит, поедешь в село Малый Брод заведовать клубом и читальней. Избачом будешь называться. Зарплата всего тридцать рублей в месяц, а обязанностей не счесть. На месте увидишь, освоишься, разберешься. Однако придется тебе быть избачом не простым, такого мы и здесь нашли бы, а ты от рабочего класса избач, и работу станем требовать соответственную. Не возражаешь?

— Я приехал работать,— ответил Чекан.

Они пробыли в райкоме почти до сумерек, а к ночи на райисполкомовской паре коней выехали из Калмацкого по дороге на Малый Брод. Антропов спешил по каким-то своим надобностям в окраинные деревни района, и ему пришлось сделать крюк, чтобы доставить Чекана до места.

5

Уже поздней ночью, миновав рощу вековых берез и выгон, повозка достигла, наконец, погруженных в темноту, молчаливых улиц Малого Брода.

В сельском Совете двое дежурных играли в самодельные шашки. Одного из них, посыльного Акима Окурыша, Антропов отправил за секретарем партячейки Гурлевым, но того дома не оказалось.

Ночевал Федор в «каталажке» — прохладной комнатке с зарешеченным окном, назначенной для содержания арестованных. Начало это было не очень приятно. Утром проснулся рано и сразу же вышел на крыльцо продышаться.

Небо, без единого облачка, предвещало ясную погоду. По всему порядку улицы тонкие сизые дымки из печных труб растекались по крышам, застилая карнизы домов. На ступеньках крыльца дымили цигарками Аким Окурыш и второй дежурный Иван Добрынин. Оба они привлекли внимание Чекана не столь бедностью одежды, давно изношенной и залатанной, но прежде всего, внешним своеобразием. Аким имел фигуру короткую, сухую, вдобавок немного сугорбую, а худые ноги, обутые в старые сапоги, были неестественно вывернуты носками в разные стороны. Круглое в частых рябинках лицо Акима было покрыто совсем редкой, как засохшая трава, бороденкой, наверно, ни разу не бритой. Такую же редкую растительность на голове прорезала

от лба до затылка гладкая лысина, а под выцветшими бровями хитро и умно зыркали чуть прищуренные глаза. Зато голос у него был сочный, басовитый, отчего возникало странное чувство чего-то большого, сильного, но запрятанного в узкой груди Акима. А Иван Добрынин был непомерно тощий, болезненный, с неистребимой нуждой во всем облике и словно затаенной надеждой во взгляде. Оба они безучастно покосились на Федора, затем сдвинулись на ступеньку пониже, чтобы ему удобнее было стоять у перил. Неожиданно тишина над селом взорвалась от колокольного звона.

— Заутреня началась в церкви,— набожно сказал Добрынин, сняв шапку и перекрестив лоб.— С праздничком тебя, Аким! Со вторым спасом!

Тот сплюнул потухшую цигарку.

— Я и паску не праздновал. Капиталов-то нету, чтобы зазря прохлаждаться. А на энтот второй спас, по вере-то, надобно мед есть и бабе говорить: «Чеши мое брюхо, оближи мою бороду, я досыта меду наелся!» Богатым — тем ясное дело, тем праздники справлять не в убыток. В коей двор ни зайдешь, всюду сладкий запах в ноздри шибает. Шаньги, пироги да вареные в масле кральки. Этак нанюхаешься возле богатых-то дворов, так и домой идти неохота.

— Неохота,— тоскливо подтвердил Иван.— А как жить дальше? Каким же способом к жизни ловчее приладиться? Бают, иные люди клады находют...

— Так для того надо в горы ехать, да по тайге-то,может, не один год поблудить,— знающе подтвердил Аким.— И найдется ли? Мы тута на земле выросли, окромя хлеборобства ничего не знаем, все же худо-плохо, а с голодухи не мрем, имеем свои избешки, баб и детишков, а пойдешь в тайгу клад искать, да и пропадешь...

Блеснувшая на лице Ивана слабая надежда сразу померкла.

— Неудачливые мы...

— А с чего? — спросил Аким.

— Наверно, бог этак назначил,— покорно сказал Иван.— Разделил людей-то: вон энтим богато жить, а остальным в бедности. Тем все, а нам ничего. Но в чем же мы грешны перед богом? Справедливо ли этак? Вот я никого не обижал, не лаял, на чужое добро не замахивался, сам знаешь — живу тихо и праведно, но лишь с хлеба на воду перебиваюся, а взять хотя бы, к примеру, Прокопия Согрина...

— Эка ты куда сравняться захотел,— даже удивился Окурыш.— Еще есть ли кто богаче, чем он!

— Ну, а чем он лучше меня, ежели догола раздеть и рядом поставить?

— Да в головах не тот смысл,— засмеялся Аким.— Эх ты, Ваня, простая душа! Ты каждую копейку добываешь горбом, а Согрин ловкостью да цепкостью. Как чего схватит, то уж не выпустит из рук и любого умного обойдет.

— А может, это просто деньга к деньгам идет, богатство к богатству? — снова засомневался Добрынин.

— Так ему же богатство-то не с неба свалилось. Откудов он взял его?

Очевидно, и самому Окурышу этот вопрос оказался не по плечу, он задумался, потер подбородок ладонью. Чекан искренне ему посочувствовал, хотел подсказать, какой жестокой эксплуатацией чужого труда и спекуляцией на трудностях кулак создает себе капитал, но Окурыш снова оживился:

— Конечно, не с неба...

Не ответив сполна на вопрос, Окурыш достал из штанов кисет с табаком, завернул цигарку.

— Все ж таки богатство завсегда к богатству идет,— увереннее повторил Добрынин,— а нужда к нужде.

— Ну и что в нем хорошего, в том богатстве? — совсем неодобрительно произнес Окурыш.— Одна канитель и расстройство: как бы чего не украли, как бы чего не прогадать, да не потерять бы кошелек.— Тут он отмахнулся рукой, будто деньги и заботы о богатстве как кусачие комары наседали на него отовсюду.— А совесть! При всем капитале как же без нее обойтись? Мы с тобой живем без хитростев, без обману, попросту.

— Грамоты нам не дадено,— нашел еще одну зацепку Добрынин.— Темные мы, и потому многое нам не видать. А эвон, опять же к примеру, Прокопий Согрин сколь всяких газет и книжек читает. Потому и смыслу в его башке больше, чем у меня.

— Да уж не шибко-то велика его грамота,— скривил губы Окурыш.— Спробуй-ко, заставь его речь сказать... При этом он обернулся к Чекану, приподнял левую бровь, покосился недоверчиво.

— Эй, браток, а ты насчет речей мастак ай нет?

— Разве это имеет значение? — спросил Федор, не сообразив сразу, как отвечать.

Окурыш передернул верхней губой, отчего редкие щетинистые усы, бурые от табачного дыма, встопорщились и приняли воинственный вид.

— Коли не умеешь, здеся не уживешься. У нас мужики крепкие, их простым словом не прошибешь! Года два назад был тута избач, слыхал, поди, про него, Андреев, у него нос обкусанный, без одной ноздри. Так энтот Андреев, бывало, говорит речь на сходке да как рявкнет под конец: «А, доннер-р-р ветер-р-р!» Что к чему — непонятно, зато уважали его...

— Я и не такое могу загнуть,— засмеялся Чекан.— Если понадобится. По-русски резче получается, чем по-немецки...

Его добродушие и простота понравились Окурышу, стало заметно, как недоверчивость сошла с его лица, щетинки усов обмякли, и голос зазвучал приветливее:

— Эт что же тебя к нам-то загнали?

— Я сам пожелал.

— Ошибки не вышло бы! Скукота ведь здесь: ни киятров, ни барышнев городских, ни теплых сортиров. Зима придет — от скукоты ошалеешь!

— А если стерплю?

— Так с путя свихнешься. Андреев-то был поукладистее тебя в плечах, а и то не сдюжил. По малости, да по малости приучился самогонку пить, перед народом-то осрамился, ну, наш Гурлев его и турнул отсюда.

Однако, еще раз оглядев Чекана, он качнул головой и поправился:

— А может, приживешься. Все люди-то каждый посвоему разный. Как закрытые сундуки: чего в них положено, пока не откроешь, никак не узнаешь. Но тебе, городскому, ясно-понятно, в простой избе жить не поглянется. Попросись на фатеру к Согрину...

— Кто он такой и далеко ли отсюда живет? — вспомнив, с какой неприязнью говорил Окурыш о Согрине, спросил Чекан.

— Вота, как раз наискосок от Совета. У него аж три горницы!

Показав крючковатым пальцем на большой крестовый дом по ту сторону улицы, Окурыш добавил:

— Зимой так и шубы не надо, чтобы до читальни дойти.

По фасаду дома Чекан насчитал семь окон в узорчатых наличниках. Такой же узорчатый, как кружево, опоясывал стены карниз, а высокий фундамент, сложенный из мшистого серого плитняка, подчеркивал крепость хозяйства. Тесовые ворота с железным петухом наверху, густо просмоленные, неподатливые ни ветрам, ни времени, как замок, замыкали двор, не оставляя в улицу никаких просветов.

— Мне надо жилье попроще, без замков, чтобы я в ночь-полночь мог не беспокоить хозяев.

Аким хитро сощурился, пропустив под усами усмешку.

— Небось спужался?

— Ничуть! И не вижу причины,— заверил Чекан.

— Поди-ко, ты партейный, а ведь Согрин лишенец. Чуждый элемент. Эвон наш Павел Иваныч Гурлев с ним даже никогда не здоровается.

— А и не за что с ним здороваться,— добавил Добрынин.— Только уж самая большая нужда нас к нему загоняет, а иначе бы за версту его двор обходить.

— Злой, что ли? — заинтересовался Чекан.— Или как?

— Злости-то он никогда не оказывает,— пояснил Окурыш,— у него в словах завсегда благодать и мир.

Аким разохотился снова рассказывать, его распирал избыток сведений, которые он нахватал, отслуживая свой срок посыльного, но отвлекся и навострил уши в сторону согринского двора. Оттуда донеслись сначала крики, затем бабий рев, а минуту спустя, широко распахнув малые ворота, быстро вышла на улицу дородная молодая женщина, разъяренно махая руками. Была она босая, подоткнутый подол юбки обнажал мощные голени, порванная кофта еле держалась на ее не менее мощных плечах. Обернувшись к воротам, она плюнула на них, по-мужски ударила кулаком и что-то кричала, хотя вряд ли кто-нибудь ее слышал,— на колокольне опять зазвонили колокола.

— Чего-то куфарка у Согрина развоевалась,— недоумевая, сказал Окурыш.— Девка вроде бы смирная. А тут на-ко: сама на себя не похожа! Эй, Дарья! — позвал он, подняв палец.— Слы-ышь, подь-ко сюда! Тебя ведь зову, Дарья!

Малые ворота снова открылись, показался коренастый мужик с аккуратно подстриженной бородой и в картузе, на лакированном козырьке которого пыхнул луч солнца. Бросив Дарье узел с вещами, мужик отпихнул ее в сторону, постоял в проеме, расставив ноги. Дарья и на него плюнула, а потом, прихватив узел, ушла прочь вдоль улицы, продолжая ругаться.

— Вота сам хозяин,— кивнув туда, многозначительно произнес Аким.— Пойти надо, узнать...

Пробыл он во дворе Согрина недолго, а вернулся ошеломленный.

— Всю обедню хозяевам Дарья испортила! Ну, время-времичко! Это ичто же сотворяется? В кою сторону жизня пришагает, ежели уж и Дарью так проняло...

— Да ты не зуди,— сказал Добрынин.

— Диво, однако! — продолжал Аким.— Сама-то хозяйка, Аграфена Митревна, сидит на крылечке, воет, а на голове у нее горшок надет...

— Осподи Исусе,— перекрестился Иван.

— По самые уши горшок надет и по всему патрету сметана течет. И-эх, мать моя! А тута собака рядом, сметану с крыльца слизывает...

— Пошто же так?

— А по то! Заслужила стерьва, Аграфена Митревна! — зло пояснил Аким.— Не трожь человека, не забижай! Она кто им, Дарья-то? Не лошадь небось! Лошадь ударишь, она смолчит, таковское ее дело, чтобы робить и помалкивать, а человек...— Аким запнулся, поскреб усы,— он, стало быть, каждому ровня.

— Ты не очень понятно рассказываешь,— заметил Чекан.

— Уж куда понятнее! Аграфена Митревна с хозяином к обедне собиралась. Приоделась в новый сарафан, а тута ей Дарья навстречу. Шаньги, что ли, заводилась Дарья-то печь, несла с погреба сметаны полный горшок. Надо было на крылечке посторониться, пропустить хозяйку, а она с нечаянности оступилась и сарафан у Аграфены запачкала. Та взбесилась: вдарила сгоряча девку, кофту ей порвала наскрозь. И вот за энту самую обиду Дарья не стерпела, кэ-эк шваркнет ей горшок на башку...

— Нехорошо, пожалуй, у нее получилось,— серьезно сказал Чекан.— За свое достоинство надо бороться не так...

— То исть, как еще? — запетушился Окурыш.— Доколь же терпеть-то? Ты спроси Дарью, мало ли ей пришлось позору снести. Братуху ее в восемнадцатом году белые сказнили, и одна осталася она при старых родителях. А в двадцать первом-то году случился большой неурожай, голодуха повсеместно, куска хлеба никак не добудешь. Ну, и пошла от экой нужды Дарья к мельнику, Петру Евдокеичу. Так, дескать, и так, Петро Евдокеич, пожалей моих стариков, не дай помереть: у тебя-де на мельнице все же хлебушко есть или хоть бы бусу мельничного фунтов десять отмерь, отработаю тебе и весь век добрым словом поминать стану. Ладно, говорит Петро Евдокеич, я бусу дам, а толичко ты меня уважь, как есть нагишом попляши, чтобы мог я молодое твое тело со всех то исть сторон осмотреть и, коль захочу, в полюбовницы взять. Слезами уливалась Дарья, а все же сплясала.

— Дикость! — согласился Чекан.— Прощать за униже-

ние нельзя, но в таких случаях надо обращаться в суд, в сельсовет...

— Ну, кабы меня такое коснулось, так я бы нашел, как с обидчиком поквитаться,— приосанился Окурыш.— Теперич не старое время. А у Дарьи, как у всякой бабы, соображенья покуда нету...

«Не старое время, но жестокость пришла оттуда,— подумал Чекан, когда Окурыш и Добрынин ушли с крыльца.— И вот для меня уже нашлось тут дело. Но как же начать, как помочь здешним людям в их стремлении сохранить и упрочить свое достоинство, развить сознание добра, совести, чести?»

От первой встречи с Гурлевым, здешним секретарем партийной ячейки, осталось впечатление того же обостренного чувства человеческого достоинства, какое проявилось в поступке Дарьи. Но Дарья взбунтовалась против унизивших ее хозяев, а Гурлев, сознающий свое руководящее положение в селе, выглядел внешне спокойным, уверенным, но настороженным к незнакомому приезжему.

Прочитав записку Антропова о назначении Чекана избачом в Малый Брод, Гурлев небрежно сунул ее в карман, затем нарочито подчеркнуто спросил:

— Ты сам-то из интеллигентов или из кого?..

— Рабочий из рабочих,— поняв, что задан такой вопрос неспроста, деловито ответил Чекан.

— А за кого нас, тутошних мужиков, принимаешь?

— Как полагается коммунисту! Не иначе! — нашелся Чекан.

— Именно,— смягчая взгляд, произнес Гурлев.— А то кое-кто из приезжих желает смотреть сверху вниз.

Во всей его рослой фигуре, в крупном загорелом лице, в больших руках ощущалась недюжинная сила, а в серых глазах, открытых и зорких, угадывалось прямодушие, непоколебимость и еще что-то, похожее на глубоко затаенное страдание.

— Это ему Мотовилов всегда досаждает так,— разъяснил потом местный учитель Кирьян Савватеевич, бывший при разговоре.— Есть у нас в Калмацком такой «князь» на должности заврайземотделом.

Сам Кирьян Савватеевич оказался неутомимым народолюбцем. В волосах у него уже обильно проступала седина, множество мелких и широких морщинок избороздили его лоб, но говорил он живо, энергично и очень заинтересованно.

— С холодом и глухотой в душе здесь никому не ужить-

ся, дорогой Федор Тимофеич! Работать в селе — это не солдатскую службу отбывать. Либо надо отдать все свое дарование и время, либо уходить прочь. Прошло уже десять лет со дня революции, но деревенская жизнь еще полна темноты и невежества. Чтобы помочь мужику выйти на свет, освободиться от бедности, овладеть более высоким сознанием, надобно постоянно быть рядом с ним. Поэтому не выказывайте себя «представителем», не глядите, как предупредил Гурлев, «сверху вниз», а становитесь гражданином села...

Слова Кирьяна Савватеевича звучали поучительно, но Чекан простил ему этот тон. Учитель привык поучать. Наконец, сам он был как раз тем «гражданином села», каким предстояло стать и Чекану. И мысли его были близки, очень нужны для начала.

Гурлев устроил Чекана на квартиру к одинокой старухе Лукерье, которую уважал за чистоту и порядок в доме. Лукерья к концу дня истопила баню и, когда чисто вымытый, распаренный в жару постоялец сел с ней за стол пить чай, предупредила:

— Только чтобы девки к тебе сюда не ходили. Не одобряю и не желаю от суседей конфуз принимать. А так живи. Обвыкай!

6

Село Малый Брод обосновалось в доброй сотне верст от ближайших городов Зауралья, в равнине, которую с одной стороны прорезает река Теча, с другой — мутноватая, в холмистых берегах река Исеть. Богатые черноземы лежат здесь вокруг и просторные луговища, стоят дремучие березовые леса и темные сосновые боры, а меж ними, огороженные черноталами и камышами, повсюду встречаются болота, протоки и старицы.

На высоком песчаном берегу большого озера раскинуло село свои длинные улицы и переулки, подперло небо заново сделанным куполом белой церкви.

Хоть и говорил Антропов, что партячейка здесь очень надежная, Чекан ему тогда мало поверил. Свой первый рабочий день начал с чувством не легким. Для читальни была выделена отдельная комната в бывшем волостном правлении, теперь занятом сельским Советом. Из темной, прокопченной табачным дымом прихожей одна дверь вела в канцелярию, вторая — в читальню и третья — в камеру («каталажку», как ее тут называли). Так что закон и культура находились в близком, но неудобном соседстве.

Прежнего избача, еще прошедшей весной раненного камнем в голову, увезли в больницу. На работу он не вернулся. Так и осталась читальня в запустении, грязная, с оборванными со стен плакатами и ворохами накиданных на столы газет, никем не читанных. Эта обстановка создала впечатление, что в селе слабо горит и тускло светит тот зажженный партийцами огонек, погреться к которому приходили бы люди из их замкнутых в одиночестве дворов. Да и сама-то партячейка оказалась малочисленной: в огромном селе только семеро коммунистов, кроме учителя, еле владевших грамотой.

Они все побывали в читальне, вежливо здоровались с Чеканом за руку, изучающе вглядывались: хорош ли?

Председатель сельсовета Федот Бабкин был, пожалуй, под стать Гурлеву, но лет на пять старше годами. Носил он брюки из простой черной хлопчатки и суконный френч образца гражданской войны. Два брата Томины, Григорий и Парфен, середняки, жили в одном неподеленном хозяйстве и одевались во все домотканое. Речь у того и другого была тугая, медленная, как случается у людей, наделенных крупной фигурой. Даже Гурлев в сравнении с этими медвежатниками казался жиже, а председатель комитета бедняцкой взаимопомощи Белов и председатель сельской потребительской кооперации Кузьма Холяков могли бы сойти вдвоем за одного Парфена. От Белова веяло такой нуждой, что Чекан невольно подумал: «Обедает ли он каждый день?»

Приставленный к торговле и вообще более энергичный Кузьма Холяков, конечно, имел возможность лучше одеваться и обуваться, зато во всей его внешности сквозило что-то непонятное, как бы затаенное в себе. Не за выцветшие колючие усы на рябоватом лице и не за дурную манеру перебивать разговор, а вот за эту самую непонятность Холяков не понравился.

И еще отметил Чекан: все партийцы держатся кучно, друг к другу уважительно, а Гурлев между ними не просто выборный секретарь партячейки, но вся их душевная сила.

Показалось сначала, будто у него нет ни семьи, ни своего двора. Бабкин днем уходил домой пообедать, вечером управиться по хозяйству, как братья Томины и Антон Белов, а Гурлев шел в дальний околоток села поговорить с мужиками о подступающей жатве хлебов, затем на созданное им общественное гумно. Чем же он жил? Ведь должность секретаря партячейки никем не оплачивалась.

— Ты его лучше об этом не спрашивай,— посоветовал Кирьян Савватеевич.— Павел Иваныч имеет жену и хозяй-

ство, а не понять нам, что у них там происходит. Я думаю, все богатство своей души Павел Иваныч отдает общественным делам, все добро, на какое способен, дарит бедноте, а Ульяне, для ее жизни, ничего не остается.

Не от бедности, не от неряшливости носил Гурлев старую залатанную гимнастерку. Не от бобыльной, неприкаянной жизни прятался где-нибудь в неприметном месте и, вынув из кармана кусок черствого калача, жевал его всухомятку. Беда у него была, возможно, непоправимая.

Федора от работы в читальне он не отвлекал, терпеливо дожидался, пока тот наведет в ней порядок.

Все старые, измусоленные книги пришлось выбросить, и осталось в библиотечных шкафах всего ничего.

Денег на покупку новых книг сельсовет дать не мог.

— Ни гроша нету,— безнадежно отмахнулся Бабкин.— Эвон даже пожарный сарай починить не на что.

Нужда заставила обращаться к городским товарищам. И Чекан с надеждой на их помощь отправил письмо, чтобы они организовали сбор книг от деповцев. Недели через две почтальон из Калмацкого привез первый ящик. Это друзья из райкома комсомола урезали свою библиотеку и отправили в Малый Брод сочинения Ленина, учебники по истории партии, решения партийных съездов и конференций, брошюры о текущем моменте. Потом с каждой почтой начали прибывать посылки с книгами «для легкого чтения». По надписям на них Чекан узнавал, кто подарил. И возникло у него такое чувство, будто книги эти как бы протянувшиеся сюда из города очень добрые руки, готовые помочь в трудном, непочатом деле.

Только одна из книжек не обещала ничего. Это был сборник стихов Маяковского. Еще совсем недавно сам же Федор подарил его Лиде Васильевой, даже надпись оставил на память: «В день твоего рождения хочу сказать словами поэта: «Жизнь хороша,и жить хорошо!».

Не захотела, значит, дорогая подружка сохранить ее, отрезала верхний угол страницы. Но зачем? «С глаз долой — из сердца вон!» Не это ли она хотела сказать, отдавая книгу в посылку?

Целый вечер он сидел в читальне подавленный.

Но на той же неделе Лида прислала по почте коротенькое письмецо, и Чекан ей все простил.

Она призналась: с томиком стихов поступила необдуманно и очень просит не придавать ее поступку значения. А в конце приписала: «Сделай там в деревне, что им нужно, и возвращайся. Я буду ждать».

Эту наивность он тоже простил. Откуда ей знать, как это долго продлится? Год-два или всю жизнь, как случилось с учителем?

Теперь библиотечка собралась хоть и не очень большая, зато на подбор, книга к книге. Шкафы обрели вид солидный, и, поглядев на них, Гурлев удовлетворенно провел ладонью по корешкам переплетов.

— Эка, сколь умных людей на свете живет!

Уже отходили последние летние грозы, кончились ночные зарницы, воздух посвежел и вместо знойного марева наполнился прохладным, но чистым светом.

На полях, на сжатых полосах, проветривались и доспевали в суслонах снопы сжатой пшеницы.

На озере, вдоль камышей, каждый вечер собирались стаи перелетных птиц, а из высокого неба косяки журавлей оглашали окрестности прощальными криками.

Несколько дней Гурлев в сельсовет не приходил. Федот Бабкин сидел у себя в канцелярии со скучающим видом. Не появлялись и братья Томины. Все эти дни они проводили в поле, помогая женам жать серпами хлеба.

— Ничего не поделаешь, жить нам приходится по временам года,— сочувственно говорил Бабкин.— Плох ли, хорош ли Гурлев хозяин в домашности, а на вёшне, на покосе, на уборке урожая Ульяну-то одну не оставляет. Природа велит, и ведь нутро-то наше мужицкое стерпеть не может, когда земля к себе призывает. Вот я тоже сижу тут, а руки работы просят. Положил бы печать в стол, закрыл канцелярию на замок, но мне нельзя, должен я находиться при месте, как власть охранять и соблюдать в Малом Броде порядок.

Это он верно сказал, что всем им приходилось строить свою жизнь и работу по календарю — дома и в обществе. Ничего не было важнее сейчас, чем жатва и предстоящая молотьба урожая. Позднее начнутся, как правило, заготовки хлеба для государства, не менее трудное и напряженное дело. А вот постоянно читать, учиться политической грамоте, не только сердцем, но и умом постигать основы общественного развития — для этого всегда у них времени оставалось мало, да и то после трудного рабочего дня. Чекан много раз замечал, как братья Томины, всегда неразлучные, взяв в читальне газету и прочитав в ней пару столбцов, начинали дремать, а потом виновато оправдывались: «Притомились чуток! Ведь продыху нет». Только Гурлев не показывал виду, как устает. Книги в читальне он брал не часто, зато свежие газеты, как утюгом, проглаживал от первой до

последней страницы. Читал урывками, почти на ходу, а чаще всего по ночам, засиживаясь иногда в канцелярии сельсовета далеко за полночь. «С меня спрос большой,— сказал он однажды Чекану.— О чем бы меня ни спросили — мужик ли, баба ли, парнишко ли малый, а на все я должен ответить сполна, чтобы не было у человека сомнения». По этой же причине, наверно, взял он «проработать» ни много ни мало «Диалектику природы» Энгельса, узнав из газеты, что именно в ней «изложены законы бытия». Чекан предупредил: дескать, это философия, и прежде чем браться за нее, надо подготовить себя, но Гурлев настоял: «Ты не думай, коль мужик малограмотный, то об эту самую философию стукнется лбом, как о стенку. Энгельс-то для кого ее сочинял: для буржуя или для трудящего? На кой ему сдался буржуй-то! А трудящему смолоду в рот науку вместе с кашей не клали, и, стало быть, обязан он ее постичь сам, хоть бы пришлось ему для того гору поднять». Книгу эту он носил всегда с собой, даже в поле взял, а когда кончил жатву, принес ее обратно в читальню, положил на стол.

— Ну, как? — спросил Чекан.— Все усвоил?

— На два раза пахать пришлось,— по-крестьянски ответил Гурлев.— За один раз где же такую уйму науки осилишь! — Тут он явно не сказал правды, чтобы не унизить себя.— Мудрено очень...

— А вот я еще не осилил,— честно признался Чекан, намекнув этим, что ему не поверил.— Слушал в городе лекции, да и когда учился на помощника машиниста, у нас в учебной программе была философия, а не скажу, будто в ней разобрался.

— И я ведь не до конца дошел,— уступил Гурлев.— Погодя немного еще раз возьмуся. Однако вот думаю: как же ее к нашей сегодняшней жизни применить? Ну-ка, спробуй, поясни хотя бы Ивану Добрынину, какая у него родня была в древности? Обидится и вовек не простит! Или насчет зернышка хлебного. Как это оно само себя отрицает? Хлебороб бросает на пашню зерно и получает опять же зерно, толичко в колоске. Так с чего же, с коей стороны я могу тому хлеборобу внести ясность? Вот мы, партейцы и беднеющая часть населения, отрицаем кулачество. Тут все на виду. Кулак желает заставить народ на него работать, как было прежде, а мы того не желаем. Кулак посягает на самые лучшие пашни, на самые хорошие угодья, вроде бы, на то ему сам бог дал право, а мы, как пахали пустоши, залоги, как ковырялись сохой и плугом на тощей земле, на солонцах и суглинках, так и должны там пот проливать до скон-

чания жизни? Тут находятся даже защитники у кулаков. Зря-де его обижаете, кулака-то! Не хотите его понять! Держите его в лишенцах, налогами облагаете, да разными сборами, да не даете ему хлеб продавать на базаре по той цене, кою он сам заломит. И вот-де после этого, как же он не станет на вас, партейцев, волком смотреть? Кулак-де чуть ли не главный поставщик хлеба, а вы ему вредите, вроде бы даже мщением занимаетесь. А того смыслу в таких рассуждениях нету, что пусть кулак сам по себе будет человеком хорошим, но нутро-то у него все равно не наше. Эвон расковыряй-ка Согрина! Видом он смирный, объявляет себя культурным хозяином, насчет агрономии рассуждает, да и долгов перед государством старается не иметь, а батраков-то, однако же, держит, чужим трудом себе капитал загребает и к тому же пускается на обман. В прошлом году, по вёшне, сельсовету дал сведения, будто всего посеял двадцать десятин пшеницы, а потом, уж осенью, перед молотьбой мне случайно довелось узнать — было у него еще тридцать десятин посеяно в башкирской степи. Там у башкир-то пустой земли много, и расстояние до нее недалеко, всего двадцать верст. Значит, хлебушко-то с тех десятин он намерен был от государства скрыть, весь урожай с большой для себя прибылью продать, но ни в коей мере не отдать его по твердой цене. Так, спрашивается, кто же кого ущемляет? Поэтому надо еще поразмыслить, порассудить: кто кого ненавидит, кто кому мстит, с чего классовая борьба начинается?

Другие законы диалектики Гурлева, очевидно, не тронули, показались мало связанными с текущей жизнью, и он обошел их молчанием.

Кончив жатву, отработав вместе с Ульяной целую неделю, не разгибая спины, Гурлев снова вернулся к своим партийным делам: на общественном гумне провел сходку, договорился с мужиками — какая семья и в каком числе придет на молотьбу, кто даст лошадей, кто доставит грабли и вилы, а затем отвел места возле тока под скирды. Все это было нужно, чтобы не случилось разногласий и ссор. А потом еще весь вечер, даже не сходив домой поужинать, мыкался вместе с Федотом Бабкиным, пытаясь рассудить старика Меркулова со снохой Маврой, которая не могла угодить прихотям свекра. Занимаясь в читальне подшивкой газет в комплекты, Чекан от слова до слова слышал, о чем шумел в канцелярии сельсовета въедливый старикан. «Ну, изгонишь ты сына и сноху из дома,— уговаривал его Павел Иванович,— порушишь хозяйство. Сам по старости лет ни во дворе, ни на пашне не управишься. Помирись. Уступи!» Мер-

кулов озлобленно стоял на своем: «А мне так и этак худо! Чо я иделаю, коли дурака вырастил? Иной бы сын бабу со двора спровадил, чем отца-то в домовину вгонять!»

Вышел оттуда Гурлев распаренный, с досадой плюнул на пол.

— Во, язва какая! Кругом же неправ, а признавать ничего не желает!

— Зря ты с ним валандаешься, Павел Иваныч,— заметил Чекан.— Посоветуй обратиться в суд.

— Суд сознание ему не разбудит!

— Но если ты станешь разбираться с каждым пустяком, то на что-нибудь более важное силы не хватит.

— Для меня пустяков нету,— резковато бросил Гурлев.— Люди с их заботами и нуждой во всяком виде мне близкие. Какой путь ни возьми, тот и ведет к ним. Значит, нету ни у меня, ни у других наших партейцев надобности отказываться и отклоняться даже от малого пустяка, вплоть до неурядицы у Меркуловых оттого, что если человек ко мне явился, то обязан я с ним разобраться, разделить беду, тогда останусь ему другом-товарищем, а в ином случае буду ему чужим. С того я и не меряю: сколь меня полагается на одно дело, сколь на другое. Вот ежели Согрин придет, с тем я еще подумаю, как говорить, о чем, потому что мы с ним разные, он на одном берегу стоит, а я на другом, и меж нами душевности никак быть не может...

Отдохнув в читальне, он ушел снова в канцелярию сельсовета, и уже через минуту послышался его сдержанный голос: «Чем тебе Мавра плохая сноха? Не заедай молодым их век!»

Вдалеке за озером над темной каймой лесов таяла последняя полоска заката. Низко, почти над крышей дома, промелькнула, свистя крыльями, пара диких уток. В улице тишина, темнота глухая. На крыльце от безделья дымили самосадом дед Савел Половнин, Аким Окурыш, назначенный к ночи дежурным Парфен Томин и мужик из Середней улицы Михайло Сурков. В стороне от них стояла Мавра, дожидаясь, пока решится ее участь. Дед Савел, охочий до сказов, говорил им о каком-то Маммоне, злом боге богатых, что отымает у мужика всякие радости. Речь его была неторопливая, плавная, чтобы слушатели успели каждое слово обмозговать, порядком уложить в свой ум, вникнуть в смысл. Чекан не застал начала сказа, не слышал, какие подлости делал этот злой бог, а когда вышел на крыльцо и присел тут же на ступеньке, Савел заканчивал:

— Изыди из нашей избы, Маммон! Нету тебе места ни

на полатях, ни на печи, ни в переднем углу, ни на лавке, ни под лавкой, ни в голбце, ни в сенях, ни в пригоне, ни в стаюшке, нету тебе места ни в огороде, ни в поле, ни на гумне — нигде нету тебе места, проклятому! Не покорюся тебе! А коли моя правая рука окстится на тебя, злого бога, то пусть отсохнет, коли спина согнется перед тобой, то пусть сгорбатится!

С каждым заклятьем Аким Окурыш ахал от восторга, а Михайло Сурков вдруг вскочил с крыльца, бегом кинулся к лестнице пожарной вышки и громко крикнул оттуда:

— Беда, мужики! Чьи-то суслоны горят!

За озером, там, где погасла заря, вспыхнуло сначала с десяток костров, потом показалось их больше, словно кто-то в неистовстве поджигал темноту. Чекану стало не по себе: это не могло случиться без умысла, как выстрел из-за угла. «Еще надо рассудить, кто кого ущемляет? — вспомнил он слова Гурлева.— Кто кому мстит?»

Парфен Томин зауздал двух коней, которые постоянно содержались в пожарном сарае. Гурлев и Бабкин сели на них верхами и наметом умчались к месту пожаров.

7

Суслоны, сложенные из снопов сжатой пшеницы, сгорели на поле середняков Чиликиных, в заозерье. Дня через три, и все там же, огнем был уничтожен урожай на поле братьев Томиных, беспартийного члена сельсовета Евдокима Неверова и бедняка Данилы Вдовина. А в ночь под воскресенье поджоги начались неподалеку от Межевой дубравы. Затем оказался погорельцем и Прокопий Согрин. У него сгорели суслоны на четырех десятинах, что, по прикидкам мужиков, составляло самое малое триста пудов зерна.

Он пришел утром в сельский Совет весь пропахший дымом и принес обгорелый сноп. Положил его на стол Бабкину.

— Это что ж такое, граждане, сотворяется у нас в Малом Броде? Сколь трудов пропало зазря!

— Может,ссорился с кем-то? — спросил Бабкин.

— Господи боже! — огорчился Согрин.— Живу тихо. Слова лишнего никому не говаривал.

— Постарайся припомнить.

— Со своим братом, с лишенцами, мне делить нечего, окромя неприятностей...

— Значит, на бедноту полагаешь?

— Думаю, кто-то из зависти либо со зла...

Гурлев сначала молча смотрел на него, не вмешивался, а при последних словах Согрина, отбросив горелый сноп со стола, зычно предупредил:

— Не смей на бедноту тень наводить! Не позволю! Кто знает, каким пóтом ему хлеб достается, тот и на чужой хлеб руки не подымет!

— Ну зачем так громко,— отступая и подбирая с пола сноп, скривился Согрин.— Я же ни на кого не указываю. Но ведь подобру никто спичку под суслон-то не сунет. И пришел я сюда не за тем, чтобы виновников каких-то сыскать. Разве найдешь их, коли следов не оставлено! Прошу удостоверить, однако, что с тех погорелых четырех десятин урожая ни зерна не осталось, и потому план сдачи хлебных излишков придется с меня скостить.

— Посмотрим, когда весь умолот соберешь,— пообещал Бабкин.— А пока лишь составим акт о пожаре.

— Несправедливо выходит так, граждане! Я, конечно, сдачу излишков зерна не задержу, а прямо с гумна все вывезу в казенный амбар. Берите на здоровье, сколь на то моей возможности хватит. Но сгоревшее зерно уже не вернуть. Да и как знать, может, и остальной мой урожай кто-то спалит, пока молотить соберусь. Не могу же я сам стоять у каждого суслона, оберегать его...

— Что-то никак не верится твоему заявлению, Прокопий Екимыч,— перебил его Гурлев.— Уж очень усердствуешь! Вот и сноп этот приволок сюда. А зачем? Какая в том цель? То ли мы своими глазами не видели твое обгорелое поле! Так не сам ли ты озоруешь?

— С тем же успехом я и про тебя могу сказать, Павел Иваныч,— не смутился Согрин.— А не скажу. Ни тебе, ни мне доказать нечем.

Сноп он унес к себе домой и подвесил на столб у ворот. Сделал так неспроста. Из окна горницы было видно, как прохожие мужики и бабы в страхе шарахались и суеверно крестились, чтобы их не постигло такое же горе. «Не мытьем, так катаньем, а своей цели достигну,— злорадно думал Согрин.— Обождите, еще не то испытаете!» Не жалеючи, не страдая, он спалил бы огнем все, что взросло на полях,— такой в нем иногда подымался гнев, но усмирял себя, не позволял сделать хотя бы один опрометчивый шаг. Потому и бродягу Барышева отослал поначалу в город, дал отсидеться там и немного подправиться, покуда не заглох в Малом Броде разговор о происшествии во дворе Савела Половнина. А поступил тогда верно. Гурлев и Бабкин в то

утро посылали по дворам своих людей, искали «чужого человека, побывавшего ночью в селе», однако их хлопоты оказались пустыми. И еще тогда же, обдумав, как использовать Барышева, но самому при том остаться в тени, не навлекать на себя внимание партийцев, решил привлечь к делу Евтея Лукича Окунева, из среды богатых хозяев самого отчаянного, притом самого увертливого и готового на любой поступок. И не ошибся в нем. Позднее, когда подступила жатва, Евтей съездил на подводе в город, неприметно привез Барышева и безотказно передавал тому все поручения Согрина.

Только очень мало побыл горелый сноп на столбе у ворот. Пришел Бабкин и велел его снять: «Немедля убери это пугало! Не смущай народ! Не думай, что поверье обережет от огня!» Затем в тот же день посыльный Аким Окурыш разнес по селу приказ сельсовета, чтобы сами мужики охраняли свои поля. Приехали из Калмацкого в помощь участковому милиционеру еще двое, в штатском. На общественном гумне Гурлев поставил сторожей, на ночь отряжал в леса вооруженных берданами комсомольцев.

Почуяв большую опасность, Согрин сразу же кинулся к Окуневу, но того, как на грех, дома не было, и потому нужда заставила самому поспешать...

Барышев скрывался в овраге на берегу Течи под видом рыболова. Это место выбрал для него мельник Петро Евдокеич, давний заединщик Окунева, мужик нрава крутого, но надежный и не трусливый.

Правобережный овраг у подножья меловой горы река огибала крутой подковой. От берега до пологой вершины здесь густо росли березы, ольха и черноталы, увитые хмелем, а сам берег обрывался у глубокого омута и пользовался худой славой. Хоть и водилась тут рыба, даже налимы, никто из жителей ближних деревень не решался заниматься их промыслом.

Днем Барышев ставил жерлицы на щук и отсыпался в дерновом балаганчике, устроенном поодаль от реки. Ночью уходил на разбой верст за десять отсюда, по волчьему правилу: возле логова никого не трогать!

Весь путь от Малого Брода до реки Согрин ехал верхом, без седла, подложив под себя кошомку. Сторожко ехал, минуя дороги, по березовым колкам и опушкам. Еще в распадке, уже у реки, прежде чем оставить коня и пешком перебраться по мелководью на правый берег, постоял, прислушиваясь и оглядываясь по сторонам. На песчаной отмели суетливо бегала трясогузка, а река тихо плескалась в

осоке, где кормился утиный выводок. Ласково ворковал голубь-витютень. Звенела крыльями зеленая стрекоза. На том берегу, у оврага, под высокой ольхой стояли подряд три жерлицы.

Барышев сидел у балаганчика, подбирая сучком березы еле тлеющие на костре угольки.

— А я тебя сыздаля узнал, Прокопий Екимыч,— сказал он, вяло подымаясь и здороваясь.— Сам пожаловал. Значит, случилось неладное?

— Ты думаешь, поди-ко, народ примет беду безропотно,— ответил Согрин.— У него хлеба горят, а он станет сидеть и моргать глазами! Таких дураков теперича нету! Да и не шибко управный ты! Я же велел сжечь все суслоны у меня на полях с десяти десятин, а ты с краю прихватил несчастных четыре десятины и тем ограничился. Пошто так?

Барышев повел плечами, пробормотал:

— Евтей Лукич передавал мне, да посумлевался я. Не ошибся ли он? Конечно, для отвода подозрений суслоны надо было пожечь, да ведь не все же! Жалко стало экую прорву хлеба сничтожить!

— Твоя ли это забота? — резко спросил Согрин.— Раз хозяин велит, так лишнего рассуждать не следовало. То ли я весь хлеб в поле спалю, то ли заставят его сдать как излишки в казенный амбар по дешевке, для меня-то одинаково убыток. Вот иные хозяева прячут излишний хлеб в ямы, гноят его там, переживают всякий раз, если комиссия от сельсовета во двор является. Яму найдут — конфузу-то сколько! Еще и судом станут судить. Я поступаю проще: не прячу! Что хлебушку-то в яме гнить, что сразу в поле сгореть,— один конец, зато если сожрет его огонь, то с меня спросу нету. А тебе, видишь ли, еще и рассуждение понадобилось! Нет уж, Павел Афанасьич, я не люблю, когда мне перечат!

Барышев опять присел к потухающему костру, достал из золы испеченную картошку, покатал в ладонях.

— Припасы у меня кончились, Прокопий Екимыч! И одежа сносилася! А ночи стали студеные.

Согрин и сам видел — не удалый молодец перед ним. Сотня рублей, брошенная при первой встрече, впрок не пошла. Снова обношенный, с выпуклой куриной грудью, остро пропахший потом и дымом, бродяга этот уже давно бы, наверно, подох, если бы не подогревала его жажда мщения.

— Сегодня уйдешь отсель! — сказал ему.— Придется снова на время исчезнуть.

— Без денег никуда не пойду,— решительно заявил Барышев.— Заробить их негде в моем положении. Надо жрать, надо за квартиру платить и надо все же сменить одежу.

Согрин достал из бумажника новую сотню, Барышев принял, но не двинулся с места.

— Еще давай!

— Хватит. Деньги-то я сам не печатаю. Поживешь скромнее.

У него в бумажнике лежали еще три сотенных бумажки, а отдать их раздумал: дать сразу много, значит, поводок ослабить! Погуляет Барышев на длинном поводке, по своей вольной воле, да и махнет обратно в Сибирь, за темные леса, за высокие горы, а не то пьяным напьется и все разболтает.

— Скромнее поживешь,— повторил Согрин.— И засиживаться тебе не дадим. Вот поутихнет народ, милиция из села уберется, так к молотьбе, дай бог, ты снова понадобишься!

Барышев, обжигая губы, жадно сглотал печеные картофелины, сбросил с ладоней обгорелую кожуру и запил еду из фляжки речной водой.

— Я могу любую нужду стерпеть, Прокопий Екимыч, но не ради мелкоты! Бегать-то по ночам и поджигать суслоны — это ребячье занятие. Уж коли рисковать, то было бы за что!

— Всему свое время,— обнадежил Согрин.

— Дозволь хоть с моей бабой расправиться!

— И думать не смей! Теперич ты невидимка, никому невдомек, что ты живой тут где-то поблизости, а из-за бабы себя откроешь. Не торопись с ней! Не так уж она и виновата перед тобой. Сам ты весточки не подавал. А как же ей в домашности без мужика обходиться?

— Другие обходятся.

— На подножном корму пробавляются,— осклабился Согрин.— Твоя-то хоть не вольничает, а сошлась и живет. Но ты и на ее полюбовника не вздумай руки поднять!

Тут он нахмурил брови, пригрозил пальцем.

— Небось он тебе родня? — так же мрачно спросил Барышев.

— Насчет его у меня отдельный план! Оторвался ты, Павел Афанасьич, от земли и от жизни. Вот и не суйся в воду, не зная броду. Пропадешь!

Обречен он был, этот Барышев, самой судьбой. Как покойник. На его лице не осталось уже ни одной живинки:

землистые впалые щеки, бескровные губы.

Согрин отворотился, брезгливо сплюнул.

Страх терзал Барышева многие годы. В этакой большой стране не находилось жалкому бродяге места, где бы он хоть на время забылся. Прокопий Екимович потому и доверился ему, что Барышев уже не принадлежал себе. Все пути к покаянию, к честной жизни для него были закрыты навечно. Он мог рассчитывать лишь на смерть. А боялся ее. Так обернулась ему погоня за славой. Хотел от Колчака нахватать наград, разжиться награбленным, забогатеть, а схватил людское проклятие. Совсем случайно узнал об этом Прокопий Екимович. Однажды в городе на базаре покупал селедку, а на обертку попала газета за девятнадцатый год, с описанием расправы колчаковской контрразведки с партизанами и красными солдатами, попавшими в плен. Черным по белому было написано, как Павел Барышев командовал их расстрелом. Ну, и прибрал Прокопий Екимович эту газетку, сохранил, а она и пригодилась впоследствии. Все село числило Барышева давным-давно в мертвых, но он в прошлом году вдруг прислал письмецо своей дальней родственнице Зинаиде, в село Калмацкое, от которой оно перешло к Прокопию Екимовичу.

Дождался он, пока Барышев наладился в путь, и проводил его по правобережью. Там пролегала малолюдная дорога на Калмацкое и уж никак не мог встретиться кто-нибудь из малобродских мужиков.

— С богом, с богом ступай! — сказал ему на прощанье.— И чтоб никакой своей воли...

Это сама жизнь научила — быть невидимкой и все делать невидимо. Проклял бы ее Согрин, но она ведь не шапка, что взял да сменил на новую.

Эту же мысль высказал потом и Евтею Лукичу, когда тот спросил, куда подевался Барышев.

— Не прежнее время теперь, чтобы себя-то выказывать. Попадешься — никакой деньгой не откупишься! И по своему желанию жизнь не построишь. Если уж рисковать и цель свою соблюдать, то в надежности, что на крючок не поймаешься. По моему разумению, в любой драке, коли не хочешь битым быть, завсегда надо поступать разумно, не торопясь и с расчетом. Один раз вдарь, но со всей силой, а потом отойди на время, выжди момент. И снова со всей силой вдарь по больному месту. Вот потому я Пашку-то Барышева отослал покуда и тебе, Евтей Лукич, велю: спрячь свои коготки, не пытайся кого-нибудь поцарапать, наберись терпения до молотьбы.

И сам терпеливо ждал, пока мужики возили с полей снопы, укладывали в гумнах скирды. Однако опасность не миновала и пустить по гумнам «красного петуха», как намечал, не пришлось...

8

Осень еще не торопилась уйти с Зауралья, хотя подгоняли ее резкие холодные ветры.

Пока шла молотьба, дни стояли погожие, неяркое солнце в затишках пригревало. Затем молодая раззолоченная осень, такая веселая и величаво прекрасная, вдруг как-то сразу поникла, постарела и покинула неуютное место.

После затяжного ненастья замело, запорошило повсюду листопадом, потом белым пушистым снегом. Озеро долго не застывало. От берега к берегу хлестались по нему темные волны,закипали буруны, выбрасывая ледяную шугу на песок, забивая подходы к плоткам. Чаще стали налетать порывы бури. Ветер завывал на застывших, обезлюдевших улицах. За ним, подметая сугробы, мчалась поземка. На окна домов и избенок льняным кружевьем ложились морозные узоры. А по Первой улице бродил дурачок Тереша и, стукая палкой о мерзлую землю, выкрикивал:

— Татьяна поймала таракана! Дождь будет, град будет, стужа будет! Хо-о-олодно!

Был он громадный телом, страшен на вид. Слепые глаза без зрачков, словно повернутые назад, тупо смотрели из-под обвисших мохнатых бровей. Лицо в рыжей клочковатой бороде казалось плоским, как на иконе. Он носил одну посконную рубаху ниже колен, раскрытую на задубелой до черноты могучей груди, а когда шел по улице мимо окон и палисадников, даже собаки поджимали хвосты и прятались в подворотни.

— Хо-о-олодно! — гудел Тереша, шлепая по мерзлой земле босыми ступнями.

В ночь под Новый, двадцать девятый, год началась беспросветная пурга. Снегом засыпало улицы. Землянухи и избенки бедноты закрыло сугробами, печные трубы курились над ними, как тлеющие гнилые пни. Под утро небо прояснилось, вызвездило, и снова ударил мороз.

В эту ночь дурачок Тереша заблудился в переулке и, привалившись к бане Степана Синицына, замерз. Его нашли, когда развиднелось, затащили в холодные сенцы, долго оттирали шерстяными варежками, хотя в окоченелом теле не оставалось ни одной живой искры.

Никто в Малом Броде не верил, будто Тереша не выдюжил холода. За свои сорок лет он ходил зиму и лето в домотканой одежде, босиком, без шапки и не знавал простуд.

Провожала его на кладбище большая толпа, как святого угодника; весь путь, пока его несли на руках, печально звонил пономарь в похоронный колокол.

Прокопий Согрин не надевал шапку до кладбища, выказывая Тереше почтение. Прежде во двор его не пускал, а сейчас вроде бы каялся и замаливал грех. За свой счет поставил на могиле оградку, подал семье десять рублей на поминки.

Тут же, в ожидании выпивки на поминках, крутился Егор Горбунов. Презирал его Согрин за пустозвонство, за леность и глупость. Даже подшить подметки на свои валенки не собрался Егор, из дыр торчат грязные онучи, подметают снег, а его самого, в латаной-перелатаной шубенке пробивает дрожь. Только надобность пустить по ветру с брехливого языка Егора молву заставила к нему подойти, поздороваться за руку.

Преодолевая брезгливость, Согрин сказал:

— Вот так-то, Егор: сколь человек мал перед темными силами!

Тот испуганно обернулся.

— Эт как понимать, Прокопий Екимыч?

— Мал, говорю, человек-то! Был у нас в селе один праведник, и того лишились. А пошто? Неверия много. Когда церква горела, слышен был на площади чей-то крик: «Знамение божие!». Но если вздумать: какое знамение? К чему? По какой причине? Тот крик мы все мимо ушей пропустили. Да выходит зря! Люди сказывают, Тереша-то погинул не попросту, а явилось ему видение...

И поползло по Малому Броду, будто поразил Терешу антихрист. Опять страх забрался в избы, всколыхнул суеверия, насторожил людей.

Однажды утром на домах и избенках, на воротах и ставнях появились нарисованные белой глиной кресты. У богачей Саломатовых, замкнутых, ни с кем не водивших дружбы, помимо крестов, над кладовой блистала позолотой икона. «Значит, еще что-то новое появилось,— подумал Чекан на пути в читальню.— И, по-видимому, не маловажное!»

Час был ранний, мороз обжигал лицо, на улице ни единой души. Что произошло — спросить не у кого.

Чекан прошел дальше по околотку. Здесь в одиночестве

стоял у своей дряхлой избы Иван Добрынин и, приложив ладонь к бровям, всматривался куда-то в глубину неба. В руках он держал кусок белой глины, весь темный фасад избенки был разрисован крестами, похожими на большие куриные следы. Одолевали мужика какие-то мысли, весь он находился в таком трепетном ожидании, что даже не услышал скрипа сапог избача по твердому снежному насту и вздрогнул, когда Чекан тронул его за плечо.

— Что там увидел?

— А вечор-то являлось видение народу,— торопливо ответил Иван.— При заходе солнышка, под самыми облаками летело. И красное все!

— Так это ж не чудо! — засмеялся Чекан.— Самолет летел в сторону города Свердловска. А красным он казался от вечерней зари.

— Поди-ко, знай! — явно сомневаясь, произнес Иван.— А как, то исть, он туда мог взлететь? Люди вечор баяли, это-де, может, птица незнаемая, а может, того...

Он замялся и сконфузился.

— Да ты договаривай,— одобрил Чекан.— Не чужой ведь я!

— ...Так сказывают люди, может, того... это самое. В том образе сам антихрист себя оказал? И в ночь-то могло быть крушение. Но, слава богу, ночь прошла без сумлениев, а что сотворится сегодня, поди-ко, знай! Никому, выходит, верить нельзя!

— Нам, партийцам, ты веришь?

— Я, может, верю,— осторожно сказал он, опять поглядев на небо.— Но, промежду прочим, люди сказывают, тоже кругом обман. Партейцы-де соблазнят и завлекут во всякое место, да потом опутают и продыху не дадут. Вот завлекли робить сообща на гумно. В ликбез агитировают: учитесь-де писать и читать! Опять же в потребиловку тянут: вступай в члены, станешь получать давидент! Вот этак-де приучат табуном жить, намажут по губам-то маслом, да и загонят в коммуну. Значит, с бабами спать сообща, исть из одного котла, из одежи — одну шубу на троих! Эт как же так получается?

— А ты сказкам веришь?

— Бают меж собой граждане,— уклонился Добрынин.— А мне что: как все, так и я! Живу-то на усторонье, да хвораю. И отделяться от всех не с руки.

Ветром и снегом стирало белые кресты, ребятишки безнаказанно дорисовывали к ним хвостики и кружки, а молва еще бродила по закоулкам, когда запоем запил и загулял

пимокат Софрон Голубев. Две недели подряд, почти не смолкая, маялся Софрон то печальными, то дикими песнями, а потом стал плакать и кричать о том, что он потерял в себе человека. Пачку бумажных денег, заработанных тяжким трудом, порвал и разбросал по сугробам:

— Вот он бесовский дурман! Кыш! Кыш отсюда, проклятые!

В избе побил горшки и крынки, пимокатную струну и колодки изрубил топором. Потом ввел в избу своего серого мерина, поставил перед ним ведро с самогоном и стал поить.

— Подари мне свою душу, друг, она у тебя чистая. Пусто у меня теперича тут! — И колотил себя кулаком в грудь.— Слышь, как гудит там? А как жить без души? Для чего?

На другой день, пьяно шатаясь, пошел по дворам, стучал палкой в окна, низко кланялся и просил:

— Отдайте душу!

Никто его не понимал: с пьяных-де глаз дурит мужик. Со смехом, как ряженому на масленице, выносили шаньги, витую сдобу, но Софрон кидал их обратно.

— Добра прошу! Темно без души!

Долго и настойчиво стучал в дом Согрина. Наконец тот вышел, обругал пьяницей и загнул перед его носом кукиш.

В тот же день Голубев поджег пимокатню. Построенная в огороде, поодаль от двора, бревенчатая избенка, где он три года, не разгибаясь, не выходя на свет, как проклятый зарабатывал деньги, загорелась не сразу. Столб густого дыма высоко взвился в ясное дневное небо. В рваной, прокопченной рубахе, обросший волосьями, на виду у сбежавшейся толпы Софрон кинулся внутрь и закрыл за собой дверь.

И сгорел бы. И снова покатилась бы по селу молва, на этот раз не о каком-то незримом «антихристе», а вполне определенная: сам Софрон сказал, что променял душу бесам, значит, есть они и подстерегают всякого, кто в мечтаниях своих грешит.

Гурлев ударил в дверь пимокатни плечом, сорвал ее с крюка и в сплошном дыму перешагнул порог. На помощь ему бросились Никифор Шишкин и еще трое мужиков, лица которых Чекан не успел рассмотреть.

Пламя уже лизало стены и лезло под застреху крыши. Рано постаревшая женщина, испуганная, простоволосая, очевидно, жена Голубева, заголосила и упала на сугроб в беспамятстве.

Вытащили его из избенки ногами вперед. Он вырывался,

наглотавшись дыма, кашлял. Борода и космы на голове были в подпалинах.

— С ума сошел, дрянь! — обругал его Гурлев, сунув лицом в снег.— Обожди, я тебе душу на место поставлю!

Тут он Софрона не тронул, зато в избе отвесил затрещину. Тот пялился осовелыми глазами, гнулся, сидя на лавке, а после затрещины протрезвел.

— За что ты меня так, Павел Иваныч?

— Это тебе лекарство, чтобы в разум взошел!

— На том благодарствую,— без обиды ответил Софрон.— Погинул бы я и семью в сиротстве оставил. А все через дурость. Сгорела поди пимокатня?

— Отстояли.

— Лучше бы сгорела совсем.

— Ты на нее не пеняй, коли сам свихнулся. А еще звался бывалым солдатом! За мать-Родину воевал! Чего тебя к Согрину понесло?

— Не знаю,— мотнул головой Софрон.— Значит, больше всего обиды поимел на него. Деньги, кои он платил за работу, казались нечистыми. Возьму в руки — пальцы жгут! Отчего?

— Спьяну, наверно, поблазнило. А деньги везде как деньги! Не сам Согрин. У него добром-то поганого веника не допросишься! И не надо было их рвать и топтать. Отдал бы Добрынину, коли самому не нужно.

— Такие деньги нельзя добрым людям давать. Зло ведь. Кто я теперича из-за них? Не человек. Страшно на себя посмотреть. Все здоровье, весь белый свет потерял за ради каких-то бумажек.

— Нажиться хотел? — спросил Гурлев.

— Да хоть из бедности выбиться. Надоела нужда, и возмечтал я о лучшей жизни. Во сне стало видеться: живу в крестовом доме, три горницы у меня, чистые половики настланы, занавески на окнах, цветки в горшках, а в конюшне сытые кони; и баба-то моя отмыта от черноты, в новом сарафане, и детишки причесаны, прибраны. Проснуся, гляну вокруг — ничего нету, голые стены. И стал думать: воевал за хорошую жизню, но где же она, пошто мой двор обегает? С того и решил: надо самому выбираться! Жилы себе порву, а скоплю денег и построю крестовый дом. И жадность меня обуяла. Посчитаю деньги — мало! Надо еще добывать.

— В кулачество податься хотел? — зло сказал Гурлев.— За что воевал, то забыл!

— Ну, какой из меня кулак,— облегченно выдохнул

Голубев.— Уж ты, Павел Иваныч, зря не греши! Просто хотелось по мужицкому состоянию быть не последним. Да ведь и не зачудил бы я, а это баушка Марфа Петровна меня с толку-то сбила. Я ей пимы недавно свалял. Пришла она за ними и давай-ко мне выкладывать всякую всячину. За три года я ведь, окромя полатей в избе да пимокатни, нигде не бывал, даже с суседями не обмолвился словом. Посплю, поем и опять в свою темницу. А тут, как начала баушка Марфа языком-то чесать, уши навострил: неладно что-то в миру! Вот-де знамение и видение было, начнутся громы большие, пронзит землю огонь и опалит ее, даже дурная трава не станет расти, а люди повсюду святые кресты обозначили. Неужто, думаю, опять война началася? Не догадался, однако, спросить баушку: зачем, мол, в таком разе ты, Марфа Петровна, пимы себе новые справила? Да и свою же бабу не поспрошал. Выглянул со двора в улицу: верно, на окошках и на воротах у суседей кресты. И сразу ударила мне в башку-то печаль. Зазря, значит, столько годов робил день и ночь! Без пользы для себя и семейства. Вынул из кошеля деньги — вот и весь мой труд в этой бумаге! А в душе пусто, как в старом амбаре. Потом еще вспомнил: ведь на своем поле давным-давно не бывал, уж не знаю, с коей стороны от двора солнышко всходит и заходит. Баба моя состарилась от нужды. Детишки разуты и раздеты, на голой печи сидят. Глянул на себя в зеркало — видом страшнее дурачка Тереши!

Он нагнул голову ниже, чтобы не заметил Гурлев повлажневшие глаза.

— С того и задурил? — сочувственно спросил тот.

— Дальше соображения не стало. Как туманом сознание окутало. Ну, а про войну-то, Павел Иваныч, или чего иное случилося, верно ли?

— Больше старух слушай, так скорее разум-то совсем потеряешь! Давай постриги бороду и башку ножницами да помойся в бане и приходи к нам в Совет, сам разберешься.

Такое у Гурлева было правило: провинился, так найди в себе силы, поправься. Мужик ведь ты!

— А с баушкой Марфой Петровной, с чертовкой, я сегодня же потолкую,— грозно пообещал он, попрощавшись с Софроном.

Тот невидимый, неуловимый враг, которого он искал, чтобы пресечь молву, вдруг оказался перед ним в образе этой болтливой старухи.

Акиму Окурышу было приказано доставить ее в сельсовет в любом виде, хотя бы связанную по рукам и ногам.

Однако Марфа Петровна, оказавшаяся сложения тонкого и живучего, не заставила себя долго ждать. Растолкав мужиков, по обыкновению с делом и без дела коротающих дни в сельсовете, она прорвалась за перегородку, где сидели за столами Гурлев и Федот Бабкин.

— Ну, явилася сюда! Чего меня требовали?

— Обожди, баушка! — по праву председателя приказал ей Федот.— Отдохни покуда на лавке. Мы сейчас меж собой разговор кончим.

— Мне ждать недосуг! Я тесто в латке оставила!

— Ты уж и так довольно настряпала,— без почтения к ее возрасту сказал Гурлев.— Какая охотливая! Поди-ко, даже сорока столь не трещит языком, мельница столь жерновами не мелет, ветер столь пыли не подымает!

— Ох, батюшки! — всплеснула руками Марфа Петровна.— Неужто Варвара Мефодьевна на меня оговор сделала?

— Сама ты хуже Варвары! Ну-ко, при всем народе, коли совесть еще не потеряла, признайся: на каком основании морочила Софрона?

— Как слышала, так и передала ему, от себя нисколечко не добавила.

— А от кого слышала?

— Да от той же Варвары Мефодьевны!

Вскоре Аким Окурыш привел и Варвару Мефодьевну, костлявую, скуластую, похожую на заморенную лошадь.

— Не грешна! — ответила она грубым голосом.— Слышала сказ от Анфисы Герасимовны...

Боязливая, набожная старуха Анфиса сослалась на соседку Пелагею Григорьевну, а приконвоированная Окурышем рябая, курносая, обсыпанная зеленым нюхательным табаком Пелагея Григорьевна назвала разведенку Ефимью, бабу лет тридцати, известную тем, что ни один муж не мог с ней ужиться.

Гурлев встал из-за стола, медленно прошелся вдоль лавки, где рядком сидели виновницы, начиная с Марфы Петровны, затем устало сказал:

— Анафемы! Хоть бы черти поотшибали вам языки! Зря только время тратим на вас!

И Прокопий Согрин тоже признал, что напрасно старался: ничего путного не дала молва. Как сырую солому поджег. Подымило, покоптило, да на том и заглохло. А после того, как старухи побывали в сельсовете на допросе у Гурлева, насмешили людей, даже запечные старики перестали верить смутному слову.

Поздним вечером долго сидел Согрин у себя в горнице, смотрел в окно, мрачный и недоступный. Лампу зажигать не велел. Аграфена Митревна говорила на кухне с Ксенией вполголоса, ступала по полу тихо.

На гребне крыши сельсовета бился под ветром флаг. В освещенных окнах двигались чьи-то темные тени.

Ох, как близок локоть, но его не укусишь!

Согрин стукнул кулаком по подоконнику и нечаянно сбросил на пол горшок с любимой геранью. Земля рассыпалась, цветок сломался...

9

Потом эта герань приснилась во сне. Берег ее, холил, а она вся покрылась острыми шипами и вместо белых бутонов выбросила мохнатые шапки чертополоха. Такая досада взяла, хотел растоптать ногами, но колючки стали цепляться, ранить и жечь. Проснулся в поту, рубаха прилипла к телу. Аграфена Митревна в плечо пальцем колотит:

— Прокопий Екимыч, что с тобой? Приди в себя...

Подумал тогда: не к добру такой сон. Но намерения своего не отменил. Нельзя было пропускать удобного случая. Бездельничал Барышев, зря жрал даровую еду.

Еще накануне, проходя мимо казенных амбаров, приметил Согрин: готовится к отправке в город очередной обоз с хлебом. Да притом не простой, а праздничный, с красным лозунгом «Наш хлеб государству!» Аж сердце защемило от боли: «Чей это «наш»? Из чьих закромов взят? Ведь Гурлев твердо проводит политику, сверху указанную: с бедняка ничего, с середняка умеренно, с кулака много! Так выходит: взял чужое, а выдает за свое. Ну, пусть же увидит, что хлеб не достанется ни ему, ни нам! Никому!» Оттого и поспешил сразу к Евтею Лукичу, велел немедля же дать знать Барышеву, чтобы тот загодя выбрал на пути место, где повстречаться...

Это был действительно обоз праздничный, «концевой», как назвал его Гурлев. Много трудов положили партийцы, чтобы его собрать. Середняки еще осенью, сразу после молотьбы сдали излишки хлеба кооперации, зато кулачество крепко-накрепко припрятало их и не поддавалось ни уговорам, ни добрым советам выполнить свой гражданский долг. Закон требовал добровольности. Чтобы соблюсти ее, не давать кулакам повода порочить советскую власть, партийцы терпеливо проводили дни и ночи в комиссиях по заготовкам.

— Как из полной бочки чайной ложкой воду берем,— сказал однажды дед Савел Половнин, назначенный в комиссию Краянского околотка вместе с Чеканом.

Тут, в этом околотке, что ни двор, то крепость: крестовые и пятистенные дома, глухие тесовые ворота, каменные кладовухи, в оградах злющие цепные псы. Их хозяева на вид покорные, даже вежливые, но попробуй-ка сломи!

— Нету у меня никаких лишков! — ответил Чекану богач Саломатов.— Сколько смог, сдал, осталося зерно только на семена, на пропитание семьи да на фураж скоту. Уж на крайний случай, коль такая нужда у советской власти, могу ей пожертвовать пуда два...

С него, по расчетам, надо еще двести пудов, а он два пуда обещает и то как подаяние. Но издевается, не моргая, не ухмыляясь, голосом тихим.

Евтей Окунев во время беседы сказал Чекану с еще большей издевкой:

— На сдачу в казенный амбар у меня ничего не приготовлено, хоть сам мои амбары оследуй, но лично тебе, гражданин избач, могу из милости калачик подать...

Две ночи отсидел на лавке перед Чеканом и дедом Савелом кержак Казанцев. Отворачивал нос от табачного дыма, морщился, вздергивал бородой. Табачище было для него хуже любого наказания, но выдержал, ни зернышка не уступил. Был он крепко уверен: спрятанный хлеб не найти!

— А все же надо искать скрытые ямы и погреба,— посоветовал Гурлев, когда стало ясно, что добровольным путем ничего не добиться.— Те пятьсот пудов, которые мы должны еще сдать государству, по крохам-то до конца зимы не выпросить. На особо злостных, вроде Казанцева, придется составлять протоколы и проводить у них обыски, иного выхода нет. Коль найдем, пусть на нас не пеняют...

Так и собрали обоз: у Казанцева в поле откопали яму, где, как у хомяка в норе, было свалено полтораста пудов зерна, уже тронутого гнилью от сырости; у Саломатовых нашли кладовую под баней; у Данилы Аббакумова в малой избе оказался двойной пол, и лежало там триста пудов отборной пшеницы. Сельский совет оштрафовал Казанцева за порчу хлеба, а зерно, взятое из тайников Саломатова и Аббакумова, вывезли в казенный амбар.

— Ну, вот и все понятно теперь,— довольно сказал Гурлев тому и другому, вручив им копии протоколов обыска.— Э-эх вы, хозяева! Какие же из вас граждане получаются, коли и дальше хотите обманом прожить? Перед иконами божились и клялись, будто нету лишков, а на поверку-то

вышло — совести нету нисколько. Да сами же себя объегорили: денег не получите ни копейки, и вдобавок стыдно будет людям в глаза глядеть.

Оба они промолчали, затем, напряженно выгнув шеи, ушли.

День уже угасал. Надвигались плотные лиловые сумерки, когда хлебный обоз тронулся в путь. Гурлев сам осмотрел возы — надежно ли они упакованы, не сочится ли где-нибудь в прорехе зерно, и сам же укрепил на передней подводе лозунг и красный флаг, а перед отъездом сказал подводчикам короткую речь, какую важную роль они исполняют.

— Этот обоз в нынешнюю зиму последний, концевой, план по заготовкам исполнен в точности, и не остается за нами перед государством задолженности. Так что, смотрите, товарищи мужики, в пути соблюдайте полный порядок...

— Будь надежен, Павел Иваныч,— заверил его назначенный старшим Наум Чиликин.

А поздней ночью прискакал на взмыленной лошади один из подводчиков, Захар Белошаньгин, и поднял тревогу: беда!

Разгром обоза произошел неподалеку от речной старицы, где санный зимник проходит обочиной крутого оврага. Все возы были опрокинуты под откос, полога и мешки исполосованы ножом, и зерно, втоптанное в снег, при тусклом ночном свете казалось пятнами пролитой крови. Четыре коня в упряжи, обломав оглобли, подыхали в сугробе. Возле них, подмятый конем, валялся Наум Чиликин в беспамятстве. Остальные подводчики разбежались в ближнем лесу.

Наум очнулся только под утро у себя в избе, куда его привезли на порожних санях. Ни он, ни другие мужики издали в темноте не разглядели бандита, открывшего стрельбу откуда-то из сугроба.

— Однако не клоните головы, друзья мои и товарищи,— мужественно сказал потом на сходке бедняцкого актива Гурлев.— Беда такая для нас с вами не первая и, наверно, еще не последняя. Кто не хочет в миру жить, кому гребтится беспрестанно зло сотворять, тот пусть помнит, что мы только еще набираем силу в себя. Ух, не сладко придется, коль вдарим!

«Не похваляйся, Гурлев,— мысленно предупредил Согрин, когда из своей ограды услышал его слова.— Не твоя покуда берет. Одним-то ударом со мной не справишься!»

Сходка мужиков собралась у крыльца сельсовета, а Гур-

лев, чтобы далеко было слышно, говорил громко, отрубал слово за словом.

Приоткрыв малые ворота, Согрин кинул туда, на сходку, презрительный взгляд и вдруг встревожился, первое чувство удовлетворения, испытанное от известия о разгроме обоза, враз пропало. Легла на душу горечь: «Все мелко. Ничтожно. Не такое бы сотворить. Чтобы надолго в память запало. И не одному лишь Гурлеву. И не этим вот его заединщикам. А поболее. Покрупнее...» Потом матерно выругался, обозвал Барышева: «Дурак! Все подводчики в целости!»

А горечь так и осталась. Мужики на сходке постановили послать новый обоз. В тот же день рассыпанное в овраге зерно было собрано, провеяно на ветру и на решетах, а группы бедноты снова отправились по богатым дворам и лесным загородкам, тыкали в стога соломы железными щупами, искали тайники. Нюхом, что ли, чуяли, где что лежит: как копнут, так найдут! У Сидора Белоухова открыли закром под печью. У Никиты Филиппова склад под конюшней. Никто бы никогда до него не додумался, очень хитро устроил Никита хранилище, да на одном сплоховал: вывел оттуда в огород небольшую трубу, чтобы зерно не глохло, а мужики приметили, добрались. Так и вышло, что разгром обоза не урон принес, а прибыток. Кроме того, снова в селе появилась милиция. Участковый Уфимцев выезжал с понятыми к старице, собрал дюжину стреляных винтовочных гильз, затем вызывал к себе на допросы всех богатых хозяев, кто хоть сколько-нибудь внушал подозрение. А Согрина и Окунева в первую очередь. Дознавался: где были в ту ночь, не отлучались ли из села, не доносились ли чьи-то угрозы? Потом и батраков с пристрастием спрашивал. Вот тогда, вернувшись с допроса, Согрин решил: «Уж рисковать, так было бы чем! Пора наладить Пашку Барышева на более серьезное дело. Не к чему содержать его вроде цепного пса на привязи и науськивать на людей, чтобы просто кусался. Спущу с цепи, пусть глотки рвет!»

И не послал Барышева громить новый обоз. Но даже если послал бы, то без толку: на передних подводах поехали вооруженные винтовками братья Томины. Осторожен стал Гурлев. Чекан тоже заметил в нем перемену. Гурлев чаще хмурился, оставаясь один, размышлял о чем-то трудном и очень опасном, на что тяжко было решаться. А спросить его постеснялся: мало ли бывает сложностей в личной жизни у каждого! Может, с Ульяной опять нелады. Верил, что Гурлев неспособен скрывать от товарищей ничего, если это касается партийных и общественных дел. Вызывали

сомнения лишь его неожиданно вспыхнувшие споры и ссоры с Кузьмой Холяковым. Оба они удалялись от людей, то на улице, то, закрывшись в отдельной комнате, чего-то друг другу доказывали, но договориться между собой не могли, пока не появился среди них третий — Уфимцев. Был поздний вечер, когда он приехал и, наверно-таки, помирил их, потому что наутро Кузьма уже вел себя опять оживленно и весело, а Гурлев, хоть и мрачнел, в споры с ним не вступал.

«Чего-нибудь у Кузьмы случилось в сельпо,— пытаясь разрешить сомнения,— подумал Чекан.— Или в магазине растрата, или же сам Кузьма в грязь влетел, а Гурлев его по дружбе жалеет».

Иного быть не могло, если сыр-бор горел лишь из-за одного Холякова. Неприязнь к нему, зародившаяся при первом знакомстве, не уменьшалась, но Чекан положился на будущее — со временем все прояснится, тем более, что чувствовалось назревание в жизни села какой-то пока приглушенной, но явно обостренной борьбы. Вслед за разгромом обоза можно было ожидать все, что угодно, если учесть, сколько погребов и ям со скрытым хлебом было уже раскрыто.

10

Так в сомнениях и ожиданиях каких-то новых событий прошла вся неделя. В эти дни приезжал в Малый Брод Антропов, но не сообщил ничего утешительного. Чекан попросил его откровенно сказать: продвигаются ли поиски тех, кто посмел напасть на обоз, и что в таком случае делать местным партийцам?

— Помогать искать,— пожал плечами Антропов.— Мы же не сторонние люди. А милиция продолжает работать. Есть предположение, что здесь начала орудовать хорошо замаскированная кулацкая банда, не то одиночка, очень озлобленный и дерзкий. Полагаем, что срок их недолгий!

— Поможем,— как-то необычно тихо и не очень твердо произнес при этом Гурлев.— Наша беда, нам и расхлебывать...

— У тебя есть уже какие-то данные? — обернулся к нему Антропов.

— Пока нет никаких, но добудем. Чуем ведь...

— Ну, на одно чутье плохая надежда, Павел Иваныч,— неодобрительно заметил Антропов.— Не советую так! А вот жителей надо до тонкости изучать, на что каждый способен!

— Я учту! — кивнул Гурлев.

Появление Антропова в сельсовете не ускользнуло от внимания Согрина. Шел мимо по дороге, увидел у крыльца пару коней, впряженных в кошевку, и сразу сообразил: «Сам прикатил. Припекло... А какие указания даст Гурлеву?» От этой мысли затосковал: «Жаль, не дал мне бог длинное ухо, не то навострил бы его сейчас туда, послушал бы, чего надобно опасаться!» Он хотел быть уверенным в успехе задуманного, для чего тратился и сохранял Барышева. Но человеку не дано ни длинное ухо, ни видящий сквозь стены глаз, и потому, чтобы хоть немного чего-то разведать, дождавшись вечера, пошел в читальню. Туда входить вольно каждому, было бы желание. И в разговорах мужиков всегда можно найти подходящее зернышко. Однако сельсовет в этот час пустовал, а в читальне сидел один Чекан, при свете керосиновой лампы читал газету. Согрин вошел, снял у порога шапку, вежливо нагнулся:

— Извините, если не вовремя...

И, выложив на стол горку книг, пошутил:

— Скоро я всю библиотеку у вас прочитаю да попутно рвань починю. Тумаки люди. Не научены этакое богатство сохранять. Пальцами измусолят, растреплют, а иной и на цигарку способен лист выдрать.

— Спасибо, вы аккуратный читатель,— поблагодарил Чекан, понимая, что Согрин говорит о книгах для подступа к чему-то более для него важному.— Подберите сами, что хотите.

— Желаю почитать насчет подготовки семян к вешне. Вот, говорят, семена надобно на проверку проращивать да обрабатывать протравой, но где такую протраву взять и каким образом все сделать...

Разговор дальше земледелия, культурного ведения сельского хозяйства он не заводил, затем начал высказываться о травосеянии. Чекан ждал: не спросит ли о коллективизации, о существе правой оппозиции, о политике партии по деревенским вопросам? Нет, никакой политики он не касался, и о том, что произошло в Малом Броде, не обмолвился словом.

— Не хотите ли чего-нибудь из легкого чтения? — спросил Чекан.

— Взял бы, да забавляться-то недосуг,— скромно ответил Согрин.— Мы ведь, мужики, колотимся цельными днями по домашним пустякам. Ум заботами переполнен.

«Нет, не ради чтения он сюда явился,— подумал Чекан, наблюдая, как вяло перебирает Согрин книги в шкафу.— И

время для него необычное — субботний день. Что же интересует его?»

И не утерпел, задал вопрос:

— Давно хочу спросить, Прокопий Екимыч, есть у вас зло на советскую власть или уже свыклись с ней? Да и на будущее как смотрите?

— Никто не знает, что может случиться завтра,— ответил тот спокойно, не поворачиваясь лицом к свету.— На то бог нам смыслу не дал. Что произойдет, какая жизнь дальше наступит,— все это я в рассуждение взять не могу и заранее тому подчиняюсь. Время сильнее нас, грешных! Надо терпеть за прежнее. Однако, хотя и объявила меня советская власть чуждым элементом, даже классовым врагом, а все ж таки проживаю при ней с открытым сердцем и не желаю себе худой славы. Почитаю долгом жить в обществе честно, пра́вильно и справедливо! Единственная забота: надо обзавестись культурным хозяйством...

Говорил вроде бы искренно, но глаз не показал, и его большие руки, короткопалые, беспокойно шевелились.

— Если бы и остальные богатые хозяева поступали по вашему примеру, Прокопий Екимыч,— не веря сказанному, улыбнулся Чекан.

— Свои мозги в чужую башку не вправишь! Среди нашего брата тоже дураков не счесть! Ты ему так, а он этак!..

Что-то неподдельное, несколько возмущенное прозвучало в этих словах. Согрин спохватился вдруг, пошевелил бровями и подался к дверям.

На крыльце сельсовета, в ночном мраке, он остановился и глубоко втянул носом воздух.

Тут его встретил Холяков. Согрин не различил его лица, наполовину скрытого шапкой, но мимо не пропустил.

— Куда поспешаешь так, Кузьма Саверьяныч? В Совете, окромя избача, никого нету.

— И хорошо, что нету,— сказал Холяков.— Я к тебе заходил, Прокопий Екимыч. Да не застал.

— Что за неми́ня?

Холяков оглянулся вокруг, произнес еле слышно:

— Поговорить надо один на один, Прокопий Екимыч! Крайне неотложно надо бы!

— Говори. Мы тут одни!

— Нельзя. Избач в любую минуту может выйти, застанет меня с тобой, а потом промолвится Гурлеву. Никто о нашем разговоре знать не должон!

— Эка! — удивился Согрин.— Какие могут быть тайности у партейца с лишенцем?

— Нужда заставляет...

Согрин провел его к себе во двор с задних ворот, открыл маслобойню и, не зажигая света, присел у окна.

— Не знаю даже с коей стороны к тебе подступиться, Прокопий Екимыч,— сказал Холяков неуверенно.— Шибко дело-то у меня нелегкое...

— Какое уж есть, говори!

— Денег хочу взаймы попросить.

— Много ли?

— Пятьсот рублев!

— Эка! — опять удивился Согрин.— Это же целый капитал! Все мое хозяйство, поди-ко, того не стоит. Небось, строить хоромы задумал?

— Не до построек теперь!

— Смутно что-то баешь, Кузьма Саверьяныч!

— А ты на слово поверь. Дай! У тебя деньги найдутся. Я могу и расписку дать. Помаленьку выплачу.

— И на долго ли дать-то?

— Года на два! В меньший срок при моих заработках не расквитаться.

— За два года, при теперешнем положении, может, нас и в живых не будет. На неделю, на две, это уж куда ни шло, дать могу.

— Не обойдусь!

— Значит, судя по всему, недостача или же растрата у тебя в потребиловке, Кузьма Саверьяныч! Иначе зачем же кинуло бы ко мне?

— Растрата! — признался Холяков.— Потерял я деньги, Прокопий Екимыч! Прошлый раз, когда в город за товарами ездил, занесли меня черти в ресторан. Думал бутылочку-две пивка выпью, поужинаю, а тут компания вокруг меня собралась. Сам не помню, когда из ресторана ушел, проснулся поутру в канаве. Хватился — денег в кармане нету.

— Худо, однако,— сказал Согрин.— Загремишь с теплого места!

— Места лишиться — это полгоря. Из партии выгонят, в тюрьму посадят. Не дадут снисхождения. Поэтому у меня иного выхода нету, Прокопий Екимыч, как тебе в праву ногу упасть. Помоги! Навек благодарен останусь. Любое дело, кое в моих силах, для тебя могу поспособствовать!

— А у меня особых дел нету!

— Ни за что ручаться нельзя.

Согрин помолчал, закинув руки за спину, прошелся по маслобойне, в раздумье поглядел в окно.

— Негоже тебе, Кузьма Саверьяныч, человеку партей-

ному с нашим братом-то связываться. Этак вот деньги возьмешь, наобещаешь того и другого, а на поверку выйдет, ничего не исполнишь.

— У меня петля на шее и потому готов я броситься хоть в огонь, лишь бы целу остаться и семейство не осиротить.

— Ну, допустим, найду я деньги. Схожу к своей ровне, на себя попрошу, а тебе отдам. И вдруг не я, кто-то иной, кто питает свой интерес, предъявит тебе, Кузьма Саверьяныч, чтобы ты своей партии изменил?

— Это слишком, Прокопий Екимыч! Не могу! Не то чтобы я находил себя шибко партейным, а опять же ради себя не могу.

— Вот и осечка! Так что же ты сможешь?

— Трактор вам для компании можно охлопотать. Мне в кредитном товариществе предлагали его, да я помешкать решил.

— А для какой он надобности нам? По газетам судя, частному капиталу скоро конец придет. Везде. В городе и в деревне.

— Эх, незадача какая,— ругнулся Холяков.— Не миновать мне тюремных решеток. Ведь только начал на ноги определяться, в жизни устраиваться и сразу как в волчью яму упал. Что ж ты, Прокопий Екимыч, неужели в тебе сердца нету? Теперь уж открылся я, и дашь ты мне денег или не дашь, одинаково у тебя в долгу.

— Может, не откажу,— задумчиво молвил Согрин.— Только не сейчас. Посмотрю сначала, Кузьма Саверьяныч, какой от тебя толк получится.

— Да, смотри, смотри, сколь хочешь,— обрадовался Холяков,— но выручи!

— Ты для начала поясни-ко мне, на кого у вас там в партячейке и в сельсовете за пожары и «красный обоз» подозрение кладут? Милиционеры-то до чего докопались? Зачем Антропов сегодня был?

— Ни до чего! С чем приехали, с тем и уехали. В партячейке подозревали тебя, Евтея Лукича и Саломатова. Поспрошали кое-кого. Теперь думают, кто-то из соседних деревень занялся разбоем. Может, шайка такая в районе сорганизовалась. Антропов-то и рассказывал сегодня: везде по деревням неспокойно.

— Доведут народ...

— А ты поверь, Прокопий Екимыч, нам тоже осточертело! Гоняют и гоняют за всякое место! Что ни делай, как ни старайся, одинаково не в масть.

— На то ты партейный!

— Я и не жалуюсь. Но вообще... Сколько можно одну песню петь: хлеб, хлеб!

— Но-но, ты меня на этом не лови, Кузьма Саверьяныч! — предупреждающе поднял палец Согрин.— В оппозицию, что ли, подался?

— На хрена мне та оппозиция! — сплюнул Холяков.— Поди-ко, я в ней разбираюся. Так, промежду прочим, вырвалось с языка. Кабы не такая наша политика, то я к тебе не пошел бы тайком...

Пообещал Согрин «выручить», а проводив Холякова, тревожно подумал: «Так ли? Правду ли баят? На крючок не берет ли? А впрочем, может, и правда. Находится ведь при казенных деньгах, непривычен их в ладонь зажимать. Не он первый, не он последний в растрату влезает. Дал бы бог! Нужно мне «длинное ухо», ох, как нужно!»

11

Посреди недели выдался пасмурный день, набухшие снегом тучи обложили небо, пронзительный ветер утих, и Малый Брод завяз в тишине и дреме.

В такой день и работа казалась безрадостной, как у коня на приводе: ходи и ходи по кругу, не поднимая глаз.

А на вечер Гурлев назначил беседу.

— Хочу, слышь, Федор, друг перед другом запросто потолковать о нашей жизни. Вроде бы, как птицы перед дальним полетом свои перья почистим,— предупредил он еще накануне.— Думал я сам про себя. Волей-неволей, приходится мне здеся командовать: ты беги туда, ты сюда! Но, может, я где-то зарвался? Чего надо видеть перестал? А ведь жить и робить надо дальше. И как бы снова беды не случилось, навострить надо внимание. Так пусть-ко партейцы мою и свою задачу обсудят. Без жалости, без скидок на должность. Вот я весь перед вами, с душой и телом, но одного хочу: что есть, то есть — коли в глаза! Мне Антропов говаривал: дескать, ты, Павел Иваныч, обидчив шибко! Верно, я обидчив, только опять же не за правду, а когда на мою честь посыкаются. Нет во мне страху, если я виноват. Именно ведь я, самый первый, обязан ответить за все, что у нас тут случилось...

Это был новый поворот в его самосознании, скорей всего, голос совести или же внутреннего страдания от недовольства самим собой, когда вдруг обнаруживается, что можно было бы сделать больше и лучше, а не сделано, где-

то допущен просчет, что-то по недогляду испорчено.

Лицо у него было усталое, очевидно, он плохо спал прошедшую ночь. Лоб прорезан морщиной. Легкий след морщинок за сгибом бровей. Складка у рта. Взглянув сейчас на него, никто бы не поверил, что ему исполнилось всего лишь двадцать девять лет.

— Трудно что-то мне, Федор,— признался он, помолчав.— Будто у стены встал, уперся в нее лбом и дальше двинуться не могу. Экую задачу нам какой-то вражина поставил! Осенью, когда суслоны горели, я еще про себя, в мыслях-то, на парней-хулиганов грешил. Им ведь хоть окошки у вдовых баб разбивать, хоть пакостить в огородах, хоть горящую цигарку в солому сунуть — разницы нету, лишь бы потешиться. Надо бы мне еще в ту пору заострить внимание партейцев, призвать все трудящее население к бдительности, пошерстить кое-кого из кулачества, а я того не достиг. Недотюкал умом-то. Но теперь уж ясно: не парни шалят, а наш классовый враг. Но кто же он? Как его в лицо повидать? Как же то место сыскать, где он хоронится? Антропов, конечно, хорошо посоветовал — добираться до сути каждого жителя. А ежели он, тот житель, как на замок закрыт? С коей стороны к нему подступиться? Не спорю и против того, что к беднейшему мужику надо больше придвинуться, сознание ему расшевелить и возвысить. Однако сознание того мужика — не амбар, что открыл бы и положил туда, чего следует.

— Да, задача нелегкая, Павел Иваныч,— согласился Чекан.— Очень много в ней неизвестного. Тут одними хорошими словами о необходимости делать добро, через него укреплять свои дружеские связи с людьми, призывать их к себе на помощь — не обойтись! Нужно что-то более конкретное. А что? Я пока тоже не знаю! Поэтому посоветоваться нам всем вместе, собрать свою силу в один кулак самое время.

Томительно долго тянулся каждый час этого дня, словно закрытое тучами солнце где-то запуталось в них и не могло опуститься. Тяготило и ожидание, как грома небесного, на что еще мог решиться невидимый враг. Наконец дневной свет потускнел и вскоре уступил темноте. Аким Окурыш заправил керосином лампы, зажег их, и только теперь, в привычной полумгле, когда беленые стены кажутся отступившими от стола, Чекан почувствовал облегчение. Враг есть, где-то зреют его злостные намерения, но жизнь течет своим чередом, как вешние воды. Кто может ее остановить или повернуть в другое, непригодное для нее русло?

Вот входят в читальню братья Томины. Их тени заняли полстены. Даже худосочный Антон Белов в его рваном полушубке имеет тень богатырскую. А что если тени эти не просто увеличенные светом фигуры людей, но их характер, их желания, стремления и вообще все их душевное существо? Тогда каков же Гурлев? Кирьян Савватеевич принес с собой кучу ученических тетрадок, очевидно, только что закончил уроки в школе и тут намерен просмотреть, чего там ему ученики накорябали. Он оставит за собой поколение, которое войдет в жизнь и станет ее продолжать. Удивительно спокойное лицо у него. Но так же спокойны и другие партийцы. Ничуть не изменились они и после вопроса Павла Ивановича:

— Так что же станем делать, товарищи? Обстановка у нас слагается сложная. Надо ее прояснить!

Произошло только небольшое оживление: Кузьма Холяков осторожно кашлянул; Бабкин, вынув платок, высморкался; братья Томины двинули стульями, Кирьян Савватеевич отложил тетради. «Да, все они понимают, что может еще что-то случиться, а ведут себя как обычно,— подумал Чекан.— Закалились за годы борьбы!» И Парфен Томин, как бы угадав, о чем думал избач, сказал:

— Чего в ней сложного-то, Павел Иваныч? Впервой нам, что ли, кулацкие выходки. Слава богу, за десять-то лет уже всякое испытали!

Именно поэтому никто из партийцев не стал обсуждать, велика ли опасность, которую кто-то готовит, зато все они пришли к общему мнению: не дать застигнуть себя врасплох.

— К кулачеству, конечно, следует беспрестанно приглядываться,— пояснил Федот Бабкин,— но в первую очередь придется охрану села укрепить. Будем считать себя на казарменном положении, чтобы на случай тревоги тотчас собраться.

Слушая неторопливые разумные разговоры, Чекан не раз с удовольствием отмечал, насколько же эта небольшая горстка партийных мужиков едина и дружна. Гурлеву, хотя тот и надеялся получить от товарищей критику, никто не сказал ни слова в упрек.

За весь вечер только Холяков вел себя очень странно: то молчал, то не к месту шутил. А между тем держал себя беспокойно: часто курил, вставал со стула, шарил рукой по карманам. «Неприятный все-таки человек,— с прежней неприязнью думал Чекан, сдерживая себя, чтобы не сделать ему замечание.— Один из всех». Однако и Гурлев, обычно

строгий, время от времени кидавший на Холякова взгляды, как-то сразу вроде бы замыкался. Что же их связывало? Все-таки оба они что-то скрывали, что-то недоговаривали и чем-то тут тяготились. «Впрочем, наверно, это разъяснится впоследствии,— чтобы отделаться от назойливой мысли и не позволять себе подозревать Гурлева, решил Чекан.— Не станем испытывать праздное любопытство».

Но тревожные вопросы о том непонятном, что произошло у Гурлева с Холяковым, снова вернулись.

Закончив беседу, Гурлев сказал:

— Ну, ладно, спасибо всем, кто тут высказывался. Конечно, охватить всю задачу одним разом немыслимо, будем дальше соображать о создавшемся положении и принимать какие надобно меры. На этом пока точку поставим. Зато текущие заботы оставлять нельзя. Заготовки вроде мы кончили. По плану целиком рассчитались. А как же поступить с теми злостными кулаками, кои все уклонились от сдачи лишков и не выполнили свой долг? К примеру, взять Евтея Окунева. Вот ведь какая зараза! Даже десятка пудов не свез в казенный амбар! И как же ты, Федор, намерен с ним поступить, поскольку проживает он в твоем околотке?

— Не прощать же! — ответил Чекан.— Попробую еще насесть на него, уговорить, а не уступит, надо судить...

— Прощать нельзя,— подтвердил Гурлев.— Этак простим один раз, на второй раз совсем ничего с них не получим.

— Опять же, всех не засудишь,— развязно возразил Холяков.— Зря так, Павел Иваныч, настаиваешь. Вот в моем околотке злостных осталося пятеро: Роман Сырвачев, Фотей Неверов, Платон Шинкарев, Алексей Богатырев да на придачу им Елизар Юдин. Я уж и так сколько ночей просидел с ними в комиссии, а не поддаются. Может, вправду у них хлебных излишков нету. Успели, поди-ко, еще с гумен зерно на базар свезти. Ну, так и черт с ними...

— То есть, как это черт? — перебил Чекан.— Ты куда клонишь?

— К тому клоню, что план у нас выполнен, да может еще скрытые погреба и ямы найдутся, и хватит уж кланяться каждому кулаку. Ей-богу, шея начинает болеть. И язык весь в мозолях.

— Значит, простить долги?

— Не простить, а скостить,— поправил Холяков.— Призвать должников всех в Совет, объявить им всеобщее порицание да предупредить, чтоб на будущий год не кобенились.

— Ловко придумал! — резко встал с места Чекан.— Непонятно только: то ли ты в шутку, то ли всерьез предлагаешь?

— Уж какая там шутка,— все так же развязно ответил Холяков.— Много ли убытку нам будет?

— Не об убытке речь, а о классовой борьбе,— не меняя тона, сказал Чекан.— Мы на поводке у кулаков идти не намерены! Если ты хочешь им услужить, так прежде положи свой партийный билет на стол...

— Но-но! — поднял руку Гурлев.— Оба не заговаривайтесь! Время позднее, пора по домам расходиться!

— Нет, обожди, Павел Иваныч! — не согласился Чекан.— Здесь все партийцы в сборе, и с Холяковым надо до конца разобраться! С таким настроением, какое у него проявилось сейчас, он в любой момент может качнуться к кулачеству...

— Да обыкновенное у меня настроение,— заупрямился Холяков.— Не вижу, чем оно вредное?

— Значит, тем более надо тебе дать понять, что можешь скатиться в правый уклон! — сдерживаясь от резкости, подчеркнул Чекан.

— Этак вы, пожалуй, договоритесь до крупного,— снова вмешался Гурлев.— Ты, Федор, шибко-то не загинай, не припечатывай мужику того, в чем он неповинен, а ты, Кузьма, за ночь обдумай, какую ахинею смолол!

Над Малым Бродом нависала уже глубокая ночь. С озера порывами налетела густая пурга. Ветер гнал темные тучи низко над крышами и вершинами голых тополей. Снег падал крупными липучими хлопьями, заново устилая сугробы.

— Вот благодать-то какая,— необыкновенно ласково и восторженно произнес Гурлев, спустившись с крыльца и подставив навстречу пурге лицо.— Век бы ей любоваться! А нельзя. Недосуг. Все ж таки трудное время досталось нам...

— Ты недоволен? — спросил Чекан.

— Я не о том. В мирной жизни мне стало бы скучно. Не привык на печи лежать и считать тараканов. Но не загрязнуть бы в трудностях, не потерять бы в себе человеческое...

Они уходили из читальни последними. Братья Томины, Холяков и Антон Белов сразу скрылись в густом снегопаде, Кирьян Савватеевич еще виднелся вблизи, и Гурлев зашагал вдогонку. Чекан поравнялся с ним и, все еще не остывший, решился потребовать:

— Нас никто не слышит сейчас, Павел Иваныч, и потому я прошу откровенно сказать: чем тебя так сковал Кузь-

ма Холяков? О чем вы прежде ссорились и спорили? Почему ты сейчас пытаешься его защитить?

— С чего ты взял? — не сразу ответил Гурлев.— Обыкновенные у меня с ним отношения, как с тобой и с другими товарищами.— Затем, помолчав, добавил: — Ершистый бывает он, и дело-то ему препоручено беспокойное. Как-никак, а в торговле надо соображать.

— А зачем гнет на пользу кулачеству?

— Нет, это надо еще рассудить,— заметил Гурлев.— Вот тебе заготовки-то вновину, а мы уж который год занимаемся. Спроси-ка любого кулака, так он лучше, чем я, пояснит тебе, что означает хлеб для нашей еще молодой страны. Однако же неделями мы с ним валандаемся, пытаемся пробудить в нем сознание и совесть, терпим, как он издевается над нами. Надоедает ведь! А ты уж сразу Кузьму в уклон...

Последнее он произнес так, чтобы услышал и Кирьян Савватеевич. Тот замедлил шаги, обернувшись, спросил:

— Все о Кузьме разговор?

— О нем,— подтвердил Гурлев.— Никакой он не уклонист, а попросту хочет облегчить себе работу, но того не учитывает, что скидок делать нельзя.

— Насчет уклона и я не согласен,— поддержал его Кирьян Савватеевич,— тем более, чтобы выложить на стол партийный билет. Мы Кузьму знаем давно и в его партийности не сомневаемся. А только ошибся малость мужик, свернул с колеи.

— Так что же за это его по головке гладить? — спросил Чекан.

— Понять и поправить как полагается.

— Э, перестаньте вы в нем сомневаться,— оборвал разговор Гурлев.— Был Кузьма, таким и остался...

Кирьян Савватеевич свернул на дорожку к своему двору. Его домик с островерхой крышей, на крутых склонах которой не задерживался снег, мирно выглядывал из-за гребнистых сугробов.

— Вот кто уважительно живет с женой,— напряженно вздохнув, сказал Гурлев.— На полном доверии, на свободе. Мне бы так!

Наверно, это вырвалось у него как-то само собой, он вдруг спохватился и, кивнув вслед Кирьяну Савватеевичу, добавил:

— Учителя крепко уважаю. Он не какой-нибудь «добренький», а по-настоящему добрый. Да ему и не положено быть иным. Каждое утро идет к детишкам сеять всхожие

семена той же доброты, коей владеет сам. Вот он мне однажды пояснял, что главное богатство человека — не его деньги, не его сундуки и амбары, а человечность! Чуешь, слово-то какое важное: че-ло-веч-ность! Это значит, понимать чужую беду, чужое горе и нужду и не проходить мимо, не унижать презрением и равнодушием, а помогать! Но что же надо для того? Человечность-то без сознания целей добра не получится. И выходит, нужно повышать эту сознательность, воспитывать ее в себе и в любом мужике путем грамоты, а грамота-то покуда у нас мала, и добывать ее времени не хватает. Я вот иной раз раздумаюсь, страх берет: вдруг отстану от жизни. Кому тогда буду нужон?

— Время и жизнь для тебя не задержатся,— подтвердил Чекан.

— Значит, если отстану, то меня, как щепку с быстрины потока, откинет в сторону, в заводь, где осока да мох, и стану там трухлявиться до скончания века. Нет, не подходит такое! Пусть уж лучше упаду я людям под ноги, и пусть они идут по мне, как по мостику, все вперед да вперед!

Очень грустно прозвучали эти слова.

— Значит, поспевать придется за временем-то, Павел Иваныч,— стараясь его ободрить, весело произнес Чекан.— Нам, теперешним партийцам, досталось подымать целинные пласты в сознании людей, и хорошо бы дожить до тех пор, когда каждый человек станет душевно просветленным и чистым...

— Но мы здеся пока что больше рассуждаем о том, чем делаем,— перебил Гурлев.— Так давай-ка, слышь, Федор, займемся этим как следует. Заготовки теперь шибко беспокоить не станут. Надо помочь мужикам не верить всяким слухам и бредням, возбудить в них интерес к новой жизни, пояснить, что призваны они не небо коптить...

— И как же ты думаешь это начать? — спросил Чекан.

— Да хотя бы диспут с попом устроим. Молва об антихристе хоть и притихла, а ведь кулачество-то еще что-нибудь может придумать... Попутно мы и про текущие наши дела мужикам в сознание подбросим...

— А сумеем ли мы попа одолеть? — засомневался Чекан.

— Мы его правдой вдарим!

— Уж вернее из райкома кого-нибудь попросить...

— Ничего, не трусь, Федор! — засмеялся Гурлев.— Супротив правды жизни поп не сдюжит. А спорить с ним я сам возьмусь...

12

Посреди недели Чекан отправился к отцу Николаю. Тот жил теперь на Середней улице, в деревянном пятистеннике, снятом внаем. Двор, огороженный плетнем, за зиму позабивало снегом, только прокопанные в сугробах траншеи вели к крыльцу, к амбару и в крытый соломой пригон, где содержался скот.

Отец Николай вышел из горницы, держа в руке нагрудный крест, потряхивая цепочкой. За дверью горницы подвывали его взрослые дочери: очевидно, батюшка приводил их в разум.

Визит был неожиданный, отец Николай, узнав Чекана, наспех поправил домашний подрясник и короткую косичку, но не предложил присесть.

— Чем могу служить, молодой человек?

— Прошу прощения,— сказал Чекан, соблюдая приличие,— если оторвал от важных занятий. Но мне поручено позвать вас сегодня на диспут в клуб.

— Позвольте! Позвольте! — обеспокоился батюшка.— Уж не собираетесь ли вы меня опорочить?

— Порочить вас нужды нет, отец Николай! Мы предлагаем честный и открытый спор, без подвохов и оскорблений.

— Но сама идея спора греховна! — вскричал тот.— Могу ли я, пастырь и наставник верующих, подвергать их испытанию?

— Значит, не одобряете? — настойчиво спросил Чекан.

— Не одобряю ничуть и даже противлюсь! Не нахожу в сем надобности и потребности!

— А мы уже и объявление вывесили. Ваше имя в нем написано крупными буквами.

— Это весьма худо и выглядит как принуждение,— взъершился отец Николай.

— Да, я вас понимаю,— серьезно сказал Чекан.— Выступать в клубе, где еще так недавно была ваша спальня, кабинет и гостиная,— не очень приятно. Но надо постараться быть выше этого. Мы предлагаем вам участие в диспуте не только как священнику, но как гражданину, которого тоже должно заботить состояние умов наших граждан.

Отец Николай замялся.

— Вы проповедуете добро,— продолжал Чекан.— Действительно, что может быть лучше и приятнее доброго отношения к человеку! Так вот, мы хотим дать вам возможность подтвердить ваши проповеди. Сделайте доброе дело, укрепите в людях сознание человеческого достоинства.

— Это не в моих силах,— с явным нежеланием продолжать навязанный ему разговор вздохнул отец Николай и удалился обратно в горницу. Которая-то из его дочерей, вероятно, Зинка, чье любопытное лицо все время торчало в просвете между косяком и дверью, снова взвыла, но уже затаенно, сквозь зубы. Стоя у порога с папахой в руке и едва сдерживая распиравший его смех, Чекан терпеливо подождал, пока в горнице все угомонится. Отец Николай больше оттуда не вышел, а чтобы отделаться от столь настырного визитера, громко сказал:

— Воистину, грех бродит по стопам нашим! Ничего я вам не скажу более в данный момент...

А вечером в клуб не явился. Ждали его долго, затем Гурлев послал за ним Акима. Тот принес записку: отец Николай сообщал о разыгравшейся у него подагре.

— Поди-ко! — удивился Гурлев.— Даже и хворь не мужицкая!

— Суставы болят,— пояснил Чекан.— У стариков бывает, особенно к непогоде.

— Значит, непогоду чует! — со значением помахал запиской Гурлев.

Приспособленный под клуб поповский дом с трудом вмещал публику. Мужики набились в зал, надсажались и потели в тесноте. Между ними Чекан приметил Прокопия Согрина. В коридоре и на бывшей кухне, где еще стояла русская печь, толпились десятка два мужиков, желающих отсюда понаблюдать, чем кончится спор. «За кого они? — подумал Чекан.— За нас или против нас?» Решить было трудно, вся публика вела себя оживленно, и только кое-где проглядывали сумрачные, как окаменелые лица.

— Открывай занавес и начнем,— сказал Гурлев.

Чекан обеими руками потянул веревку. Занавес, сделанный из холщового полога, медленно сполз к стене. Мужики сразу примолкли, с минуту постояла напряженная тишина, затем кто-то из задних рядов спросил:

— А где же отец Николай?

Гурлев показал записку.

— Неувязка, граждане, вышла! Наш супротивник заскудался здоровьем. Поэтому поспорить и прояснить вопрос насчет Исуса Христа и будет ли скончание мира нам пока нет возможности. Но поскольку народ в сборе, я думаю, мы все же поговорим...

— Опять насчет хлеба? — послышалось снова из задних рядов.

— Не-е, про другое,— мотнул головой Гурлев.— Не-

ужто у нас поговорить больше не о чем? Эх, граждане мужики! Ведь все человеку нужно, покуда он жив-здоров. Хлеб, конечно, всему голова! Кто же из нас хоть бы один день его не поел? Все едим, ни один не замер еще. И государству помогаем. Мы хлеборобы. Это уж каким надо быть злыднем, чтобы хлеб без пользы сничтожить...

— Все ж таки про хлеб баешь! — напомнил издали Согрин.

— Это я так к дальнейшей мысли делаю подход,— ничуть не смутился Гурлев.— А что же еще, окромя хлеба, находится в жизни мужика? Дозволено ли ему содержать себя на положении коня, который только и знает, что в хомуте ходить? Нет, не дозволено! Или ради денег отдавать себя в каторгу, как Софрон Голубев? Ты,слышь, Софрон, на меня в обиде не будь...

— Ништо! — отозвался Софрон.

— Живем каждый от каждого врозь,— сильно и увесисто сказал Гурлев.— Мой двор, моя скотина, мой огород и поле, моя баба...

— Зато бог один у всех,— добавил Согрин, оглядываясь по сторонам.— Это ты как пояснишь?

— Поясню, прежде всего, что ты, Прокопий Екимыч, не в свое корыто залазишь,— нахмурился Гурлев.— Речь я веду не для тебя. Человек ты голосу лишенный, мы тебя сюда не звали, а пришел, так сделай милость: сиди и слушай!

Мужики тоже зашикали на Согрина, тот втянул голову в плечи, поежился и стал пробираться к выходу. За ним потянулись еще несколько человек, приходивших на подкрепление к попу.

— Ишь, Прокопий-то, сбрындил как! — уже веселее продолжал Гурлев.— Нету ведь и бога единого! В любую избу зайди, огляди божницу — бога там нету, а только образа разных святых. Богородицы, одна на другую не похожие. Есть такие справные, в гладком теле, как сметаной откормленные, а иные тощие, высушенные, хоть в печку вместо дров клади. И у всех младенцы. Так сколько же было богородиц и сынов божьих? Согласно писанию, бог в образе голубя только к одной девице похаживал. А это богомазы всяк по-своему разных богородиц малевали. Так же и со святым Николаем-угодником. Молитесь вы ему, а того не замечаете, что по патрету он в каждой избе совсем иной. И вот, теперь подхожу к самому главному: пошто это человек на человека должон молиться? Допустим, тот святой, у него обруч вокруг головы сияет, а я простой мужик. Но пошто?

— Не туда тебя повело, Павел Иванович,— вполголоса предупредил Чекан из-за кулис.— Договорились ведь мы, про бога без попа разговор не начинать, а только про жизнь...

— А я о чем, коли не про жизнь?! — сказал Гурлев и обратился в зал: — Ну, скажите, граждане мужики, как ее понимать? Разве это жизнь — изо дня в день хребет ломать да детишков плодить? Или в том она, чтобы ухитриться да капитал награбастать? Никакая это не жизнь, лишь голимая прорва, нету от нее радости на мизинец!

— Со своей бабой не можешь отладиться, сопливого хотя бы парнишку иcделать не можешь, так потому и радостев нету у тебя,— снова раздался выкрик.

— Эй, кто там шумит? — спросил Гурлев, наклоняясь вперед и вглядываясь.— Кажись, Горбунов Егорка? Ты чего это за чужие спины хоронишься? Ладно, я отвечу тебе, хотя моя жизнь у всех на виду. Свою Ульяну я ни разу пальцем не вдарил, не обижал, моя совесть перед ней чистая. Детей не нарожали не по своей вине. Если дальше хочешь вызнать, так сам к Ульяне сходи, поспрошай, отчего это все превосходит. А про радость скажу так: может, мне она совсем не положена? Не на каждый день! Я возрадуюсь сразу истомленным моим сердцем, когда своими глазами увижу то, к чему пробиваюсь...

— А нам-то она положена ли? — подняв руку, спросил несмело Иван Добрынин.— И где же ее сыскать?

— За тобой грехов много,— проворчал на него Софрон Голубев.

— Какие ж таки?

— На земле зря мозолишься! Какой от тебя толк?

— А от тебя какой? — взволновался Добрынин.— Мне хоть бог-то простит, я здоровьем слабый. Зато ты хотел умереть, а бог-то и не призвал к себе.

— Значит, время не подошло...

— Не взял,— упрямо повторил тот,— и брать совсем не за что! С меня эвон сколь ты денег содрал, чтобы одну пару пимешек скатать. Копил деньги, да сам же и сбросил их по ветру. Эх, ты-ы...

Софрон Голубев надвинул шапку до бровей.

— Обождите, граждане мужики,— прервал их Гурлев.— Не перепирайтесь на личности! Давайте судить по-хорошему.

— А меня вот очень даже большой антирес разбирает,— подскочил с передней скамейки Аким Окурыш.— Все ж таки, с чего Софрон в огонь-то кидался?

— Со скуки,— с явным намерением выручить Голубева сказал Гурлев.— Он свою главную линию потерял!

— То исть, как?

— В каждом из нас есть две линии,— убежденно ответил Гурлев.— Первая, самая наиглавнейшая,— это есть линия всей жизни, а вторая, поменьше, коя проходит толечко по твоему двору и по твоему полю. Ежели с главной-то линии сойти, а остаться лишь при своей малой линии, то выходит: не к чему было и на свет нарождаться...

Чекан почувствовал, что Гурлев начинает брать на себя задачу не очень посильную, но останавливать и поправлять не стал: мужики слушали с большим вниманием.

— На главной линии ты человек, а оставшись на одной своей, я, извиняюсь, вроде цепного пса,— не замечая, как Чекан вышел из-за кулис и сел на подоконник, продолжал Гурлев.— День и ночь спишь одним глазом. И вот тут надо теперь коснуться: с чего человек начался?..

— И-эх, мать моя! — радостно загомонил Аким Окурыш.— Это я ужасть как уважаю!

Гурлев взглянул на него, затем перевел взгляд на Чекана, переступил с ноги на ногу, как бы сдвигая себя, и вначале произнес глухо:

— Вот неучен я, сам скребусь, насколько могу, да иной раз и время нету книжку хоть полистать.

— Валяй по силе, загинай по-свойски,— подбодрил его дежуривший у дверей Парфен Томин.— Мы все под одно, слова-то, как дрова, одинаково рубим: где тоньше, где толще!

— Так с чего же он, человек-то, начался? — прищурившись и чуть подняв глаза к потолку, спросил Гурлев, еще продолжая настраиваться.— А вышел он, граждане мужики, из первобытности. Вот кои-то из вас в церкву ходют и верят, будто человек по прозвищу Адам был слеплен из глины, а Ева сготовлена из его ребра. Тут без отца Николая спорить не стану, а лишь замечу, что ежели бы бог не хотел греха, не желал, чтобы люди плодились, то к чему затевался с женщиной? Да разве ж можно стерпеть, когда мужик молодой, ничем не порченный, не изробленный, оставленный в лесу посреди благодати, а бабочка — тоже молодая да нагишом!..

Мужики вдоволь посмеялись: такая откровенность была каждому по душе. А Гурлев даже не улыбнулся, настолько все сказанное представлялось ему серьезным и важным.

— Людей на земле, как мурашей в березовом колке,— сказал он чуть погодя.— И все не из глины слеплены, а в

муках рождены. Легко ли бабам рожать дитев? Эк они, бедные, сколько месяцев ходют в тяжести, с каким криком и ревом выводят младенцев на свет! И нет поначалу между младенцами никакого различия: все голые, все за сиську хватаются и одинаково пачкают. Уж потом, как они станут в разум входить, то и начинается дележ: этот богатый, а этот голодранец, этот умный, а этот дурак! Верно я говорю?

— Верно, все, как есть! — раздались одобрительные крики.— Шагай дальше!

— В первобытности своей человек был вроде бы как наш упокойный теперь Тереша. Толку в его голове еще не обозначалось, ходил он зиму и лето безо всякой одежи, а угревался шкурами, избы строить не умел, огонь добывал от трения палки о палку. Однако же соображение жить сообща, табором, чтобы пропитаться, выработалось у него вскорости. Пойдут артелью на крупного зверя, камнями его побьют, мясо поделят поровну. Сыты и никто не в обиде! Ну, дальше — больше, разум все прояснялся, нужда заставляла наготавливать еды впрок, от непогоды крышу над собой строить, от холодов тепла искать. И вот при этом их жизнь стала вроде раздваиваться. Кои похитрее да поухватистее оказались, тем уж с общего дележа показалося мало, стали они подгребать себе куски, где побольше да пожирнее, а народ смирный, непробойный, видя это, хоть и проявлял недовольство, но не собрался и не одолел их и с тем нажил себе нахребетников. Так образовалось кулачество. С другой стороны нашлись ловкачи, стали про всяких богов выдумывать. Молния сверкнет, гром с неба ударит, они первые на колени падают: это-де бог гневается! Так образовались попы!

Гурлев, по-видимому, миновал самое для него трудное и, не останавливаясь на эволюции человека, пропуская различные общественные формации, где для него все было туманно, вернулся опять к той мысли, которая сейчас его волновала:

— А все ж таки, даже в темноте и в невежестве живущий человек все сотворял своими руками. И вот он совершил революцию!

Дальше книжные знания ему уже не требовались, то, о чем предстояло сказать, было видано своими глазами, пережито, передумано много раз. С чисто крестьянской обстоятельностью он изложил свою точку зрения: ведь если в древности, впервые добыв огонь, человек осознал себя человеком и перестал быть диким, то теперь, когда он стал хозяином своей судьбы, его сознание должно подняться до

большой высоты, до понимания той новой жизни, которую мы сейчас строим.

— И никуда от нее не денемся,— подчеркнул он напоследок.— Вот она стоит уже у нас на пороге и стучится в дверь. Кому люба, тот повстречает ее хлебом-солью, тому она станет не в тягость, а в радость. Я вот, к примеру, ни в бога не верю, ни в черта, ни в какие наговоры бабушек и сны отрицаю, а все ж таки недавно про ту новую жизнь приснился мне сон, да такой расчудесный, что все еще вижу его, чуть глаза прикрою.

— А об чем это вам, партейным, снится? — спросил угрюмый Антипа, отец секретаря комсомольской ячейки Сереги Куранова.— Да полагается ли?

— Коли мы не люди! — достойно ответил Гурлев.— Какая разница между мной и тобой, дядя Антипа? Только та и есть, что я уже в сознание взошел, а ты все еще в потемках блудишь.

— И-и-эх! — снова не вытерпел Аким Окурыш.— Завсегда ты, Антипа, не в пору голос свой подаешь! Тут вникать надобно, в рассуждения входить, а ты, как подкулачник, с ходу сбиваешь!

— Но-но! — озлился Антипа.— Ты там насчет подкулачника-то, того...

— Обожди-ко, Павел Иваныч, дай прежде мне высказаться,— закричал Аким Окурыш, расталкивая мужиков и пробираясь к сцене.— Я хоть и безо всякой партии, но тоже в сознательность вдарился уже давно, и мне слышать всякие подлые подковырки Антипы нету никакого терпения.

Мужики зашумели, предвидя чудачество. Малорослый и худой Аким, взобравшись на сцену, подвинул Гурлева локтем, скинул с головы обтрепанную ушанку.

— С меня бы икону писать надо. Вот, мол, великих мученьев был мужик, замордованный при старой жизни...

— Хо-хо-хо! — заглушая его, засмеялись в зале.

— Эк вы привыкли, уж чуть чего, надо мной потешаться! — строго произнес Аким.— Вот и посыльным в Совет от общества выбрали. За что? А ладно, дескать, мужичонко на ногу легкий, по домашности забот мало. Вроде всем недосуг бегать по селу и колотиться под окнами, только мне да Фоме Бубенцову. Ну, коли уж все подняли голоса, я должность сполняю безотказно. Может, и меня новая жизнь коснется. А все ж таки иной раз обидно. Это пошто я Окурыш? Поди-ко уж и не помнит никто, как меня звать-величать. Аким Лукояныч Блинов — вот кто я! Бли-нов! Превзошла моя фамилия от сытости. Однако мне-то не подфартило,

оказался я кругом обделенный. Как с малых лет выпал мне недомер, так пошло-поехало до теперешней поры. Бывало, бегаю с парнишками-погодками по улице, играю. У парнишек вся тела прикрытая, толичко на мне одна рубаха до пупа. Этак, значит, бежишь, играешь, а девчонки от тебя врозь. Вся-то причина — нужда. Я в семействе был самый малый. Зачнет мать холст на штаны кроить, для меня завсегда не хватало, и потому выдавали мне со старших обноски. Подошло время, отдали меня к Гавриле Сырвачеву в работники. И опять недомер. Гаврило-то другим работникам платил то по три, то по пять рублев в год, а мне рупь! Но лупил больше всех. Чуть чего, по патрету вмажет! С того мой патрет не баской вышел, девок не завлекал. Чуть я холостым не остался...

— Зато жена все недомеры покрыла,— одобрительно заметил ему Григорий Томин.— Эвон она каковская! Что в вышину, что в ширину. Небось за ней, как за печью спишь.

— Ей по вдовьему положению деваться некуда было, так она меня и приветила. По первоначалу присватывался я к Домне Васильевне...

— Будя, будя, Аким! — сказал Гурлев.— Не перебегай на другой путь. Вызвался баять про жизнь, а заводишь про баб. Да и себя не прибедняй шибко-то. Какой же ты при нашей советской власти Окурыш, ежели тебе земля выделена, а также лес и угодья!

— Так я еще насчет веры выскажусь.

— Со мной спорить хочешь!

— Не-е, безо всякого спору! — развеселился Аким.— Вот, значит, как я подтянулся в годах и зачал к девкам приглядываться, в ту самую пору и взяло меня сумление. Парни, мои погодки, с девками на игрищах пляшут, до дому их провожают, а я завсегда в стороне. И порешил я тогда в церкву пойтить и начисто за то самому богу выговорить. Если, дескать, у тебя, создатель, глины на мою фигуру не хватило, так ты исделал бы девку или уж в крайний случай животную, чем человека портить. Собрался я в церкву в троицын день. Народищу к обедне собралось тьма, к алтарю невозможно пробиться. А мне мать пятак выделила, велела свечку купить и перед образом каким-то поставить. Ну, я хоть маломерный, а все же вперед протолкался. Гляжу, тут дружок Проньша Чистяков. Встали мы рядом. Тем временем дьякон Серафим возгласил: «Миром господу помолимся!» Верующие все на колени пали, зачали креститься-молиться, и мы с Проньшей тоже на колени спустилися. И вот я толичко, значит, персты сложил, хотел ко лбу приложить,

а гляжу — перед самым моим лицом задняя часть торговки Ергашовой возвышается, и никаких образов, окромя нее, мне не видно. Осерчал я. Эх, думаю, даже в церкви удачи нету! Ну, и не стерпел, прицелился, да-а кэ-эк вдарил Ергашову по заду, она аж запрокинулась,с нечаянности ойкнула выше дьяконова гласа и хотела было меня лягнуть, однако я сразу нашелся, протянул ей пятак. «Передайте, говорю, денежку богу на свечку!» Да ползком назад.

— Вот сколь времени отнял, а к чему весь твой сказ? — проворчал на него Гурлев, когда в зале затих смех.— Экая невидаль!

— И-и-эх, Павел Иваныч! — замахал руками Аким.— Так я ж с той поры перестал в церкве бывать. Возмущение в душе испытываю, а через то возмущение одобряю сказанную тобой речь.

— Обожди-ко! — спроваживая его со сцены, сказал Гурлев и опять обратился к публике: — Так вот, граждане мужики, поскольку мы выслушали Акима Лукьяныча с этой трибуны, а также потому, что пора нам расставаться с нашей темнотой, начать просветлять самих себя, то я предлагаю с данного момента прозвище Окурыш с Акима Лукьяныча снять. Прошу всех проголосовать за это...

— Стой! — испуганно закричал Аким.— Не согласный я!

— Это пошто же?

— А по то! Оно ведь, вправду, иной раз бывает обидно. Все люди, как люди, а я Окурыш. Ну, с другой стороны, подумать...

— Думай, только скорее,— уступил Гурлев.

— Беспривычно вроде бы! Носил-носил прозвище, и вдруг его нету! Как шапку потерял.

— Этак ты в себе человека никогда не почуешь!

— Надо оставить за ним прозвище, Павел Иваныч,— вступился за Акима его напарник Фома Бубенцов.— Все граждане не отказали бы, решению за снятие хоть сейчас примем, но коль Аким просит, надо ублаготворить. Сам-то он не виновный ни в чем!

— Вот спасибо, Фома! — поклонился Аким Окурыш.— Так уж до старости доживать стану.

— Эх, граждане мужики,— горестно пожал плечами Гурлев.— Далеко ли мы так-то уедем, ежели от первобытности своей оторваться неохота. Свыклись. Но ведь вся старая жизнь, как изба, подгнила, ломать ее надо. Покуда мы все не просветимся, не перестанем дичиться, до тех пор и не осознаем, в кою сторону двигаться...

Он склонил голову к плечу, будто прислушиваясь к себе. Слова о том, как переустраиваться, нужны были хорошие, теплые и чистые, как всхожие семена, и он пытался найти их. Аким Окурыш явно испортил его настроение. Поэтому поиск затянулся, Гурлев уже начал испытывать неловкость и стеснение, потом, поправив на себе выцветшую солдатскую гимнастерку, взглянул на Чекана. Тот понял его молчаливую просьбу и немедля пошел на выручку.

Начал Чекан с того, что человек переделывает жизнь, а жизнь, в свою очередь, переделывает человека. Таким образом происходит непрерывное развитие, остановить которое никто не в силах. Революция сделала огромное дело не только тем, что дала крестьянину землю, гарантировала полную свободу от всякой эксплуатации, но сдвинула его с извечных устоев, и он уже не может теперь довольствоваться тем, что имеет. Мужик все еще тот, но уже далеко не тот. Он стремительно идет к новым отношениям в обществе и новым формам труда.

Долго еще светились окна в клубе за голыми стылыми тополями бывшего поповского сада.

Разошлись мужики по домам, каждый по-своему взволнованный и встревоженный. Не все, хотя, вероятно, многие унесли с собой какие-то свежие мысли и желания, пусть пока незначительные, но необходимые в их теперешнем образе жизни. Ведь это была необычная сходка, говорили не просто о хлебе, о земле, о текущих сельских делах, и не вообще о том, «с чего человек начался», а о самой сущности деревенского мужика, о достоинстве, о справедливости, о личной свободе каждого в устройстве своей судьбы. Как же о том не подумать!

А у самого Чекана осталась досада. Закрывая клуб на замок, он даже невольно поморщился: «Не очень ли радужно рисуем мы будущее села? Не предупреждаем заранее, что новая жизнь — это не открытые ворота в рай, на готовенькое, а понадобятся ведь самые неимоверные усилия воли и терпение, чтобы в нее войти и своими руками построить».

Но как же мог он взять на себя смелость предупреждать о том, чего сам еще не видел, не испытал, а только лишь слышал от товарищей да читал в газетах о планах первой пятилетки, о строительстве первых электростанций, тракторных и металлургических заводов, о первых колхозах?

— Зря расстройство наводишь на себя,— сказал Гурлев.— Наш брат, мужик, если заранее поймет самое главное, в испуг не ударится при любой трудности и нужде.

А поговорили мы сегодня меж собой ото всей души!

После снегопадов ночи стали светлее, улегся ветер, накатанная санями дорога лоснилась, твердый снег похрустывал под сапогами, как свежий капустный лист.

Настроение у Гурлева было хорошее. Прощаясь у развилки, даже слегка пошутил:

— Держи нос выше! Грудь колесом! Не то женим тебя на какой-нибудь здешней девахе, чтобы не скучал.

А не удалась ему шутка. Дальше голос сорвался:

— Эх, как плохо, когда нет возле тебя человека, который все твое понимает и всему твоему делу сочувствует...

13

Он всегда неохотно возвращался в свой двор. С Первой улицы, где ни в одном доме в такую позднюю пору не светились огни, свернул на церковную площадь, прошел ее наискосок, и прежде чем миновать жилье Егора Горбунова, переложил наган из брюк в карман полушубка. Тут, на Середней улице, было что-то уж очень глухо.

К его двору наметало за зиму высокие сугробы. За ними изба выглядела совсем одиноко. Гурлев сторожко отворил воротца, во дворе внимательно оглядел зауглы, затем зашел в пригон, где беспокоился мерин, единственная утеха и радость хозяина. Мерин был в годах, но Гурлев его не продавал и не отдавал в обмен, хотя Ульяна постоянно настаивала и даже приводила охотников. С этим конем у него связана лучшая пора жизни, и было бы бесчестно сгонять его со двора.

У ворот пригона, вздыхая, лежала корова, а мерин жался боком к стене избы и тревожно всхрапывал. Гурлев погладил его по гриве, хотел успокоить и вдруг услышал, как за плетнем, со стороны переулка, хрупнул снег. Кто-то чужой стоял там, и конь чуял.

Гурлев щелкнул курком нагана:

— Эй, кто там за пригоном! Отзовись!

Никто не отозвался, зато хрупание снега стало отчетливее, кто-то выбирался от плетня на дорогу и поспешно уходил дальше. Гурлев не испугался,— такого с ним не было,— у него только вспотел лоб, когда он подумал, что, вероятно, случайно избежал встречи с пулей. «Значит, еще не судьба! — мелькнуло в мысли.— Или к сроку смерть опоздала!» Давно, не первый год жил он с опаской и носил наган всегда при себе.

Не снимая пальца с курка, осмотрел в ограде навесы и обошел двор вокруг. Сугроб за пригоном оказался простроченным следами от дороги до плетня и обратно, а в затененном месте, под скатом крыши, осталась на снегу вмятина; очевидно, тот, кто приходил сюда, вынужден был сидеть и ждать.

В избе, разуваясь у порога, спросил у жены поужинать. Она, не вздувая света, сунула на стол половинку калача и крынку с молоком, а пока он ел, залезла на печь и стала ругаться:

— Ты не мужик, а шатун. Я бьюсь одна, не с кем слова молвить, не от кого ласку принять...

Ее ругани, жалобам, причитаниям не бывало конца. А возражать или пытаться ее унять, когда она уже раскрутилась, он давно не решался. Всю теплоту, нежность, дружеское участие в ее трудах и заботах, что сберегал он прежде, Ульяна раз за разом вытравила из него, и теперь только терпение оставалось в нем, но и оно иссякало.

— На тебя, беспутного, молодость загубила,— продолжала Ульяна.— Думала, на мое добро ты добром же отплатишь.

— Не попрекай, Уля,— мирно попросил Гурлев.— Не по своей воле остался я в Малом Броде, не ты, так нашлись бы и другие добрые люди.

Отчуждение, которое пролегло между ними, уже нельзя было одолеть никакими жалостливыми словами. Ульяна всегда находила себя правой, а мужа виноватым, свои слова и переживания искренними, зато уверенья и объяснения мужа называла ложью. Переубедить ее не было сил.

Калач оказался черствым, от него припахивало тараканами, и Гурлев не стал его есть, а выпив молоко, улегся спать на полатях. Сама Ульяна не звала его на постель. Все чаще и чаще спали они порознь.

После упреков и ругани, разъяренная молчанием мужа, она еще долго причитала о пропащей судьбе. Гурлев, лежа на спине, незрячими глазами смотрел в немыслимо черный потолок, в бездну, где затерялся ответ на его вопрос: как поступить, как жить дальше в этой избе, не изменяя ни совести, ни партийному званию?

Наконец стал брезжить рассвет. Не подымая головы с постели, Гурлев схватился за грудь. Это ударила туда острая боль, словно ножом отрезали живой кусок тела. Боль наплывала толчками, от плеча до плеча, под рубцами колотых ран. Раны давно зажили, а боль от них где-то как враг таилась, выжидая удобного случая. Против нее не поды-

мешь наган, и она не скроется в загумны до поры до времени. Но Гурлев не стал звать жену на помощь. Такие приступы случались и прежде, надо было перетерпеть и успокоиться. Перемогаясь, он слез на пол, жадно напился из рожка чугунного рукомойника холодной воды и босой вышел в сенцы.

— Паша! Пашенька! — громко заголосила Ульяна, выбегая за ним следом.— Прости меня, окаянную! Побей! Хоть разочек побей за всю нашу жизнь вместе, чтобы знала я тебя, свово мужа!

Она приволокла из избы тулуп, укутала и угрела, как в первый год их супружества. Вот за ту, прежнюю ласку, он и не мог расплатиться. Не сварливая баба, не злая ведьма снова хлопотала возле него, а хорошая, участливая и милосердная женщина, которой можно было довериться. Но надолго ли? Конечно, он запомнит и этот момент ее просветления, порыв ее доброты, хотя расплачиваться ему совершенно нечем. Ульяна не примет от него никаких обязательств, ей нужен только он, ее муж и хозяин двора, чтобы она не жила как бросовая.

Ульяна перевела его обратно в избу, взбила перину на кровати, напоила каким-то горьковатым настоем трав и припала к его ногам.

— Эх, дура ты, дура! — сказал ей ласково Гурлев, когда боль заглохла.— Уж нам ли аркаться, как кошке с собакой?

— Сама знаю, что дура! — виновато и покорно подтвердила та.— Никто я перед тобой. Ты ученый, а я и в школе-то не бывала.

— Я не о грамоте баю! А потому ты дура, что дальше свово двора смотреть не желаешь.

— Кабы не любила тебя, отпустила бы насовсем...

— Да к чему любовь-то! Что она может значить? Мы уж из того возраста вышли. Наигрались, поди-ко, вдоволь. Меня Егорка Горбунов вечор упрекнул за бездетность. А то ли я виноват? Нарожала бы ты! Вот сила твоя и не пропадала бы даром. Я покуда жив, тебя не оставлю. Свела нас судьба, связала накрепко. Куда же уходить мне? Ведь совесть замучает. И как мне партия скажет? Небось, по голове не погладит. Я перед партией хочу иметь совесть чистую.

— И я не виновата, что никак не зачну,— горько вздохнула Ульяна.— Уж сколь баушек лечить меня пробовали...

— Может, мне и жить-то осталось всего ничего,— задумчиво произнес Гурлев.— Первый раз подфартило в девятнадцатом году, подобрала ты тогда меня. Во второй раз — этой ночью, уж каким случаем, не знаю.

— Ты о чем это баяшь? — испугалась Ульяна.— Чего было ночью-то?

— Сам не знаю, а смерть приходила...

Ульяна еще крепче обняла его ноги и заплакала тихими слезами. Гурлев отвернулся лицом к стене, закрыл глаза. Такие слезы пуще всего достигали его сердца. И бередили память.

Не по большаку, что вихляет между березовых колков, просторных полей и деревень, а по военной дороге напрямик, в грохоте пушек прибыл рядовой боец Павел Гурлев в село Малый Брод. Был конец лета того славного девятнадцатого года, доспевали на мужицких полях хлеба, последние зарницы играли по ночам. И не знал боец, что тут, в Малом Броде, кончатся его военные подвиги, проведет он свой последний отчаянный бой, а потом вся его жизнь круто изменится и потечет совсем не так, как бы ему хотелось.

Оправившись после тяжелого ранения, лихой конник обабился; не любя, но по совести стал мужем молоденькой одинокой солдатки, начал править хозяйством в чужом дворе и коня боевого запряг в телегу. Жить с Ульяной не составляло труда. Мужицкую работу она сама умела ворочать, как надо. По воскресным дням, нарядная и отмытая, поражала она живостью глаз, величавым движением плеч и уверенной поступью. Но год за годом все это понемногу утратилось.

Гурлев ничего не добавлял ей в хозяйство. Он поправил плетни на ограде, свежей соломой перекрыл пригон и сарай, а о новом доме под железной крышей, как хотелось Ульяне, даже не слушал. Все чаще начал он отлучаться со двора, пропадал по суткам в сельском Совете: то землю делил, то заготавливал хлеб, то говорил мужикам какие-то речи, смысл которых Ульяна не понимала.

Сначала сносила она обиду молча, надеялась обратить Гурлева в свою веру, чтобы занялся он домашностью, не разорял, а прибавлял хозяйство, но однажды ударила ей в мысли жестокая ревность, и с тех пор выплакала из глаз живость и ясность.

Гурлев поворочался на постели, высвободился из рук жены и продолжительно, с хрустом зевнул. После приступа боли начало клонить в сон, а за окном уже развиднелось, голубой и розовый свет пронизал насквозь тонкую наледь на стеклах. Ульяна опять хотела припасть, но Гурлев не дозволил и ладонью утер ей слезы.

— Рано меня оплакиваешь! Я еще поживу.

— Совсем перестал ты меня за жену считать, Паша,—

снова виновато и покорно сказала Ульяна.— И отбился от дома напрочь. Обидно ведь мне, сам подумай!

— А ты больше реви! Реви и ругайся, тогда остатние крохи во мне сничтожишь. Почему нельзя жить мирно, доверительно и спокойно? Разве это порядок — беспрестанно сидеть возле твоей юбки и дальше двора не ходить! Как ты это понимаешь такую жизнь? Ведь баял я тебе не раз — не двор мне твой опостылел и не ты сама, но кровь, пролитая мной здесь, призывает не проводить время даром, без пользы для родной моей партии. Теперь выходит: хоть и без вострой шашки и без красных моих шаровар, а в обыкновенной мужицкой одеже, но все равно я есть солдат, призванный на мирный фронт.

— Без толку эта твоя служба, Паша!

— Да как же без толку? Вот вечор поясняли мы с Федором мужикам, с чего человек начался, как он с первобытности вышел и как ему надо себя поставить при теперешнем положении. Мужику сознавать это шибко нужно!

— Ты бы лучше решил, Паша, как с мерином-то обойтись,— становясь опять суровой, сказала Ульяна.

— Чего?

— Вечор башкирин заезжал ко мне, смотрел мерина, на мясо хочет взять, хорошие деньги дает. Зазря же мы кормим мерина!

— Ты снова на свою сторону гнешь! — непреклонно ответил Гурлев.— Ну, гляди, Ульяна! Конь этот со мной не раз в атаку ходил, и ежели ты его сбагришь на мясо, часу с тобой не останусь!

В нем закипел гнев, в эту минуту он мог бы и ударить жену и не стал бы впоследствии каяться, но она успела отойти к припечку, рванула на себе кофту и затеяла новый скандал, проклиная тот день, когда давала зарок перед богом.

14

А в это утро, еще спозаранок, Согрин стал собираться в Калмацкое. Он сам осмотрел у кошевы оглобли, ременную сбрую с медными насечками, в меру напоил Воронка и спрятал под сидение мешок с «дарами». В мешке лежали два поросенка-ососка, забитые и опаленные специально для подношения.

Он уже сел в кошеву и взял вожжи, когда в малые ворота вошел Егор Горбунов. Кадыкастая, обросшая жидкой щетиной голая шея Егора вытянулась и чуть скосилась

при виде Согрина, сердито сверкнувшего на него взглядом.

— Кажись, не ко времени, хозяин?

— А ты завсегда не ко времени!

Спустив одну ногу из кошевы и подтянув вожжи, не давая Воронку тронуться с места, Согрин напомнил Егору: тот плохо исполняет его поручения, почти задарма пользуется постоянной подмогой.

— Кабы я с тебя много спрашивал! Вот уж, поди-ко, велика была трудность сразу после собрания зайти ко мне.

— Разошлись вечор шибко поздно,— начал оправдываться Егор.— У тебя в дому уж и свет не горел.

Согрин нетерпеливо мотнул головой.

— Ладно. Не тяни. Что Гурлев мужикам баял?

— Разве все-то запомнишь!

— Мне и не надо, чтобы слово в слово.

— Да про жисть, как она у нас выходит шибко худая, и чтобы мы, беднота, то исть, взошли в полную сознательность и зачали новую жизню как есть понимать. Так весь вечер толклись. Всяк по-своему говорил.

— К чему же больше клонились-то?

— А ко всему. Мужику чего ни дай, все ему надо. Вот, дескать, ближние земли, кои за выгоном, полагается заново перемерить, наделить ими маломощных хозяев, а богатых отодвинуть на дальние. У них-де, у богатых-то, при их тягле, силов хватит в экую даль ездить и тамошние пашни подымать. Зато маломощным надо давать снисхождение. Это Гурлев придумал, ну, а мужики зараз в один голос его поддержали. Так что твое поле у Чайного озерка отберут, наверно, Прокопий Екимыч!

— Ты, Егорка, наперед не загадывай! Может, районная власть отменит...

Согрин недовольно скривил рот, затем презрительно оглядел убогую фигуру Егора.

— Избач, небось, тоже призывал к сознанию?

— Пуще Гурлева. По науке доказывал. А как — передать не могу.

— Про колхозы поминали?

— Про колхозы избач баял так, будто они не сегодня-завтра и у нас объявятся. В других-то местностях уже есть, робют люди сообща. И насчет заводов поминал тоже. Заграницу перегонять будем.

Согрин обдумал сказанное и не нашел ничего, особо заслуживающего внимания.

— Давняя песня. В каждой газете только о том и пишут.

Горбунов догадался, что придется возвращаться домой ни с чем.

— Мучки бы мне, Прокопий Екимыч. Пуд-два. Вот уж масленая неделя скоро. Блинцов поисть тоже охота.

— Опоздал, Егорка! — как бы с сожалением ответил Согрин.— Ничем уже не могу поспособствовать. Весь хлебушко в казну сдал. Да ведь и давать-то тебе без пользы, не в коня овес травить.— И крикнул на Воронка: — Н-но! Ишь застоялся!

За гумнами, вблизи рощи вековых берез, кошеву Согрина нагнал Евтей Окунев. В легкой повозке на широких полозьях Евтей погонял кнутом маломерную, но ходкую кобылу. На развилке дороги, в пологом овражке, Согрин придержал Воронка.

— В далек ли путь собрался, Евтей Лукич?

Спросил для порядка, хотя уже догадался, куда тот спешит. С развилки одна дорога вела в Калмацкое, вторая на мельницу, к реке Тече, к Чернову Петру Евдокеичу. И одет был Окунев налегке, без тулупа.

— Сам же ты, Прокопий Екимыч, велел одно дельце спроворить,— сказал Окунев.

— У тебя отчего-то и других дел появилося много,— суровее произнес Согрин.— Ночами не спишь. Нынче под утро пешим пришел...

— Есть надобность...

— Уж понятно не попусту. Полюбовницу, поди-ко, завел? А свидеться с ней негде, так на задворках хоронишься?

Евтей приподнял бровь, подозрительно покосился.

— Следишь за мной?

— Не слежу, но мимо не пропускаю. Не сторожкий ты, Евтей Лукич! Рисковый. Иной бы улками-закоулками на карачках прополз до своего двора, но не посередке улицы. А ночью-то вдруг случилось бы происшествие. И потянули бы тебя, молодца, к ответу!

— Потому и не сторожился, что ничего не случилось,— признался Окунев.— Не попал зверь на мушку. Я его с одной стороны поджидал, а он явился с другой, миновал засаду...

— Ты этого зверя, Евтей Лукич, не тронь,— повелительно приказал Согрин.— Он мой! Окромя себя никому не позволю с него шкуру снять.

— Я бы, может, и не решился, да Пашка Барышев шибко просил. Не кончишь, говорит, супротивника, так сам до него доберусь и пулей прошью!

— У Пашки, конечно, законных прав на Гурлева больше, но своевольничать ни ему, ни тебе не разрешу. Уметь надо терпеть и время знать! Покуда достаточно, что обоз разгромлен. Вся милиция на ноги поднята. Могут Барышева в Калмацком накрыть. И поэтому поторопись с Петром Евдокеичем другое место ему подыскать.

Перекинувшись еще необходимыми для дела словами, они поехали каждый в свою сторону. Неяркое зимнее солнце лениво подымалось над березами, путаясь в опушенных куржаком ветвях. Игольчатые огни полыхали по заснеженным полям, и как дым расползалась в глубь молчаливых колков синеватая мгла.

В Калмацком сразу же посчастливилось — заврайземотделом Платон Мотовилов был еще дома. Это избавляло от надобности идти в учреждение, дожидаться в коридоре приема, обнаруживать себя перед служащими. Да и Мотовилов предпочитал встречаться наедине. А квартировал он на левом берегу реки Течи, пересекающей село Калмацкое, в укромной улочке, обсаженной тополями, неподалеку от околицы, как раз на пути.

Согрин, остановив Воронка у тесовых ворот, кинул на него попону, достал из кошевы мешок с поросятами. Такие ососки, зажаренные целиком да начиненные всякой всячиной, были у Мотовилова любимым блюдом. Отрицал он только гусей.

Дар приняла его жена, женщина с неподвижными испуганными глазами. Тут порядок сохранялся незыблемо: сам Платон Архипович к дарам руки не прикладывал, делал вид, будто это его не касалось, всем-де, без спроса, заправляет жена, а просьбы и ходатайства исполняет он по долгу службы, в пределах закона. Между тем по той мере обходительности и внимания, что выказывал Мотовилов к просителю, всегда можно было судить, то ли он доволен, то ли неудовлетворен. Согрин частыми наездами не досаждал, поросят, слава богу, хватало и, в конце концов, его отношения с Платоном Архиповичем стали вполне доверительными.

— Ну, с чем пожаловал опять, Прокопий Екимыч? — бодро спросил тот, но в горницу не пригласил.— Притесняет Гурлев-то? А?

— Да уж притесняет,— подтвердил Согрин.— Различиев не признает. А мы ведь все разные, Платон Архипыч! Из богатых мужиков Малого Брода, может, двое-трое найдутся таких, коим Советская власть не всласть, ну и озоруют против нее, на наше сословие наводят презрение, хотя любой из нас предпочел бы жить тихо и мирно.

— Отлично понимаю тебя, Прокопий Екимыч! Но поправить ничего невозможно. Во-первых, установка свыше. Во-вторых, ситуация не в вашу пользу. Плохая ситуация у вас в селе. Кому это вздумалось пустить молву, страхом людей взбудоражить?

— Да кто их знает! Один сболтнул, другой подхватил.

— Нехорошо!

— Темные люди-то! Гурлев вечор хотел в клубе диспут устроить, пояснить насчет бога и антихриста, но отец Николай не пришел. А мужики собрались. И меня интерес туда же толкнул. Ну, допоздна заседали, про сознательность разговоры вели.

Мотовилов осклабился, погладил ладонью бритую щеку.

— Представляю, какую ахинею мололи!

— А бог с ними! — напряженно вздохнул Согрин.— Лишь бы не пакостили. Так нет же! Баяли про совесть, про сознательность, а кончили тем, что пашни надо заново перемерять. Ближние черноземы — бедноте, а нам, хозяевам, выделить дальние массивы. И теперич выходит: вот я должон буду с наступлением вёшны обсевать дальнюю пашню, а какой-то там Иван Добрынин выползет на мои черные пары у Чайного озерка.

— Мало ли чего выдумают, перемер земель мы не разрешим,— весьма решительно обнадежил Мотовилов.— Только за этим тебя пригнало сюда?

— Нет, это так, между прочим,— тоном несколько приниженным сказал Согрин.— Хочу тебе, Платон Архипыч, поклониться!

— За чем же?

— Прошенье бы сочинить...

— Куда прошение, о чем?

— Как тебе известно, из-за состояния моего нахожусь я в числе лишенцев. Не беда была бы, коли меня на собрания граждан с трудом допускали, никаких прав голоса не давали. Не так уж шибко охота мне за кого-то голос отдавать или быть избранным в сельский Совет. Прожил бы и без этакой чести! Но ведь не тебе пояснять, Платон Архипыч, на лишенца все шишки валятся. И вот мне обидно. Я, ежели по правде-то разобраться, тоже за революцию пострадавший.

— Это каким же манером?

— Мой сынок за нее жизнь отдал. Семен-то! Да я тебе сказывал про него. Был он у меня разъединственная кровинушка, вся надежда под старость, и сгинул. Видишь ли, Платон Архипыч, случай-то какой тогда превзошел: стрел-

ковый полк, где Семен службу нес, возмутился против царя и генералов, качнулся к революции, а силов-то устоять не хватило. Разоружили их, поставили в строй и каждого десятого под расстрел. Семен-то десятым оказался...

— Мог и не оказаться! — понимающе качнул подбородком Мотовилов.— Судьба ведь дура!

— Разумеется.

— А есть у тебя доказательства, какую роль играл твой Семен в восстании полка? Был ли он революционно настроен, имел ли принадлежность к большевикам или что-нибудь вроде того?

— Не могу знать, Платон Архипыч! Вот лишь письмецо прислал тогда его дружок по службе: сообщаю-де, по просьбе Семена, выпала на его долю казнь! Так и храню это письмецо, а иных документов нету.

Мотовилов прочитал измятое, потертое от времени солдатское письмо, похмыкал.

— Не очень веско! Впрочем, попробуем! Прошение от тебя, Прокопий Екимыч, я заготовлю, сверюсь с законами, поищу верный ход. Этак через несколько дней ты ко мне еще побывай. Только уж переписать тебе самому придется, с моим почерком отправлять нельзя.

— Ты черновик дай, а уж перепишу я сам.

— И в округ надо бы тебе самому же с прошением съездить. Там поискать нужного человека, лично вручить, расположить к себе...

— Чего лучше! — довольно произнес Согрин.— Без малой шестеренки никакая большая шестерня не провернется. Так я у малых шестеренок и пообиваю пороги.

Мотовилов скрылся в горнице, заспешил на службу, а Согрин вежливо пожелал хозяйке здоровья и вернулся к подводе. Воронок у ворот нетерпеливо фыркал, стучал копытами.

«Слава богу, начало положено! — удовлетворенно подумал Согрин, подбирая вожжи.— Хорошо бы все-таки добиться удачи и выбраться из лишенцев. Но мой Семка дурак был. Своих товарищей предал, да сам же и сгинул».

Хранилось еще одно письмо, где второй друг Семена, сослуживец по роте, описал все подробно, называя унтерофицера Семена Прокопьевича верным слугой веры, царя и отечества. Далеко и надежно припрятал это свидетельство Согрин и читать его за все годы никому не давал.

Миновав мост через реку, перекрестился слегка на купол собора, расположенного на площади, и направил Воронка к «куме». Называл он эту бабу, Зинаиду Герасимов-

ну, своей кумой для отвода глаз. Вернее бы называть полюбовницей. Уже десятка два лет служила она исправно, безропотно, как дворовая собака. Хоть узлом завяжи — слова не вымолвит. Даже замуж не вышла, так и осталась навек одна.

Ее домик стоял у окраины, почти вплотную к березовому колку, за которым дальше начинались поля. Уже хирели дворовые постройки, кособочились, подгнивая. Согрин подумал мельком: надо бы помочь бабе, кое-чего подладить, поправить. Да ведь ни к чему! Получше, покрепче хозяйства рушатся.

Каким-то особым нюхом, что ли, узнавала Зинаида Герасимовна о его приезде и всегда выходила встречать у ворот.

— Поставь пока Воронка во дворе, под навесом, да кинь на него попону,— распорядился он по-хозяйски.— Ночевать не останусь!

— Хоть чаю попей,— смиренно попросила Зинаида Герасимовна.— А у меня и водка припасена.

— Чаю, пожалуй, попью. Гость-то дома?

— На полатях спит. Спровадил бы ты его, Прокопий Екимыч! Неспокойно мне. Боюся! Как бы суседи не донесли. Я уж никого стороннего в дом-то к себе не пускаю, а ведь доглядят. Кашляет он шибко...

— Помалкивай. Осталось недолго ждать...

Барышев сразу слез на пол, когда Согрин вошел в дверь и позвал его. Башка нечесаная. Вид зачумленный, как с перепоя. Заспался там, на полатях, разомлел в духоте.

— Ну, снова здорово, Павел Афанасьич! — присаживаясь на скамью, не очень любезно произнес Согрин.— Скучаешь? Дел-то не ахти как много. Обленишься этак!

— А ты иного времени не мог выбрать для меня,— сердито сказал Барышев.— Стужа. Пурга. Добрый хозяин собаку на двор в такую погоду не выгонит.

— Так то собаку! И дела у нее собачьи.

— Мне зиму надо бы в тепле перебыть. Поблудил я по сибирской тайге, сколь раз был насквозь проморожен, а теперь вот она и дает себя знать.

— Что ж, так за все годы надежный документ себе выправить не мог?

— Пробовал, да удачи не поимел. Один уголовник предлагал сделать, но крупно заломил цену. У меня таких денег сроду в руках не бывало. Может быть, ты поможешь, Прокопий Екимыч? Деньги, конечно, большие. На крайний случай, в сельсовете бланков достань, а уж по бланку сами

напишем: так, мол, и так, служил гражданин Барышев все прошлые годы в батраках и отпущен-де из села в город, на отхожие промыслы. Я бы в Среднюю Азию куда-нибудь поглубже забился. При моем здоровье в тайгу возвращаться нельзя.

— Отработать надо сначала, Павел Афанасьич!

— Дождуся весны, отработаю сполна!

— А где ты ее станешь ждать?

— Зинаида потерпит, наверно!

— Нельзя тебе, Павел Афанасьич, оставаться у нее. Милиция отсюдова слишком близко. С одной стороны, это хорошо: завсегда ищут, где подале, а не там, где поближе. Зато с другой стороны плохо: суседи могут на подозрение взять! Был бы у тебя документ надежный, так живи тут, мало ли родственников у кого проживает! Приехал-де погостить да захворал и вот-де задержался. Проверяйте, мол, милости просим! А тебя как проверят, так и загребут. Тем боле после того, как ты обоз разгромил, милиция вся на ноги поднята. Кстати скажу: неразумный ты, Павел Афанасьич!

— В чем?

— Коней зря побил! Люди остались живы-здоровы, напугались только твоей стрельбы, а коней нету. Или ты сам мужиком не бывал, чтобы коней не жалеть? При чем же скотина, если беды наши идут от людей?

— Боюсь я теперича убивать,— понурился Барышев.— В руках твердость теряю.

— А у Колчака не боялся,— напомнил Согрин.

— Кто знает?

— Про то в газетке было прописано...

— Там у меня такая служба была.

— И теперь служба,— положив сжатый кулак на стол, резко произнес Согрин.— Не свою волю сполняешь!

— Заарканил ты меня намертво, Прокопий Екимыч! — безнадежно сказал Барышев.— Не кончится это добром. Кабы знал, как ты станешь мной помыкать, не отозвался бы тебе, а явился бы сюда один, тайно, с бабой бы своей рассчитался...

— Как же рассчитался бы, коли убивать забоялся?

— Баба — не человек!

— А полюбовника ее, значит, чужими руками хотел прикончить?

Согрин погрозил пальцем, надвинулся на Барышева:

— Не блажи, Павел Афанасьевич! Не старайся обвести меня! На себя-то ты супротив Ульянина полюбовника не

понадеялся, не с твоим здоровьем в засадах сидеть, так подослал Евтея Лукича. Допустим, пристрелил бы Евтей Гурлева, а ты по готовой дорожке-то спалил бы свой бывший дом вместе с Ульяной и тогда дал бы деру отсюда... И остался бы я в дурачках. Тратился на тебя, оберегал, надеялся, а взамен получил бы кукиш. Не-ет, нет, Павел Афанасьич! Ты сначала мою волю исполни, потом уж я тебя и до Гурлева допущу. А еще на что-нибудь своевольно пустишься — на дне озера рыбок покормишь!

— Дьявол ты, Прокопий Екимыч,— вздрогнул Барышев.

— Больше разговору на этот счет у меня с тобой, Павел Афанасьич, не будет! И не вздумай в милицию с повинной отправиться. Никто тебе снисхождения не сделает. А меня в свои дела не запутаешь! Ни свидетелей у тебя супротив меня нету, ни бумажек, ни других доказательств. Я за собой следы не оставляю. Мне надобно долго жить, и нету смысла где-то по пустякам завалиться! Тебе же, Павел Афанасьич, есть резон меня слушать. Уже многое я доверил тебе. Исполнишь мою волю, тогда ступай на все четыре стороны, я и денег дам на поддержку.

— Ну, приказывай! — смирился Барышев.— Опять жечь? Или убивать?

— Еще успею, скажу, что придется делать. Имей терпение. И не сумлевайся! Я не допущу, чтобы ты попался. Обрез-то, который тебе Евтей Лукич дал, цел ли?

— Патронов осталось мало.

— Получишь! Не сегодня, так завтра надо тебе из Калмацкого уходить. Поближе к Малому Броду. Милиция-то по всем селам шарит. Могут здесь на тебя натакаться. Ну, и вообще быть в Калмацком уже несподручно: чуть чего понадобится тебе передать, это всякий раз гнать приходится нарочито. Далеконько все ж! Да и тебе пешочком-то по сугробам двадцать верст, да ночью не ахти как ловко мотаться. Отсюда ты доберешься до мельницы, к Петру Евдокеичу, а тот вместе с Евтеем Лукичом подыщет надежное место. Только обо мне Чернову-то ни слова не сказывай.

— С мельницы тоже не ближний путь,— сказал Барышев.

— Тебя там не оставят. А свое-то поле у Чайного озерка помнишь?

— Наверно, с завязанными глазами найду.

— Это тебе про запас. Чуть неудача, ступай туда. В твоей загородке Гурлев избушку построил, сам-то зимой в ней не бывает. И никто из посторонних туда не полезет, на зиму глядя. Ни одной живой душе в ум не падет, что Гурлев

кого-то скрывает у себя. Я завтра же завезу туда, в избушку, весь необходимый припас.

Зинаида Герасимовна внесла из сенцев вскипевший самовар, накрыла стол. Барышев к еде не притронулся. Перемогая отвращение к его пропотевшей одежде и чахоточному покашливанию, Согрин, выпив чаю без удовольствия, вылез из-за стола и начал собираться снова в дорогу.

— Как полагаешь, Павел Афанасьич, если я тебя еще с одним человеком сведу?

— Надежный?

— До конца не проверен. Но нам нужный. Партеец.

— Как его фамилия?

— Впрочем, обождем пока! — решил Согрин.— Торопиться некуда. Надо еще подумать...

От Калмацкого до Малого Брода время прошло совсем незаметно. Доволен остался Согрин, удалась поездка, все задуманное теперь настроено и налажено. Остается лишь выждать до срока. Но вдруг захотелось еще и потешиться, заставить Гурлева перед гибелью пострадать, испытать перед народом позор. С этой целью прямо с пути заехал к Егору Горбунову, постучал кнутовищем в окошко, велел выйти на улицу.

— Слышь, Егор! Бают, Павел Барышев домой возвернулся. Не встречал ты его?

— Осподи прости! — всполошился Егор.— Это как же выходит: у бабы два мужика!

— Так видел ты его или нет?

— Вроде бы не видел, Прокопий Екимыч!

— Может, зря слух! Ты сделай милость, Ульяну все же спроси. Найди заделье! Так, мол, и так, кто-то, мол, встречал Барышева в городе, он домой посулился. Пусть заране Гурлева предупредит. Уходить ведь придется ему из чужого двора. Да меня не впутывай... Свалишь слух на меня, больше в мой двор не кажись!

— Слушаюсь, Прокопий Екимыч!

— То-то же! Я ведь худа никому не желаю...

15

Лида Васильева писала часто, но письма всегда были короткими, пустыми, неинтересными. Жаловалась на скуку, на усталость и ни разу не спросила ни о его настроении, ни о работе.

Федор не понимал, что такое скука и почему надо так мрачно смотреть на окружающий мир.

Потом Лида перестала писать. Не отвечала. Он подумал, уж не заболела ли, хотел попросить на неделю отпуск и съездить в город, но мать сообщила: видела Лиду живой и здоровой у городского сада, и не одну, а вместе с каким-то ушастым и очкастым мужчиной. Федор отложил поездку, понимая, что образа жизни ради Лиды менять не может.

В воскресные дни ходил по дворам, вербовал читателей. Мужиков, охочих до книг, находилось много, но в библиотеку они не записывались. Одни стеснялись своей малограмотности, другие боялись прослыть бездельниками, третьи по непривычке и от лени,дескать, не пристало мужику тратить время на забавы. Бабы даже в разговор не вступали: «Да бабье ли это занятие? Лошадям ведь лучше жить, чем нам! Им хоть роздых дают, а мы ни днем, ни ночью роздыха не имеем. И постряпать-то надо, и по хозяйству управиться, и в поле успеть, и детишков-то умыть-прибрать, да мужика ублаготворить. Где уж нам!» Девки стыдливо прикрывались ладошками, краснели от смущения, сразу убегали то в горницы, то во двор. «Им о замужестве и о приданом заботиться надо, а не о том, что в книжках пишут! — сурово говорили старухи.— Иная наберется чужого ума, потом в замужестве — горе! Ты уж, миленький, не тронь их, не соблазняй, коли добра им желаешь!» Молодые парни уступали настойчивости избача, записывались, чтобы соблюсти достоинство, но Чекан был уверен, что половина из них ни одной книжки до конца не прочла. «Ладно, хоть из десятка один зацепит умом какую-то мысль, и то хорошо»,— думал он.

Дед Савел Половнин однажды в шутку назвал его «коробейником». Это прежде ходили по деревням разносчики с коробами на спине, со двора во двор, раскладывали в избах ленты, бусы, платки цветистые, булавки, пуговицы, гарус и ситцы. «Так вот и ты со своим товаром,— сказал дед Савел.— А много ли наторгуешь? Неходовой у тебя товар! Не дошел еще мужик до настоящих понятий». Не дошел, так надо его доводить, тянуть, увлекать, так решил Чекан, приняв шутку деда Савела вполне серьезно. Ведь и вешняя капель начинается с первой крохотной капли.

Во всем селе не было мужика горемычнее Ивана Добрынина. И не переставал Иван мечтать о каком-то кладе, о счастливой случайности, которая бы вывела его из нужды. Старая изба с подпорками, подслеповатые окна. В избе скрипучий, расшатанный стол. Голые стены. Вся радость

семьи — медный самовар. И заварки вдоволь: сушеная морковь, заготовленные впрок листья полевой клубники. Пил Добрынин чаи по три раза в день, но сыт не бывал.

Чекан застал всю семью за столом. Положил книжки на лавку, сказал по обычаю: «Хлеб да соль!» И не сел бы за скудный обед, но Иван настоял, усадил на почетное место, в передний угол. А когда вышли из-за стола, спросил: какая же неми́ня гонит избача по дворам, зачем он носит столько книг с собой и о чем же те книги говорят? Поначалу Чекан взялся рассказывать, а потом кое-что прочитал из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Вся семья слушала, как зачарованная; Иван и его жена Акулина даже поплакали. На следующий день вечером при свете лучины прочитал им рассказ Льва Толстого «Бог правду видит, да нескоро скажет» и вместе с хозяевами немало наволновался, как все-таки плохо была устроена жизнь. Но что-то новое, доброе засветилось в глазах бедного мужика, чем-то неожиданно хорошим скрасилось его унылое существование. Потом в избу к Ивану стали собираться соседи, и Чекан уже не мог управиться без помощи комсомольцев, потому что и в других избах нашлись желающие мужики и бабы. Им было отрадно слушать не только складную речь; книги устраняли из их изб одиночество, сказывали о таких же людях, со всеми их печалями, стремлениями к счастью.

Но клуб пустовал. Ребята-комсомольцы помогли отремонтировать сцену. Кирьян Савватеич взялся руководить драмкружком, подобрал пьесу, а на женские роли никого не нашлось. Без девушек и парни не соглашались играть. Оставалась надежда на комсомольцев, и то не очень большая. Секретарь ячейки Серега сам не верил в успех.

— Не завлечь девок! — тоном совершенно безнадежным сказал он Чекану.— Парней-то еле удерживаем! Кабы ты знал, как меня батя за комсомол беспрестанно строчит! «Ты проклятущий! Ты басурман! Ты семя антихристово!» А мать за ухват берется. Ладно еще из дому не выгнали!

— Однако ты не сдаешься!

— Привык потому что! С малых лет ведь колотят. У меня батя от нужды шибко зол. Богатым завидует. Спит и видит во сне, как бы второго коня купить. А я, выходит, помощник ему плохой. Меня к людям тянет. Теперь батя и мать грозятся женить. Уж и невесту присматривают. Мы-де привяжем тебя за хвост!

— Подчинишься?

— Это никак невозможно. Наотрез откажусь. Опять придется битки принять, но я ничего, стерплю.

— Даже от хорошей невесты откажешься? — любопытствуя, не отставал Чекан.— От такой, что вместе с тобой хоть на край света пойдет?

— Какую мне надо, ту родители не признают.

Он имени не назвал.

— А я знаю ее! — засмеялся Чекан.— Это Катька Панова.

Еще осенью как-то при ранних сумерках Чекан встречал их в глухом переулке. Они жались за угол амбара, держась за руки. Одетая в шерстяной пониток, плотно облегающий ее тонкую фигурку, в легком полушалке, сдвинутом на затылок (целовались, наверно), Катька сразу запомнилась.

— Так что же: девушку любишь, а в комсомол не зовешь и даже на вечер танцев в клуб не приводишь? — упрекнул Чекан.

— Ха! — усмехнулся Серега.— Катьку уговорить почти невозможно, а попробуй-ко ее мать, Василису, убедить? Она такого задаст.

— А если мы с тобой вместе возьмемся!

— Дома, что ли, у нее побывать? Не получится. Вытурит Василиса!

— На посиделки сходим. Катька бывает там?

— Еще бы! Теперь зима, только на вечерках встретиться можно. В нашем околотке они собираются у Дарьи в избе. После Согрина никто ее в работницы не берет, так она уговорилась с девками, те ей за беспокойство понемножку платят: то яичками, то зерном, чего удается из дому взять.

— Так пойдем!

— Нельзя! — решительно отрезал Серега.— Мы с предрассудками боремся. Если я соблазнюсь, а мои ребята узнают, так уважать перестанут...

Сама же Катька Панова и помогла побывать на вечерке. Опять она кружила парню голову, стоя с ним в обнимку за тем же углом амбара. Серега смутился, зато Катька намеренно еще ближе прильнула к нему и стрельнула взглядом. Глаза у нее оказались крупные, под длинными ресницами, с тронутыми сиреневым светом зрачками.

— Матери скажу про тебя! — шутливо пригрозил пальцем Чекан.— Выпусти парня...

— А вот и не отпущу,— смело сказала Катька.— Позавидуй!

— Мне уж давно завидно.

— Обзаведись! На тебя любая посмотрит. К нам на вечерки пришел бы.

— Серега не ведет, сам дороги не знаю,— все в том же шутливом тоне ответил Чекан.— Боится он: тебя у него отобью!

— Ну, уж нет! — звонко засмеялась Катька.— Его я даже на десяток таких, вроде тебя, не сменяю! Ты, может, хороший, а он лучше всех. Только плохо мне с ним. Вот так по-за углам видимся. На вечерках все девки с парнями, одна я, как солдатка. Сговори его, а я тебе за то кисет кружевной подарю! И приходите! Да с гармонью. Бают, ты на гармошке играешь всяко...

На вечерки в избу Дарьи Серега все-таки не решился, отрядив для охраны Чекана Афоньку. Добродушный верзила, кудлатый, всегда при любом морозе с открытой грудью. Афонька был верным товарищем.

Проявление всякой безнравственности в деревенском быту было для Чекана уже не в диковинку. И о вечерках, где парни и девки проводили долгие зимние ночи, он также был немало наслышан. А все-таки первобытная дикость, немыслимая обнаженность любви, животная страсть его поразили.

Покосившаяся изба Дарьи, без ограды, с одним приткнутым сбоку сараем для коровы, стояла между сугробами, на отшибе от других дворов.

Возле крыльца двое пьяных парней драли друг друга за волосы, еще двое ломились в сенцы, бухая в закрытую дверь здоровенным поленом.

Афонька разогнал их и давнул дверь плечом. В сенцах и в избе ему снова пришлось применить силу, чтобы протолкаться вперед и провести за собой избача.

На божнице, в переднем углу, рядом с темной иконой, слабо светилось желтое пламя керосиновой лампы без стекла.

В полутьме вдоль лавки сидели девки в сборчатых юбках и кофтах, пряли пряжу и пели во весь голос, успевая наматывать крученые нити на веретена и отвечать на поцелуи своих парней. Под божницей мясистая девка легонько повизгивала, подергивая плечами. У нее на коленях торчал потный ухажор.

Запевала Катька. Голос у нее, густой, на низких нотах, звучал раздольно, перешибая гогот парней, матерщину, посвистыванья, топот ног. Девки подхватывали ее частушки, насмехались:

Я вечер вечеровала
С миленьким за уголком.
Напиталась моя душенька
Вином и табаком.

А парни вступали вслед за ними и похвалялись:

Я ли, я ли не работал!
Я ли не старался!
За работу тятька бил,
За гульбу гармонь купил.

Рядом с Катькой Чекан приметил очень красивую чернявую девушку. Со своими подругами была она не схожа ни в чем. Сидела без прялки, молча грызла семечки и как будто даже не замечала, как сын лавочника Алеха Ергашов ладился к ней, пытаясь обнять.

Афонька вытолкал Чекана наперед себя, подперев спиной жаркую толпу парней, которая еще только жаждала любовных утех.

— А, пришел-таки! — обрадовалась Катька и начала отпихивать Алеху, чтобы усадить Чекана между собой и подругой.— Серегу-то пошто не привел?

— Стесняется,— усмехнулся Чекан.

— Не хочет!

— Значит, не хочет.

— Вот богу не молитесь, а вера в вас есть. И что это такая вера негодная — вечерок чураться? Зато тут шляются...

Она повернулась вбок и пихнула Алеху обеими руками в грудь.

— Брысь же ты, шалопутный!

И сказала подруге:

— Аганька, дай ему по губам, скорее отстанет! Ишь, кот! Только и знает лизать сметану из чужого горшка!

В избе вдруг стало тихо. Потный, очумелый ухажор сполз с девичьих коленей, заозирался. Его девка спешно поправила кофту, наполовину расстегнутую. С печи, поверх матицы, выглянула сама Дарья, дремавшая там в тепле.

Чекан сообразил: это его появление встревожило всех. «Гликось, избач тута!» — зашептались девки. «Разгонять, наверно, явился!» — тихо произнес кто-то из парней. «А пусть спробует разогнать!» — погрозился другой.

— Эй, что там за шепотки про избача? — спросил Чекан, приподнимаясь со скамейки и вглядываясь в настороженные лица.— Или уж попросту нельзя заходить?

— Так ты же партейный! — мощно прогудела с печи Дарья.— От того и смутно. Вся тутошняя головка без заделья во двор пяткой не ступит.

— Значит, и я имею заделье.

Чекан ответил весело, добродушно, а Катька снова усадила его рядом и отчеканила во весь голос:

— Дарья, ты в нем не сумлевайся! Он подобру здеся. Я его позвала. А вы, девки, перестаньте-ко пялиться! Избач смирный. Но ты пошто, избач, без гармони?

— На квартиру зайти не успел,— соврал Чекан,— рассчитывал от ваших гармонистов попользоваться. Эй, Алеха, дай твою гармонь на часок.

— Катись прочь! — ругнулся тот, привыкший кобениться перед девками и парнями.

— Так ты тоже катись! — яро оборвала его Катька.— Не надейся, здеся тебе не поддует ни с какой стороны.

— Не шуми, конопатая! — приосанился Алеха, вздернув редкие усики.

— Я конопатая? Ах ты!

Катька огрела его по голове веретеном, девки зашумели, парни их поддержали — обзывать девушку, даже если она полезла в драку, не полагалось.

Ой, пимы мои, пимы!
Рваны голенищи.
Отгуляли богачи —
Загуляли нищи!

Катька, притопывая, пропела эту частушку прямо в лицо Алехи, все вокруг него засмеялись, он попятился под полати.

— Очень жаль,— огорчился Чекан.— Не захватил гармошку. Поплясали бы.

— Мы и без нее обойдемся,— задорно отозвалась Катька.— Аганя, бери гостя себе в кавалеры, покажем ему нашу «Ланцею»...

Этот стародавний танец, вихревой, вроде кадрили, исполнять в тесноте было немыслимо, но она схватила от устья печи железную заслонку и ударила по ней всей пятерней.

Звон заслонки в ритме, в стремительном беге всколыхнул примолкших вечерошников: послышалось сначала легкое притопывание каблуками, потом все громче и громче, наконец девки бросили прялки, отдались во власть парней и те, почти не сходя с места, ударились с ними в пляс.

Подруга Катьки тоже встала с лавки, протянула руку Чекану.

— Пошли!

Плясала девушка очень легко, чуть склоняя голову, и только вздрогнула, когда он нечаянно наступил ей на ногу.

— Извини,— произнес мягко Чекан.

— Ладно,— согласилась она.— Не больно ведь!

— А у тебя хорошее имя: Аганя!

— Агафья! Чего в нем хорошего! Так поп назвал.

Шаркание и стук каблуков, звон заслонки, самозабвенность танцоров продолжали нарастать, вся изба ходила ходуном. Чтобы слышать Аганю, Чекан наклонился к ней ближе. На него напахнуло вдруг вместе с ее дыханием ароматом свежего хлеба, парного молока и еще чем-то удивительно близким, как прибранной к празднику горницей в доме Лукерьи.

Даже не подумав, дурно это или хорошо, он чмокнул губами Аганину щеку и хотел повторить, но лампа на божнице погасла, столпотворенье мгновенно стихло.

— Не надо! — строго прошептала Аганя из темноты.— Не балуйся, ты нам не ровня...

Чекан ни одного слова в ответ произнести не успел, кто-то ловко и очень сильно ударил его кулаком в бок. И тотчас же где-то почти рядом озлобленно зарычал Афонька, распахнулась дверь, началась свалка, затем взревела гармонь, выброшенная на крыльцо. Группа парней вместе с Алехой ушла от двора. В избе сразу стало просторнее и свежее. Катька залезла на лавку и вздула лампу. Девки снова уселись с прялками. Агани среди них уже не было.

— Ей пора быть дома,— объяснила с большим сочувствием Катька.— Проживает-то не у отца с матерью, а у чужого дяди. Евтей Лукич шибко характером крутой. Никуда со двора ходить не велит. Тайком да молчком, покуда хозяина дома нету, прибегает она к нам на вечерки.

— У Евтея в батрачках живет?

— Кабы в батрачках, а то робит бесплатно...

У Афоньки под правым глазом засветился большой синяк.

Поглядев на него, Чекан засмеялся.

— И тебе влетело?

— А ништо! — ответил тот равнодушно.— У нас всяко бывает.

Катька вышла во двор проводить Чекана и попросила приходить еще. Без шубенки, в больших валенках, надетых на босу ногу, казалась она совсем девчонкой.

— И приводи Серегу с собой,— напомнила, зябко поводя плечами.— Если тебе можно, то отчего же ему нельзя? Ведь все равно караулит меня каждую ночь, ждет, покуда я с вечерок домой пойду.— В ее низком, не по росту голосе, зазвучало негодование.— Вот и сейчас, наверно, где-то вблизи хоронится. Афоня, иди, взгляни за зародчиком сена...

— Он там,— подтвердил Афонька, ранее предупрежден-

ный Серегой.— И не один. Мало ли какая кутерьма могла здесь случиться.

— А в избу, небось, не зашел,— совсем горестно вздохнула Катька.— Ну, скажи, избач, как мне дальше с ним поступить? Не бросать же...

— Не бросать,— поддержал Чекан.— Но и со мной не надо обходиться так: избач да избач! Называла бы просто Федей или уж, на худой конец, Федором, поскольку я постарше тебя лет на семь.

— Неловко! Ты все же неровня нам, деревенским.

— Как же мне ровней стать?

«Неровня» — вот еще проблема, которой он совсем не предвидел.

16

После вечерки ушибленный бок всю ночь беспокоил. В горнице было холодновато, Лукерья только затопила большую русскую печь. В заиндевелое окно пробивался ранний матово-блеклый свет.

Накинув поверх тонкого одеяла полушубок, Чекан укрылся с головой и попытался снова уснуть. А вместо сна привиделись с детства родные улицы города, каменный мост в Заречье, тополя на острове в излучине реки, березовый сад на взгорье и станционное депо, где на путях, в клубах пара и дыма стоят пыхтящие паровозы, готовые к выезду. Он обрадовался им и подумал, что, вероятно, всякому человеку, если в нем сохранилась хоть капелька настоящей, не испорченной крови, навсегда остается памятным, облюбованным и желанным то место, откуда начались его первые радости и страдания. Затем отчетливо представились вчерашние танцы в избе Дарьи, склоненная, повязанная платком голова Агани, и снова, как на вечерке, нанесло ароматом свежего хлеба...

— Фе-едор! — позвала Лукерья, открывая дверь горницы.— Вставай свежие шаньги кушать!

— Вот не вовремя,— сказал он, поворачиваясь на другой бок.— А мне такое приснилось...

— Завтра досмотришь! Шаньги могут остыть.

— Пусть остывают.

— Все равно надо вставать,— решительно сказала Лукерья.— Давеча посыльный Аким прибегал, велел тебе в Совет поспешить.

— Случилось чего-нибудь?

— У Дарьи после вечерок кто-то окна повыхлестал.

— Алеха Ергашов, наверно.

— Дарья на него и грешит. Это все из-за девок. Ну, тебя-то зачем туда заносило?

Все про всех знала Лукерья. Чекан часто заставал у нее девок и баб. По знахарству и ворожбе в Малом Броде ей не было равных. В чулане на жерди висели травы от «сухоты и ломоты», от «плохих снов и видений», от «измен и мужеских немощей», а в памяти старухи хранилось великое множество нашептываний, заклинаний, наговоров.

— Ну, что же, пойду объясняться,— подымаясь с постели, неохотно сказал Чекан.

Пурга густо сыпала и крутила по улицам пухлые хлопья снега.

Однообразно, безлюдно вокруг. И тихо. Даже слышно, как шумит закрученный ветром снег.

Заснеженные фасады домов стали наряднее, светлее и будто щурились на прохожего: не подойдет ли, не постучит ли в окошко?

Это наружное добродушие было обманчиво. Постучись-ка, попробуй, и сразу донесется из ограды остервенелый лай цепного пса, грубый окрик хозяина: «Чего надо опять?»

Поравнявшись с двором Согрина, Чекан увидел вышедшего оттуда Кузьму Холякова. Если бы тот, как обычно, попросту повел себя, Чекан не остановил бы на нем свой взгляд и прошел бы дальше. Но Холяков отшатнулся, сделал шаг назад, затем пошел навстречу медленно, как бы увязнув ногами в сугробе, а чтобы согнать с лица растерянность, сдвинул шапку к затылку, ощерил зубы в улыбке.

— Раненько куда-то направляешься, Федор Тимофеич? — спросил, подходя вплотную.— И меня вот тоже нужда-то гонит ни свет ни заря заниматься делами.

Чекан не принял его оживленного тона.

— Какая же у тебя нужда к кулаку? Может быть, дружбу заводишь?

— Как бы ты поступил? — взглянул Холяков.— Завтра надо в город за товаром подводы отправлять. Ведь сам же указываешь: в потребительской лавке того нету, другого нету, а у Ергашова есть! При таком положении разве отобьешь к себе покупателей, выдержишь конкуренцию с частным капиталом? А пошто так? Пото, что частный торговец в город гоняет за товаром по два-три раза в неделю, покамест мы собираемся да налаживаемся. У меня же в потребиловке своих коней нет. Волей-неволей приходится со стороны нанимать. Та же нужда-неволя и заставляет к богатым идти на поклон. Я, конечно, сознаю,— непорядок это,

вроде не по-партейному, но уж лучше пусть меня партейцы побьют, чем стану я срывать доставку товаров.

— А у бедняков и середняков кони разве повывелись? — не намереваясь давать спуску, спросил Чекан.

— Конь коню рознь! — с ударением произнес Холяков.— Я в прошлый раз Михайлу Суркова сколько упрашивал: поезжай-де, Михайло, все же хоть и не высокий, но заработок. И ни в какую не договорился. Боится, что на своем коне, с возом-то, в первом же сугробе завязнет. Вдобавок, каждый мужик хочет коня приберечь к вёшне, чтобы не сидеть потóм, не горевать в борозде. А у богатых кони справные. Вот Прокопий-то Екимыч сам, безо всякой просьбы предложил услуги: «Давай-де подряжусь на поездку и дорого не запрошу!»

— А ты «благодетелю» сразу обрадовался? — иронически заметил Чекан.

— Если нельзя, так могу отказать!

Холяков подошел ближе, и от него нанесло перегаром самогона.

— Как откажешь, если уже успел договор «обмыть»? — строго спросил Чекан.

— Есть маленько,— не смутился Холяков.— По обычаю.

— Сегодня рюмка с кулаком по обычаю, завтра еще повод найдется, а дальше покатишься сам, вплоть до измены партийному долгу,— сурово предупредил Чекан, отворачиваясь и уходя прочь.— Придется все же на очередном партсобрании потребовать с тебя объяснение!

— Ну, мне теперь что в лоб, что по лбу,— тихо сказал про себя Холяков, оставшись один на дороге.— Иного выхода нету...

Обернулся бы он в этот момент назад, наверно, приметил бы выглянувшего в окно горницы Согрина.

Не зря тот подглядывал, не ради пустого любопытства. Все-таки вначале поддался соблазну иметь «длинное ухо», всегда знать, чем занимаются партячейка и сельсовет, и не оттолкнул Холякова от себя, а доверился ему кое в чем, очень малом. Убедиться, на самом ли деле тот допустил растрату денег, не удалось. То могла доказать лишь ревизия, а ее жди-пожди, когда она соберется. Поэтому с деньгами для погашения растраты пока не спешил: пусть немного побудет Холяков на коротких вожжах! Между тем держать Барышева в бездействии, пока он совсем не скис, не было смысла, как держать зажженную спичку у костра и не поджечь бересту. Если уж на кострище все приготовлено, так разводи огонь и вари кашу, не то станешь жевать

черствый хлеб всухомятку. Осторожно рискнул: подослал Холякова к Евтею Окуневу, дескать, тот скорей раскошелится и намерен-де, для каких-то своих целей, взамен попросить услуги. С Окуневым было точно условлено, как использовать Холякова, но когда Евтей Лукич попросил побывать в Калмацком и навести справку, что предпринимается насчет пожаров на полях и разгрома обоза, не намерена ли, мол, милиция всю ответственность взвалить на богатых хозяев села, обвинить кого-то несправедливо, вместо того, чтобы найти настоящих виновников, Холяков вдруг заспорил: не желаю, дескать, никаких неясных поручений! А Евтей при этом переусердствовал, сдуру обмолвился про Барышева, хотя не назвал, где тот находится. Сказанное слово назад не воротишь. Очевидно, догадался Холяков, что неспроста объявился Барышев, но виду не подал, а спросил лишь, почему же он к жене не зашел, не проведал ее? Потом в Калмацкое съездил и сообщил Окуневу: шумок-де в районе еще не заглох, а все там в недоумении, что следов ничьих не могут найти. Иных подробностей не добыл. Целый вечер его сообщение обдумывал Согрин вместе с Окуневым, а лучшего выхода не нашел, как обезопасить себя и уже без помощи Холякова довершить все задуманное. Не испугался. Огород ведь страхом не огородишь. Зато, как в поговорке сказано: «У хорошего мужа и плохая жена верно служит!» Предупредил Окунева: «Своими силами обойдемся. Больше Холякову никаких поручений не давай, ни о чем не проси. Но если еще спрашивать про Барышева вздумает, чем-нибудь отвлеки, вплоть до того, что бандит, мол, он и нам свои услуги предлагал, просил от нас денег и поддержки, а мы ему отказали, потому что свои головы нам дороже и никаких сделок с ним не желаем. Вот так!» Что Барышев? Какую еще ценность он мог представлять? Дохляк-то! И ничуть его не было жалко, только бы в последний момент не сдал и сослужил последнюю службу! Поэтому и пришлось с Евтеем Окуневым строго договориться: «Барышева надежно спрячь, следи за каждым его появлением. По одиночке ли, сразу ли всех партейцев он постреляет, но чтобы сделано было это в одну ночь, а потом и самому ему пулю в лоб. Не медли. Если Холяков вдруг окажется не тем, за кого себя выдает, и стукнет в милицию про Барышева, надо успеть все сделать.

Не легко такое далось. Торжествовать бы надо: вот подвел всех ненавистных к последней черте, можно руки умыть и считать, что расчет получен сполна. А от ожидания, что ли, навалилось тяжкое беспокойство. Не сорвалось бы. Са-

мому не попасть бы. Несомненно, Окунев хоть и ярый дурак, а сообразит и, прикончив Барышева, тоже сумеет за собой следы замести, но ведь даже за одного Гурлева милиция перетрясет все село, и, как знать, до чего она уже доискалась. В такую пору надо быть как можно подальше. И решил: «Поеду пока в город, прошение свое увезу, а попутно наймусь в потребиловку товары доставить». И не стал дело откладывать. Зазвал утром Холякова к себе, уговорил нанять, затем скрепил договор стаканчиком самогона. Тот сначала отказывался: нельзя-де, Гурлев за спиртное не жалует, выговор влепит, но все же принял. А выпив самогонки, снова кинул крючок: «Что-то темните вы со мной, Прокопий Екимыч? С Барышевым-то непонятно! Или меня боитесь? Неладно так получается: вы меня, а я боюсь вас, как бы мою растрату не выдали?» Но теперь ему уже твердо ответил: «Ничего про Барышева не знаю и знать не хочу. Чего тебе сказывал про него Евтей Лукич, то пусть сам пояснит. У меня интересов нету». А проводив Холякова за ворота, все же подсмотрел из окна горницы, как он встретился на дороге с избачом, как разговаривал. Не одобрял тот, очевидно, Холякова, если запах самогонки учуял...

Беспокойство весь день томило, скреблось внутри, и ради успокоения собрался Согрин к вечерней службе. Немноголюдно было в церкви. Ни одного мужика, только старики и старухи. Выбрал себе место в стороне от алтаря, перед образом Христа-спасителя, идущего по облакам. С алтаря отец Николай под унылое пение псалма дымил кадилом, а тут было тихо и горела всего лишь одна свечка, кидая неверный свет на позолоту рамы и на голые ступни божьего сына. «Господи Исусе Христе,— слегка перекрестившись, мысленно обратился к нему с покаянием,— ты меня заранее прости! Не могу иначе! Не за простую обиду беру грех на себя, но возместить хочу за крушение старых порядков, за ущемления богатству! Не ты ли учил в Евангелии: «Кто-то сеял, а я жну!» Я выхожу жать, а меня с поля того прогоняют, дескать, это мы сеяли, и это все наше! Но ты не помог и ненависть к моим врагам оставил со мной. Она же меня печет, но и гибели своей я не хочу!»

Голые ступни спасителя с ногтями синими отвращали уродливостью, напоминая больные ноги Аграфены Митревны. Искреннего, чисто душевного общения с божьим сыном не получалось, и Согрин, брезгливо поморщившись, упрекнул: «Э-эх, ты-ы, намалеванный! Не зря про тебя сказано: «На бога надейся, а сам не плошай!» С того и приходится брать на себя грех, самому нести тяжесть, коли ты беспо-

мощен и бессилен. Не обессудь за это, господи Исусе!»

Попятившись назад от иконы, чтобы неприметно выйти из церкви, нечаянно столкнулся с Ульяной. Она стояла на коленях и молилась, подняв кверху скорбное, улитое слезами лицо. Значит, донеслось-таки до нее с брехливого языка Горбунова, испугалась появления законного мужа. Но вместо злорадства вдруг посочувствовал: «За что ее так? Не виновата ведь! Мужики дерутся, в баб попадает. А сколько еще будет слез впереди!»

Мимолетным оказалось это сочувствие. Только вышел на паперть, снегопаду навстречу, как пропало оно, зато снова навалилась тревога и какая-то безнадежность. Все, что предстояло завтра, и послезавтра, и в последующее время, вдруг утратило ясность и смысл. Мелки и ничтожны замыслы, бесплодны усилия перед этаким широким, необъятным миром, а сам он,как любая из мечущихся в круговороте снежинок, в конце концов упадет на землю и станет ничем. Такую расслабленность вызвал, очевидно, свет в окнах школы, толпа мужиков у ее ворот, явившихся к учителю на уроки ликбеза.

«Ну, нечего, нечего по-бабьи в душе копаться,— подбодрил себя Согрин.— Мир пусть живет, здравствует, лишь бы Гурлев со своими партейцами сгинул из него на веки веков! Как жить дальше, потом станет видно!»...

У себя во дворе он еще раз осмотрел упряжь и сани, заглянул в конюшню — хорошо ли на ночь задано сено коням? — потом взял в кладовой новый тулуп и отнес его в дом, чтобы утром не тратить зря время.

Аграфена Митревна еще не накрывала стол, дожидаясь хозяина.

— Давай! — приказал Согрин, забрасывая тулуп на полати.

Поужинали молча. Соблюдая превосходство, мало разговаривал со своим семейством. Не грубил, не колотил, но и ласковым словом не баловал. Один на один остался с бабами: жена да дочь. Жена страдала отеками: тело, как тесто. А дочь Ксения заведомо бросовая. Ни рожи, ни кожи! Кто на нее позарится? Экая тощая, как щепа на двух палках! Волосешки на голове редкие и патлатые. Да ведь не бросишь ее, коли бог ей смерти не дал! Так и приходится нести этот крест, без всякой надежды на облегчение.

Спать с женой на перине не пошел. Раздеваясь, Аграфена Митревна оголила ноги, уродливые, с синими ногтями, как на иконе у Христа-спасителя. Перемогая отвращение, улегся в кухне на полатях.

17

Сразу из церкви Ульяна навестила старуху Лукерью. В эту пору старухин постоялец работал в читальне, и побыть с ней наедине никто не мешал. Лукерья, хорошо знающая ее несладкую жизнь с Гурлевым, нимало не удивилась просьбе дать приворотное снадобье.

— Только, милая ты моя бабонька, никакое снадобье и наговор на твово мужика не поможет,— предупредила она, опасаясь, как бы Ульяна не натворила беды.— Это ведь не то, чтобы он полюбовницу завел да начал тебе изменять, либо картежничать и из дому добро тащить! А такого особого наговору, тем более трав и настоев супротив партейных дел я сроду не слыхивала. Разве ж его повернешь, разум-то, заворожишь?

— Неужто всему попуститься, баушка?

Отчаяние и страдание бабы, избороздившие ее лицо, все же тронули отзывчивую Лукерью.

— Впрочем, можно попробовать. Но прежде возьми-ко вот иконку божьей матери, поклянись исполнять в точности, как будет приказано и от себя малости не добавлять.

— Святой иконой клянусь, баушка,— загорелась надеждой Ульяна.— Будь я проклята, ежели твое наущенье нарушу.

— Веничком мы твово муженька попарим, веничком! — охотливо заговорила Лукерья.

Нашлась старуха: веник не зелье, с него еще ни один мужик не отправился на тот свет.

Веник березовый принесла она из сенцев, обычный банный, заготовленный на зиму. Добыла из печи каленый уголек, побрызгала через него на сухие листья. Укрывшись под занавеску, долго, неясно шептала какое-то заклинание. Ульяна, вытягивая шею, вслушивалась, пыталась понять. Глубока и велика была ее боль. Горше, чем от загубленного счастья с Гурлевым, от его небрежения к домашности, оказалось теперь сознание вины перед ним из-за первого мужа. Каждая жилка в ее теле трепетала от страха. Как бы плох ни был Гурлев, а ведь только с ним испытала она радости и просветы в своей темноте. Все простила бы ему, половиком бы пала под его сапоги, только не бросил бы он ее, не вернул, как подержанную вещь, нелюбимому и ненавистному человеку. С тех пор, как принес Егор Горбунов весть, ни одной ночи не провела Ульяна в спокойном сне; до прихода Гурлева, всегда усталого и неласкового, металась по избе, прислушиваясь. Страх же погнал ее и в церковь замолить

грех двоемужества, упросить бога не допускать Барышева к ее избе, образумить Гурлева и наставить его к продолжению семейной жизни. Но пока соберется бог, надумает чем-то помочь, на ожидание не оставалось терпения. Каждый час могло разразиться несчастье. Поэтому-то, прибегнув к знахарству, Ульяна и старалась все доглядеть, услышать, запомнить.

Лукерья перестала жужжать под занавеской, откинула ее и, подавая наговоренный веник, предупредила:

— Баньку истопи, бабонька, завтра же.

— Так завтра не суббота.

— Ты все же истопи баньку, найди причину. Двадцать три поленца березовых надо в каменке сжечь и сверх них еще одно поленце осиновое. А мужика-то одного в баню не посылай, сама с ним пойди, уложи на полок и веничком попарь. Пуще парь-то по пяткам, по пяткам, матушка моя, и про себя приговаривай: «Не ходите, ноженьки, куда не след, не носите в дом чужой грязи, чужих порогов не обивайте! Уж я ли вас не обихаживаю, я ли в чисту постельку вас не укладываю, я ли добру мужу не верна жена!» Напаришь, натешишь вдосталь, так и рубаху помоги надеть да пуговки на рубахе сама застегни.

— Не забыть бы наговор-то...

— Затверди, милая! Опосля бани веник выбрось за угол, затопчи в снег поглубже. Потом, в избе, дорогому-ненаглядному рюмку водки подай. Пусть с устатку поправится.

— Не пьет он совсем!

— Какой же мужик не пьет?

— Партейный ведь! Близко не допускает.

— Так кваску ему ядрененького поднеси. Непременно после бани испить надо...

Обнадеженная Ульяна бережно завернула веник в подол юбки, а в награду за услугу подала Лукерье серебряный рубль. Та деньги не взяла.

— Потом заплатишь, бабонька, потом, коли проба удастся. Не люблю брать наперед.

Проводив ее, Лукерья утешила себя: «Всех жалко! Но дуру-то эту еще жальчее. Заморилась-то как! Извелась-то! И того понятия нету, что мужа, ежели он врозь живет, ничем не удержишь. Самой надо бы пришатнуться к нему, не лаяться, коли чего не по нраву. У мужика свое рассужденье, ты же тянешь на свою сторону. Вот тебе и развал, неудовольствие, ссоры-перекоры, потому как супротив мужнина рассуждения тебе выставить нечего: ни лица румяного,

ни тела гладкого, ни ума! Да вдобавок и меня в грех впутала, экую срамоту ради жалости пришлось сочинить!»

Боязливо оглядываясь, замирая — не хоронится ли Барышев где-то в темноте, не ждет ли ее,— Ульяна пробралась в свою избу, закрылась на все затворы.

Лампу не зажигала, наспех поела холодной пшенной каши, потом до полуночи сидела на печи, отгоняя угрозу: «Может, соврал Егор! Откуда мог прознать он про Павла-то Афанасьича? И пошто же, если Павел Афанасьич живой, здоровый, в село не является?» Называла она Барышева не мужем, а только по имени-отчеству, как чужого, иначе пришлось бы признать его право на возвращение к ней. Наконец твердо и уверенно она сказала себе: «Не пущу! Сколько лет вестей не подавал, где-то скитался, поди-ко, так и другую семью успел завести, а я одна тут бьюсь, мыкаю горе, недопиваю-недоедаю. Ничего ему здеся не причитается! Пусть отваливает! Не пущу!»

Тем тягостнее показалось ее одиночество, пустота в избе. С трудом дождалась, когда Гурлев, справив дела в сельсовете, вернулся наконец ночевать. Ходики, тикающие на простенке, показывали время далеко за полночь.

Гурлев разулся, бросил портянки на печь, устало зевнул:

— Слышь, Уля! Я часа два-три сосну, а ты достань из сундука и приготовь мне на утро праздничные шаровары и чистую рубаху.

— С какой это радости? — угрюмо спросила Ульяна.— Опять уж куда-то собрался, а дома полный двор снегу, некому подгрести и убрать.

— В райком вызывают! С почтой бумага получена. Велят лично явиться, вместе с избачом.

— Поезжай послезавтра. Поутру-то я баню истоплю, попаришься, отмоешься и тогда все чистое на себя наденешь.

— Суббота скоро...

— В субботу истоплю баню своим чередом. Занашиваешь ты белье, отстирать невозможно.

— Нельзя не ехать,— отрезал Гурлев.

Чувствуя себя виноватой перед ним и понимая, что сейчас он единственная ее опора, Ульяна предпочла не спорить, не выговаривать.

— Плохо мы с тобой живем, Паша!

— Хуже некуда! — согласился Гурлев.— Не душа в душу. Я вот уж который день замечаю, как ты вроде бы сама не в себе. Даже ругать меня перестала. То ли захворала? То ли решилась на что-то?

— Поживи-ко с таким, как ты! — горестно и в то же время уклончиво сказала Ульяна.— Какое терпение-то надо!

Он тоже мог бы ответить ей: «Поживи-ко с такой женой!» Но разве залог только в терпении? Недавно в читальне мужики завели разговор: ладно ли живут они с бабами. В чем оно состоит «семейное счастье»? Одни говорили: бабы призваны ублажать мужей и рожать! Другие настаивали, будто баба в жизни — вообще человек лишний, навязанный мужику: сначала по молодости лет он ее любит, а потом живет по привычке, терпит, не видя иного исхода. И вот тогда Федор Чекан разбил их отсталые мнения. «То не семейная жизнь, если в ней нет мира, согласия, дружбы, взаимного понимания! Нарожать детей может каждая зверюга, самая неразумная. Попробуйте-ка детей вырастить, выучить, воспитать настоящими людьми, которые бы не презирали и не считали труд в тягость, а находили его первейшей надобностью и радостью и которые бы вас, отцов и матерей, приветили в старости! Одним терпением не одолеете, а наглядевшись, как вы помыкаете женами, как с ними не ладите, пойдут ваши детишки вразброд, всяк по своему разумению. И как же сделать, чтобы в семье был порядок? Ты поднялся, так помоги же и дорогой тебе женщине подняться, поставь ее и возвысь с собой в уровень, дели все заботы и радости пополам».

Это он высказал тогда хорошее, правильное представление о женщине, и Гурлев запомнил все почти слово в слово, только применить к Ульяне еще никак не собрался.

— Опять, кажись, ты в церкву стала похаживать? — спросил ее.— К чему так?

— Муж не любит, так, может, бог пожалеет!

— А меня конфузишь перед народом.

Надо было бы ее пригреть и сказать ей много хорошего, доброго, как советовал избач. Ведь много ли надо двоим-то? Детей нет и не будет, вовремя не могли нарожать, теперь совсем надеяться не на что. А на двоих, что есть, хватит с избытком! И все же не смог протянуть к ней сейчас руки, хотя бы обнять ее, не находя силы переступить через нахлынувшую к ней отчужденность.

Встал он с постели еще затемно, надел праздничную одежду и торопливо ушел. У крыльца сельсовета дожидалась подвода. Дежурным подводчиком, по подворной очереди, оказался Софрон Голубев.

Пегая проворная лошадь, впряженная в сани-розвальни, сразу пошла ходкой рысью.

Гурлев уступил место Чекану, чтобы тот мог в тулупе поудобнее лечь вдоль саней, а сам устроился рядом с подводчиком, у облучка.

Погода не прояснилась. Порошило по-прежнему. За выгоном, когда открылись поля и березняки, Софрон оживленно и радостно заговорил о предстоящей весне. Глубокие снега обещали хороший урожай хлебов и трав. Гурлев тоже увлекся. За их обоюдной любовью к земле, в их заботах о плугах и боронах, в восторженном ожидании прилета грачей и скворцов угадывалось проявление древнего инстинкта, которое заставляет птиц возвращаться на родину из дальних стран, вить гнезда, выводить потомство. Чекан заметил при этом, что Павел Иванович ни разу, ни единым словом не обмолвился лично о себе, о своем хозяйстве, о своем поле, а говорил то об Иване Добрынине, то о безлошадной Дарье, то о Михайле Суркове, то о Савеле Половнине. Почему, к примеру, Михайло не смог бы помочь слабому здоровьем Ивану? У него две лошади, зато у Ивана есть исправный плуг, не самодельный, как у Михайлы, а с челябинского завода. Можно же сложиться и совместно вспахать, заборонить, засеять пашни! Казалось, то облегчение на тяжелых весенних работах, которое он придумывал для каждого из них и находил исполнимым, и самому Гурлеву доставляло радость.

Рассвет в эту зимнюю пору начинался поздно, к восьми часам утра чуть-чуть брезжило. Вблизи Калмацкого пурга поредела, в безветрии над крышами дворов подымались дымовые столбы, в окнах пламенели причудливые отсветы огня из топившихся русских печей.

Софрон на рысях подкатил розвальни к воротам двора райкома, лихо осадил лошадь.

В приемной, притулившись в угол, дремал давно не бритый, не стриженый, квелого вида мужик. Антропов где-то задержался, а мужик хотел попасть только к нему. Оказался он давним знакомым Гурлева, секретарем партячейки из соседней деревни. Они справились друг у друга о здоровье и начали рассказывать о своих сельских делах. Гурлев похвалился успешной заготовкой хлеба и хорошим началом ликвидации неграмотности взрослого населения, зато его знакомый, понурив голову, безнадежно махнул рукой.

— А я смучился. Вот приехал к Савелию Алексеичу отказываться. Не в силах больше! Пусть отстраняет меня от ячейки, покуда ничего не случилось. Подметные письма привез. Вота, Павел Иваныч, гляди-ко! — И, вывернув из кармана пачку бумажек, рассыпал по коленям.— Что ни

письмо, то угроза! И ведь чем угрожают-то: спалим, сничтожим, все твое семейство загубим! Как дальше жить?

— Значит, ты струсил? — помрачнел Гурлев.

— Жизня у меня одна, другую никто не даст!

— Да на кой она пустая-то нужна?

— Куда же семейство девать?

— А мне разве легче приходится? Айда попробуй, влезь в мою шкуру! У тебя хоть семья...

— С бабой не ладишь?

— Кабы только с ней! Такая история, дальше уж некуда...

Он сжал губы и недосказал, что у него было самое горькое, несравнимое с опасным положением друга. Чекан знал о нем все, Гурлев обычно жил жизнью открытой, но вот эта неожиданно выпавшая фраза, на половине оборванная, снова выдала какую-то тягость, в себе затаенную. Какую же? И почему он ее скрывал? А может, и нет ничего, просто понадобилось утешить товарища. Тогда зачем же вид такой хмурый? Весь путь от Малого Брода вместе с Голубевым строил планы на вёшну, тут же, заговорив с другом, сразу спину ссутулил, напряг шею, сузил глаза.

Два часа прошло в томительном ожидании. Лицо Гурлева постепенно разгладилось, приняло прежнее спокойное выражение, и вошел он в кабинет Антропова, снова уверенным в себе. Тот молча поздоровался, пригласил сесть.

— Тебя и Чекана я просил приехать по важному делу. Не знаю даже, как приступить... Лично тебя касается!

— Говори,— еще глуше выдавил Гурлев.

— Милиция сообщила мне кое-чего из расследования: «чужой» человек, о котором ты мне догадку высказывал,— уже не догадка. Он реально существует и действует. Только неизвестно пока, где скрывается. Но мы знаем, кто он такой...

— Барышев,— угрюмо добавил Гурлев.— Первый муж моей Ульяны.

Антропов удивленно оглядел его.

— Это хорошо, если тебе тоже известно. Так разговаривать легче. А я-то решил — оглушу новостью.

Зато Чекан почувствовал себя действительно оглушенным. И с горечью подумал: «Как же это такое случилось?»

Антропов обождал, пока напряжение ослабнет, затем осторожно и участливо предупредил:

— Надеюсь, Павел Иваныч, ты знаешь разницу между личными делами и партийным долгом. Напоминать не придется. С женой-то как поступил?

— А никак! — с трудом выдавил Гурлев.— Зачем ей прежде времени знать. Не она же бандита пригрела... И вообще, не знает никто.

— Конечно, зря трезвонить не надо,— согласился Антропов.— Следует обойтись без суеты, без шумихи. Не тревожить население. Милиция уже вышла на след Барышева и, надо полагать, быстренько его приберет. Однако и мы отстраниться не можем. Помочь надо милиции по возможности. Сколько у вас найдется вооруженных людей?

— Партейцы все с оружием,— ответил Гурлев.

— Значит, всем придется принять участие.

— А комсомольцев и беспартийный актив можно привлечь?

— Это уж сами решите. Наверно, придется расставлять посты, понаблюдать, не появится ли у кого-нибудь Барышев. Ведь с кем-то он связан, кто-то ему помогает. Коллективно обдумайте, при том имейте в виду, что бандит может укрываться не только у ярых кулаков, но и у мужиков, которые находятся под их влиянием. Только уж, пожалуйста, Павел Иваныч, будьте осторожны и осмотрительны. Не зайца придется ловить. Барышев, судя по разгрому обоза, вооружен обрезом. Без милиции излишнюю инициативу не проявляйте!

— Как скажет наш участковый Уфимцев, так и будет,— подтвердил Гурлев.— Постараемся взять бандита живым.

— Но сам не рискуй,— приметив его самоуверенность, предупредил Антропов.— Ваше дело помочь...

— В опасные места своих товарищей посылать не стану,— вскинул голову Гурлев.— Беда эта ко мне ближе и прятаться от нее за чужие спины я не намерен.

— Экий ты, Павел Иваныч! — откинувшись на спинку стула, недовольно сказал Антропов.— Зачем так храбришься? Уж тебе-то, секретарю партячейки, надо уметь проявлять выдержку, иначе наломаешь дров. Я потому и позвал сюда вместе с тобой Чекана, что беда свалилась на вас не частная, а общая, и потому ответственность не на тебе одном, а на всех ваших партийцах. Вот вместе с Федором Тимофеичем и действуйте. Один ум хорошо, а два лучше! Повторяю: ответственность у вас коллективная, и непременно каждый шаг ваш должен быть согласован с милицией.

Гурлев вдруг рывком встал со стула, сделал шаг к дверям.

— Если во мне лично сомневаешься, так позволь уйти.

— Сядь и не дури! — строго приказал Антропов.— Не то, действительно, отстраню!

Гурлев вернулся на место и замкнулся, нахмурив лоб. Вместо него разговор с Антроповым продолжил Чекан. Вскоре зашел в райком начальник районной милиции Буньков и, по просьбе Антропова, дал подробные указания. К концу беседы Гурлев несколько успокоился, перестал хмуриться и напряженно сдвигать брови, но Чекан все же требовательно спросил у него, когда они вышли из кабинета в коридор и стали собираться в обратный путь:

— Это как же понимать тебя, Павел Иваныч? Ты один, что ли, хотел справиться с Барышевым? Или только мне ничего не сказал. Но тогда хоть объясни: почему? Или я не достоин доверия?

— Я сам узнал только вечор,— нехотя бросил Гурлев.— И не приставай покуда. Тут дело-то посложнее, чем кажется...

— Так расскажи! Ты же слышал — ответственность коллективная!

— Мало ли что! Всему свое время,— уклонился Гурлев.

Всю обратную дорогу до Малого Брода он, закутавшись в тулуп, не проронил ни слова. Софрон сел поближе к облучку розвален и, погоняя лошадь кнутом, изредка сочувственно косился на седоков, понимая, что настроение у них чем-то испорчено.

18

В ту же ночь, как и советовал в райкоме Антропов, по всему Малому Броду были расставлены вооруженные посты. Вглядывались в каждого, кто появлялся на улицах и в переулках. Таились у кулацких дворов, прислушиваясь. Федор Чекан вместе с комсомольцем Сорокиным почти до утра мерз за стожком сена в огороде Саломатовых. Даже согреться не удалось. Иванко предлагал засесть в баню, она стояла как раз на середине переулка, из ее оконца хорошо просматривались подходы к задним воротам двора, но сюда наведывались после вечерок парни с девками, и пришлось отказаться. Переминаясь на снегу, горбясь от холода и снегопада, Чекан вспоминал Аганю и вечерку в избе у Дарьи. Катька опять зазывала туда, говорила, будто Аганя спрашивала о нем, а на его слова о «неровне» заметила: «Это ведь иным парням для начала так приходится отвечать. Допусти-ка вас, дай-ко волю, от девичьей-то чести черепки лишь останутся!» Сходил бы снова туда, поплясал с ними, сдружился ближе, а вот приходится торчать тут, проводить

время, которое уж никогда не воротишь. А как же поступать иначе, не скажешь ведь — вот это могу делать, а это не хочу! Надо, значит, и разговора не может быть. Надо, в той же мере, как и заготовлять хлеб, как читать мужикам газеты, как писать неграмотным бабам письма к их родственникам, как организовывать в клубе танцы и работу драмкружка. Ведь все это ведет к одной цели — к судьбе деревенского мужика, который, получив свободу и землю, еще стоит в раздумье на пороге новой жизни. А чтобы он не сомневался ни в чем, чтобы занимали его не только заботы о достатке и хлебе, но и о месте в обществе, надо еще его избавить от страха, от нависшей над ним угрозы. Но только непонятно было, что еще, очевидно связанное с Барышевым, не высказал Гурлев, почему отмахнулся: «Дальше сказать не могу!» Вот это непонятное и тревожило Чекана. Даже вернувшись с поста и отогревшись на теплых полатях, где Лукерья постелила ему постель, он еще долго не мог уснуть. Да и на следующий день,зная твердый характер Гурлева, не потребовал у него объяснений, хотя позднее стало ясно, что нужно было на своем настоять...

Вел следствие участковый милиционер Уфимцев. Высокий, присогнутый, как надломленная камышина, был он скуп на слова, нетороплив и каменно невозмутим. У него уже скопилось много материалов допроса, а никто из партийцев не знал, насколько он далеко продвинулся. По-видимому, ставил он в известность одного Гурлева, с ним что-то наедине обсуждал, и Чекан решил, что именно от него узнал Гурлев о Барышеве, а распространять подробности не позволяет милицейская практика. Поэтому не стал ни о чем допытываться и у представителя закона, хотя тоже стоило бы проявить настойчивость.

Взяли под особый надзор двор Окунева. Уфимцев приехал в Малый Брод уже в сумерках и коротко известил:

— Утек Барышев-то. Прямо из наших рук ускользнул. Скрывался в Калмацком. Ждите его здесь. Может явиться к Евтею Окуневу.

— Ты так полагаешь? — спросил Чекан.

— Я не могу полагать,— уверенно ответил Уфимцев.— Есть сведения. Больше ему некуда деться.

На пост у двора Окунева хотел идти Гурлев. Сгоряча он мог попасть под пулю бандита. Чекану пришлось напомнить ему, что Антропов велел работать в полном согласии, один на один ничего не предпринимать. Гурлев все же не отпустил Федора одного, дал в напарники деда Савела, надежного при его могучей силе. Уфимцев при этом строго преду-

предил: если появится Барышев, не пытаться его брать, а тотчас же известить сельсовет, где должны были дежурить Гурлев, Холяков, Бабкин и братья Томины.

Жил дед Савел из окон в окна с домом Окунева, во дворе, принадлежащем до революции Гермогену Казанцеву. Вселил его сюда сельский Совет в девятнадцатом году, когда бывший хозяин, повинный в гибели сына деда Савела при колчаковцах, куда-то скрылся вместе с семьей. И хотя любой справедливый человеческий закон, писаный и неписаный, утверждал право Половнина на это владение, он часто порывался обратно в свою брошенную древнюю избу.

— С превеликой охотой помогу тебе, чем возможно,— согласился дед, когда Чекан пришел к нему вечером и передал поручение Гурлева.— Эту язву, Евтея Лукича, надо бы давно прибрать к рукам. Ростичком с вершок, одним плевком можно умыть, а шибко зловредный.

Дед садился за стол ужинать. На простенок падала, подпирая полати, его огромная тень. Лампа, потрескивая, высвечивала то широкую дремучую бороду, то обросший волосинками и словно опухший нос, то сугорбую спину и мосластые плечи.

В окно хлестала пурга.

Старуха подала на стол хлебное крошево с квасом, знаком пригласила Чекана, дескать, присаживайся рядом с дедом, бери ложку. Чекан отказался, есть не хотелось.

Договорились присматривать за двором Окунева с двух сторон. Савел мог не выходить из избы, прямо из своего окна наблюдать, а Чекан вышел на улицу и, заслоняя глаза от снежных хлопьев, направился в переулок...

В этот день Окунев был в нетерпении. Он обыскал конюшню, амбары, завозни и погреба, а залезть на сеновал не догадался.

Аганя пряталась там, не выпуская из рук вилы, и слышала его ругань. Евтей обзывал ее скверными словами, потом накинулся на Сашку, почему тот без спроса посмел выйти на крыльцо, и загнал его обратно в дом.

В сумерках, когда сильно запорошило снегом, приехал в гости мельник Чернов с сыном.

Сквозь дырявую застреху Аганя видела, как мельник легко выпрыгнул из кошевы, раскорячиваясь, размял ноги и поздоровался с хозяином рука в руку.

Мельников сын Гераська, парень лет девятнадцати, в новой дубленой шубе, отороченной черной мерлушкой, прыщеватый и толстогубый, позевывая, слез с облучка, распряг буланого жеребца и поставил его под навес кормиться.

Аганя дождалась, когда стемнело, пробралась в малую избу и, не зажигая лампы, собрала в узелок свои пожитки.

Больше двух лет прожила она тут. Привез ее Евтей Лукич из дальней деревни Грачевки, вроде бы приютил сироту.

— Уж вы, граждане, не извольте сумлеваться,— заверил он тогда грачевских мужиков.— Я хотя и не ближний сродственник, но девку на ноги поставлю, к жизни определю не хуже своей. Будет вместо дочери. Как заневестится, то и приданое ей приготовлю.

И никому невдомек было — не то говорил, о чем думал, этот плюгавенький, костистый мужичок, с вылизанной во всю голову лысиной. Позднее поняла это Аганя. Рассчитывал Евтей на даровую работницу, которая будет работать на него без договора с батрачкомом, а пуще всего обзарился на лакомую ягодку, какой оказалась семнадцатилетняя сирота.

— Ух ты-ы, окаянная! — с изумлением вымолвил он, увидев ее.

Ютилась она у Окунева в малой избе, вместе со стариком башкиром Ахметом, который однажды задолжал хозяину и уже несколько лет подряд не мог свой долг отработать. Хоть и был у них договор, заверенный в сельсовете печатью, но обманывал Евтей Лукич при расчетах.

— Ай, худой мой дела,— жаловался прошлой весной Ахмет.— Робим, как грузовой конь, и спим мало, ашаем мало, только чай пьем — вся без толку. Вот уж рукам болит, ногам болит, а деньга на один глаз посмотреть нету. Неправдашний счет Евтейка ведет, туман пускает. Как-то мой старуха бывал здесь, запас дома кончал. Я тогда у хозяина мешок муки выпросил, ягненка да три рубли, чай купить. Латна, взял, а для памятка тогда же зарубка на палка делал. Верный зарубка. А Евтей баят — нада его тетрадкам верить. Бумагам врать-та никак не может, а твой зарубка, баят Евтей, неправильный, смешной, хоть в сильсавитам айда ступай, там кажи, голимый стыд! К Новый год нада расчет давать, Ахметка домой пускать, своя деревня, старуха шибко зовет. А опять нельзя. Евтей бумагам читает: то Ахметка брал, другое брал — ват расчета нету опять, новый долг нарос-та. Худой дела совсем!

Но жаловаться на хозяина в сельсовет не шел.

— Не можна жалоба тащить. Я долг брал, то слово давал. Крепкий слово! Мой деревня всякий потом пальцем казать станет: «Э-э, Ахмет, твой слово никуда!»

Глафира, жена Окунева, заживо высохшая, замученная хворобами, часто кричала по ночам.

В такие ночи их единственный сын Сашка, тоже хворый, ненадежный для жизни парень, выбегал на крыльцо дома, садился на ступеньки и, обхватив голову руками, плакал навзрыд.

Евтей бил его жестоко ременным кнутом.

Вся жизнь Агани в этом дворе была в непрестанном ожидании какой-то большой беды. А уйти отсюда, как и Ахмет, не решалась. Если тот боялся запятнать совесть, то и Аганя не могла переступить ее, чтобы никто не осудил. Нашлись бы люди в Грачевке и Малом Броде, укорили бы: вот, мол, состоятельный мужик ее приветил, хотел стать отцом и наставником, а она его оконфузила. Так и работала тут за стряпуху, за работницу, по всему хозяйству управлялась, ни зимой, ни летом дальше двора почти нигде не бывала.

Пока она окончательно не выправилась и не вошла в фигуру, Евтей Лукич лишь жмурился на нее да изредка будто невзначай гладил ладонью по спине и не ругал, если заставал ее вдвоем с Сашкой.

Аганя сочувствовала тихому, всегда печальному горемыке. Тот привязался к ней, приник, потом полюбил так же тихо, печально и покорно, как жил.

Аганя ужаснулась, когда это заметила, но жалеть Сашку не перестала, попросила его ни о чем таком ей не говорить и ни на что не надеяться.

Перед пасхой, когда Агане исполнилось восемнадцать лет, Евтей Лукич затащил ее в баню.

В отчаянии она вонзила зубы ему в ухо, он заорал, а в это время Ахмет, услышав шум, открыл дверь:

— Ай, Евтей, шибка не латна! Зачем этакой баской девкам портить? Сильсаветам узнаит — каталашка посадит, строгий закон-та осудит.

— Зашибу! — заорал Окунев.— Прочь отсель!

— Шайтан мало-мало играет,— загородив собою Аганю, сказал Ахмет.— Нельзя шайтан волям давать!

Прокушенное ухо вскоре зажило, но Евтей Лукич больше не приставал, даже старался задобрить Аганю подарками.

Однажды летней ночью, когда Евтей Лукич остался с Ахметом на дальнем поле, Сашка до рассвета сидел у Агани в малой избе на лавке, рассказывал о своем житье.

— Сами они, мать с отцом, таким меня выродили, да с пеленок на колотушках вырастили. Мать у меня падучая, ее во сне черти душат, и пена у нее изо рта пузырится, а отец оборотень. Я много про него знаю, много...

Такого страху нагнал, Аганя глаз сомкнуть не могла две ночи подряд. Потом, оставаясь одна в «малухе», начала закрывать дверь на крюк. А ложась спать на полати, брала с собой ножик, прислушивалась к каждому шороху во дворе.

Но, может быть, сам по себе, то ли Ахмет надоумил, по ночам стал ее охранять Сашка.

— Бросай двор, Аганька,— посоветовал недавно Ахмет.— Шайтан шибко над Евтейкой воля взял. Совесть моя торговал Евтейка-то: ты, баят, Ахмет, молчи! Не нада девка жалеть! Молчать будешь, бумагам порвем, долгам крест кладем, деньгам дарим, в свой деревня гуляй любой врймя! Баят, беспременна девка иметь нада. Свой баба. Глафира, балной, тощий, а девка приручать нада: баба не станет, молодой хозяйка нада! И сильсаветам, однако, булна боязно! Нынешний-та закон строгий булна. В старый врймя девка баням тащил, своя охотка тешил, это нисява, царский закон такой дела не смотрел. А сильсаветам к богатый хозяин злой: каждый десятина посевов ущитываит, казенный книгам пишет, шибка балшой налог гребет, зерно велит сдавать потребительный лавкам. Э-э, а за обидам девка может и тюрьма тащить! Кому охота сидеть-та? Лучше полюбовна сойтись! Молчи, Ахмет! Порченый девкам поревет, а с жалобой не пойдет никуда, стыдна будит. А я сказал: нету, Евтейка, вся равна не можна так! Отпускай Аганька добром! Я тоже, кажись, двор бросать стану.

И признался полушепотом:

— Другой деревням Евтейка часто гулять начал. Глухой ночной пора, самый сон, а Евтей коня уздаит и верхом куда-то — айда пошел! Как варнак — вор! Зачем? Ахмет стар человек. Не дай аллах, из-за такой блудливый хозяин каталашка сидеть...

Но вот уже несколько дней пуржило, метелило, гнало позёмку по сугробам, и сам Евтей Лукич безвылазно сидел дома.

Уж не тем ли она себя выдала, что, приняв решение вернуться в Грачевку и как-нибудь там обосноваться, стала спокойнее, доила коров, поминутно уже не озираясь,ходила за отсевками для кур и гусей, не вглядываясь в сумеречные амбарные закоулки. Или же сам Евтей почуял в ней перемену? Как бы то ни было, а отправил он Ахмета на мельницу, снял с дверей в малой избе железный крюк, Глафиру с Сашкой закрыл в доме и, если бы не успела Аганя спрятаться на сеновале и не приехал в гости мельник, произошло бы, наверно, что-то непоправимое...

Темнота наваливалась все гуще и плотнее. Шуршала по железной крыше снежная пороша.

Сквозь пургу тусклым желтым пятном расползался по двору свет семилинейной лампы, которая была зажжена в доме для гостя. Из окна свет сыпался на ступеньки крыльца, где виднелся открытый вход в сенцы. Этот вход настороживал Аганю. Она уже вышла из малой избы, но с опаской прижалась за угол.

В сенцах на мгновение пыхнул огонек, потом на крыльцо вразвалку выплыл Гераська, отряхнул ладонью шаровары и громко выругался:

— Вот погодку дождались!..

За ним, как тень, через порог перешагнул Сашка, притулился плечом к дверному косяку.

— Никто вас не гнал сегодня,— сказал Сашка.— Эка неминя! Могли погодить.

— Значит, неминя! Гребтится бате.

— Я бы все равно не поехал. Провались оно...

— Так это ты, а не мы, Черновы!

Сашка не ответил. Гераська носком сапога смахнул со ступенек голик, сплюнул цигарку в снег и, растягивая слова, лениво спросил:

— Отчего смутной, Саньша?

— Я сегодня с утра богу молюсь,— еле слышно отозвался тот.— Наказал он меня, бог-то, с рождения, ну я ему молюсь все равно, чтобы больше с меня не взыскал...

— Вот чудной! — засмеялся Гераська.— Чем богу поклоны класть, жрал бы в три брюха, наводил бы тело да с девками баловался. Эвон, какая краля у вас в батрачках!

— И вовсе не батрачка она!

— А кто?

— Сродственница из Грачевки. Отец, баят, в дочери взял.

— А пошто она в малухе вместе с Ахметкой живет? Кабы удочерили, так поселили бы в доме. Значит, враки. Коснись ближе, твой отец блудит с ней, пока ты слюни пускаешь.

— Не смей про Аганю плохое болтать,— неожиданно громко и резко прикрикнул Сашка, протянув тонкие руки, чтобы схватить Гераську за грудь.— Не доводи до греха!

— Ну, ты-ы, мощи святого угодника! — отпихнул его тот от себя и добавил насмешливо: — А я вот пойду сейчас к ней в малуху, посватаюсь от простой поры.

Он спустился на одну ступеньку с крыльца, сдвинул шапку на затылок.

— Только спробуй! — тихо, но жестко предупредил Сашка.— Ежели жить надоело!

— Отца свово позовешь?

— Сам сничтожу!

— Ну и псих, однако...

Все же дальше не двинулся, а потоптался на месте, затем направился обратно в дом.

— Сиди тута, зануда, молись богу,все равно он из тебя человека не сделает. Да карауль девкин подол пуще.

Когда он скрылся в сенях, Сашка присел на порог, закашлялся, забормотал:

— Нету уж силов у меня...

Показался он в этот миг Агане еще более хилым и слабым.

— Саша! — позвала она, чуть выступая из-за угла.

Он вздрогнул, но тотчас узнал ее, обрадовался и, заплетаясь ногами, подошел.

— Ты еще здесь?

— Сейчас уйду. Боюсь только через передние ворота бежать.

— А ты айда в переулок. Я провожу.

Он принес из дома ключи, отомкнул висячий замок на задних воротах, отодвинул железный засов и пропустил ее в загон, оттуда в огород, а на прощание несмело попросил:

— Хоть обними меня. Не увидимся больше. Подыхать стану, было бы вспомнить о чем. В губы еще поцеловать бы, да совестно, небось, нутро у меня нечистое. А так я не поганый, не моргуй!

Аганя поцеловала его в лоб.

— Совсем ты один тут остаешься.

— Ништо,— бодро, но загадочно произнес Сашка.— Меня три аршина земли уж давно на кладбище дожидаются. Только еще и поживу, пока расчет получу...

— Не сходи с ума, Саша, негоже так думать и говорить.

Она хотела еще задержаться, уговорить его не терять надежды на жизнь, не делать никаких глупостей, но Сашка подтолкнул ее в сугроб и заставил лезть через прясло, в переулок.

Снегом обметало амбары и пристройки дворов, пурга подвывала и стремительно мчалась над ними.

Агане не хотелось думать, где придется ночевать и где она останется жить — здесь, в Малом Броде, или в родной Грачевке. Она старалась только поскорее выбраться в улицу, к людям.

Во многих домах по всему порядку Первой улицы еще светились огни. От колодца прошла, увязая по колени в сугробах, сноха Саломатовых, неся на коромысле полные ведра воды. За большим возом соломы тащился по проезжей дороге мужик в башлыке и тулупе. Воз кренило набок, забрасывало; облепленная снегом лошадь падала, подгибая передние ноги.

И еще один человек попался навстречу. Аганя сразу его узнала. Это был избач Федор Чекан, в коротком полушубке, в сапогах, в надвинутой на лоб папахе. Он только что вышел из двора напротив, с другой стороны улицы, от деда Половнина, и стоял на обочине дороги, пережидая, когда проедет мужик с возом. Аганя тоже посторонилась, но возом толкнуло ее в плечо, сбило с ног, и, падая плашмя в сугроб, она невольно схватилась обеими руками за Федора. Тот упал вместе с ней и, барахтаясь в снегу, засмеялся.

— Вот я сейчас отведу тебя в сельсовет и заставлю пуговки пришивать. Экая ты — сразу с шубы все оборвала.

— Ну, и отведи, коли виновата! — недружелюбно сказала Аганя.— А не то и сам пришьешь, не велик барин!

— Где я их возьму,— потерялись ведь!

— Так из талинки выстругаешь палочки и пришьешь к лопотине.

Чекан помог ей подняться, отряхнулся от снега.

— Ты сердитая! На вечерке казалась добрее...

— Не с чего быть мне ласковой! — отрезала Аганя.— Ну-ко, посторонись! Дай пройти!

— Ишь, какая! — удивился Чекан.— Поглядеть бы на тебя при дневном свете.

— Отойди, что ли!

— А куда так спешишь? Не замуж ли убегом собралась? Если за хорошего, нашенского жениха, то давай помогу.

Он протянул руку к узелку, посмеиваясь, надеясь развеселить девушку. Та не позволила.

— Я думала, ты, городской, лучше наших парней. А такой же...

Чекан немного смутился и отступил на шаг.

— Мне не хотелось тебя обижать. Пошутил ведь. Вот когда состарюсь — шутить перестану. А теперь серьезно спрошу: ты чем-то расстроена и куда-то уходишь? Надолги ли?

— Не знаю!

Ее голос прозвучал глухо.

— Свет велик, а где мое место в нем, я не знаю!

Она потупилась, начала перебирать пальцами узелок, надо было идти дальше, в то неведомое, что ее ожидало. И не могла идти. Федор Чекан стоял перед ней, как судьба. После вечерки он приснился такой добрый и участливый, веселый и озорной. Во сне она прикрывала его своим телом от чьих-то ударов. Утром ей не хотелось просыпаться, а потом, когда в полутемном пригоне доила коров, Чекан снова припомнился, но почему-то насмешливый. И подумала с горечью: «Не надсмеялся бы!» Затем тут же поправилась. Ведь ничего между ними на вечерке не произошло, поплясали и разошлись, и снова, пожалуй, их пути уже не сойдутся: у нее своя жизнь, у него своя, а снам верить нельзя, не всякий сон падает в руку. Мать сказала бы: «Ах, Аганька! Молодцов-то полным-полно, сегодня в душу к тебе один западет, завтра другой, а тот, кому отдашь ты любовь навек, может, еще и не встретился!» Так еще утром порешила Аганя: коли встретится Чекан, пройти мимо. Мимо пройти не удалось.

— Я тебя провожу,— не спрашивая ее, хочет она или не хочет, сказал Чекан.— Ты не бойся меня, я не страшный...

Ответить ему Аганя не успела: в доме Окунева раздались один за другим два выстрела, от удара изнутри распахнулась ставня крайнего окна, со звоном посыпались осколки стекол, обломки рамы, и в палисадник вывалился хозяйский гость мельник Чернов.

— О, господи! — взмолилась Аганя.

А Федор мигом выхватил из кармана револьвер и кинулся к палисаднику. В пустом проеме окна промелькнул Сашка.

19

— Тихо, Петр Евдокеич, тихо! — предупредил Чекан, подставляя револьвер к спине выползающего из палисадника мельника.— Руки подыми вверх и не вздумай чего-нибудь...

Чернов послушно исполнил приказ, но, вглядевшись, в изумлении отшатнулся:

— Избач! А ты-то отколь здесь взялся? Что надобно?

— В кого стрелял? — спросил тот, не опуская оружие.

— Это не я! — хрипло ответил Чернов.— Сам, слава богу, случаем живой остался. Это Сашка, злодей, своего отца напрочь кончил!

Сашка застрелил отца из винтовочного обреза. Евтей Лукич, подогнув ноги, валялся в горнице возле порога.

На столе, сдвинутом из переднего угла, стояла недопитая бутыль самогона и два блюда с закусками.

Глафира, округлив зачумленные глаза, сидела и выла в чулане, а Сашка забился на печь, за трубу.

На простенке мерно постукивал маятник висячих часов. Теплилась синяя лампада под иконами, украшенными позолотой и елочной серебряной мишурой. Сурово взирал оттуда темный лик Николая-угодника, к иссушенной плоской груди прижимала захудалого младенца пресвятая дева Мария. Младенец напоминал лицом Сашку, богородица — его мать, Глафиру.

Гераську нашли под навесом, он непрерывно икал.

— Да перестань ты, идол! — зашипел на него Чернов.— Эк тебя проняло!

А сам не выпускал с ладони берестяную тавлинку, нюхал табак, осыпая им щетинистые усы.

Чекан закрыл дверь в горницу, чтобы туда никто не входил, ничего не трогал, пока не явится Уфимцев.

Сашку и Чернова с сыном поместил на одной лавке, под полатями. Мельник брезгливо отворачивался от Сашки, но вскоре, когда дед Савел собрал в дом охотливых соседей, разъярился. Ему было зазорно сидеть рядом с преступником под любопытными и ничуть не сочувствующими взглядами. Наспех одетые мужики тесно сгрудились у порога, напустили в полураскрытую дверь холода, вокруг распространился терпкий запах мокрых полушубков и валенок. И Аганя оказалась здесь. Она присела рядом с Сашкой, хотя Чернов и на нее заругался, а тот уронил ей на плечо изморенную голову, худые плечи у него затряслись.

— Аганюшка,— сказал Сашка,— я иначе не мог. Задумал давно поквитаться, а силов нету. И не казни меня, лучше прости...

Он надрывно закашлялся, горлом забулькал, выплюнул слюну вместе с кровью и стал сползать с лавки на затоптанный пол. Аганя запрокинула ему лицо, вытерла концом полушалка закровавленные губы, а кто-то из мужиков пожалел:

— Сам-то он не жилец!

Чекан снял с гвоздя хозяйский тулуп, набросил на Сашку и кивнул Агане:

— Укрой потеплее. А тебе находиться возле него нельзя...

— Одного не оставлю,— решительно сверкнула черными глазами Аганя.— Пропадет он совсем.

— Ты родня ему?

— Никто! Но не брошу!

На девичьих лицах такой решимости и горделивой уверенности Чекан еще не встречал. Они как-то мелькали прежде, разные девичьи лица,— иногда серые, ничем не памятные, иногда тонкие и нежные, либо в меру добрые, но не поражали так.

Чекан сделал еще не совсем уверенную попытку отговорить Аганю, ведь парня придется сажать в тюрьму, не поедет же она вслед за ним, да и не пустят ее туда, как бы она ни просилась, а ничего не добился. Аганя отвернулась, не стала слушать и занялась Сашкой.

Вместе с милиционером Уфимцевым из сельсовета пришел Павел Иванович Гурлев. Уфимцев сразу попросил всех любопытствующих мужиков выйти из дома и, косо взглянув на мельника, принялся тщательно обследовать горницу, выбитую раму окна, затем выковырял из простенка пули, которые насквозь прошили Евтея Окунева.

Между тем Гурлев упорно рассматривал мрачное, багровое лицо Чернова.

— Чего уставился? — не выдержал тот.— Не признал, поди-ко?

— Стараюсь понять, Петро Евдокеич: какая надобность тебя пригнала сюда, не глядя на пáдеру?

Чернов озабоченно кашлянул.

— Дел-то по хозяйству мало ли! Мы с Евтеем конями хотели меняться: мово жеребца на его кобылу. Ну, и магарыч справили. Нельзя иначе, не уживется конь во дворе.

Сашку еще знобило, он безразлично глядел на все, словно уже не жил на этом свете. Аганя принесла из малой избы молока, хотела его напоить, поддержать в нем силы, но Сашка отвернулся, бессильно опустив голову. «Какая обреченность!» — подумал Чекан.

Между тем под внешним безразличием и обреченностью Сашки еще продолжало существовать, может быть, не вполне им осознанное, отвращение к лжи и обману, которые обрушили на него столько несчастий.

— Врет он, все врет,— прохрипел Сашка, перебивая Чернова.— Не за тем приехал. Про обмен-то счас придумал. А с отцом сговаривался...

— Не болтай зазря,— зыкнул мельник,— не слышал ведь ничего, с Гераськой в сенцах торчал.

— А я наскрозь вижу...

— Такой дохляк, давно подохнуть пора, вот потому и старашься людей оговаривать.

— Наскрозь вижу и сыздаля слышу,— упрямо повторил

Сашка,— если даже мыши где-то скребутся. Мешал Гераська, к дверям близко не подпускал, но все равно ухом-то я уловил, как вы какого-то Барышева меж собой поминали.

Чернов вскочил с лавки, замахнулся на него кулаком. Чекан успел перехватить и отвести удар.

— Спокойно, Петро Евдокеич! Ведь парень и тебя мог прикончить заодно с Евтеем.

— Не за что было,— выдохнул Сашка.— Кабы он меня хоть раз вдарил или пнул бы или на Аганюшку посыкнулся...

— Саша! — предупреждающе строго прервала Аганя.— Не навивай лишнего! Сил-то у тебя и так уже нету...

— И то! — покорно согласился Сашка.— Сил нету! Но что могу, то скажу. Пусть он при мне не врет. А за дохляка я бы ему в шары плюнул...

Он отхаркнул, но не плюнул и стал неподвижными глазами осматривать Чекана, который за него перед этим вступился.

— Ты кто?

— Я? — переспросил Чекан.

— Да!

— Меня зовут Федором. Здешний избач.

— А, я слыхал про тебя,— дружелюбно мотнул головой Сашка.— Ты партейный и хлеб у мужиков отбираешь. Зоришь их. И разводишь в селе разврат...

— Вот придумал! — засмеялся Чекан, и все, кто тут был, кроме Чернова, засмеялись, а Уфимцев опустил перо на бумагу и, пережидая, свернул козью ножку.

— Мне-то придумывать неоткуда,— с трудом улыбнулся и Сашка.— Это отец так баял: что газеты, что танцы — разврат голимый. Только я ему не поверил. Кого отец ругал, те все люди хорошие. Вот и за хлеб не верил. Ты ведь у нас в анбарах не шарился. Да и не нашел бы ничего. Отец еще осенью, прямо с поля, весь умолот в город сплавил и продал там.

— Это верно,— подтвердил Гурлев.— Он успел опередить нас.

— А ты кто? — обернулся к нему Сашка.— Тоже партейный?

— Это Павел Иванович,— объяснил Чекан, убеждаясь, что парень ничего и никого не знал, а жил в закрытом дворе только слухами и чужими разговорами.— Он такой, что мы все ему подчиняемся.

— Только хмурый пошто-то...

— Какой еще ты ребенок совсем,— сочувственно ото-

звался Гурлев.— В зыбке бы тебе качаться. А тут лютость и зло...

— Ну, хватит, не отвлекайте подследственного,— раскурив цигарку и снова напуская на себя деловой вид, предупредил Уфимцев.— Продолжим допрос. Так за что ты, парень, отца сказнил?

— Бес он! Никакая бы смерть его не взяла, окромя пули каленой.

Это Сашка сказал твердо и убежденно, как человек, совершивший правое дело. Говорить ему было трудно и непривычно, он часто делал остановки, напрягал память, дышал порывисто, как рыба, вынутая из воды, а между тем вся его страдальческая исповедь — не оправдание за совершенное преступление, а именно исповедь, единственная и последняя, словно оживляла и вдохновляла его и доставляла ему почти детскую радость. В обстановке насилия, корысти, бесчеловечности и суеверного страха Сашка давно раздвоился. Он страдал от зависти к здоровым, мучительно стремился к жизни и ненавидел ее, неотступно выслеживал каждый шаг отца, подслушивал и подсматривал, а принимая побои и истязания, готовился к мщению. И в это же время в нем тлели искры человеческого добра, нежности, правдолюбия, он изнывал от тоски в ожидании какого-то чуда. Но ждать устал, чудо не совершилось, зато явилось сознание конца, жить оставалось уже немного.

— Не хотел я, чтобы отец меня пережил. Он, небось, себе-то ни в чем не отказывал. И жрал по выбору, и водку пил, и бабничал. Все ему, а мне домовина березовая. Не-ет, пусть-ко он в ней сначала сам полежит...

— Значит, ты ему самосуд устроил? — спросил Уфимцев.

— А как хочешь считай! Кончил, и все! Может, мне не довелось бы увидеть, покуда до него люди доберутся.

— Обрез-то откуда?

— Да отец же его и сделал. Боевую винтовку пилкой обрезал. И хранил завсегда от себя поблизости.

— В горнице?

— Ему и до чулана было рукой подать. Там, в чулане, в бревенчатой стене гнездо выдолблено, как раз, чтобы обрез и обойму с патронами вложить. И не знатко вовсе. Деревянной планкой прикрыто. Да поверху-то еще царский патрет в рамке привешан. Царя в горнице держать стало сумлительно, а расставаться нету охоты, отец часто ему выговаривал...

— Патрету или царю?

— Царю, конешно, только через патрет. Выпьет самогонки, встанет перед патретом и матерится: «Хреновый ты был царь, Николашка! И дурак! Как холощеный кобель!»

— Вроде за сторожа у него был царь-то?

— Э, кабы за сторожа, так он его в кладовой бы привесил. Да ты пиши, пиши! — сказал Сашка, заметив, что Уфимцев, обмакнув перо в пузырек с чернилами, в чем-то засомневался.— Я ведь не все рассказал. Может, еще с моих слов хоть какое-то добро выйдет. Вот ступайте-ко, кладовую оследуйте...

— Что там?

— В точности и не знаю даже. Видел мельком и сыздали.

— Ох, гаденыш, прости меня, господи,— проворчал Чернов, вынужденный слушать признания Сашки.

— Однако помолчал бы ты, Петро Евдокеич,— толкнул его в плечо Гурлев.— Все же следствие уважать надо. Ты не у себя на мельнице.

По просьбе Уфимцева, не пожелавшего останавливать допрос, пока его подследственный снова не впал в апатию, Чекан и Гурлев, засветив керосиновый фонарь, отперли железную дверь кладовой, встроенной между амбарами и завозней. Тулупы, овчинные шубы и боркованы, свертки отбеленных холстов, половики, разная праздничная и будничная одежда — все это было уторкано, как в сундук. А под каменным сводом, на деревянных распялках висели отдубленные кожи, пропитанные паровым дегтем сапоги и женские обутки, отороченные гарусом и телячьей шкурой. Разбирая и перекладывая домашнюю утварь и одежду, наготовленную на многие годы вперед, Чекан брезгливо отворачивался, ему все время казалось, что тут должны быть полчища блох и всякой иной плотской живности. Но иначе невозможно было добраться до того дальнего угла кладовой, где, как сказал Сашка, Евтей закопал ящик с «чем-то». Добытый из-под настила продолговатый и уже почерневший от времени ящик оказался с трехлинейными боевыми винтовками и с оцинкованными коробками патронов, которых хватило бы на вооружение десятка людей.

— Вот так Сашка, молодец! — удовлетворенно воскликнул Гурлев, высвобождая винтовки из промасленной мешковины.— Сукин сын, убивец, но молодчага! Да тут, в этом склепе, без него мы бы ничего не нашли!

Вдвоем они перенесли ящик в дом, поставили в горнице, рядом со скрюченным телом Окунева.

— Вота! — торжествующе отмечая еще одно доказа-

тельство своей правоты, встрепенулся Сашка.— Я же не зря баю, у меня уши и глаза навострены. И слышал я, как отец с Петром Евдокеичем про Барышева сговаривались. Кабы не Гераська, все бы запомнил.

Неожиданно, как кем-то встревоженный, он круто повернул лицо к Чекану, пошарил рукой по лавке.

— Ты пошто, избач, на Аганю так смотришь?

— А что такое? — спросил Чекан.— Нельзя разве?

— Будто бы она тебе приглянулась!

— Я не смотрел вовсе. Но и посмотрю — не съем! Мне теперь недосуг,— добавил полушутя,— совсем нету времени на девушек любоваться.

— Ты, наверно, счастливый,— позавидовал Сашка.— Зато мне на долю ничего не пришлось. Злой бог живет на небеси.

Аганя, вся как озаренная красным пламенем, смущенная и суровая от того, что Сашка заговорил о ней при людях и выставил наружу то, о чем она просила его никогда не напоминать, наклонилась к нему ниже, настойчиво зашептала на ухо.

— Нет, не стыдно! — мотнул головой Сашка.— Я ведь не со зла. Это на небеси живет бог злой. Иначе пошто не напустил на наш двор молнию? Мы ведь навечно прокляты!

— Кем? — косился Уфимцев, записывая.

— Еще баушкой Степанидой. Отцовской матерью. Когда зачала баушка кончаться, то попросила причастие сделать. «Из милости прошу,— сказала она,— позови-ко ты, Евтей, поскорее попа, исповедаться мне надо, на тот свет благословение принять». А отец-то возьми и откажи. «Нету,— сказал он,— денег нету, чтобы попу платить. И без причастия обойдешься, не шибко праведно жисть провела!» Баушка на то осердилась, ему перстом в лоб ткнула: «Будь проклят ты, окаянный, со всем отродьем!» Добрый бог не принял бы это проклятие. Отца наказал бы, а насчет его отродья скостил бы. Ведь я ни при чем! Отец обманул бога и баушку. Денег у него много. И гумажные, и золотые...

— Золото, согласно закону, придется изъять,— сказал Уфимцев.

— Берите,— охотно согласился Сашка.— Никому оно не понадобится. Гумажные деньги в горнице, в сундуке, а золотые монетки эвон в исподе, под кирпичами хранятся...

Уфимцев кончил его допрос лишь часа через два. Время перевалило за полночь. Ходики на простенке перестали тикать, их маятник остановился, словно боялся нарушить тишину и запустение дома.

Еще не менее часа Уфимцев пересчитывал добытые из-под кирпичей золотые монеты царской чеканки, составлял в присутствии свидетелей акт об изъятии. Ящик с винтовками и опечатанный холщовый мешочек с золотом увезли в сельсовет. Двор опустел, любопытствующие мужики разошлись.

— Ну, а тебя куда теперич девать? — глядя на Сашку, почесал в затылке Уфимцев.— В камеру отвезти бы! По закону. Однако дотянешь ли?

— Дай ему оклематься,— тихо, но настойчиво попросила Аганя, не отходя от Сашки.— Пусть дома ночует. И приготовить его надо. А уж завтра решай...

Уфимцев заколебался, но Гурлеву не понравилась такая уступчивость.

— Слышь-ко, деваха! — сказал он строго.— Хватит уж опекать кулацкого сына. Кабы хоть сестрой или невестой приходилась ему. Или еще не надоело батрачить? Чего ради стараешься?

— Да ведь он никому не нужен совсем!

Она произнесла это так просто, спокойно и с такой покоряющей верой в необходимость доброты, что Гурлев даже отступил на шаг и не нашел возражений.

На всякий случай, для гарантии Уфимцев все же оставил при Сашке Акима Окурыша и предупредил Аганю, как бы не вздумал парень принять отраву или поджечь двор. Разумеется, ничего подобного произойти не могло, Уфимцев соблюдал порядок, чтобы высшее начальство не упрекнуло в недостатке знания закона. А Чекан порадовался мужеству и великодушию Агани, искренности, в которой так ясно проявлялись ее чувства, а также и тому, что влечение к ней, к этой милой девушке, совершенно для него неожиданное, чем-то похоже было на открытие нового мира. Аганя продолжала внимательно слушать наставления Уфимцева и, казалось, ни к чему иному не выказывала интереса. Между тем она видела отражение Чекана в крохотном зеркальце на простенке и все время смотрела туда. Собрав остатки сил, которые в нем еще тлели, Сашка вдруг приподнялся, сорвал зеркальце и кинул под лавку.

— Айдате все в малую избу,— распорядился Уфимцев,— пусть парень пока отдыхает. Экую страсть здоровый не каждый выдержит.

— Не стану больше молиться,— отчетливо произнес Сашка и заплакал.— Не стану! Погасите лампаду!..

20

В малой избе было теплее, резко пахло развешанными на крючьях ременными шлеями, уздечками, вожжами и стылым конским потом от хомутов и седелок. Со стола спрыгнула серая мышь.

Чекан остановился посреди пола и огляделся. Батрацкое жилье намеренно было приспособлено, чтобы наемный работник всегда испытывал неудобства, ощущал собственное ничтожество. Ни постелей, ни отдельного угла, где Аганя могла хотя бы переодеваться. Ничего ей не принадлежало тут. Она сама составляла какую-то часть всей собранной в избу утвари и упряжи.

— Чем озаботился, Федор? — спросил Гурлев, вошедший следом в малую избу.— Устал уж, поди-ко?

— Пустяковые мысли крутятся в голове, совсем пустяковые,— не признался Чекан.— Вот мышь испугалась и спряталась...

— Мышь — это ништо! Явится кот, поймает ее и сожрет! Как не бывала на свете. Зачем жила? Для чего? По крохам воровала, в темноте плодилась.

— Так природа назначила.

— А кто же возбуждает в таких, как Окунев, звериные помыслы? Сына родного до чего довел, страшно подумать! Людей готовился убивать. Хуже самого ярого зверя. Тому жрать охота, в мясе нуждается, а ведь человеческий злыдень чужую душу в гроб загоняет. Ради чего? Доверили бы мне Сашку судить, я бы его оправдал. Не за то, что отца кончил, а прежде за то, что против зверства восстал...

Открыл двери Чернов, уперся плечом в косяк, но, понукаемый сзади Уфимцевым, принужденно переступил порог.

— И вот еще один из той же породы,— показал на него Гурлев.— Тоже дождется от собственного сына...

— Гераську не трогай,— зло вскинулся Чернов.

— Не собираюсь трогать, а говорю — сам ты от него, как Окунев же, «благодарность» за воспитание получишь!

— Мой сын не дурак! Я знал, как в мир его выводить,— не без довольства сказал Чернов.

— Зря ручаешься, Петро Евдокеич! — усмехнулся Гурлев.— Чему же ты сына мог научить? Грабастать! К людям, к их нужде относиться с презрением! Темные дела совершать!

— А ты по какому праву меня оскорбляешь? — сверкнул глазами Чернов.— Дело спрашивай, но в мою семью не лезь...

— Правда — это не оскорбление, и сказана не в укор. Что есть, то есть. Я вилять и охорашивать не умею. Друг так друг. Сволота, значит, хоть медом обмажь, одинаково сволота. По крайней мере, сразу все ясно!

Чернов сел на лавку, сгорбатился и снова замкнулся. Уфимцев приготовился его допрашивать.

— Если ты, Петро Евдокеич, худа себе не желаешь, так давай поясни всю правду, что меж тобой и Окуневым было, о чем шел разговор, куда Барышев подевался? Только не увертывайся. Положения у тебя совершенно безвыходная,— предупредил он.

— Прав ли я, виноват ли — надо еще доказать,— нагловато скосил рот Чернов.— Эка наговорили сколько! Но прямых улик у вас нету! Догадки лишь! А по догадкам никакой суд не возьмется судить. Сашка убивец, да и не в своем уме. Поверят ли ему? У меня в кошовке всего-то оружия — одна дробовая берданка. На нее запрет не наложен. Евтей, может быть, после боев с колчаковцами в Малом Броде еще и пушку у себя в анбаре хранит. Это его двор, с него и спрос. Каждый должон отвечать за себя. Вот и справляйте с Евтея, оживите его, коли сумеете. Моя вина малая,— добавил он почти с облегчением,— я и не отрицаю ее. Это черти меня понесли, наверно, не вовремя-то. Погодить бы надо. Но годить не привык. Жеребец у меня справный, тулуп теплый, десять верст — дорога не шибко дальняя, заблудиться негде. И заночевать хотел здеся. Завтра ведь масленка начинается. Рассчитывал так: могарыч с Евтеем разопьем, по утру опохмелимся, масленую встретим. Зараз два горошка на ложку!

— За выгодой погнался?

— Выходит, погнался, да прогадал,— кивнул Чернов.— Наше сословье далеко ведь не смотрит. Поблазнила выгода — ну, давай! Иной раз и выбирать не приходится.

— Ты нас в сторону все же не уводи, Петро Евдокеич,— оборвал Гурлев.— На хрена нам сдалась твоя выгода! Барышева подай! Где он укрылся?

— Ох, господи! — всплеснул руками Чернов.— Дался какой-то проходимец, однако! Повторяю же — не встречал я его, и нет мне в том надобности. Пусть он хоть в тартарары провалится, что ли...

— Послышал бы счас Барышев! Дорого он тебе обойдется, пожалуй!

Чернов вскинул на Гурлева тяжелый взгляд, затем хлопнул себя ладонью по коленям и захохотал.

— По миру меня пустишь, небось? Так не страшно. Ни-

щим жить лучше. Надену суму и отправлюсь по деревням. Робить не надо. Заботушек никаких. Обложение налогами не положено.

— Скушный ты, Петро Евдокеич,— безразлично сказал Гурлев.— Иной бы, чем обхохатывать дельное предложение, постарался уладить миром...

— Вота твой мир! Тьфу! — плюнув на пол и растирая плевок сапогом, вскричал Чернов.— Отвяжитесь от меня. Ничего я не знаю. Хоть пытайте. Никого знать не желаю: ни Барышева, ни Евтея, ни его ублюдка, ни вас всех вместе!

Оставив его в избе, Уфимцев, Чекан и Гурлев вышли во двор под навес. Недостаток улик вынуждал отпустить Чернова или же немедленно заняться новыми поисками. Но все трое согласились на том, что отпускать нельзя, может исчезнуть единственная пока возможность добраться до Барышева, а надо ехать на мельницу, произвести там досмотр, затем уж и решать окончательно, как быть дальше.

В курятнике пропел петух. Сонная, глухая половина ночи начала нагнетать усталость. Уфимцев позвал Гераську и велел запрягать жеребца. Сам он вывел из конюшни двух хозяйских коней, заседлал для верховой езды. Чернов сразу догадался, что допрос отложен и предстоит путь не очень-то для него удачный. А предпринять что-нибудь и поправить уже ничего не мог. Даже с Гераськой не успел перемолвиться. На подводу, бок о бок с ним, сел Уфимцев. Чекан и Гурлев выехали верхами, впереди подводы.

За выгоном, посреди голых березовых колков, пурга бушевала только порывами. Из погасшего неба не проглядывала ни одна звезда. Как кладбищенские кресты, безмолвные, одинокие, стояли на поворотах вешки, увитые соломой. Дальше зимник прошел вдоль ощетиненного камышами озерка, потом опушками мелколесья и вырубок.

Уже чуть-чуть начинало светать, когда показалась, наконец, мельничная заимка Чернова, всеми постройками и службами приткнутая к подножию высокой меловой горы на правом берегу Течи. Створы от пруда были закрыты, только ниже плотины, на сбросе, вода прорывалась через изломы тонкого льда.

Жил мельник просторно, в трех горницах, а не чисто — голые полы всюду прочно хранили на себе ошметки грязи, на давно не беленных стенах висели засиженные мухами дешевые литографии. На кухне, у печи, месила квашню нечесанная, заспанная, с высоко подоткнутым подолом исподней юбки сама хозяйка.

— Эк, заголилась,— проворчал на нее Чернов.— Приберись!

Пока Уфимцев и Гурлев осматривали дом и пристройки, Чекан побывал в мельнице, прошелся между припорошенными снегом возами и заглянул в бревенчатую избу без сенцев. Тут жарко топилась железная печка, а десятка два мужиков-помольцев, ожидающих очереди, занимались от безделья кто чем мог. Судя по исправной одежде и степенности, большинство из них были состоятельными хозяевами. Лишь четыре мужика в заношенных, залатанных шароварах и подшитых кошмой валенках сидели в стороне на нарах, пили кипяток. Одного из них Чекан узнал, это был Нефед Кокшаров, человек честный, обремененный бедностью и большим семейством. «Даже здесь богач-богачом, а бедняк-бедняком! — подумал Чекан и хотел поздороваться с Нефедом, но тот отвернулся.— Чего это он вдруг? Почему?» — не понял Чекан и на всякий случай тоже отвернулся, принимаясь рассматривать хозяев, особенно тех, кто забеспокоился.

— Кого потерял, гражданин хороший? — не очень дружелюбно спросил бородатый старик в поддевке.

— Руки застыли от холода, а у вас здесь тепло. Дай-ка, думаю, забегу погреться,— соврал Чекан.

— Печка не казенная,проходи вперед, милости просим! Однако, кто ты и по какому делу пожаловал?

— К Петру Евдокеичу.

— Его дома-то нету.

— Приехал,— снимая варежки и расстегивая полушубок, сказал Чекан.— Отгостился уже в Малом Броде.

— Ты, кажись, не приятель ему,— заподозрил старик, приподымаясь из-за стола и глядя в упор.— Молодой больно...

— Вострый парень! — заметил второй старик, доставая из печки каленый уголек, чтобы раскурить трубку.— Петро-то Евдокеич с тобой дружбу не водил. С чуждым-то! Ты ведь избач?

— Это точно так! — подтвердил Чекан. Пристальнее вглядываясь в мохнатые брови и в его сивую клочкастую бороду, припомнил глухой каменный двор Саломатовых, где у ворот всегда торчала сухая, жилистая фигура самого прародителя.

Нефед Кокшаров отставил блюдце с чаем, сполз с нар и, прихватив руками живот, заторопился из теплушки, пробормотав на ходу:

— Неминя пристигла! С кипятку, что ли?

Старик Саломатов и на него подозрительно покосился, затем присунулся к вырубленному в стене оконцу, проследил: Нефед, в валенках на босу ногу, в одной нательной рубахе, вприпрыжку бежал за угол сарая.

— Так какой же интерес ты имеешь к Петру Евдокеичу? — требовательно спросил Саломатов.— Опять, поди, насчет хлебушка?

— Обыкновенный интерес,— запросто ответил Чекан.— А ты, дед, если много будешь знать, скоро состаришься.

Поклонившись на прощание всем сообща, он вышел снова во двор.

Нефед, горбатясь от холода, дожидался за углом сарая.

— Ну, ладно же, догадался ты, Федор! — заговорил он, вздрагивая.— Не то застудился бы я.— Про живот-то для отводу глаз пришлося сказать. Ишь коршуны и ястребы собрались тута! При них слова молвить нельзя, враз турнут! Они все заодно. Речи каки бают про советскую нашу власть — хуже некуда! А вечор здеся Барышев промелькнул. И я так теперич смекнул,— это его здеся ищете? Так ведь?

— Тебе-то откуда известно?

— Сам догадался! С Павлом-то Барышевым вместе на войну уходили. Трудно его признать, шибко изменился обличьем, а все же признал я. Таился он тута от людей, вышел из лесу затемно. Пробрался в дом мельника по задворкам. Добрый человек так не ходит. Значит, не чист Барышев! От того и не остановил его, когда заприметил.

— Так он в доме у Чернова был? — нетерпеливо спросил Чекан.

— А как же! С задворков сразу же в дом подался. Потом хозяйка баню топила. Наверно, для гостя. Сам Петро Евдокеич вскоре с сыном на кошовке в направлении Малого Брода ускакал.

— Барышев оставался ночевать?

— А не вернулся Петро-то Евдокеич. Барышева могло взять сумление, не то уговор у них такой был, но близко к полуночи и он в путь-дорогу подался.

— Куда?

Чекана начала злить медлительность Кокшарова.

— Это не доглядел,— признался тот виновато.— Пуржило шибко. И не сразу признал его, опосля, по одеже: свое-то, он, видать, тута сбросил, а другое надел — совсем новыйборкован теперич на нем.

Приземистая баня стояла на отлете от двора у пологого берега реки. Парная еще не выстыла, тепло сохраняло ду-

ховитый запах распаренного березового веника и прокопченной каменки. В заиндевелом предбаннике висели на гвозде потертый пиджак, суконные шаровары, заношенное, давно не стиранное исподнее. Всю эту одежу Гурлев брезгливо потрогал пальцем, внимательно осмотрел.

— Поизносился, видать! Экую рвань оставил...

А принудить Чернова признаться снова не удалось. Он сидел за столом, опираясь локтями на угол столешницы, и сжимал волосатые кулаки. Избитая хозяйка, подвывая, прибирала растрепанные волосья. Ей влетело за нерасторопность. Не догадалась, ворона, проводив опасного гостя, сразу же, до рассвета, припрятать сброшенное хламье.

— В бане нашли? — отмахнулся Чернов.— А я-то при чем? У меня эвон сколько помольцев гостят. Кому охота попариться — не отказываем.

— Тогда дозволь узнать: куда же человек подевался? Одежа в предбаннике, владельца нету! Не нагишом же он ушел и не утоп в реке? — спросил Уфимцев.

— Да какой с меня спрос, ежели я дома не ночевал! — опять озлился Чернов.— А баба дура!

— Ох, дура я! — тихонько провыла хозяйка.

— Молчи! Ума-то нет! Долбишь-долбишь тебе в дурную башку...

На дворе уже посветлело, снегопад стал реже, по лиловым угорам ветер погнал поземку.

Уфимцев предложил мельнику взять в запас печеного хлеба и смену белья. Тот начал сборы. Хозяйка истошно завопила и выбежала на крыльцо. Ее крик всполошил заимку. Из теплушки вывалились помольцы, все, кто тут погодился. Хозяйка завопила еще громче, разорвала на себе кофту, ударилась лбом о точеную балясину. Помольцы, возбужденные ее воплями и несчастным видом, похватали с возов железные вилы, лопаты и топоры, перегородили путь к выездным воротам, а старик Саломатов залез на завалину и, заслоняясь ладонями, стал смотреть в окно.

— Плохо! — тревожно сказал Чекан, выглянув во двор.— Могут быть неприятности.

Гурлев выпрямился, поправил ремень на поясе, затем опустил руку в карман за наганом. Уфимцев похмыкал и почесал пальцем за ухом, размышляя, как поступить вернее. Размышления его затянулись, галдеж толпы и вопли хозяйки становились громче. Саломатов уже яростно колотил кулаком по раме окна, вызывая Чернова.

— Уйми хозяйку, Петро Евдокеич,— посоветовал Гурлев.— Не доводи до греха. Иначе, первая пуля тебе!

— Сам спробуй унять! — зрачки Чернова злорадно сверкнули.— Спробуй, а меня не стращай! Мое дело теперич молчать.

— Упрямый, контра! Ну, ладно...

Гурлев решительно толкнул дверь.

— Обожди! — остановил его Федор Чекан.— Надо спокойнее!

Он первым вышел на крыльцо, спустился по оледенелым ступеням во двор. Толпа помольцев охватила его полукругом. Острия железных вил поднялись на фоне серого неба, как языки гадюк. Чекан взглянул на них, на одно мгновение представил безудержный разгул самосуда и почувствовал страх, но первый шаг к неотвратимому был уже сделан.

— У нас неравные силы, граждане! Мы вооружены, а вы только с вилами. Нехорошо! — сказал он громко.

— А хорошо ли добрых людей терзать? — не двигаясь с места, требовательно спросил Саломатов.

— Тебе это откуда известно? — обернулся к нему Чекан.

— Вот хозяйка кричит! Не зря, небось! Что вы над ними исделали?

— Сейчас выясним! — не стал спорить Чекан.— А вот, кстати, и сам хозяин...

Мельник появился в сенцах, у распахнутой настежь двери. Гурлев и Уфимцев подталкивали его в спину. Хозяйка опять завопила, кинулась к нему, но гвалт уже не повторился. На лице Чернова промелькнула растерянность; он беспомощно провел взглядом по скованной ожиданием толпе, по крышам двора и горбатому увалу за рекой, где в стылом мареве возникали вершины сосен, и вдруг наотмашь ударил кулаком жену в подбородок.

— Дура-а! Прочь отсель!

Та шмякнулась на деревянный настил крыльца. Как через колоду, Чернов перешагнул через нее, снял шапку, перекрестился в небо.

— Осподи, прости!..

Напускная отрешенность и покорность судьбе,— это было последнее средство не подвергать себя новым опасностям.

— Не обессудьте, граждане мужики,— уныло поклонился он озадаченным помольцам.— Анафемская баба всполошила вас понапрасну. Спаси Христос, чего могло получиться!..

От ворот метнулся к Саломатову Нефед Кокшаров, сунул тому под самую бороду кукиш.

— Во, выкусил, старый пес?

Старик попятился, ощерился, затем, прихватив полы тулупчика, подался со двора. Нефед плюнул вслед:

— Ишь! Не удалося кровя пустить! А первый кричал в теплушке: «Хватайте, мужики, топоры и вилы!»

Он уже не выглядел тем трусоватым, продрогшим от холода голодранцем, каким был еще час назад в теплушке и за углом сарая.

Толпа поредела. На истоптанном снегу, как проталины, растекалась светлая синева. Сизый дым из печной трубы, облизнув железную крышу, свалился к пригонам, и на какое-то мгновение Чекану почудилось, будто неугасимо тлеет все это, вместе с домом и мельницей. Чернов опустился на колени возле брошенного к его ногам найденного в бане хламья:

— Прощай, дом, прощай, все хозяйство! Некому заступиться...

Серое утро светлело медленно, тучи по-прежнему укрывали небо. Обратная дорога в Малый Брод становилась все тягостнее и утомительнее. Чекан поминутно понукал верхового коня, но это не помогало — однообразие пути почти не менялось. Давала себя знать бессонная ночь. Да и Гурлев, по-видимому, чувствовал себя не лучше. Его конь трусил впереди подводы, качая головой вверх-вниз, и седок, привычный к седлу, тоже клонил голову, опуская поводья.

В мелколесье, у каменистой осыпи, они обогнали Ахмета; тот брел за нагруженным возом.

Пропустив их вперед, Ахмет сел на дорогу и, кланяясь на восток, совершил утреннюю молитву.

Еще на мельнице он узнал от Гераськи о гибели хозяина и поспешил домой.

21

По Первой улице Малого Брода спозаранок началась гульба. Десятки подвод с колокольцами под дугами, с шаркунцами на шлеях коней медленно шествовали по проезжей дороге; разухабисто играли гармони; лились песни во славу обжорной масленицы. Подводы сбивались по две, по три в ряд. Ветром трепало подвязанные к оглоблям ленты. Важно, по-княжески, сидели в кошевах, на расшитых узорами подушках, повенчанные в мясоед молодые пары. Оравы ребятишек, битком набившиеся в розвальни, кричали, свистели, кидались снежными комьями. Баба в вывороченной наизнанку шубе плясала на облучке и колотила ладонями в

медный таз. Парни загоняли девок в сугробы, валяли их, набивали за воротники жакеток пригоршни снега, а те старались срывать с них шапки и закидывать на крыши дворов.

Чекан впервые наблюдал здесь такую одержимость весельем: все в избытке и все дозволено. После многих месяцев суровой, напряженной жизни, когда под гнетом слухов и тревожных событий село замыкалось в своем утробном существовании, этот бурный поток радости казался невероятным.

Масленица катилась мимо сельсовета, беспечная и нарядная, а между тем ни Гурлеву, ни Чекану, после утомительной поездки на мельницу, так и не пришлось пойти отдыхать.

Уфимцев закрыл Чернова в каталажку под замок. Мельник вошел туда с опаской. Стены каморки пестрели от пятен раздавленных клопов. Зарешеченное, прокопченное дымом окно не пропускало света. На нарах прикрывала доски только истрепанная кошма.

— Проходи, обвыкай, дорогой гость,— нарочито радушно пригласил его дежурный по сельсовету Григорий Томин.

Арест мельника Уфимцев признал все же непрочным. Не хватало прямых улик. «Конечно,— рассуждал он,— Барышев из Калмацкого сразу подался на мельницу, здесь у него, очевидно, были налажены связи, но какая же причина заставила Чернова поехать к Окуневу, что они обсуждали, о чем договаривались, куда подевался укрытый ими бандит?»

Он задумался и думал долго, обстоятельно, но ничего особенного пока не нашел.

Послал Томина за Сашкой.

— Ступай-ко, приведи убивца сюда. Надо же направить его в райотдел. А то здесь лишь обуза.

Томин вернулся без Сашки.

— Не отпускают...

— То исть, как это так? — не поверил Уфимцев.— Коли можно закону препятствовать? Взял бы преступника за ворот.

— Своим ходом он не дойдет,— пояснил Томин.— И девка там шибко зловредная, Аганька. Даже за ухват взялася...

— Беспорядок! Придется идти самому.

Чекан представил себе, как Аганя стоит с ухватом у дверей, а этот бородатый детина Томин отступает, заслоняясь рукой, и невольно похвалил: «Молодец, деваха! Не всякая на такое решится».

— Я пойду вместе с тобой,— предупредил он Уфимцева, выходя с ним на улицу.— Если понадоблюсь, помогу!

И оживленно, с чувством упрекнул себя: «Соврал ведь. Совсем не это интересует. Хочу ее видеть!»

Наконец-то Аганя открылась вся, при дневном блеклом свете, в домашней одежде, с какими-то отопками на босых ногах, без полушалка. Он мог смотреть на нее и любоваться, сколько угодно.

Но Аганя уже не была гордой и величавой. Простенькая девчонка, сказал бы он. Серая ситцевая юбка, кофта с мелкой оборкой, ровный пробор в черных волосах, коса с ленточкой, крохотные медные сережки в ушах и вот эти смешные, уродливые башмаки, давно изношенные хозяйкой. И робость на ярком, очень милом лице. Аганя оробела сразу же, когда Чекан и Уфимцев вошли в дом, и ей стоило большого труда встать перед ними и с прежней настойчивостью защищать Сашку.

— Тебе кто позволил не слушаться? — требовательно спросил Уфимцев.— Почему убивца не отдаешь?

— Не сдюжит он. Нельзя его увозить.

Сашка с ночи продолжал лежать на лавке под полатями, укрытый тулупом и по-прежнему отчужденный. Одна рука беспомощно свисала к полу. Он перебирал пальцами, то распуская всю пятерню, то собирая ее в кулак. Бессменный Аким Окурыш у изголовья дымил цигаркой.

— Подбери ему руку, Аким! — сказал Чекан.— Оцепенеет. Ногти на пальцах уже посинели.

Тот безнадежно отмахнулся.

— Без толку. Это он отходит так. Жизня из него истекает. Ему бы домовину иcделать загодя и вместе с отцом положить...

— Вместе с отцом не хочу,— неожиданно перебил его Сашка, открывая глаза.— Лучше в загумны выбросьте меня, как дохлую собаку, а с отцом рядом и на том свете быть не хочу...

Аганя сама подняла его руку, растерла пальцы ладонями.

— Не трать силы, Саша. Обожди. Полегчает тебе. Я сейчас свежих щей подам, ты поешь и сразу же оклемаешься.

В доме густо пахло печеным хлебом и вареной говядиной. На столешнице возле припечка отстаивалось белое тесто, на полке под окном уже лежали готовые калачи.

А в горнице, за дверью, еще валялось неприбранное тело Евтея Окунева.

Чекан почувствовал легкую тошноту: близость пролитой крови и запах свежего хлеба не совмещались.

— Ничего мне не надо, Аганюшка,— чуть слышно прошелестел губами Сашка.— Попрощайся со мной...

— Нет, я тебя одного не оставлю!

— Не шали, девка! — строго поглядел на нее Уфимцев.— Желаешь ты, нет ли, а убивца надо в райотдел предоставить. Не вмешивайся. Эвон дело твое у печки. Кончай стряпню.

— А у вас разве совести нету? — не отступилась Аганя.— Да пусть вся стряпня в печи сгорит...

Она вдруг обернулась к Чекану за помощью, но вслух произнести слово «помоги» не решилась, только добавила тихо:

— Как же верить в нее, в совесть-то? У кого искать? У хозяина не бывало. И у вас не видно...

Уфимцев впервые смутился.

— Далеко ты захватываешь! Никто Сашку до суда пальцем не тронет. Но содержаться ему положено в камере. И, в конце-то концов, какая тебе нужда за него хлопотать? Кулацкий сын. Убивец.

— Я бы за здорового слова не молвила.

— Так и за хворого не цепляйся!

— За его добро заплачу добром же...

— Тьфу ты, напасть какая! — не сдержался Уфимцев.— Этак с тобой до вечера разговоры не кончить. Давай собирай его счас же в путь. Одень. Обуй. Припасу в кошель положи.

Под ресницами у Агани блеснули слезинки, она снова обернулась к Чекану, и тогда он отчетливо понял, как много потеряет или как много приобретет в зависимости от своего поведения.

— Мне кажется, надо с ней согласиться,— подсказал он Уфимцеву.— Парень очень плох. Без помощи его оставлять нельзя. Но и ты, Аганя, одна с ним не управишься. Ему нужен врач. Напишем письмо в райотдел и попросим, чтобы Сашку положили в больницу.

— Там его и без нашей просьбы прежде на леченье направят,— разъяснил Уфимцев.

— Спасибо!..

Поблагодарила она с достоинством, по деревенскому обычаю, не унижая себя выражением радости. Зато голос ее выдал. Он прозвучал мягко, на конце слова дрогнул, и Чекан уловил именно к нему обращенное доверие и расположение.

— Спасибо! — повторила Аганя теперь уже прямо Уфимцеву.— Но я его увезу и отдам сама. Пишите бумагу.

— Экая ты! — удивился Уфимцев.— Как репей. Да разве девке по силе арестанта сопровождать?

— Ему бежать некуда. И невмочь.

— А что мне за это в райотделе пропишут? Нет уж. Поедешь просто так, для присмотру. Конвоира дам. Эй, Аким Лукояныч,— позвал он Окурыша.— Собирайся в дорогу.

— При оружии? — поднялся с лавки Окурыш.

— Сойдешь и так.

А часа через три, когда снегопад стал реже, Аким вернулся с пути пешком. Еле переступив порог сельсовета, он закричал на Уфимцева, занятого допросом мельника:

— Говорил же тебе: предоставь оружию! Так нет. Теперича разбирайся! Ищи ветра в поле!

Был он возбужден и рассержен. Даже запорошенную снегом шапку бросил на пол.

Аким сам правил подводой, на которой Аганя повезла Сашку в Калмацкое. В переулке, перед выездом в гумны, их остановил мужик в борковане. По началу Аким его не узнал. Мужик вышел из давно заброшенной, нежилой избенки деда Савела Половнина, покашливая и прикрывая лицо рукавицей. Не промолвив ни слова, он сел в розвальни, поджав под себя ноги, наваливаясь на закутанного в тулуп арестанта. Такое самовольство Акиму не понравилось:

— Ну-ко, слазь! То ли не видишь — дорога какая убродная! Тяжело, небось, лошади! И по закону нельзя! Воспрещено!

— Не шуми! — приказал мужик.— Мне недалеко!

— Я говорю: слазь!

— Слазь! — повторила за ним Аганя.— Мы в больницу спешим.

Она отпихнула мужика от Сашки, но тот навалился еще сильнее и выхватил у Акима вожжи. Маломерный и малосильный конвоир не смог с ним справиться. Подстегнутая лошадь побежала вскачь. От быстрой езды Сашку болтало и кидало по розвальням. Тогда Аганя принялась колотить непрошеного попутчика в спину. И это не помогло. Не оборачиваясь, мужик двинул ее локтем в лицо. Она повалились навзничь, а парень вдруг скрючился, коротко простонал и скончался. Повернуть подводу обратно в село мужик не разрешил, погнал ее дальше, пригрозив Акиму вынутым из-под боркована обрезом.

На развилке, у поскотинных ворот, он взял вправо от калмацкой дороги, в леса Межевой дубравы, по малоукатанному полевому пути.

Тут и в хорошую-то погоду мало кто ездил. Аким изловчился, спрыгнул с розвален, намереваясь сбежать, а мужик опять пригрозил обрезом и заставил ехать с ним дальше.

— Опосля того мне и кинуло в ум: это же Барышев Павло Афанасьич, Ульянин муж! — торопясь, докладывал теперь Окурыш Уфимцеву.— Я еще вечор слушал ваши разговоры с Сашкой и Петром Евдокеичем и про себя смекал: какой же, мол, Барышев им втемяшился? Чего-де он натворил? Пошто его ищут? А про то и не сообразил, что у нас на все село один Барышев значился. Да и кто мог подумать? Все баяли, будто Павло-то Афанасьич на войне сгинул, сколь годов весточек не подавал.

Верстах в пяти от развилки Барышев наконец остановил подводу, выпряг лошадь и верхом на ней скрылся.

Аганя отправила Акима обратно, а сама, верная слову, осталась в лесу сторожить недвижимого Сашку.

Она так и не отошла от него ни на шаг, пока вместе с Окурышем приехали Уфимцев, Чекан и Гурлев. Вся окоченелая и продрогшая, Аганя доверчиво позволила Чекану оттереть ей снегом лицо и руки, надела его меховые перчатки, затем он велел ей побегать и разогреться. Все это было необходимо, и поэтому ни Уфимцев, ни Гурлев, ни сам Чекан, торопившиеся догонять Барышева, не заметили, как радостно и оживленно светились ее глаза. Уезжая дальше в погоню, Чекан свои меховые перчатки не взял. Аганя приложила их к лицу и всю обратную дорогу до Малого Брода любила, как нечто самое дорогое на свете.

Межевая дубрава раскинулась на многие версты. Полевые пути к оставленным на зиму стогам сена и к поленницам дров петляли и кружили по закраинам березовых колков. Повсюду виднелись лесные загороди с избушками и сараями, где ночевали и укрывались от непогоды хозяева в летнюю пору.

Уфимцев рассчитывал нагнать Барышева еще засветло, но вскоре снежная поземка засыпала и загладила следы, а кони сбились с наста, увязли в сугробах.

День быстро угасал. Лесная чащоба не выдала больше ни единого признака, который хоть немного помог бы продолжать поиск.

— Придется начинать сызнова...— разочарованно повздыхал Уфимцев.

— С чего начинать? — спросил Чекан.— Прочесать

только одну Межевую дубраву с ее десятками загородей и полевых избушек понадобится по меньшей мере сотня вооруженных людей. Где же взять их?

— Сколь ни помотается по лесу, а все равно к людям выйдет,— очень неопределенно сказал Уфимцев.— От них и узнаем...

У него было какое-то свое рассуждение и своя служебная линия. Ведь дознался же он прежде каким-то путем об участии Барышева в пожарах и в разгроме обоза, обнаружил его в Калмацком, предсказал появление в селе с намерением пробраться к Окуневу. Но, по-видимому, в служебной линии был пробел, если Барышеву удалось ускользнуть.

А в Малом Броде масленица не утихала до позднего вечера. Катание на подводах закончилось, зато в домах и избах еще слышались песни подгулявших мужиков.

Дом Окунева стоял, погруженный во мрак. Уфимцев и Гурлев проехали по улице дальше, в сельский Совет, а Чекан остановил коня у ворот и постучал. Открыла Аганя. Похоже было, она поджидала его или еще не входила в дом.

— Ну, как ты тут управляешься? — заботливо справился он, наклоняясь к ней с вершны.

Аганя, зябко вздрагивая, призналась:

— Боюсь. Они оба лежат там, в горнице, а мы с Ахметом и с хозяйкой в малой избе сидим и боимся. Помоги еще как-нибудь...

22

В одном из писем домой Чекан писал матери, что ему очень повезло с квартирой в Малом Броде. Добрая старуха Лукерья не жалела для него трудов. С первого дня масленой недели на столе не переводились блины. Но соблюдая обычаи и обряды, Лукерья на иконы в переднем углу никогда не молилась и в церковь не хаживала.

— Откуда же взялось у тебя, бабушка, такое неверие? — запивая чаем обильную еду, поинтересовался Чекан.— Вот Сашка Окунев перед кончиной признал бога злым и отказался от него. А ты как думаешь?

— Бога своего я в душе ношу, милый, там ему и полагается быть завсегда, иначе он никому не нужон!

— Значит, и зло сумеешь простить?

— Ну, это уж, миленький, вряд ли! — решительно сказала Лукерья.— Нечаянное зло скощу, а зловредное выме-

щу! Помню, еще девчонкой была, а даже попу не простила!

— Как же так?

— За причастие: он мне не дал церковного вина попробовать. Я ему на исповеди брякнула: «Верую, батюшко, верую, но на вечерки бегаю! В алтарь забралась, с попом подралась».

— И прогнал он тебя?

— Понятно, прогнал, да отцу вздумал жаловаться. Меня отец отлупил, а я за то попу в чашу со святой водой мышу подкинула. Потом в тот же год и с Христом-спасителем поквиталась. Послали меня родители к баушке с дедушкой домовничать. Время летнее, все люди в поле, дома малолетки да старики дряхлые. Утром-то баушка собралась в поле, а мне наказала: «Ты, Лукешка, днем сметану топленую из печи достань и поставь в чулан остужаться». Ну, я сметану в самую пору вынула, понюхала: ух, как сладко! Дай, думаю, только один разочек лизну. Лизнула и забылася напрочь! Велик ли был ум-то! Сначала помахоньку пальцем макала, потом добралась до нее с куском калача, так и вылизала всю дочиста! На низу горшка лишь оттопки остались. Вечером баушка спохватилась: «Это ты, Лукешка, сметану сничтожила?» Испугалась я: «Нет, не ела ничего!» — «Однако ты, внучка, не лги! Напакостила, так умей же признаться!» А я одно свое говорю: «Не трогала. И не вали на меня понапраслину. Ведь не видела!» Баушка показала мне перстом на божницу: «Я-то сама не видела, зато эвон Исус Христос с божницы за тобой подсмотрел и мне обо всем сказал!» Да меня плеткой ременной по заду раза два огрела на память. Проревелась я и пригрозила спасителю: «Ладно,— говорю,— мне-то памятно, но и тебе тоже достанется!» На другой раз баушка опять поставила сметану в печку и опять же меня к ней допустила. А я днем-то, прежде чем лакомством заняться, сняла с божницы икону Христа, весь лик сверху донизу сметаной измазала и повернула его к стене. Баушка-то, как взошла в избу, глянула туда на божницу, удивилась: «Это что ж приключилося? Пошто икона не так стоит? Небось ты, Лукешка, на божнице зачем-то шарилась?» — «И нигде я не шарилась,— отвечаю ей.— Сам Исус со стыда к стене отвернулся. Сметану-то слопал из горшка. Ага! Слопал. Измазался весь. А теперича и сказать баушке забоялся!»

— Снова попало? — засмеялся Чекан.

— Уж куда с добром! А я с тех пор невзлюбила бога церковного, выдумала для себя своего, бескорыстного и незлобивого. Бывало, уж когда в девках ходила, затяну песню да

начну ее всяко играть, а бог рядом со мной незримо сидит, слушает и поправляет, если где ошибуся...

Лукерья присела на лавку, наклонила голову к плечу, подперла ее ладонью и звучно, совсем молодым, не испорченным старостью голосом, завела:

Высоко звезда восходила,
Выше лесу, выше темного,
Выше садику зеленого...

Далекую молодость вспомнила.

Не дожидаясь, пока она закончит песню, Чекан схватил гармонь, подладился к голосу и по слуху начал негромко вторить.

— Ох, как баско с гармонью-то! — похвалила Лукерья.— Я ведь песельница была на весь Малый Брод. Меня даже на свадьбы звали, ни один девичник без моего голосу не мог обойтись.

— Зря пропал талант,— пожалел Чекан.

— Да я и в замужестве пела. Мужик у меня был такой же. Как заведем с ним, у наших-то окошек народ собирался. Да вот не пожилось мужику, а мне одной стало скушно.

Чекан отнес гармонь в горницу, постоял, запоминая напетую Лукерьей мелодию. Потом вернулся к столу, сдержанно, по-деревенски поблагодарил:

— Ты чудесница, бабка Лукерья!

Масленица еще продолжалась, молодежь без устали шумела и веселилась на улицах. На пути к читальне, с трудом минуя нарядные толпы, Чекан снова и снова возвращался к мысли, как именно песенное слово, доступное многим, может сблизить и соединить людей.

Даже короткое, сухое письмецо, полученное в этот день от Лиды, не очень испортило ему настроение.

Лида писала, чтобы Федор постарался ее позабыть. «Нам не удалось всю жизнь провести вместе, и теперь мы остаемся врозь навсегда». Так она перефразировала сказанное ей на прощание. И добавила в самом конце: «Я не могу упускать свое счастье. Я еще не знаю, люблю ли мужа, зато твердо уверена: мне бедствовать не придется».

Чекан прочитал письмо мельком, почти нехотя и не сразу понял, почему Лида боится за свое счастье. «Свое счастье» было написано крупными буквами и два раза подчеркнуто, как нечто абсолютно единственное и неповторимое в целом мире. Только свое, а чье-то иное уже не в счет. «Да ведь это же надгробие на нашей любви! — сообразил он, перечитав письмо сызнова.— Лида вышла замуж!» Многие версты между городом и селом Малый Брод разделяли их.

Версты можно было бы пройти пешком или проехать на телеге, но ничем нельзя ни измерить, ни преодолеть расстояния между «своим» счастьем и «твоим», если они оказались чуждыми. «Да, конечно, для Лидочки я был бы бесперспективным мужем,— принужденно сказал он затем себе.— И надо было это давно понять!»

Письмо не нуждалось в ответе. Вложенная в него безнадежность заранее предрешала все. Да и не хотелось отговаривать, если Лида не постыдилась сказать: «Я еще не знаю, люблю ли мужа».

В читальне становилось прохладно. Аким Окурыш топил печи ночью, и они к полудню остыли. По случаю разгульной масленицы в читальню никто не заходил. В сельсовете тоже стояла безлюдная тишина. Лишь позднее, уже под вечер, зашел озабоченный Гурлев.

— Кузьма Саверьяныч не бывал тут?

— Не бывал,— подтвердил Чекан.— Наверно, дома чем-нибудь занят.

— И дома его нет. Я заходил.

— Бражничает где-нибудь,— недоброжелательно предположил Чекан.

— Не пойму, за что ты продолжаешь на него взъедаться? — проворчал Гурлев.— Мужик как мужик. Не скажу, будто рюмку не любит, но меру знает. И то, если спробует, так людям не показывается.

— А я тебя перестаю понимать, Павел Иваныч...

Письмо Лиды Васильевой еще продолжало тяготить, вызывало раздражение, и невольно один бесчестный поступок напоминал другой.

— ...Да, перестаю понимать! Ты, такой строгий и принципиальный в отношении партийной этики, а Кузьму Холякова выгораживаешь и уже второй раз не принимаешь к нему никаких мер. Он выпивал у Согрина. Почему? Надо было тогда же разобраться на партийном собрании.

— Я спешить не люблю,— ответил Гурлев.— Повторится, тогда уж вдарю, дожидаться не стану.

— Братья Томины видели, как он у Окунева бывал. Зачем? И ведь не днем, а в потемках. Какая нужда? Окунев в подводчики не нанимался.

— Они мне тоже заявляли, и я Кузьму спрашивал. Новый тулуп Окунев продавал. Да ценой не сошлись.

— Мало верится, Павел Иваныч. Неправду говорил Холяков.

Такая же неправда, еле уловимая, но опасная, проступала между строчек и в письме Лиды Васильевой. Надея-

лась ли она, будто действительно, выйдя замуж не любя, найдет «свое счастье» и всю жизнь проведет без капли печали?

— А не скрываешь ли ты чего-нибудь, Павел Иваныч? Если я ошибаюсь, попробуй меня убедить.

Тот отвернулся, поковырял пальцем заиндевелое стекло в окне.

— Эк приспичило тебя с Холяковым,— раздраженно ответил Гурлев.— В такую неподходящую пору. А меня больше заботит, как Антропову станем докладывать? Упустили бандита. Что делать-то дальше? Милиция, конечно, вожжи не выпустит, но и нам нельзя оставаться в безделье. Куда же мог скрыться он? То ли сбежал отсюда подальше, то ли где опять здесь притаился?

— Посты пока не станем снимать.

— А что посты? Какой толк от них? Мы подкарауливаем на одной тропе, а Барышев пройдет по другой. Кабы хоть знать, кто ему тут потворствует, с кем он связан? Не один же Евтей Окунев был? Чернов молчит, как могила. Чем ему язык развязать? Уфимцев-то сам молчун, в час десять слов не скажет. Я ему давеча советовал: ты, мол, с Черновым обойдись круче, по-хорошему не сдается, так силой заставь! Отвечает: нельзя! Закон не дозволяет. Я ведь тоже закон уважаю, но тем временем бандит на воле и снова может сотворить преступление. Вот так-то! — Он пружинистым шагом прошелся по читальне, расстегнул ворот гимнастерки и пятерней взъерошил волосы на голове.— Да, между прочим, и с Ульяной не знаю, как поступить. Чую, про Барышева она догадывается или ей кто-то уже шепнул. Испуг у нее в глазах появился.

— Надеюсь, ты не подозреваешь ее?

— Нет! Давно знаю, не любила она первого мужа. Поневоле жила. И мне не изменит. Только беспонятная шибко...

— Она ведь перед тобой, Павел Иваныч, ни в чем не виновата,— мягко сказал Чекан.— Ты ее не бросай!

— А жить как? — вскинув брови, сумрачно спросил Гурлев.— Легко ли будет? Все в ее дворе теперь совсем опостылое, вражьим духом бывшего хозяина отдает...

В приоткрытую дверь заглянул Аким Окурыш.

— Холякова-то ждешь еще, Павел Иваныч?

— Жду! — торопливо ответил Гурлев.— Где он?

— Вдоль улицы шастает! Ты как велел мне в окошко смотреть, не появится ли Кузьма, так я смотрел в оба глаза,— напрашиваясь на похвалу, сообщил он.— Все не было

и не было, вдруг быстрехонько из малых ворот Саломатовых шасть прямиком на дорогу. Да еще огляделся вокруг...

— Иди, покликай его сюда!

— Значит, все-таки не минует кулацкие дворы! — теперь уже уверенно произнес Чекан.

Но Холяков вошел трезвый и чем-то недовольный.

Гурлев, поздоровавшись, тут же подтолкнул его в спину и оба они, на ходу разговаривая, сразу покинули сельсовет.

Холяков мог еще поправить себя. Если по необходимости нанял в подводчики Согрина, по обычаю выпил с ним рюмку, по делам заходил к Окуневу и Саломатову, по глупости брякнул не то, что следует,— у него есть возможность восстановить себя в мнении товарищей.

А Лида вышла замуж! Тут ничего уже поправить нельзя! В письме она выложила свое сокровенное: «Бедствовать мне не придется!» Хоть в неволю, лишь бы не бедствовать.

У Лукерьи в доме сидели гостьи. На столе, в переднем углу, шипел самовар. Четыре старухи Лукерьина возраста, в сарафанах и платках, закусывая блинами, пили чай вперемежку с водкой.

— Проходи, Федя, садися с нами! — захлопотала она, встречая его у дверей.— Не обессудь нас, старых! Давеча, утром-то, разворошилось во мне прежнее, затосковала я по песням, ну и созвала давних подружек.

Старухи оказались знакомые — Марфа Петровна и Варвара Мефодьевна, у которых Гурлев искал правды, не они ли пустили молву про антихриста; Катькина мать Василиса Панова; жена Ивана Добрынина Акулина.

— Ты уважь нас,— прогудела Варвара Мефодьевна.— Мы добро любим!

— Кто же не любит добра? — заговорила Марфа Петровна.— Ты, Варвара, завсегда не туда поворачиваешь.

Подвинув ее на лавке, юркая бабка, очень навеселе, пропела и притопнула валенком:

Травушка-муравушка,
Ягодка моя!..

— Садися, мил дружок, на почетное место!

— А не боитесь вы, что я антихристом окажусь? — посмеиваясь и проходя к столу, сказал Чекан.— Большевик ведь я!

— Господь с тобой,— еще больше развеселилась Марфа Петровна.— Да мы про того антихриста уж и думать забыли.

Ой, ягодка моя,
Сладка вишенка!..

— Ты с устатку-то, может быть, примешь, Федя, вместе с нами по рюмочке? — спросила, не очень надеясь, Лукерья.— Али поморгуешь?

— Да почему и не выпить? — тряхнул головой Чекан.— Одну-то рюмочку можно. И что-то трудновато сегодня мне...

Его простецкое обхождение старухам понравилось. После рюмки и закуски Чекан вынес из горницы гармонь, сыграл плясовую, гостьи наплясались досыта, а затем усталые и счастливые от того, что вспомнили молодость и силы еще не ушли от них, засели снова за стол. Заводила песни Лукерья:

О-о-ох, потеряла я колечко,
С ним потеряла я любовь...

К ней с необыкновенной грустью, как бы омытой слезами вечной разлуки, старухи-песенницы присоединяли свои голоса:

Потеряла я любовь!..

23

Не сразу разобралась Аганя, как это произошло с ней. Встретив избача на вечерке, она нашла лишь, что на деревенских парней он ничем не похож. Потому и сказала ему про «неровню», а его поцелуй в щеку приняла обычно. Ведь целовали же парни девушек, это не считалось зазорным. В ночь, когда Сашка убил отца, в ней будто что-то вспыхнуло и всю обожгло. До самых мелких подробностей запомнила она, как Федор стоял перед ней на дороге и шутил про оторванные на полушубке пуговицы, как бежал к палисаднику с поднятым револьвером, а она замирала от страха за него, и, наконец, как он незлобиво относился к Сашке. Еще когда-то давно мать советовала: «В парне прежде найди человека!» Это было мудрено сказано, но потом оказалось, что все люди разные, каждый со своим характером.

— Ты его завлеки! — советовала Катька Панова после вечерок.— Избач не велика шишка в селе. Чего стыдиться! Кабы не Сережка, я бы сама принялась.

— Очень он в нас нуждается. У него, поди-ко, в городе невеста осталась...

Это она Катьке ответила так, но тогда еще можно было все пережить. И пережила бы, со временем собралась бы за кого-нибудь замуж, хоть за долговязого Алешку Ергашова, а, наверно, сама судьба того не хотела.

Себя и Федора Чекана Аганя уже не могла разделить.

Каждое слово и приветливый взгляд принимала как ласку и добрый признак. Вера в него еще больше окрепла и засияла надеждой, когда в Межевой дубраве Чекан помог погреться и отдал перчатки, а позднее не проехал мимо двора, позаботился. Аганя в самом деле боялась оставаться ночевать в хозяйском доме. Чекан тогда увел ее к Савелу Половнину, посидел и пошутил вместе с дедом над ее страхами. Потом, когда вышла в сенцы проводить, он взял на прощание ее руку и долго держал, не выпуская. Тут и догадалась, и обрадовалась, что все это не просто так, а спешит навстречу то желанное и удивительное, которое она еще опасалась назвать любовью.

Посреди масленой недели, сразу после похорон Евтея и Сашки, в их дворе поселился новый хозяин. Это Егору Горбунову подвалила нежданная удача. Аганя знавала его еще по Грачевке, куда тот ежегодно приезжал к тестю и выпрашивал помощь.

Авдотья, жена Горбунова, баба рослая и костлявая, с большим лошадиным лицом, приходилась родной сестрой Глафире, оставшейся теперь в одиночестве.

У Окунева никакой родни не осталось. Полупомешанная Глафира править двором сама не могла. Поэтому и взяла Авдотья опеку над сестрой, а Егор сразу вошел в роль попечителя.

В первый же день он отобрал у Агани и повесил себе на пояс все ключи от кладовых и амбаров, переоделся в новую одежду, купил где-то три четверти самогону, заколол годовалого телка и устроил поминки погасшему роду. Столы в горнице ломились от еды, а жрать эту прорву оказалось некому. Позвал Горбунов только богатых хозяев, а они не пришли. Побрезговали. Пуще всего хотелось ему посидеть на равных, за одним столом с Согриным, поговорить без прежней униженности, пошиковать, но Прокопий Екимович еще не вернулся из поездки в город.

Вместо мужиков Горбунову составили на поминках компанию старухи-плакальщицы и бывшая монашка Соломея, вся в черном, на вид постная, читавшая из книги поминальные молитвы.

На улице горланила масленица. В доме пахло ладаном и богородской травой. Чинно переговаривались старухи, прикладываясь к еде и выпивке. Егор, разрешивший себе еду и выпивку на полную силу, глотал самогон стаканами, пятерней накладывал в рот квашеную капусту и не переставал выхваляться перед монашкой.

— Я, матушка Соломея, выродился в паску, в самый

святой день, а не в Егорьев, как меня по имени звать.

— Коль на паску, значит счастливый ты,— кивая угодливо, подтверждала монашка.

— А меня изурочили!

— То исть, как могли изурочить?

— Наговором. И действием. Уголек на пупок мне-ка сунула старая карга повивалка, что роды от матери принимала. С корысти. Показалося, будто мои родители мало ей вознаграждению выдали. Ну, бают, меня в ту пору все в рев кидало. С пупка-то и сорвал, худосочным вырос. А с наговору фарт мне в жизни неправдашним сделался. Вот уж, бывало, совсем доскребуся до фартовой жизни, возвышусь, вознесусь, толичко бы приладиться к ней, но лизнул, понюхал — и опять же при старом житье.

— Может, сам виноват? Богу свечки не ставил, мало молился, матерным словом его поминал?

— Блуду поддавался, матушка! — пьяно хахакал Егор, оглаживая ладонью костлявые колени монашки.— Супротив вашего бабьего сословия неустойчив я!

— О-ох, ты-ы!..

— Удалой я на это! Ты на Авдотью не кивай. Я бы ее пропустил, да черти надо мной подыграли. А полагалось мне жениться не как-нибудь... на поповой дочке я мог жениться. Во как!

— Не верь ты, матушка Соломея, ни одному слову, врет Егор — не дорого берет! — сказала с другого конца стола Авдотья.— Ему от простой поры навивать-то.

— Цыц, баба! — прикрикнул Егор.

— Уж, поди-ко, я тебя испужалася! — прохохотала Авдотья.— Как турну из горницы на полати!

Еще два дня куражился и гулял новый хозяин, но уже один на один с Авдотьей. Покрикивал на Аганю и на Ахмета, наводил порядки: то щи казались пересоленными, то соленые огурцы начинали ему горчить.

На проводы масленицы приказала Авдотья заводить блины. Первым сел за стол Горбунов, пододвинул к себе горшевик с топленым маслом.

— Ты, Аганька, малу-то сковородку отставь, покуда меня не накормишь. Достань для меня большую. И считай, сколь я блинов съем!

— Зачем это, дядя Егор? — с недоуменьем спросила Аганя.

— О первых, ты меня дядей не называй! Теперича я тебе не кто-нибудь! О вторых, надобно тебе наперед знать, сколь для меня на один присест еды готовить.

Блины чуть не с решето, с пылу с жару, хватал он себе на ладони, обжигаясь, свертывал, затем на всю глубину макал в горшевик и, обмасливая жидкую бороденку, чавкал.

Сорок блинов съел, полгоршевика масла вымакал.

— Теперич вроде довольно,— потрогав натянутый по брюху сыромятный ремень, рыгнул Егор.— Ублаготворился! Можно завтре великий пост зачинать.

— За пятерых сработал! — брезгливо сказала Аганя.

— Не чужое, не Христа-ради выпрошенное. Пусть-ко теперича Прокопий Екимыч Согрин подавится тем злосчастным пудом муки, что не хотел дать мне к празднику.

— И куда в тебя, Егор, лезет столько! — подивилась даже Авдотья.— С виду ты тощой, брюхо втянуто до хребта. Такую прорву блинов сглотал и снаружи ничуть не приметно!

— Ты, баба, за мной не подглядывай! — распорядился Егор.— В жадности не уличай! Мне надобно телом выправиться, чтобы тот же Прокопий Екимыч передо мной не задавался!

Он полез отдыхать на голбчик возле печи, улегся там и приготовился к приятному, сытому сну, когда со двора вошел в дом Ахмет.

— Ты пошто без спросу в дом лезешь? — заворчал на него Горбунов.— Место твое в малой избе, ступай туда. Опосля Аганька блинов принесет.

— Разве ему места здесь за столом не хватит? — вступилась за Ахмета Аганя.— Постыдился бы, дядя Егор...

— Опять дядя! — запетушился Горбунов.

— Я ведь не знаю, как тебя величать?

— Егор...— он запнулся, припоминая, как же его называть по отцу.— Егор Матвеич, небось!

— Ты же сам недавно из работников вышел, Егор Матвеич! — продолжала Аганя.— И постыдился бы унижать человека. Ахмет не хуже тебя!

— Э-э-э, новый хозяин! — осуждающе покачал головой Ахмет.— Шибка дурной вид кажешь! Масленка — не наш праздник, блин-та мне нипочем. Свой ураза скоро придет. А ты мне мала-помала расчет подавай!

Требование Ахмета озадачило Горбунова, он еще не успел всласть натешиться правом хозяина ничего не делать.

— А кто коров и коней станет кормить-поить, обиходить?

— Сам, наверна,— спокойно объяснил Ахмет.— Лежать не станешь, все сам иделаишь. Не то другой батракам най-

мешь! А мне дальше не можна жить. Евтейка нету, мой слово кончался, слава аллах! Свой диревня пойдем наконец-та!

Егор поворочался на голбчике, припоминая, как прежде обходились с ним хозяева.

— Уговор с Евтеем Лукичом был у тебя до коей поры?

— Долгам отработать.

— Значит, отрабатывай...

— Не можна! Я долгам давно-предавно кончал. Задарма робил!

— Выходит, не полагатся расчет! — закричал Егор.

— Тетрадка кажи!

— Какую еще тетрадку придумал?

— Кою Евтейка писал. Я неграмотный, Аганька поможет. Давай-та заново посчитаем.

— Никакой нет тетрадки.

— А, нету? — удивился Ахмет.— Чистый обман был? Тогда сильсоветам нада идти, правдам искать. Как нет тетрадка?..

— Мне тоже расчет подавай, Егор Матвеич! — решительно заявила Аганя, снимая с себя фартук.— Не уживемся мы вместе!

— И ты заодно! — опешил Егор.

— Батраку-то у батрака батрачить...

— Э-эй! — и на нее закричал Егор, подымаясь, свешивая ноги с голбца.— Поговори у меня!

— Евтей Лукич был без стыда и совести, он на том взрос, на чужом-то горбу, а тебе, Егор Матвеич, совсем не пристало,— попыталась обратиться Аганя к человеческим чувствам Егора.— Настоящая хозяйка все же Глафира...

Тот заморгал, растерянно заелозил на месте. Удовольствие от сытости и безделья, от сознания личной значимости вдруг ускользнуло. Опять проступила нужда и позорное состояние приживальщика. В эту минуту он представил себя снова в своем разоренном хозяйстве и униженным перед Согриным; две морщины обозначились по обветренным щекам, спина согнулась, но потом недалекий его ум все же разыскивал зацепку.

— Окромя меня и Авдотьи за Глафирой некому приглядеть. Допусти-ко стороннего, так у нее ни кола, ни двора не останется. С этого значит: тут теперича моя полная воля! А я сумею хозяйничать не хуже чем прежний хозяин!

— Как нет тетрадка? — снова подступил к нему Ахмет.— Сундукам надо искать, проверять надо!

— Нету!
— Ай, ай! Обман-то кругом!
— Ты сам рассчитай нас, Егор Матвеич, по совести,— предложила Аганя.— Известно ведь, сколько другие хозяева работникам платят.
— Почем я знаю: платил вам Евтей али нет?
— Поверь! Мы не обманем.
— Ха!— воскликнул Егор.— У всякого пальцы сгибаются на ладонь, а не от ладони! Лишь бы воспользоваться...
— Ай, ай! — все еще никак не мог поверить Ахмет.— Как же тетрадкам нету? Не мог Евтейка с собой ее брать. Тот свитам аллах без бумага рассудит. Здесь чем жить? Робил-та задарма!
Горбунов приосанился. Ключи от кладовых и от сундука, где лежали бумажные деньги, накопленные Окуневым, висели у него на ремне. Потому и опоясался он сыромятью, чтобы нечаянно не обронить связку ключей, не проворонить чего-нибудь.
Для уверенности побрякал ими, сбегал в горницу, заглянул в сундук и совсем категорически отказался хоть по малости заплатить батракам.
— Ступайте отсель. Не будет расчету! Бог подаст!
— Мы не милостынку выпрашиваем! — удивляясь его самодурству, сказала Аганя.— Добром не согласен, силой заставят. А дом этот и верно проклят кем-то! Пойдем отсюда, Ахмет!
На крыльце она подняла лицо, вдохнула свежего морозного воздуха и, вся переполненная ощущением полной свободы, заблистала глазами.
— Ох, Ахмет! Даже не верится: будто я снова родилась. Или из темницы вышла. Небо-то какое большущее...
— Небо большой. Земля большой. Людям вся нада. На большой жисть-та народ пошел. Один я, такой ват ма-а-аленький, как мизинчик, жисть прожил узкий, ни смелый. Ты молодой, Аганька. Замуж пойдешь, добрый парень найдется, худой жизнь кончаешь. Ахмет как быть? Старухам кормить надо, чай добывать, а силам из тела ушел, одна болизни остался.
— Ты собирался в сельсовет пойти с жалобой.
— Под горячка сказал-та,— понизил голос Ахмет, поглядывая на дверь в сенцы.— Не пойду, навирна.
— Это почему же ты не пойдешь?
— Булна боязна. Совесть тащит: айда, Ахмет, ступай сильсоветам, не молчи, нельзя правдам прятать! Зато страх держит...

Аганя не поняла его недомолвок. Скинув тягостное ярмо и гретущее одиночество, она поверила в себя, в возможность близкого счастья. Это Федор Чекан как будто все время был с нею рядом, подсказывал ей слова, руководил всеми ее поступками. Она хотела стать в уровень с ним, такой же решительной, сильной и так же заслужить у людей уважение.

— Мы, Ахмет, пойдем в сельсовет вместе! Проводим масленку и пойдем. Если боишься, говорить буду я. Почему мы должны дарить свое заработанное?

— Не можно, Аганька! — перешел на шепот Ахмет.— Сам виноват я. На мельница-та ящик возил. Евтейка ящик на возам под мешки клал, Ахмет передал...

Аганя видела ящик с винтовками, найденными в кладовой. Признание Ахмета ее озадачило.

— Неужто еще оружие?

— На винтовкам не похож был! Короткий ящик-та, пузатый, Евтей баял: железки-де на турбинам...

— Железки или не железки, об этом надо сказать.

— А ты сабсем взрослый девкам стал! — похвалил тот, вздыхая.— За одна неделям вырос-та! Давно бы так! Хорошо своя ум иметь! За себя постоять. Ишь опять какой у тебя, Аганька, лицо стал румяный, баской! Глазам-то какой ясный, живой.

— Потому, что хорошие люди есть...

— Как им не быть-та! За ворота выйди: везде есть!..

Аганя условилась с ним, что он еще останется и переночует в малой избе, а пойдут они в сельский Совет вместе и вместе же оба покинут двор. Сама она решила попроситься ночевать к Катьке Пановой.

Ночью они лежали у Катьки в избе на полатях и долго шептались, опасаясь строгости Василисы.

— Так это же и есть любовь,— уверяла Катька, опыту которой Аганя вполне доверялась.— Тебе охота о нем думать. Тебе хорошо, если он прикоснется. Ты видишь его во сне. И в чем же ты еще сомневаешься?

— В себе! Буду ли я-то достойна?

— Ты думаешь, он красивше найдет?

— По уму и по характеру чтобы мне от него далеко не стоять,— говорила Аганя.— Все с ним вместе. Пополам. Горе и радость. Войти в его жизнь навсегда...

— Очень много ты хочешь,— упрекнула Катька.— Если надо ему, так пусть любит, какая ты есть!

24

Неудачи одна за другой обрушивались на Согрина. На пути из города у передней подводы порвались ременные гужи, конь на ходу выпрягся, и пришлось посреди поля на холодном ветру вязать временные гужи из веревки.

А гибель Евтея Лукича, обыски и арест мельника Чернова поразили, словно потолок в доме обрушился.

И не поверил бы сразу, но рассказал об этом встреченный у околицы села Саломатов. Человек свой. Надежный. Врать не станет. А сам он узнал от Акима Окурыша, как того Барышев с подводы сбросил и куда-то скрылся. Лишь тем остался доволен Согрин, что Гурлев и милиционер со следа сбились и после поисков вернулись с пустыми руками. «Значит, не додумались заглянуть в избушку у Чайного озерка,— помалу успокаиваясь, решил он.— Сумел Барышев их запутать!»

Пока приказчик разгружал товары с подвод к себе на склад, Согрин зашел погреться в правление сельпо. Увидев его, Холяков тотчас же встал навстречу, отозвал в сторону.

— Слыхал уже, Прокопий Екимыч?

— Об чем? — сделал непонимающий вид Согрин.

— Про Лукича-то!

— Да так, краешком уха, сейчас по дороге чуток донеслось. Доигрался Евтей со своим-то характером.

— Суть не в том, Прокопий Екимыч! Пашку-то Барышева все-таки жаль. Его ищут, как поджигателя и погромщика. Пропадет мужик безо всякой вины. Поначалу, когда мне Евтей Лукич сказал про него: дескать, Пашка сюда с неба свалился, объявился живой, я тоже было подумал, не он ли, мол, на полях пакостит? Ну, а в следующий раз Евтей Лукич уже подробнее пояснил: Пашка-де мирно себя ведет, но скрывается покуда и боится домой прийти, потому что Ульяна с другим мужем живет, но более всего опасается: могут-де посадить в тюрьму за добровольный уход с Колчаком.

— Ты чем бы помог ему? — стараясь не выказывать подозрений, спросил Согрин.— Чтобы он теперь добровольно в тюрьму пошел?

— Если бы с повинной головой сам явился, так, может, за Колчака судить-то не стали бы! И уж доказал бы как-нибудь, что к поджогам суслонов и к обозу он не причастен. Мы с ним однокашниками когда-то были, вдобавок происходит он не из чуждого класса, так я решился бы за него слово замолвить. Вот и хотелось мне его повидать, по-доброму с ним обсудить его положение и совет мужику по-

дать. А теперь, видишь сам, как положения-то осложнилась. Где сыскать? Как с ним перемолвиться?

— Не знаю и знать не хочу,— отрезал Согрин.— Мне своих забот хватит, без Пашки! Не ходил бы с Колчаком, так не пришлось бы теперь в бегах находиться. А ты уверен, что не он пакостил?

— Да как это против своих же земляков на такое решиться? Если после стольких лет сюда вернулся, то, наверно, рассчитывал остаться жить.

— Как поймают, так все, что было, чего не было, припечатают!

— Вот и надо ему помочь,— настойчиво подступил Холяков.— Я за это возьмусь, лишь бы встретиться как-то.

— Ну, а со мной ты к чему такую речь ведешь, Кузьма Саверьяныч? — вроде не понимая, спросил Согрин.— Ищи его, коли охота есть!

— Мне он может сразу-то не довериться! Все ж таки партейный я. Скорей к богатым хозяевам может качнуться. Поспрошай, Прокопий Екимыч, свояков и знакомых, окажи влияние.

— Не откажусь, коли к слову придется.

Зато выезжая от склада сельпо на порожних подводах к себе во двор, мрачно подумал: «Хитришь, Кузьма! Не шибко умело яму копаешь! Опасную игру затеял со мной. Окромя тебя, некому было выдать милиции Барышева. Евтей и Чернов — не доносчики. Зинаида скорей бы свой язык откусила, чем хоть полслова сказала. Зря залез не в свои сани, Кузьма! Сироты останутся. Чтоб дальше-то не копал!»

Ночью напала бессонница. Аграфена Митревна храпела на перине, сладко постанывала, а Согрин в потемках сидел у окна в горнице и снова все передумывал. «Дорогую плату стребую с тебя, Холяков, за то, что сорвалось мое дело,— решил он уже окончательно.— Виноватый ты, нет ли, но счет на оплату тебе предъявлю!»

С рассветом на порожних дровнях поехал в поле. Батраку велел убирать из конюшни и пригонов навоз, сам собрался за сеном. Стога стояли у Чайного озерка, а примерно с версту от них была загородка Гурлева, где в полевой избушке было назначено Барышеву скрыться в случае любой неудачи.

После обильного снегопада погода прояснилась, красное солнышко в морозной синеве скупо отдавало свет, на сугробах лежали длинные тени когтистых, осыпанных куржаком лесов.

Согрин оставил впряженную в дровни лошадь у стога,

распустив на хомуте супонь, чтобы она могла покормиться сеном. Путь до загороди на поле Гурлева проделал пешком, через неторенуую снежную целину.

В загороди из очага полевой избушки струился дымок.

«Тут Барышев, никуда не девался,— подумал Согрин и слегка свистнул.— Не пальнул бы в меня невзначай».

— Так и живу здеся: один глаз спит, другой сторожит,— сказал Барышев, открывая двери.— Постоянно округу просматриваю. Мало ли...

— Тут-то ты осторожничаешь,— выругался Согрин.— Но какие черти понесли тебя в Малый Брод? Зачем снова шуму наделал?

— Нужда заставила.

— Да при любой нужде глубже прятаться надо!

— Из Калмацкого удалось уйти хорошо,— подавляя кашель, завалился на нары Барышев и, кутаясь в боркован, ответил: — Бог, видно, помог мне, на двор захотелось посреди ночи. Оделся я, обулся, вышел в пригон и слышу вдруг тихий говор. С огорода два милиционера лезут. Я успел все же в пригоне за корову лечь, дождался, пока они в дом вошли, а потом огородом же и ушел. Петро Евдокеич встретил вроде приветливо, велел бабе баню истопить, переодеть меня. Ну, а когда узнал, что милиция гонится, оставаться у него не велел. Мы с ним условились в Малом Броде повстречаться. В старой избе Половнина, где никто не живет. Я побанился, поужинал и сразу следом за Черновым направился. Он обещался у Окунева-то не загащиваться и доставить меня куда-то в лес, а не явился. Дождался я утра. Тут мимо избы, по дороге, две бабы прошли. Во весь голос судачили про гибель Лукича и про то, что мельник попался. Пришлось самому решать, как спасаться...

— И ничего путнего не придумал — чужую лошадь из розвален выпрячь! — снова ругнулся Согрин.

— Худо мне стало, простудился после бани, должно быть!

Он опять закашлялся, корежило и сотрясало его долго; впалые глазницы наполнились мокром, лоб вспотел, по щекам разлились красные пятна. «Дохляк! — презрительно подумал Согрин.— Кому ты нужен такой-то!»

— Горит, огнем сжигает меня изнутри и морозом насквозь пронзает,— вяло пожаловался Барышев, с трудом приподымаясь и усаживаясь на чурбак у очага.

Согрин покосился.

— Что же не спрашиваешь, кто тебя в Калмацком выдал?

— Тебе известно?
— Узнал. Помнишь, поди-ко, Холякова Кузьму?
— Мы с ним вместе в школе учились...
— Вот он и сумел Евтея Лукича охомутать, тот проговорился насчет тебя, а Холяков-то выспрашивал неспроста...
— За это убить мало,— прохрипел Барышев.
— Убей! — властно приказал Согрин.— Я тебе его сюда предоставлю!
Барышев вздрогнул и отшатнулся.
— Когда-то дружили мы...
— Он твою дружбу, видать, давно позабыл. На свою партию променял...
— А, так он партеец теперь,— воспрянул Барышев.— Давай... давай сюда!
Следы, где проходил Согрин от Чайного озерка, поземка успела уже замести. Обратно он выбрал путь более дальний, даже покружил в березовом колке, возле заячьих стежек. Накладывать на дровни большой воз сена не стал; лошадь выбиралась от стогов к дороге с трудом.
На выезде из переулка в Первую улицу, как раз на повороте, стояли Гурлев и Холяков. У обоих недовольные лица, что-то между ними не ладилось. Согрин, поддерживая лошадь под уздцы, направляя ее, мимоходом поздоровался, встревожился от мысли, не напрасно ли осудил Холякова, а посмотрел на него, как на мертвого.
На колокольне, в морозном сумеречном покое, звучно пропел колокол. «Торопится отец Николай поскорей отслужить вечерню,— подумал Согрин.— А может, колокол звонит по ком-то? По ком же? Чья душа отправится к богу на великопостной неделе?»
После шумной гульбы на проводах масленицы с первого же дня великого поста село погрузилось в молчание, в безысходную угрюмую тишину. Полагалось бы очищение, освобождение от всякой скверности и греха. На то и пост. «Но куда же деваться? — размышлял Согрин, сбрасывая сено на заднем дворе.— Коли так подошло! Ни раньше ни позже! Медлить нельзя. Промедлишь, промажешь — на весь век погрязнешь в несчастье. Лучше уж двойной, не то и тройной грех, чем потом слезой умываться!»
Это он так укреплял себя, оправдывал и наставлял, чтобы в последний момент не отступить.
Ласков и обходителен был он в этот вечер с семьей. Жену называл Аграфенушкой, как в первую пору после свадьбы. Дочь потрепал ладонью по заду: «Эх, телка! Мужика для тебя искать надо!» Порадовал ту и другую. Кидался в

ласку, в семейную муть, лишь бы укоротить ожидание глубокой ночи.

А за полночь, когда весь дом спал непробудно, оделся, достал из тайничка газету про Барышева, затем на заднем дворе запряг коня в кошеву и осторожно выехал мимо маслобойни в переулок.

На Середней улице, неподалеку от двора Холякова, остановился. Нигде не светилось ни одного огонька.

— Ну, с богом...— сказал он себе.

Ему давно было известно, что партийцы расходятся по домам поздно, и кроме Холякова в здешнем околотке никто из мужиков в партии не состоял.

Расчет был простой: шел человек домой и вдруг бесследно исчез...

Конь нетерпеливо мотал головой, передним копытом скреб укатанный на дороге снег.

Согрин натянул вожжи, рванул удила и заставил его успокоиться.

Потрогал засунутую за пазуху чугунную гирьку. Может понадобиться. Предвидеть всего нельзя. Невозможно. Неизвестно ведь, как решит Холяков? Что подумает? Что сделает?..

Тот действительно почуял неладное. Не доходя до неподвижной подводы, остановился, опустил руку в карман (значит, вооружен!), спросил издали:

— Кто? Чего средь дороги поделываешь?

— Ай, не узнал? — спросил Согрин с кошевы.

— Прокопий Екимыч?

— Не сумлевайся! Подходи. Дело есть свойское.

И подъехал навстречу. Показал на сиденье в кошеве, рядом с собой.

— Садись. Поспешать надо!

— Куда?

— Сам же просил с Барышевым свести. Или уж передумал?

Холяков помедлил, засомневался, наверно.

— В лес?

— Не в деревню же. Такие люди только в лесу живут.

— В какой лес-то?

— По пути расскажу. Не стоять же мне здеся. Все расскажу тебе, Кузьма Саверьяныч! Один я знаю, где Барышев. Нынче утром, как за сеном-то ездил, в поле его повстречал, разговаривал. Теперича уж сам решай: то ли будешь его покрывать и чего надумал в действие приводить, то ли возьмешь его там живым, целехоньким и, куда надоб-

но, предоставишь. Я согласный помогать тебе так и этак.

Говорил по-дружески, но Холяков колебался:

— Тогда обожди малость, Прокопий Екимыч. Я домой зайду, потеплее оденусь и бабу предупрежу, что мы с тобой по делу поехали.

— Это, однако, лишнее! — отрезал Согрин.— Бабам не доверяю. Сплетни-то разносить по селу. Давай уж так: либо едем сейчас же с этого места, либо совсем до свиданьица: я тебя не видел, ты меня не встречал!

И тронул коня вожжами.

— Не спеши! — остановил Холяков.

«Неужто придется кончать его здесь, самому пачкаться,— угрюмо подумал Согрин.— Ах, боже мой!»

Но Холяков сел в кошеву, надвинул по уши шапку, сам понукнул коня и голосом, явно изменившимся, предупредил:

— Ничего тебе не простится, Прокопий Екимыч, если меня обманешь!

— Да какой мне резон-то обманывать,— повеселел Согрин.— Я только в данном случае кучер. Барышев даже рад с тобой повидаться!

Путь был не длинный, конь шел ходко, а Согрин еще и кнутом подхлестывал.

Как и утром, он снова оставил подводу у стога близ Чайного озерка, а до загороди Гурлева направился пешком. Холяков шел по лесу за ним след в след. Согрин прокладывал тропу не оглядываясь. Ему все время казалось: если он оглянется, то выдаст себя, тогда Холяков скосит его пулей или же дальше шагу не ступит.

Вот уже и загородка наконец! Вот и полевая избушка. Рассеялся вокруг запах дыма от костра в очаге. В неплотно прикрытую дверь блеснула полоска света.

— Так это же Гурлева загородка! — сказал Холяков.— Значит, на свое бывшее поле забрел бывший хозяин?

— К себе явился,— подтвердил Согрин.— Истосковался, небось. А ты не шуми, не пугай понапрасну.

Подошли от угла. Встали за простенок. Согнутым пальцем Согрин постучался в косяк.

— Павел Афанасьич! Свои...

Тот не ответил.

— Барышев! — погромче позвал Согрин.— Живой ли?..

Приоткрыл дверь шире. Заглянул внутрь избы. Барышев сидел на нарах, сгорбившись, нацелив обрез на вход.

В очаге догорали поленья на каленых углях.

— Убери оружие! — приказал Согрин.— Или оглох и ослеп?

— Проходите! — прохрипел Барышев.— Не узнал!

Из-под шапки и поднятого вверх воротника борковала торчал только его изборожденный лоб, под ним уже совсем одичалые глаза горели в неутолимом отчаянии.

Холяков остановился у дверей, прислоняясь к косяку, и принужденно усмехнулся.

— Наслышан о тебе, Павел Афанасьич, давно хотел сговориться, а никак добраться не мог.

— И зачем же я тебе так занадобился?

Барышев, пошатываясь, не выпуская из рук обреза, наклонился к очагу, подкинул поленьев. Береста пыхнула, обдала дымом. В избушке стало светлее.

— Так зачем же? — переспросил Барышев.

— После скажу,— не сразу нашелся Холяков.— Время, небось, не ушло!

— Какое время? Нашего давно уже нет. Сгинуло навсегда.

— У каждого свое время,— поправил Согрин.— А ты, Кузьма Саверьяныч, не стой у порога, проходи...

Холяков отлепился от косяка, сел на чурбак лицом к очагу. Мирное поведение Барышева и Согрина сломало в нем недоверие. Он хотел погреть руки в очаге и не заметил, как Барышев за его спиной рванул обрез...

— Ну и дурак ты, Павел Афанасьич! — заругался Согрин.— Надо же было допытаться: что он успел про нас милиции сообщить?

Барышев откинулся на нары, застучал в ознобе зубами.

— Позднее не смог бы. Из последних сил стрелил... из последних... Помоги мне... не дай здесь подохнуть... все тело горит...

— Помогу!..

Согрин поднял с земляного пола револьвер, выпавший из кармана Холякова, сунул себе за пазуху, затем разрядил обрез Барышева, забрал все боевые патроны, что лежали в мешочке на нарах, и толкнул дверь на выход.

— Помогу я тебе, Павел Афанасьич, поскорее на тот свет переправиться. Без толку ты здеся! Зря небо коптишь. Уж куда тебе, дохлому. Смирись и ложись подыхать. А мне недосуг с тобой дальше валандаться. Уж не обессудь. Домой мне пора. И не уважаю, не люблю руки марать.

— О, господи! — простонал Барышев.— Не хочу...

— Зови, зови господа бога! — ласково посоветовал Согрин.— Может, простит он тебя. И прощай...

Его самого качало и мутило, как пьяного. Он задыхался при виде убитого Холякова, лежащего у очага, с лицом

спокойным, не искаженным ни страхом, ни последними судорогами. И не мог больше выносить Барышева, грязного, дикого, воняющего потом и гнилостью, убийцу, враз, в одно мгновение, при одном лишь сознании своего конца готового пасть к ногам.

— Не хочу...— задергался Барышев.

Согрин еще раз оглядел избушку — не осталось ли чего подозрительного, что могло бы его выдать. Потом достал сложенную пакетом газету, подсунул ее к руке убитого, а напоследок выбросил наружу, в сугроб, остатки хлеба и вареного мяса. Опрокинул бутыль с самогоном. Содрал с беспомощного Барышева последнюю его надежду — овчинный боркован и кинул в очаг. Шерсть вспыхнула и загорелась коротким синим огнем.

— Разве это не милосердие? — бормотал Согрин не то себе, не то Барышеву.— Без следствия, без тюрьмы, а своим ходом отойти на тот свет. И все шито-крыто! Встретились в избушке два бывших друга. Поговорили. Заспорили. Один другого застрелил. А сам от простуды, от гнилой болезни на нарах сдох. Не то с голоду с холоду. И винить некого. Все ясно. Как у Евтея с его паршивцем...

25

Хватились Холякова не сразу. С утра Гурлев вместе с Уфимцевым добивался у Чернова признания, но тот твердо стоял на своем: «Ничего, окромя уже сказанного, показать не могу!» А в полдень пришла жена Холякова, маленькая, сухонькая женщина, и принесла для мужа в узелке домашней еды. Это бывало часто, когда Кузьма дома не ночевал, она всегда приходила его кормить. В конторе сельпо мужа не нашла, в магазине приказчик сказал, что сам ждет не дождется, а в сельсовете Аким Окурыш над ней подшутил: «Полюбовницу, поди-ко, завел твой Кузьма!» Шутка ее не обидела, муж с ней жил честно и преданно, но женщина почувствовала неладное и горько заплакала:

— Где же он? Куда подевался?

Гурлев вышел справиться, отчего она подняла тут в прихожей шум и по какой причине льет слезы, а когда узнал, то весь посерел и упавшим голосом сказал ей:

— Иди домой! Успокойся! Занят, значит, Кузьма!

Жена Холякова еще долго сидела на лавке в прихожей, тупо смотрела в прокопченное стекло на улицу, выжидала, а между тем Гурлев, как на пожар, вбежал в читальню, схва-

тил оставленную тут шапку и на ходу сказал Чекану:

— Кажись, новая беда! Шел Холяков ночью домой и куда-то исчез!

Уфимцев закрыл Чернова в каморку и тоже быстро ушел.

В конторе сельпо старик-счетовод, не подымая лица от бумаг, клацал счетами, а у порога, опираясь локтями на колени, смиренно и тихо, выжидающе посматривая, горбатился Согрин.

Гурлев рывком открыл дверь и, заметив Согрина, гаркнул:

— А ты чего тут потерял?

Тот вздохнул, поскреб бороду.

— Кузьму Саверьяныча дожидаюсь. Расчет за поездку в город надо бы получить. Деньгами или товаром, как уж прикажет...

— Жде-ешь! — багровея, подступил к нему Гурлев.— Но куда он девался?

— Откудов мне знать?

Хотел Согрин подкинуть: «Говорят люди, растратился Кузьма Саверьяныч, так, может, убег!» А не решился. Не проверено ведь по документам. Да и Гурлев взъярился, совсем не в себе.

Ведь день ждали и разыскивали Холякова, подняли на поиски всю партячейку, комсомольцев, бедняцкий актив. Вечером его жена снова пришла, согнутая от горя, и подала Чекану пакет.

— Тебе велел передать. Держал энтот пакет в сундуке и наказывал мне: не трогай покуда, а ежели так случится, что придется мне кончину принять, отдай избачу лично в руки! О чем пишет, почитай и скажи, ежели можно.

Коряво и крупно вывел Холяков на конверте: «Лично избачу Чекану Ф. Т. для партячейки».

— Почему именно мне, а не Гурлеву? — еще сомневаясь, брать или нет, и догадываясь, что вот сейчас откроется что-то трагическое, спросил Чекан.

— Его воля. Наверно, так надо!

Опасливо, как взрывчатку, вынув из конверта исписанный лист, Чекан мгновенно пробежал его изумленными глазами и обомлел. «Подведет нос-то!» — вспомнилось вдруг замечание Антропова, а потом бросился в лицо стыд, и захотелось жестоко ударить самого себя.

Кузьма Холяков объяснял:

«Федор Тимофеич! Я с того пишу прямо тебе, что завсегда чуял, вроде бы пробежала меж нами черная кошка.

А с чего так получалося, с чего ты косился на меня, этого знать не могу. Ну, прости меня, коли я виноватый, и будь справедлив, доложи партячейке и в райком — за самого себя я один отвечаю! Не вините ни в чем ни Павла Иваныча, ни Уфимцева. Они оба меня отговаривали, не пускали в мою отчаянность, да не мог я стерпеть сердцем, чтобы не доглядеть, кто губит наш хлеб, кто прицеливается из обреза в дорогих моих товарищей и друзей. Особенно невтерпеж мне стало, как узнал от Павла Иваныча, что кто-то подстерегал его ночью, и только случаем остался Павел Иваныч живой, невредимый. А ведь я, как и Павел Иваныч, тоже служил в Красной нашей Армии, был разведчиком в пехоте, сколько раз хаживал в тылы к белякам за «языком», даже один раз офицера за шиворот приволок. И вот с того порешил: будь что будет, но проберуся к кулачеству, все проведаю и пусть, коль судьба мне не подфартит, пусть погибель приму, за то оберегу добрых людей от зла. Так и настоял на своем, а потом уж Павел Иваныч благословил меня: «Мы солдаты!» Я и теперич скажу: нету лучшей службы, чем служба солдатская, на войне ли, в мирной ли жизни, а мы, партейцы, в том строю стоим в первой шеренге! Да ведь и как станешь жить, как людям в глаза смотреть, ежели мог что-то сделать, пусть самое трудное, а не сделал, не проявил себя в полную силу? Ну, понятно, кулак — это не белый офицер, что пошел в кусты оправляться, а я его там сцапал и доставил в наш штаб. Чего у него, у кулака-то, в башке,поди-ко узнай! Значит, приходится мне брать на себя позор, кланяться моему врагу, втираться к нему в доверие и перед своими же товарищами быть в подозрении. Вы за то Павла Иваныча не ругайте и Уфимцева не корите, почему они обо мне помалкивали, не докладали вам, куда и зачем я отправился. Мы заранее уговорилися так: окромя нас троих, никто знать не должон. Не то чтобы кто-то выдаст, а мало ли бывает, обронит неосторожное слово или еще как-то ненароком промолвится, так и делу конец...»

Дальше дописка другими чернилами:

«У них за главного, как понимаю, Евтей Окунев. Об этом Павел Иваныч и Уфимцев в курсе. Согрина сам черт не расковыряет. Уклоняется, не то от Окунева действительно врозь. Саломатов тоже вроде бы непричастен. Так что, насчет Пашки Барышева надо от Чернова допытываться».

По расстроенному лицу Чекана, по его растерянности, увидела жена Холякова свою горестную утрату и, не дождавшись, о чем же в письме говорит ее муж, кинулась грудью на стол.

Причитала она, как пришибленная, в бессилии неспособная подняться и поправить хотя бы сдвинутый с головы полушалок. Чекан позвал из прихожей Акима Окурыша и поручил приглядеть за ней, а сам кинулся в канцелярию, куда Гурлев после бесплодных поисков собрал всех партийцев.

Письмо Холякова прочитали вслух в скорбной тишине. Гурлев, бледный, измученный, мужественно сказал:

— Как на войне: пошел и не вернулся! И во всем этом, что погиб мой друг, виноват я! Судите меня, товарищи, как хотите!..

— Это большой проступок, Павел Иваныч,— совсем не дружески ответил ему Чекан.— У тебя были указания райкома! А как же ты поступил? Что вам могла дать такая поспешная, не подготовленная операция? Ты мог избегать советов со мной, но вот братья Томины, вот Кирьян Савватеич, вот Бабкин; почему и от них все скрыл?

— Повторяю, я виноват! И как бы вы меня теперь ни судили, все равно это не так тяжко, как сознание вины перед другом Кузьмой! Чем я могу ответить ему?

— Кузьма тебя судить не велел,— заметил Бабкин.— Не то мог бы ты, Павел Иваныч, партийного билета лишиться! Не простое дело свершилося!

— Может, сразу скинете меня с должности? — понурился Гурлев.— Или дозволите хоть как-то исправить свою ошибку? Только из партии не изгоняйте! Нету мне без нее жизни!

Братья Томины и Кирьян Савватеич оказались уступчивее.

— Потеряли одного товарища, зачем же терять второго,— вступился за Гурлева Кирьян Савватеевич.— Павел Иваныч, конечно, заслуживает самого строгого взыскания за то, что действовал не по-партийному, поспешил и забылся, мы же все-таки не на войне!

— Нам без Гурлева никак нельзя! — решительно произнесли братья Томины.— В райком поедем, ежели что...

— Так, очевидно, райком и решит окончательно,— добавил Кирьян Савватеевич.— Все-таки надо учитывать риск самого Кузьмы Саверьяныча.

Чекан чувствовал и себя виноватым. Можно было, вероятно, более внимательно отнестись к поведению Холякова, к его проступкам или же не разговаривать попусту с Гурлевым, а потребовать от него полной откровенности о причине «примиренчества» к явному нарушению партийной этики.

— Виноват я, конечно, и в том, что не посоветовался с

тобой, Федор Тимофеич,— как бы угадав его мысли, сказал Гурлев.— А пошто? Пото, что уговор с Кузьмой был раньше, он уже отправился на задание и возвращать его обратно мне показалось опасным. Кулаки-то нас разгадали бы сразу! Начал он с Согрина. А ведь сам понимаешь, Согрин — это, как омут. У меня вот сейчас такое желание — пойти и пристрелить его и на том самому себе точку поставить...

— Этого еще не хватало! — обозлился Чекан.— Разум теряешь!

— Не пойду! Не дозволю себе! — твердо добавил Гурлев.— У нас с ним борьба еще вся впереди! И Кузьму найти надо! И Барышева надо словить!

Решение о проступке Гурлева отложили до согласования с райкомом и в должности секретаря партячейки пока оставили. Нужно было прежде выяснить: где Холяков?

Поиск его еще продолжался. Уфимцев, тоже осунувшийся, с группой мужиков сам осмотрел стога соломы в гумнах, шарил багром на озере в прорубях, а по вечерам допоздна занимался допросами. Уже десятки свидетелей, которые соприкасались с Холяковым на масленой неделе, дали ему показания. Две ночи содержались под следствием Согрин, Саломатов и Аббакумов. Ничего не прояснялось. Ни малейшей зацепки. Мельник Чернов оставался единственной реальной личностью, которая могла хоть что-то открыть. Но Чернов держал себя твердокаменно. В читальню через тонкую стенку доносилось из камеры поскрипывание половиц под его тяжелыми ногами. Выдала его простая случайность...

В прихожей Чекан встретил Аганю с Ахметом. Девушка в черной плюшевой жакетке смущенно пряталась за сгорбленную спину старика, тот тоже замялся и попятился, тогда она вдруг насмелилась и, пыхнув румянцем, вышла вперед.

— Мы к тебе...

— Такой ват дилам выходит,— забормотал Ахмет,— увольняться надо, в свой деревням гулять нада, а новый хозяин расчет не дает!

— Обожди,— отстранила его Аганя.— Дай сначала про ящик сказать!

— Про какой ящик? — не зная, как их понимать, спросил Чекан.

— О, аллах! — словно готовясь броситься в ледяную воду, взмолился Ахмет.— Оборони, аллах!

— Не пугайся! — предупредила Аганя.— Тут люди свои. Скрывать дальше не надо. Может, им это, про ящик-то,

знать очень нужно. Я могу подтвердить, ты человек честный, добрый.— И чтобы заручиться поддержкой, никак не называя Чекана, обратилась к нему: — Разве Ахмета могут посадить в каталажку, коли он сам все расскажет?

— Ты говори толковее,— попросил Чекан.— Какой ящик? С чем?

Он отвел их к Уфимцеву.

— Я возил ящикам, тяжелый шибко, а Евтей баял — шестеренки, поковка разная. Батрак-та заглядывать нельзя,— опять с оправдания начал Ахмет.— И новый-та хозяин тетрадкам прячет.

— Наверно, в ящике было оружие,— совсем смело и уверенно подсказала Аганя.

— Ящикам был,— добавил Ахмет.— Не виноватый я. Аллах видит: не виноват! Хозяин-та ящик сам клал, велел Петро Евдокеичам отдавать один на один.

Говорил он сбивчиво, путанно, постоянно уверял в своей невиновности и, если бы не Аганя, пришлось бы много раз его переспрашивать.

Уфимцев составил протокол свидетельских показаний. Вскоре Аганя с Бабкиным ушли к Горбунову разбираться на месте с расчетами за работу. Ахмет остался. Уфимцев дал ему очную ставку с Черновым.

— Подкупленный он, потому врет,— заявил мельник.

— Ай, ай! — обиделся Ахмет.— Совесть-та святой, как бог! Как можна продать его?

— Много ли ты в ней разбираешься? — обозлился Чернов.— Гляди-ко, о чем толкует! Вся твоя совесть в брюхе.

— Э-э! Не надо ругаться! Худой слова добрый советам не даст. Ахмет чистно живет. Чистно сказывает. Ящик-та привозил тебе. Сдавал. Ты его куда тащил? Коли шестеренкам, болтикам, винтикам был в нем, зачем говорить: нет! Покажи!

— Все клевета! Ящик нашли бы при обыске.

— Мы можем повторить,— предупредил Уфимцев.— Станешь отказываться, снова поедем на мельницу.

— Без меня?

— Потом скажешь: подсунули! Поедешь с нами. Соскучился, небось, по хозяйству?

Чернов разнервничался. Нюхая табак, просыпал его из щепоти на бороду и на пиджак. Но уверенности не терял.

— Поедем. Уж больше недели тут у вас прохлаждаюсь. И чего-то из дому никто не кажется: ни баба моя, ни сын. Ладно ли там?

— А может, Барышев их не пускает? — неожиданно спросил Чекан.

Мельника словно в спину толкнули: вскочил, заозирался.

— Как это?

— Всяко случается, Петро Евдокеич,— не обнадежил Уфимцев.— Хозяина дома нету, так кому не лень хозяином станет. Но Барышева-то чего испугался?

Теперь выехали на двух подводах. Впереди Уфимцев, бок о бок в кошеве с Черновым. Позади Чекан и Ахмет.

Серый морозный день. Обложенные куржаком березняки. Черноталы и камыши в снежных сугробах. На вершинах деревьев стайки непуганых тетеревов.

А в стылом безмолвии — великое чудо зимнего сна и тайна где-то скрытого преступления...

— Твоя деревня далеко, Ахмет? — стараясь приободриться, спросил Чекан.

— Диревням-та? Близко-о. Вирстов пятнадцать, пожалуй. Будит лето — в гости айда. За озерам выйдешь, а там дорога прямой. В диревня придешь, любой мужик, любой апайка спрашивай: где Ахмет Сафиуллин живет? Всякий укажет. Чай пить будем. Башкирский еда ашать.

— Может, приду.

— Айда! Айда! — совсем освоился и оживился Ахмет.— Тебя Аганька шибко хвалил. Добрый человек-та! Приветливый!

— Ошиблась она,— сказал Чекан.— Это ей показалось.

— Э-э,— недоверчиво протянул Ахмет,— Аганька умный девка. Страдал много. Душа тонкий. Нежный. Полюбился, наверна.

— Кто?

— Ты, наверна! Зачем хвалит-та? — И построжал весь: — Обижать нельзя. Дорогой девка. Редкий. Женись — счастливый будишь.

— Вот уж сразу и женись,— с удовольствием засмеялся Чекан.— А я еще ничем-ничего.

— Вся придет в свой врямя,— мудро объяснил Ахмет.

Мельница поразила безлюдьем и запустением. Дорогу к двору замело, кони еле пробились к воротам. Двери в избушке для помольцев зияли провалом. Заиндевелые окна дома и неубранное от снега крыльцо. Пустая конюшня. В пригоне — тяжкий стон одинокой коровы, некормленной и недоенной.

— Осподи, спаси! — закричал Чернов, бросаясь к дому.— Где семья? Оборони, осподи, от великой беды...

Он рванул дверь в сенцы, сбил с крючка и, не переста-

вая кричать, вбежал в дом. Уфимцев и Чекан еле поспели за ним.

На печи, забившись в угол, закутанная, замотанная в рухлядь сидела жена мельника. Увидев мужа, она сбросила себя с печи, рухнула перед ним на колени.

— Сын разорил! Сын, будь трижды проклят!

— Прочь! — заорал Чернов.— Где Гераська?

Двинул ее кулаком в лицо и раскрыл горницу. Те же картинки на стенах, тот же затоптанный пол, но в углу развороченный пустой сундук.

— Гераська где?

Ослепнув и обезумев от ярости, он вдруг согнулся в коленях, с размаху боднул Уфимцева в подбородок и, наваливаясь на него всем грузным телом, начал душить.

Чекан не смог его оторвать, у мельника оказалась звериная сила, и образумить его удалось лишь крепким ударом рукояткой револьвера между лопаток. Чернов охнул, разжал тиски, выгибая плечи, отступил к стене. Там рванул ворот рубахи.

— Стреляйте... кончилась жизня...

— Ты еще поживешь, Петро Евдокеич,— отплевываясь и поправляя себя, сказал Уфимцев.— Эка, на что способен!

Со связанными назад руками, Чернов ревел и лаялся, затем внезапно стих, понурился.

— Ай, милый сын! Ай, сынок дорогой! Отблагодарил отца...

Гераська обработал родителей так умело и с такой поспешностью, что ему мог бы позавидовать любой прожженный мошенник.

Как потом выяснилось, Чернов ничего от него не скрывал. А проводив со двора арестованного отца, Гераська, напуганный и потерявший опору, сразу же утратил чувство сыновнего долга. Уже на следующий день, когда помольцы разъехались с мельницы, он рассчитал батрака, опустошил сундук от накопленных отцом денег и одежды, погрузил все на подводы, угнал скот.

— Ну, и милый сын,— бормотал Чернов.— Пустил мать по миру. Отца без куска хлеба оставил.

— И что же дальше, Петро Евдокеич? — спросил Чекан, отослав Ахмета во двор задать голодной корове сена и наносить в избу для мельничихи дров и воды.— Развязать тебя или снова начнешь буянить?

— Развяжи,— попросил Чернов.— Не люди ограбили. Свой сын. А Россия велика. С деньгами уедет, подлец, не разыскать. Все спуталось, все смешалось в жизни. Не дети,

а выродки. Один отца кончил, другой заживо схоронил. Куда ж мне теперич деваться? Заново начинать вдвоем с бабой — интересу уж нет. Да ведь и припаяют, наверно, мне?

— Поглядим прежде, как себя поведешь! — сказал Уфимцев.— Ведь зря нас морочишь. Весной снег стает, ящик найдем. Небось, в сугроб сунул?

— Не надолго! — рассеянно ответил Чернов.— Не загадывал такого исхода. Евтей Лукич велел Барышеву передать.

— Что было-то?

— Патроны винтовочные...

Его прервал Ахмет. Открыв дверь настежь, радостно возбужденный и торжествующий, Ахмет погрозил пальцем Чернову:

— Кто врет-та? Айда смотреть!

— Нашел?

— В поленница дров лежит

Это он пошел брать дрова, как велел Чекан, и заметил, что поленница с угла обвалилась. Аккуратный старик не стерпел беспорядка, стал поправлять и наткнулся на ящик.

— Айда смотреть!

— Неси,— согласился Чернов, не подымаясь с лавки.

— Теперь рассказывай,— распорядился Уфимцев, приготовляясь составлять протокол.— Что делать хотели?

— За нашу прежнюю жизнь мстить!

Уже пришибленный, Чернов еще нашел в себе наглость сказать об этом смачно, подчеркнуто. Признаваясь, не хотел себя унижать. Ведь не жулик, дескать, не вор!

— А о себе не подумали?

— Когда нутро жжет, то и холодной воды напьешься! Сначала умри ты, потом я. Кто кого! Выбору не осталось.

— Ишь ты, слова какие! — удивился Уфимцев.— Мудрено. А что тебе Прокопий Екимыч говаривал?

— С Согриным у нас согласия нет,— сказал Чернов.

— Каковы его связи с Барышевым?

— Ничего точно не знаю! — Чернов понюхал табаку, взял еще более откровенный тон.— Свиданье с Барышевым у меня состоялось короткое, пришлося гнать к Лукичу...

— Где теперь Барышев?

— Не знаю. Разошлись мы с ним. Вы забрали меня у Окунева, а Барышев-то в ту пору дожидался в брошенной избе Половнина. Куда потом подевался, мне неизвестно...

Чернова вернули в камеру. Ящик с патронами Уфимцев закрыл в свой железный шкаф. Ахмет, довольный, что честность не пострадала, ушел получать расчет.

Ульяна была уверена, что наговоренный Лукерьей банный веник помог. Еще в тот день, когда Павел Иванович вернулся из поездки в райком, не раз замирала и трепетала вся от предчувствия, если не разлуки, то какого-то другого несчастья. А в субботу сходила с мужем в баню, попарила его, пошептала над ним и как-то сразу ей полегчало. Да и тревога поулеглась: Барышев словно сгинул! Соврал, значит, Егор Горбунов, посмеялся над дурой-бабой. «Зайди еще ко мне в избу со своим подлым языком, так я тебя скалкой в лоб угощу!» — пригрозила Егору в мыслях.

Павел Иванович продолжал пропадать по ночам, зато хоть немного помог по хозяйству: вывез из ограды снег, поправил ворота у пригона. Уж не ладился спать в одиночку. Иногда жалел: «Страдалица ты, Уля! Не захворала бы!» Тело у нее было здоровое, выносливое. Это она только лицом подурнела. И потому не понимала: к чему клонит муж?

Упала Ульяна на колени перед божницей и прокляла свою бабью долю, когда вслед за происшествием в доме Окунева донеслось, что Гурлев вместе с милиционером и избачом гоняли в Межевую дубраву на розыск ее венчанного мужа. Ничто теперь помочь не могло. Думала ведь — просто так явился Павел Афанасьич, нагулялся, вдоволь пошатался по белому свету, а оказалось: не с добром пришел! Не останется Гурлев жить дальше, сочтет за позор коротать век с бывшей женой бандита. «Не останется,— в горе своем, словно в огне, горела Ульяна.— В одночасье бросит! Все здеся было ему чужое, а теперич и подавно!» Потом догадалась: «Вот к чему называл он страдалицей! Я-то от него таилась всяко, а он знал уже все про все!»

И еще днем достала из сундука, перештопала, погладила и связала в узел все белье Гурлева, как в дальний путь собралась отправлять.

Узел положила к дверям: бери и уходи, куда хочешь!

Но Гурлев его не заметил. Сразу от дверей прошел к столу, сбросил одежду и обувь, устало навалился на столешницу.

— Дай, Уля, поесть! Экая погода чертова разыгралась.

После ужина залез на печь греться и там уснул.

Ульяна залезла туда же, всю ночь просидела рядом. Новое горе взяла добровольно: сама отказалась от прав мужней жены, от всех потраченных забот и хотела быть к Гурлеву справедливой. Пускай уходит! Силой к себе не привя-

жешь. Впереди в ее жизни не виделось хоть бы крохотной полоски просвета, а только тьма и холод пустого, безрадостного одиночества. Она и на это решилась.

Гурлев встал на рассвете, слез на пол, налил воды в рукомойник.

— А куда мое белье приготовила? — спросил он, кивнув на узел.

— Сразу возьмешь с собой,— сухо сказала Ульяна.

— Из дому гонишь?

— Жить ведь не станешь, Паша!

— Не дури!

— Да уж какая дурь! Позор-то со мной терпеть...

— А-а,— сообразил Гурлев.— Эвон о чем! Иной бы мужик тебе деру дал. Не бери себе лишнее. Не живи мыслями врозь. Зря-то не мучайся.

— Боялася...

— Зато меня оконфузила. Думаешь, легко было слышать от посторонних людей, что бывший твой муж объявился? Ты-то знала давно?

— Давненько.

— Небось, он же, твой Барышев, меня поджидал. Помнишь, когда я следы за пригоном нашел и говорил тебе, что смерть приходила?

— Я узнала уж после того.

— Кто передал?

— Егорка Горбунов. Встречал-де...

— Врет! Тут что-то не так.

— Может, соврал...

— Послушай, Ульяна! — Гурлев плеснул в лицо воды из рукомойника.— Давай побаям начистоту. Сошлась бы ты с Барышевым?

— Скорей умерла бы! — страстно ответила та.— Я ведь не по своей воле замуж пошла. Родители сговорились, как корову в чужой двор продали. А если бы ты ушел и того Павла вместо себя тут оставил, на том конец...

— Я бросить не могу. Нельзя! Не стану греха таить: иной раз жить с тобой неохота. А бросить, да еще теперь — в трудную пору, бесчестно! Я тебя за первого мужа не виню.

Его спокойный разговор и понимание ее беды Ульяна приняла с благодарностью.

— Но что же мне делать?

— Развяжи узел, уторкай барахло обратно в сундук. Да перестань страдать. Попробуем нашу совместную жизнь наладить.

— Так прости меня!

Припала к его плечу.

— А такие нежности лишние,— сказал Гурлев, отстраняясь.— Ну, ну, не обижайся! Не могу я пока никакой ласки сердцем принять.

«Виду не хочет оказывать, а ведь моргует мной,— горестно решила Ульяна.— Тоже и его надо понять: живет с бабой при живом ее муже, да еще и ловить того вынужден. Хоть бы поймал, прикончил как-нибудь невзначай, снял бы с моей совести экую тяжесть. О, господи, помоги ему!»

А в тот день, когда стало известно про Холякова, старалась она даже близко не подходить к Павлу Ивановичу, ступала по полу тихо, не гремела ухватами и посудой. Гурлев пришел ужинать, но к еде не притронулся: сидел перед столом в угрюмом молчании, теребил бровь. Мучился. Всегда при больших переживаниях он молчал и теребил бровь, а было ли это к худшему или к лучшему, Ульяна никогда не знала. В том узком, скудном мире, где находились все ее мысли, не существовало таких понятий, как ответственность перед партийной совестью, перед обществом земляков и товарищами. Словно через порожистую реку жизни, смотрела она на Гурлева, а помочь не умела.

— Не ты виноват, Паша! Не казнись зря. Ладно хоть сам-то цел!

— Именно я! — промолвил Гурлев.

— Да в чем же?

— Тебе знать не положено. Дело наше, партейное...

«Все врозь, все врозь норовит,— вздохнула Ульяна.— Так и не сойдемся, наверно, всяк при себе останемся. Увял алый цветочек».

И опять поплакала немного в чулане над тем алым цветочком — над пропащей любовью. Ужин остыл на столе, нетронутый. Она подоила в пригоне корову, задала корму, успела процедить и разлить молоко по крынкам, пока Гурлев поднялся наконец, выпил из ковшика холодной воды и начал переобуваться.

— Ты опять куда-то уходишь? — терпеливо спросила Ульяна.

— Надо! — устало ответил он. Нельзя иначе! Нестерпимо. К людям пойду.

Три дня и три ночи он домой не показывался. От соседей узнавала Ульяна, как ветром носился он по селу. Сам не смыкал глаз и никому из партийцев роздыху не давал. Снова, уж который раз, обшарили все проруби на льду озера, проверили колодцы, перерыли навозные кучи в загумнах.

Побывать в сельском Совете Ульяна не решалась, посылала туда соседского парнишку с узелком хлеба для мужа, а страдание свое снова и снова выкладывала, стоя на коленях, перед божницей: «Вразуми же ты, господи, как дальше жить?»

Зато уж и встретила Гурлева не хуже любой доброй жены. Ни слова упрека. Помогла снять сапоги. Поспешила налить воды в рукомойник, подать на стол сытный обед. Присев с краю к столу, дождалась, когда Гурлев отложил ложку, вытер губы и тогда тихо спросила:

— Чем же все кончилось, Паша?

27

В последних числах марта, хоть с опозданием, начала пробиваться весна. Закурились сугробы, сверкали под солнцем ослепительной белизной, высвечивая захудалые плетни, засоренные навозом дороги, прогалы в березняках. Изредка несмело и чуть приметно пробегала по твердому насту поземка, примораживало из заозерья, но в затишках плавилась тонкая наледь, вызванивала пахучая капель.

Ранним утром на последний промысел зайчатины ушел Иван Добрынин в леса близ Чайного озерка. Кружил по заячьим тропам, проверял настороженные проволочные петли, поругивая свою невезучую, суровую долю. В одной петле зайца дотла сожрал волк, в другой источили и порвали заячий мех горностаи, в третьей к дохлой тушке добралась ворона, тоже напакостила, испортила матерого русака. Так и остался Иван с пустыми руками, а устал хуже, чем от тяжелой работы: спину не разогнуть, под шапкой волосы взмокли. Потому и не пошел он обратно по своим следам, а выбрал путь в обход озерка, по березовым колкам, где наст показался прочнее, а сугробы помельче. Этим-то путем и дошел он до полевой загородки Гурлева. Затем припала ему охота забраться в полевую избушку, разжечь костер в очаге и отдохнуть. Ничего ему тут попервоначалу не бросилось в глаза ни под навесом, ни у закрытой двери, а когда толкнул ее плечом и перешагнул порог, сразу же отпрянул назад. Мертвым, немигающим глазом смотрел на него из полумглы убитый Кузьма Холяков.

Не помня себя, потеряв где-то шапку, прибежал Добрынин в сельский Совет и еще с крыльца стал кричать:

— Он там! Вот-те крест, не поблазнило!..

Никогда не бывал Гурлев таким страшным на вид,

нетерпеливым и быстрым. Как крутым порывом ветра кинуло его с крыльца до пожарки. Там он схватил под уздцы неоседланную дежурную лошадь, взлетел на нее и с места рванул внамет. Чекан и Бабкин, а вслед за ними верховой Уфимцев еле догнали его за выгоном.

Возле полевой избушки Уфимцев строго предупредил всех:

— Ничего не трогать, ни к чему не касаться!

И не позволил переступать порог.

Кузьма Холяков лежал на земляном полу, головой к очагу, напряженно выгнув залитую запекшейся кровью шею, а его убийца Барышев, дохлый, валялся на сбитых из жердей нарах, сжимая в руках обрез. Может быть, он хотел застрелиться, но в обрезе осталась одна и то уже порожняя гильза.

Гурлев, Чекан и Бабкин стояли у раскрытых дверей, пока Уфимцев исследовал, что же произошло тут? По всем признакам Барышев не сразу убил Кузьму, а о чем-то они разговаривали. Потом Барышев, выбрав момент, когда Холяков присел к очагу на чурбак, выстрелил ему прямо в затылок. О содержании их разговора можно было догадаться по найденной в руке Холякова старой, потрепанной газете, где в воспоминаниях партизана гражданской войны была упомянута фамилия Барышева, колчаковского карателя. Но казалось странным, как эта газета появилась у Холякова, почему он прежде ничего не сообщал о ней ни Уфимцеву, ни Гурлеву? А еще более непонятной была пропажа револьвера. Со своим наганом Холяков обычно не расставался. И как же мог он решиться в ночную пору, в лесу, встретиться с Барышевым без оружия?

К вечеру приехали из Калмацкого районный прокурор, начальник милиции и врач-эксперт. Они тоже внимательно осмотрели место преступления, затем врач поковырялся в Барышеве и сказал, что бандит был безнадежно болен чахоткой, вдобавок осложненной двусторонним воспалением легких. Значит, сделал Барышев свой выстрел уже при последнем дыхании. Вполне логично выглядело и появление Барышева в полевой загородке Гурлева. Он ведь явился не куда-нибудь, а на свое бывшее владение и мог тут поджидать Гурлева, не приедет ли тот проведать избушку или за оставленными в зиму дровами.

По версии Уфимцева, основанной на показаниях мельника и на фактах, обнаруженных после гибели Окунева, Барышев не успел завести обширных связей с местным кулачеством, а действовал преимущественно один. Таким

образом, волей-неволей, приходилось дальнейшее следствие остановить на неопределенное время, в ожидании каких-нибудь новых, пока неизвестных деталей. Но так и не удалось выяснить: откуда же взял Холяков газету и куда подевал наган?

С почестями, с ружейными залпами похоронили партийцы товарища. Тело Барышева, без гроба, завернутое в старую рогожу, братья Томины вывезли из избушки за озерко, сбросили в волчью яму и сровняли с землей.

Когда гроб Кузьмы партийцы несли на руках вдоль Первой улицы, вышел из своего дома Согрин, обнажил голову, трижды истово перекрестился, чтобы все видели, как он сочувствует. А дня через три после того снова пришел в правление сельпо требовать плату за поездку в город. Намеренно подгадал к часу, когда в правлении оставался один счетовод, простодушный и далекий от мирских дел, подслеповатый Осип Гурьяныч. Неразговорчивый старик обычно отвечал посетителям скупым кивком, но от вопроса, заданного Согриным, возмутился:

— Такое, пока я здесь нахожусь, невозможно!

И спросил-то Согрин осторожно, вроде бы ненароком, дескать, чем же теперь покроется растрата, что осталась Кузьмой Саверьянычем? Поговаривают люди, будто бы прошлой осенью потерял он в городе немалые деньги. Так успел ли погасить растрату или же придется списывать ее на убытки?

Оказалось, чист был Холяков.

— Тогда уж ты меня извини, Осип Гурьяныч,— попросил Согрин.— Значит, слушок ползал зазря, дай бог доброй памяти Кузьме Саверьянычу...

А втайне порадовался: не обмануло чутье!

Так-то разрешив сомнения, Согрин в тот же день справил поминки по убиенному Холякову и усопшему Барышеву, выпив стакан самогона. Ночью, когда все семейство уснуло, взял он лампу, залез в подполье и там замуровал в фундамент дома холяковский наган, не подумав, однако, срезать с черенка нацарапанный шилом знак: «К. С. Х.». Ведь не надолго прятал, только до особой встречи с Гурлевым, один на один, на последний с ним разговор...

28

После проводов веселой масленицы вечерки ни в банях, ни в избах не собирались. Матери усадили девок за кросны ткать холсты и половики. С раннего утра допоздна Катька

Панова не разгибала спины у станка. Учила ее Василиса ткать холстину узорчатую для продажи на сторону. Полуодетая и лишь на минутку выбегала Катька в избу к Дарье повидаться с Аганей да на пути хоть бы словом перемолвиться с Серегой Курановым, который всегда в сумерках терпеливо поджидал ее за углом сарая.

Аганя поселилась у Дарьи сразу же, когда получила расчет от нового хозяина осиротевшего дома. Из денег она немного потратилась на покупки необходимых вещей для девичьего обихода, остальные отдала Дарье на сохранение, затем снова пошла наниматься в люди. Уже не манила ее к себе родная деревня Грачевка. Нежданная, неодолимая любовь приковала, не отпускала из Малого Брода. Каждую ночь снился Федор Чекан, в папахе, в распахнутом полушубке, светлоглазый и добрый. Заскучала по нему, по вечерам тревожно сидела у окошка, прислушиваясь, не хрупнет ли снег под каблуками, не скрипнут ли ступеньки на обледенелом крылечке. А он не приходил почти две недели подряд, словно дорогу забыл. И не выдерживала иногда Аганя, сама решалась побывать в сельсовете, несмело заглядывала через узенькую щель чуть приоткрытой двери. Но так ни разу и не переступила туда порог; бывало там полно людей, собрания какие-то, разговоры и споры. Только тем и оставалась довольна, что хоть издали повидала.

Принял ее к себе на работу отец Николай за десять рублей в месяц на готовых харчах. Привычная ко всякому делу, Аганя легко управлялась с хозяйским скотом, сама ездила в поле за сеном, носила из колодца воду, помогала попадье готовить еду. А ночевать уходила в Дарьину избу. И ждала Федора. Нередко со скуки пела песни. Все про любовь. Однажды Дарья, приметив в ней тоску, пристала с расспросами, и Аганя не утерпела, призналась.

Сама Дарья еще не испытала замужества. На круглом цветущем лице не обозначалось еще ни единой морщинки, крупное тело, налитое здоровьем, носила она проворно и по всем видам была бы хорошей женой, но никто ее ни разу не сватал. Не мельника Чернова осудила деревенская молва, а именно Дарью за то, что приняла она на себя позор: добровольно, ради куска хлеба голая плясала на мельнице перед толпой мужиков и перед самим Черновым. Не полагалось девке обнажать себя перед сборищем гогочущих жеребцов.

Теперь Дарья числилась в перестарках.

Поругала она сначала Аганю: «Этак счастье свое проглядишь, если сама не станешь парня приманивать. Боишь-

ся, что ли, его? Жди, покуда он догадается!» Затем взялась помогать. Побывала в доме Лукерьи, выведала у старухи: не оставил ли Чекан в городе жену или невесту, не бывают ли у него здесь по ночам любовницы и чем он занят, что не может оторваться от дел? Этих сведений показалось ей мало, так не постеснялась, зашла в сельский Совет, убедилась лично — не до любовных утех пока избачу. Ружейный залп над свежей могилой Кузьмы Холякова все еще не затихал над селом. Уфимцев продолжал следствие, а партийцы каждый день проводили собрания бедноты и середняков, призывали не колебаться, не клонить головы перед вражьей угрозой, держаться друг с другом кучнее. На том собрании, куда угодила Дарья, сначала выступал с речью Гурлев, за ним взял слово Чекан, и Дарья невольно заслушалась, настолько правильными и справедливыми показались его слова. Как жить дальше? То ли порознь, то ли вместе? До каких же пор нужду терпеть и с оглядкой ходить, опасаясь кулацкой мести? А потом мужики высказывали свои мысли, сходились все к одному: не пора ли наконец попросить советскую власть силу проявить и переселить кулачество из села в иные места; пусть-ка богатые хозяева попробуют обойтись без батрацкого труда. Разволновалась Дарья, пробралась от дверей в гущу мужиков, встала рядом с Иваном Добрыниным, но тут волнение охватило еще сильнее, и она уже не смогла удержать свой язык.

— Вот меня «нагишатницей» прозвали,— сказала громко.— А то ли я виновата, что хотелось отца от голодной смерти спасти? Пошто надо мной Чернов издевался?

Мужики сразу притихли, потому что еще не было ни разу так, ни одна женщина не решалась выступить на собрании.

— Они, угнетатели наши, почитают себя людьми,— дальше вырвалось у нее из души,— а мы, значит, не люди! Я вот у Согрина в стряпках жила. Не дай бог никому такого хозяина!

Что-то еще было в ее речи, от волнения она не запомнила, зато мужики в ладони похлопали, а под конец выбрали в женотдел. Поначалу не поняла она, какой он, женотдел-то, для какой цели, и согласилась, когда Чекан пояснил:

— Ты, Дарья, бойкая, тебя бабы слушаются. Поэтому надо тебе браться за нужное дело — подымать женщин и девушек от их униженности к равноправию со всеми советскими гражданами.

Так и не удалось Дарье в тот вечер наедине перемолвиться с избачом, поспособствовать Агане в ее сухоте.

Зато на другой вечер приодела ее понаряднее, взяла с собой. А еще немного погодя, наступила на крутой нрав Василисы Пановой, выдрала из-под ее власти Катьку, да еще с десяток девок из околотка чуть не силой притащила в клуб. Кричала на нее Василиса:

— Поди-ко, ты, Дарья, с ума свихнулась? Великий пост, а ты гулянки затеяла. Не порочь мою девку!

— А мы с малых лет уж довольно напостовались,— отругнулась Дарья.— И не заедай Катьке век! Не то возьмуся за тебя, Василиса...

Табунок девок, смущенных новизной и непривычкой к месту, наверно, разбежался бы из клуба, но вскоре Серега Куранов привел парней, а Чекан заиграл на гармони кадриль. Разохотились девки плясать, петь песни, рукодельничать на таких посиделках в клубе, и уже не стало отбоя от них, не могли их удержать ни родительские угрозы, ни былое правило молиться да поститься перед христовой пасхой.

Сразу и навсегда поверила Дарья в свою надобность людям. То скупое, скучное и бесцельное существование, в котором она прозябала, стало ей в тягость. Словно человек исстрадавшийся, жадно припала она к освежающему роднику, изумляясь своим открытиям. Гурлев и Чекан, и все остальные партийцы, казавшиеся ей прежде чуждыми, недоступными и неравными, вдруг вошли в ее жизнь как друзья.

Такие же перемены замечала Дарья в Агане. Но у той была еще и любовь. Не по-за углам где-то, не бесстыдная, как на вечерках и в предбанниках, а уважительная и чистая, ни с чем не схожая.

Позднее Федор признался, что приглянулась ему Аганя при первой же встрече, но сказать ей об этом не мог. Думал, не поверит Аганя, снова сочтет его за «неровню», а где же взять равенство, если действительно разное у них положение: он приехал из города, она деревенская; он избач, она сирота и батрачка; он кое-чему учился, она умеет лишь читать и писать. Вот и песню он слышал однажды такую:

Не люби, ученый, глупую,
Не люби, румяный, бледную,
Не люби, хороший, вредную,
Золотой — полушку медную!

А он не хотел никаких сомнений. Но и не собирался от Агани отказываться. И если бы не пришла она с Дарьей в клуб, все равно разыскал бы, непременно добился бы у нее

доверия и убедил, что в любви никакого неравенства нет. Когда оба любят, значит, все хорошо!

— Ну, вот, оказывается, больше ничего не понадобилось! — сказал он счастливой Агане, когда впервые поцеловал ее в губы.

Обходился он с девушкой осторожно, всматривался в глаза и все как будто не верил удивительному сочетанию жгуче-черных бровей и ресниц с излучением мягкого, спокойного света глаз.

— Ты меня научи. Я понятливая,— говорила Аганя.— Эвон сколько у тебя книг в читальне. Ты, наверно, все прочитал. Я тоже их прочитаю.

Ее милая наивность и желание как можно скорее постичь огромный мир человеческих судеб, войти в незнакомое, где, по ее понятию, жил любимый, приводили Чекана в восторг. Так он любил бы малышку, сделавшую первые шаги по земле, сложившую из звуков первые слова. И отныне брал на себя ответственность за нее.

Разумеется, Аганя не была «малышкой», жизнь уже порядочно пооткрывала перед ней всякого добра и зла, поэтому ее желания только казались наивными. Любовь пробудила в ней и природные дарования. Уже после двух репетиций в созданном наконец драмкружке Кирьян Савватеич сказал Чекану:

— А ведь она умница, эта твоя Аганя!

Не только Кирьян Савватеич, но и Гурлев, и Дарья, и Катька, и даже Серега Куранов называли ее Чекану «твоя Аганя». Как жену. Но Аганя еще не была готова к замужеству.

— Да как же без ничего я стану твоей женой? — искренне недоумевала она, когда Чекан предложил ей зарегистрироваться в сельском Совете и начать жить вместе.— Люди осудят. Невенчанная-то как гулящая.

С той же твердостью, какую она показала, защищая Сашку Окунева, не поддавалась никаким уговорам. И не бросала работу в поповском дворе. Свадьбы весной не играют, а пока подойдет время свадеб, надеялась подготовить приданое.

Аганя покорно и терпеливо каждый вечер приходила в читальню, читала книги, вникала в их смысл. Это был единственный путь искоренить в ней предрассудки, но для него требовалось время, притом немалое. Дарья тоже посоветовала не торопить девушку.

— Успеешь выпить первую рюмку! Дай одуматься. Сама деваха доберется до смыслу.

Апрельская талица за две недели источила снежные сугробы, прошумела ручьями, обнажила жухлые проплешины на угорах, залила прозрачной студеной водой лога и распадки. Сиреневой дымкой закурились леса, глубоко высветилось заозерье, только озеро еще ослепляло белизной, как огромная плоская льдина, зажатая изжелта-темными песчаными берегами. Земля пробудилась от зимней спячки и, наверно, не узнавала многих своих хлеборобов, переживших за прошедшие месяцы столько событий. Одни еще больше прозрели и уже стали тяготиться одиноким житьем, рвались из душевной своей темноты; другие, еще не осознавшие иных путей к справедливости и возмездию кулацкой жестокости, затаили отмщение. На страстной неделе, перед пасхой, кто-то поджег маслобойню Прокопия Согрина, выбил камнями окна в доме Казанцева.

29

Даже для вида не поплакала Ульяна, когда узнала, как подох ее венчанный муж. Сухими глазами взглянула на божницу, вздохнула с облегчением: «Слава те, господи! Преставился изверг!» А покоя не нашла. Совсем отбило Гурлева от двора. Две ночи он дома не ночевал. В обиде,в ревности билась без сна на холодной постели. На третью ночь пришел, но угрюмый, обозленный донельзя; ни словом не обмолвился, залез на полати, не ужиная. С полу слышала Ульяна, как он ворочался там, бросал подушку под голову, и вдруг захолодела: это конец! Все ему опостылело. Хозяйство напрочь забросил. Люди готовят бороны и плуги к вёшне, провеивают семена, откармливают коней, чинят прясла вокруг огородов, налаживают и смазывают телеги. Все это нужно и неотложно в деревенском быту. Лишь Гурлев еще пальцем не пошевелил. Но и такое равнодушие простила бы ему теперь Ульяна, спроворила бы сама всю работу, сама вспахала бы и заборонила пашню, будь у нее хоть капля надежды, что Павел еще не совсем от нее отшатнулся.

И он чувствовал: дольше не может жить в этом дворе, где каждый угол напоминал ему Барышева. Тот когда-то ходил тут, хозяйничал, копал и топтал ногами этот занятый двором несчастный клочок земли. Но и решиться уйти отсюда Гурлев не мог. Вечным укором совести стала бы Ульяна. Ведь не конченная она, не безнадежная в своем бабьем, отсталом понятии смысла жизни. Жалел ее, но поправить не

мог ничего. Невыносимы стали ее настороженные взгляды, написанное у нее на лице горе, принужденная покорность. Хоть бы на минутку засветились ее глаза прежней любовью.

А ни у того, ни у другого не хватало сознания, что не двор разделял их, не он виноват в их отчуждении и даже не проклятое имя бывшего мужа Ульяны.

Серега Куранов поссорился с отцом и сошелся с Катькой Пановой. За одну неделю обломали они Василису, и та приняла зятя к себе. Да и сама она изменилась. Походила несколько вечеров к старухе Лукерье, попела со старыми подругами песни, а потом уговорил их Чекан выйти на люди. По прежним правилам надо бы в великий пост не песни петь, а стоять перед хмурыми образами на вечерней службе в церкви, но, видимо, надоела им эта тоска, потянуло к живому. Лукерья первая не сочла грехом нарядиться в праздничный сарафан, под веселую песню сплясать «топотушку», этакой лебедицей проплыть по клубной сцене. «Пусть молодежь свои танцы пляшет, любится между собой, но и нам не пропадать же,— говорила она,— а было бы что под конец века вспомнить».

В страстную субботу, накануне пасхи, по-вдовьи оделась Ульяна во все черное и пошла в церковь ко всенощной. Тихо и благостно с клироса доносилось умиротворенное рыдание хора, составленного из поповских дочерей и богатых наследниц, а наперекор ему, в клубе, из окон в окна с церковью,— шум, топот и песни. Не утерпела Ульяна, погнала ее ревность туда же, хоть краем глаза приметить, что делает Гурлев, с кем водится. А зародилось у нее подозрение на Дарью. Очень уж скоро та начала возвышаться. Прежде сиднем сидела у себя в избе, принимала вечерки и вдруг на все село прогремела: назначили ее мужики сначала в женотдел, а когда Антон Белов взялся вместо Холякова управлять в сельпо, доверили комитет бедняцкой взаимопомощи. И стала она теперь почти как правая рука Гурлева: заседает с мужиками, ездит по нуждам комитета в Калмацкое, делит семена — кому из бедноты сколько дать на нынешний посев. Недалекий Ульянин ум не в состоянии был охватить всей глубины просыпающихся человеческих чувств и в отчаянии останавливался и замирал при мысли, что никто иной, но только Дарья отвратила Гурлева от всяких домашних забот.

Через толпу парней и девок с трудом пробилась она к дверям в зрительный зал, вытянув шею и приподымаясь на носки, впилась глазами в сцену. Сначала даже не поверила себе: вправду ли видит тут своего Гурлева? Дома такой

неприветливый, он что-то говорил публике, помахивая правой рукой, посмеиваясь и откидывая назад чубатую голову. Говорил громко, и немудрено было поймать каждое брошенное им слово, но у несчастной бабы гудело в ушах и застилало свет керосиновых ламп слезой. Зато пронзило ее жаром, когда перед публикой появилась Дарья, в новой сатиновой кофте с кружевами, белой пеной раскинутых поверх налитых здоровьем грудей. Увесисто и задорно топнула Дарья по настилу, кипятком плеснула в Ульянины уши: «Ну-ко, девоньки, бабоньки и мужики! Давайте-ко похлопаем в ладошки, попросим наших дорогих молодух взойти эвот сюда,— она показала на поставленные полукругом скамейки,— и послушаем, как люди-то в старину певали!» Это она назвала так не в усмешку и не в обиду тех старух, что сидели в публике на первом ряду. Одна за другой поднялись по ступенькам на сцену Лукерья-знахарка, Варвара Мефодьевна, Акулина, Василиса Панова, да еще дед Савел Половнин, а на подголоски к ним вышли несколько девок и, наконец, сбоку приладился на стуле избач Федор Чекан с двухрядной гармонью.

— Сейчас хор споет вам, граждане, плясовую песню,— объявила Дарья.— Надо бы и поплясать под нее, да места мало, так что, кому охота, сидя ногами потопайте.

Кинулась бы на нее Ульяна, посрывала кружева, зубами бы вгрызлась в открытую шею. Не то плюнула бы в лицо: бесстыжая ты! А не могла рта раскрыть, занемела. Потом чей-то дюжий парень, Афонька, что ли, отпихнул от двери, широкой спиной загородил проем, и Ульяна, в полутьме зажатая в угол, услышала, как избач прошелся пальцами по ладам двухрядки и как старухи молодо подхватили веселой скороговоркой:

Травка ты, муравка,
Травка муровая.
Я по тебе, травонька,
День да ночь гуляла.
День да ночь гуляла.
Еще не нагулялась,
С милым не видалась.

Чужое счастье, чужая любовь, как сияние, привиделись Ульяне из ее тесноты и темноты в углу. И склонилась бы она перед ним, как перед светлым образом, если бы не позавидовала, одолела бы жалость к себе. В девичестве ни с кем не миловалась, все ходила в упряжи, как лошадь. В замужестве совсем очерствела, хотела выбиться из нужды, стать хозяйкой над большим владением, чтобы не она, а ей люди завидовали, но прошли годы, словно в дурном сне.

Оттого и не сошлась с Гурлевым мыслями. Стала ему нелюбимой. Ненавистной, как в этой песне про старого мужа, что начали старухи-певуньи:

Я пойду загуляю,
Белую березу заломаю,
Высеку два пруточка,
Сделаю два гудочка,
Третью — веселу балалайку.
Стану в балалаечку играти,
Стану стара мужа будити:
Встань-ко, стар муж,
Пробудися!
На тебе лоханку — умойся!
На тебе горшевик — утрися!
На тебе ковригу — подавися!

Ульяна сдержанно застонала, будто ударили ее по лицу, и, торопясь, толкая локтями, начала выбираться из клуба. Не могла больше выносить пытки. Подавися! Это же и нелюбимой жене можно такое бросить, как голую кость голодной собаке. Дарья,здоровая, бойкая на слова и поступки, совсем не в пример заживо источенной заботами и страданиями бабе.

Теперь уже не Барышев и никто иной, а только Дарья-разлучница вонзилась в сердце. Значит, у нее и ночует Гурлев. Поневоле зайдет домой, пожрет на даровщинку, белье сменит, поспит и опять туда же.

В церкви, не вникая, о чем вычитывает по книге отец Николай, разразилась Ульяна горестным отчаянием, упала на колени перед иконой богородицы и, шевеля губами, шепотом спросила совета: что же делать? Но вглядевшись, смутилась: богородица, пышущая румянцем, была схожа с Дарьей. Еле удержалась Ульяна от соблазна плюнуть на ее лик и, боясь согрешить, перешла к образу испитой, темной Варвары-великомученицы. А эта святая, не знавшая никакой земной плотской любви, промолчала и не вселила в душу ни надежд, ни покоя.

— Молись, замаливай чужие грехи, Ульянушка,— посоветовал кто-то из-за спины.— Много их накопилось от двух-то непутевых мужей...

Не бог услышал просьбу и решил как-то помочь, а Прокопий Согрин стоял позади со свечкой в руке.

— Что же ты завсегда с Гурлевым врозь? — тихо спросил он.— Нынешний муж в клуб, на игрища, а ты в церкву. Муж к полюбовнице, а ты перед иконой стоишь. Где же равенство мужа и жены, про кое всюду толкуют? Завела бы и ты мужика на стороне...

Сказал и отошел ближе к алтарю, оставив Ульяну в

недоумении: зачем понадобилось напоминать про ее беду? Какая корысть? Потом уж сообразила: в насмешку! И чего же не посмеяться над дурой бабой, двоемужней, изношенной вроде старой рубахи.

Иначе она не представляла себя, как только униженной, обманутой, оскорбленной. И тут, перед иконой, впервые пожелала Гурлеву смерти.

После крестного хода вокруг церкви Ульяна потушила свою свечку, бросила ее к изгороди в темноту и затаилась за кустом сирени.

В клубе по-прежнему ярко светились окна, слышались проголосные луговые, обрядовые и свадебные песни, избач играл на гармони, затем начались танцы, а старуха Лукерья, Варвара Мефодьевна, Василиса Панова и Акулина, что блажили на клубной сцене, ушли домой вместе с дедом Савелом. Они тенями проплыли мимо куста, прошуршали праздничными сарафанами, как черные ангелы, соблазненные земным блудом.

Без устали наяривала гармонь, гудел бывший поповский дом от топота ног. Ульяна терпеливо выстояла за кустом до конца. Под утро вывалились густой толпой парни и девки на улицу, а вскоре появился на крыльце Гурлев. Он с избачом выходил из клуба последним. Их дожидались Дарья, ее постоялка Аганька, Серега Куранов с Катькой, Афонька и еще какие-то парни. Потом все они оживленным, гогочущим табунком направились вдоль улицы, а Гурлев шел рядышком с Дарьей и что-то ей весело пояснял. От жгучей ревности, от ненависти снова окаменели Ульянины ноги.

Вот тут припомнила она, что в чулане ее избы, на тонкой жердочке под потолком, издавна висят связки высушенной дурман-травы, еще покойной свекровкой собранной и наготовленной впрок. И не было сейчас иного исхода, как напоить Гурлева, а потом и самой напиться ядовитым настоем.

В пустой избе достала она из чулана дурман, вскипятила самовар и приготовила все, как надо. Потом равнодушно села на лавку у окна и начала ждать Гурлева, но уже без прежних страданий. С колокольни доносился перезвон колоколов, возвещающий воскресение Христово, темнота таяла вокруг, смутным рассеянным светом ополоснулись загороди, крыши амбарушки и пригона, замычала в загоне корова, призывая хозяйку, хлопая крыльями, запел петух, а куры, кококая, стали сбегаться к кормушке подле завалины. И вдруг Ульяну встревожило: если сам сын божий захотел воскреснуть, то почему же нужно стремиться к смерти? Там,

в домовине, под землей в тебе никто не станет нуждаться, а кто же присмотрит тут за скотиной и за птицей, кто их напоит и накормит? Да и можно ли осуждать Гурлева? Не сама ли виновата перед ним? Ведь жила не по закону. Настоящий-то муж, венчанный и хозяин этого двора, был Барышев, нелюбимый, жестокий, хуже зверя подохший теперь. Грешно говорить так о мертвом, но иного не скажешь. Вот тому, венчанному мужу, не стоило жить! А Гурлев все-таки любил, ласкал, хоть накоротке, но дарил радость. Попытаться надо было понять его, войти в его мысли. А теперь уже поздно. Все поздно, непоправимо...

Ульяна устало приподнялась с лавки, выплеснула настой дурмана в лоханку, затем взяла подойник и пошла во двор ко всегдашним своим трудам и заботам.

А кончив управляться по хозяйству, как обычно, растопила печь, занялась стряпней.

В эту пору в сельском Совете никто не заметил, что уже начинается утро. Дарью и Аганю провожал до их избы Федор Чекан, а Гурлев сразу же после клуба снова занялся делами. Еще накануне Федот Бабкин и братья Томины начали составлять списки бедняков-однолошадников, которым надо дать наделы на ближних полях. Таких набралось больше тридцати. Но ближние поля у Чайного озерка, сразу за выгоном, еще прошлым летом вспаханные под пар, принадлежали кулачеству. Приходилось решаться на новые обострения. А иного выхода не было: ради облегчения для бедноты Гурлев не пощадил бы самого близкого человека.

Сеять пшеницу мужики собирались после пасхальной недели. Земля повсюду уже оттаяла, но еще не прогрелась, обдавала с глубины холодком. И надо было успеть переделить пашни до выезда в поле, заранее предупредить прежних и новых владельцев, чтобы не случилось между ними ни драк, ни мщения.

По числу едоков в семье земли Согрина у Чайного озерка достались Фоме Бубенцову и одноногому солдату Белоусову, ходившему на костылях с германской войны.

— Не обидел бы их Согрин-то,— сказал Федот.— Покамест мужики соберутся, он может успеть набросать семена и заборонить. А посеянное отсудить трудно.

— Не обидит, не дадим,— ответил Гурлев.— А если Согрин сунется, то Белоусов сумеет постоять за себя.

Еще с зимы будоражился народ в селе, затевались на сходках горячие споры. Лет пять назад, когда делились земли между всеми без исключения хозяйствами, ловкие дельцы вроде Согрина сумели отхватить что получше. Район-

ный землемер, схожий по выправке с бывшим урядником, такой же подтянутый и усатый, квартировал тогда у Прокопия Согрина. И еще тогда же зародилось у мужиков подозрение, будто бы берет он взятки, но доказать это они не могли, опротестовать составленный им план земельного устройства не удалось. Так и осталось его решение в силе до нынешнего года. А прошедшей зимой, когда Гурлев, отложив диспут с попом, взялся пояснять мужикам, как высоко они должны ставить и ценить свое человеческое достоинство, давняя рана опять засочилась. Сельский Совет подтвердил волю бедноты, Калмацкий райисполком дал разрешение на перемер выборочный, чтобы восстановить справедливость, и теперь надо было провести его без особых конфликтов.

Кончили разметку передела уже при ярком утреннем свете. Но и после этого Гурлев еще не пошел домой, а сходил к Фоме и к солдату Белоусову, предупредил, чтобы ладились они получать новые наделы завтра же, не позднее полудня.

— Да и бороны с собой сразу берите,— посоветовал Гурлев.— Покуда земля доспевает, неплохо подборонить ее загодя...

Гудел над селом ярый пасхальный колокольный звон. Сначала набирались мелкие, тренькающие и переливчатые голоса, затем в их строй вбухивался мощный гул двухсотпудового большака и взламывал хрупкий покой утра, ясного и прохладного.

Встречные мужики кивали Гурлеву, говорили обычное приветствие: «Мир доро́гой!» Полагалось бы говорить в этот день: «Христос воскрес!» и отвечать: «Воистину воскрес!», как издавна было заведено религией, но все знали, что Гурлев неверующий, строго партийный, и поэтому соблюдали приличие: «Мир доро́гой!»

Тут, посреди улицы, конечно, были мир и уважение, зато уже неподалеку от дома Гурлев замедлил шаги. Снова сейчас начнутся брань, слезы, причитания, укоры, и снова он не сможет унять их, решиться выбраться из этого мрака. Если бы хоть Ульяна была не права! На плуге надо сменить лемех, подладить бороны, заменить на телеге оглобли и еще чертова прорва найдется не сделанной в хозяйстве вешней приборки.

С добрым и твердым намерением сегодня же все в хозяйстве поправить и приготовить к выезду на пахоту и посев, открыл Гурлев тесовые воротца своего двора, но тут же, за подворотницей, в недоумении застыл. У крыльца,

зануздaнный и заседланный, стоял, потряхивая гривой, мерин, а на крыльце возле двух узлов дожидалась Ульяна, в черном платье, худая и прямая, как обожженный столб.

— Ты чего это придумала опять? — спросил Гурлев.

— Бери свое и уходи отсель,— непреклонно приказала Ульяна.— Не пущу тебя в избу! Куда хочешь иди!

— Одумайся!

— Я уже, поди-ко, одумалася. Отравила бы тебя взваром дурмана. Не допустил господь. Значит, уходи напрочь! Вот здеся, в узлах, вся твоя одежа и белье...

— Да ты хоть поясни мне...

— А что же тебе пояснять?

— Из-за Барышева, что ль?

— Судьба, видно, такая моя. Вот и все! Не спрашивай больше ни о чем. Этой ночью последняя моя звезда закатилася.

Она круто повернулась, широко шагнула через порог сенцев и закрыла за собой дверь на задвижку.

— Открой, Ульяна! — громко сказал Гурлев.— Перестань!

— А ты за меня не бойсь,— ответила та из-за двери.— Я на себя руки не наложу. Мне-ка жить надо долго, покамест за венчанного мужа грехи отмолю и добром сквитаюсь с людьми...

Это было позорище на все село, когда, нагрузив узлы на спину мерина, Гурлев вел его за узду от ограды своего двора до старухи Лукерьи. Опять встречались мужики и бабы, кивали, говорили: «Мир дорóгой!», а пройдя, оборачивались с любопытством.

Лукерья встретила его в оградке. Гурлев спросил, может ли приютиться у нее хоть на короткое время. Старуха понимающе зыркнула и добродушно засмеялась:

— Эт, как под старость мне на мужиков-то везет! Мало одного постояльца, так и второго бог послал. Да живи тута, сколь понадобится. Изба не лопнет, а меня люди не осудят: стара я для полюбовниц!

Чекан еще спал в горнице. Гурлев разнуздал мерина, внес узлы в сенцы, умылся во дворе под рукомойником, но сесть за Лукерьин стол завтракать постеснялся.

— А ты, милый, со мной попроще держись,— сказала Лукерья.— Мне ведь капиталов не надо. Чем могу, поделюся. Садись-ко давай к моим шанежкам поближе, заморился, небось. Потом уж лезь на полати-то...

30

Как гнилое строение рушилась издавна налаженная сытая жизнь. Когда горела ночью подожженная кем-то маслобойня, а потом занялись и пригоны на заднем дворе, впервые испытал Согрин страх. Нищим остался бы, но, слава богу, спасли каменные стены и крытые железом крыши конюшни и зернового амбара. При свете пожарища кинулось тогда в глаза — народу сбежалось много, но только с десяток свояков что-то делали, помогали тушить пламя, а остальные стояли, похохатывали, как на представлении в клубе. Вот тогда, в ту ночь, оставшись один перед грудой дымящей золы и угасающих угольков, почувствовал он себя презираемым на этой земле.

Страх уже не уходил из сердца. Ни на один день не оставлял без тревог. Ответ из округа прибыл с отказом. Не помогло прошение, составленное Мотовиловым. А Бабкин, вручая решение, пояснил так:

— Твой сын, Прокопий Екимыч, согласно наведенным справкам, в списках революционно настроенных солдат не числился. По ошибке, наверно, беляки его расстреляли.

Замолчала, закрылась история и о гибели Кузьмы Холякова. После трех допросов милиция больше не вызывала, и была уверенность, что никогда ей не добраться до сути, но после пожара Кузьма начал являться во сне, хотел мертвыми губами что-то сказать, и просыпался Согрин с холодным по́том на лбу. Только Барышев не блазнил ни разу. Того сразу припечатало навечно, как раздавленного каблуком червяка. И уехал бы Согрин подальше из этих мест, поселился бы где-нибудь в пригороде, стал бы зарабатывать извозом по найму, но закон и в этом его ограничивал.

Об отводе вспаренных пашен у Чайного озерка однолошадным беднякам узнал он еще за неделю до пасхи. Принял это известие сначала спокойно и немедля поехал в Калмацкое, к Мотовилову, искать защиты. По обыкновению, прибыл не с пустыми руками. Привязав коня к столбу у ворот мотовиловского двора, достал из-под облучка мешок с поросятами, а в сенцах вручил хозяйке.

— Дома ли Платон-то Архипыч?

— Дома. Проходите, милости просим! — ответила та и как-то задом, задом попятилась ближе к чулану, испуганно взглядывая поверх прижатого к груди подношения.

Ее поведение не понравилось Согрину, а все же он переступил порог, изготовившись отвесить поклон. Всегда важный, ухоженный, Мотовилов сидел за столом босиком, в бе-

лых подштанниках, настежь раскрыв волосатую грудь. Порожняя бутыль валялась посреди стола, залитого и загаженного остатками еды. Вонища от самогона, от перекисшей капусты распирала стены, и, чтобы не задохнуться, Согрин оттолкнул ногой дверь в сенцы. Сутулясь, пьяно вскидывая неопрятную, осовелую голову, Мотовилов попытался подняться с лавки навстречу гостю.

— А-а, это ты, Согрин! Безнадежное твое дело, Согрин! Скоро тебя эвот так, к ногтю...

Он придавил ноготь большого пальца к столу, скребнул и топнул босой ступней.

— И потому, пшел вон отсюда! Хотя нет, обожди! Садись за стол. Ты чего привез? Опять поросят. Лучше привез бы водки. Не могу я больше лакать эту самогонную мерзость. Бр-р!

— Что с тобой, Платон Архипыч? — спросил Согрин, не двигаясь от порога.— Запой, небось?

— А мне делать более нечего,— закричал Мотовилов.— Сломлен я и отовсюду изгнан после партийной чистки. Двурушник, подлец — вот кто я теперь! Прежний Платон Архипыч перестал существовать. Исключили из партии, прогнали с работы без права обжалования.

— Худо! Совсем худо! — подтвердил Согрин.— А я-то понадеялся на тебя. Значит, не сыскать мне управы...

— Твое дело безнадежное, Согрин! — рыгнув, более разумно повторил Мотовилов.— Предстоит ликвидация кулачества. И загремишь ты, любезнейший, из насиженного гнезда. Только ты молчок! — и погрозил согнутым пальцем.— Молчок! По прежнему знакомству желаю добра.

— Ну, спасибо на этом,— поклонился Согрин.— Учту сказанное.

— Но молчок! Никому ни гу-гу!

— Да уж как-нибудь...

— Не как-нибудь, а молчок! Тсс! А теперь пшел вон, Согрин! Мы не виделись, не встречались!

Согрин покраснел от такого обращения, резко встал с лавки, а не отошел от порога.

— Что еще? — рыкнул Мотовилов.— Мне и так довольно пришили связей с кулачеством!

— Денежки бы надо с вас получить, Платон Архипыч. Расчет...

— Какие деньги? Я их не брал у тебя!

— Должок образовался. В прошлый раз ты мне за поросят не заплатил и сегодня я еще привез парочку. Нарочито для тебя колол ососков.

— Во-он! — яростно стукнув кулаком по столу, заорал Мотовилов.— За все я уже шкурой своей расплатился!

В сенцах Согрин оттолкнул хозяйку от чулана, забрал свое подношение, а потом без памяти гнал Воронка обратно все двадцать верст.

Так упал страх на сердце во второй раз.

Грачиные стаи горланили в березовой роще. На жухлых угорах пробивалась ранняя зелень, мотал на ветру желтыми цветками стародуб, а дальше качался горизонт, весь в синеве и в лиловом вешнем мареве.

А ничто из этого весеннего обновления не казалось Согрину милым, обжитым, домовитым.

На следующий день он расторг в сельсовете трудовой договор с батраком, выдал расчет сполна тут же, положив для батрака деньги на стол Бабкину.

— Вот, убедись, Федот Алексеич, плачу за труд по всей справедливости.

— Но вроде бы не по сезону поступаешь так, Прокопий Екимыч,— недоверчиво покосился тот.— Кто же вёшну-то справит? Или иного работника подыскал?

— А хватит мне на чужой труд полагаться. Я сам еще в силе.

— Неужто в борозду встанешь?

— Сколь смогу.

— Занижать посев не придется,— серьезно предупредил Бабкин.— План сдачи хлеба мы тебе не уменьшим.

— Я не прошу. Сколь земля уродит, все ваше...

Это, не утерпел, сказал со значением. Если пашни у Чайного озерка отберут, пусть посмотрят потóм, как на дальнем поле травинка за травинкой станут гоняться с дубинкой. Вспахать пашню можно по-разному, как у черта на башке веретеном поскрести. И семян поубавить: вместо восьми пудов на десятину побросать пудика три, для видимости. Кто потом докажет, все ли зернышки дали всхожесть?

— Все будет ваше, Федот Алексеич, сколь земля уродит,— повторил он почтительно.— Прежде я мечтал, дескать, за погибшего сына дадут снисхождение. Не дали. И с того пало мне на ум: своим трудом взойти советской власти в доверие. Я полагаю, сознательность для каждого гражданина прежде всего...

С Бабкиным разговаривать было проще, чем с Гурлевым. Тот круто ведет: раз, два и отваливай! Как волкодав. Даже глазами темнеет. Уж так-то досадили ему кулаки. А Бабкин ровнее.

— И вот интересно знать, Федот Алексеич,— не меняя

почтительного тона, спросил Согрин.— Бают, скоро и у нас колхозы-то будут?

— К ним время идет,— подтвердил тот.

— А смогу ли я, к примеру, рассчитывать войти в колхоз?

— Не знаю. Само общество станет решать.

— Я бы со всем желанием вступил, если общество примет,— сказал Согрин.— Все ж таки по полеводству, согласно агрономии, кое в чем наторел. Ну, и вообще...

Если на полную откровенность, мог бы добавить — велика ли прибыль и удовольствие сложиться хозяйством вместе с каким-то Добрыниным, жить с ним наравне!

— А я вступил бы в колхоз первым, дело это хорошее,— сказал, слегка поклонившись на прощание.

Управляться в большом хозяйстве без работника оказалось трудно. Вытурил от вышивок дочь Ксению, заставил гнуть спину во дворе: поить и кормить скот, вывозить из пригонов и конюшен навоз, всю черную мужицкую работу взвалил на нее. Аграфена Митревна пыталась было восстать: не могу, дескать, по два-три раза в день доить этакое стадо коров, да еще для семейства стряпать и еду варить, но и на нее шумнул, понудил смириться.

Хотелось провести все исподволь, неприметно собственное хозяйство пораспродать, обратить в капитал неброский, в деньги, чтобы он в один карман уместился, а потом выбрать момент и уехать отсюда. Мир большой, в нем можно затеряться навек. И деньги сделают все: какой надобно, выправят документ, в любом месте обеспечат пристанище.

На том и порешил, только надо было все же посеять хлеба, не возбуждать против себя подозрений.

И вот опять кинуло не туда. Вдруг стало обидно. Готовил у Чайного озерка черные пары, всю зиму гонял работника с возами, а теперь выясняется, не для себя позаботился. И с досады на второй день пасхи спозаранок запряг в телегу коней, взял семена и бороны, выехал туда.

На земле и по жухлому остожью полян пламенели искринки ночного заморозка, за телегой ложился печатный след, а в лесу терпкий запах прошлогоднего падалика, свежий настой набухающих почек на обвислых сучках берез, желтоватые вспышки на вербах и праздничное щебетание птиц.

По чернопару бродили грачи в лакированном черном оперении, хлопотливые и домовитые, озабоченные тем, как бы скорее поправить свои за зиму поврежденные ветрами гнезда и начать обзаводиться новым семейством.

— А я как вор,— сказал себе Согрин.— Свое же спешу украсть...

Но в нем уже не было прежнего пристрастия к этому полю. Весь чернопар теперь казался чужим, словно само поле отвратилось и возненавидело хозяина, пришедшего к нему без радости и любви.

Оно смотрело угрюмо, с немым укором: «Ты всегда стоял на меже. А где же тот работник, что вспахал меня?»

— Да пропади ты пропадом,— зло сказал Согрин.— Не возгордишься ты нынче высокими хлебами. Я вот подбороню сейчас, малость семян набросаю и больше сюда не вернусь...

До полудня двумя боронами он успел подборонить большой массив и уже собирался выпрягать коней, задать им корм и дать отдохнуть, когда на межу вывалилась из-за черноталов подвода с тремя мужиками. Даже издали Согрин сразу узнал их. Правил буланой лошадью Фома Бубенцов, а по обе стороны телеги торчали фигуры Гурлева и Белоусова.

— Э-э-эй! — громко закричал Гурлев и замахал руками.— Ты чего здесь, варнак, самовольничаешь?

Его зычный голос резанул по ушам, перекликом ударился о белые стволы еще голых деревьев, а слово «варнак» и появление новых хозяев поля запалили Согрина гневом. Бросив нераспряженных коней посреди пашни, он, как в удушье, оборвал на рубахе верхние пуговицы, по-бычьи наклонил голову, медленно переступая ногами, пошел навстречу.

— Тебе, Согрин, предупреждение давали, это поле не трогать,— сурово сказал Гурлев, когда они сблизились.— Пошто же залез?

— А ты по какому праву меня варначишь? — заорал Согрин.— Я кто?..

— Сам знаешь!

— Не-ет, я не знаю, кто я. Не знаю, кто!

— Позднее узнаешь,— ровнее бросил Гурлев.— А покуда выводи с пашни коней и поезжай туда, где для тебя поле назначено!

Гнев вдруг выплеснулся наружу, и Согрин, безрассудно подняв волосатый кулак, с размаху ударил Гурлева в скулу. Тот откачнулся назад, но на ногах выстоял и на мгновение закрыл глаза. Согрин ударил его снова, почти под дых, Гурлев опять качнулся и сдюжил, а третий удар, нацеленный в переносицу, между глаз, успел перехватить. Согрин взвыл от боли. Гурлев вывернул ему правую руку за спину, нажал,

и жестокая боль сразу же прострелила плечо, поясницу и грудь.

— Так-то, Согрин,— сказал Гурлев и выплюнул выбитый зуб.— Так-то...

А на помощь ему спешил Белоусов, опираясь на костыль, подскакивая на одной, как ходуля, длинной ноге и угрожая занесенным вверх вторым костылем. Фома Бубенцов опередил солдата, в руках у него сверкнуло лезвие топора. От ломающей острой боли и от внезапного предчувствия гибели Согрин снова взвыл и начал оседать к земле, потом рухнул на нее лицом вниз. Тогда Гурлев выпустил его из своей железной клешни и остановил мужиков.

— Стойте! Не полагается лежачего бить!

Это было не великодушие, а насмешка, не жалость, а презрение и унижение, какого Согрин еще не испытывал никогда. Оно было хуже смерти. Но чего стоили бы тогда все усилия и стремления выжить, сохранить себя?

— Подымайся и по-честному посчитаемся,— предложил Гурлев.— Лицом к лицу! Коль уж встретились мы на узкой дорожке!

— Бей! — прохрипел Согрин.

— Лежачего бить не в моем характере. Если хочешь драться, давай начнем, но по правилам жизни.

Он скинул с плеч пиджак, расставил ноги и приготовился, но Согрин сел, охватив колени руками. Бешеный угар, что вскипятил ему кровь, уже отхлынул, и ум снова стал холодным и ясным. Одним мгновением мелькнуло в сознании видение суда, решетка тюремной камеры, запущенный, одичалый без хозяина двор. А он хотел продолжать жить и видеть над головой просторное небо!

— Твоя взяла, Гурлев,— сказал покорно.— Прости меня, ежели можно. Всякому было бы обидно лишаться своей кровной земли.

— А она не твоя! Ты из нее кровя-то сосал, а не ласкал, как родную.

Фома Бубенцов решительно подступил к Согрину, встряхнул за ворот рубахи.

— Да вставай же, июда! Эй, солдат, неси сюда вожжи, счас мы его повяжем и за покушение сдадим под суд.

— Не надо, Фома! — отстранил его Гурлев.— У Согрина доля еще впереди, там ему все припомнится безо всякой скидки.

— Я милости прошу за свою дурность,— еще покорнее сказал Согрин.— Было вроде затмения. Уж мне ли в споры вступать и в драки кидаться? Но как произошло, понять не

могу. Рука-то словно сама поднялася. Ладно вот в бесов не верю, не то подумал бы: бес толкнул!

— А разве есть какой-то бес хитрее тебя? — усмехнулся Гурлев.— Ведь сам ты в их роду не последний. Шибко ловок. А все равно мы до тебя доберемся.

— Все ж таки прими мою мировую...

— Никогда не приму. Не станет меж нами согласия, Согрин, во веки веков. Не прощу гибель Кузьмы ни тебе, ни всему вашему вражьему сословию! Но теперь под суд тебя сдавать рановато. Ты сначала хлеба сготовь для народа. Посей, вырасти, а потом пожни, обмолоти и сдай государству положенный с тебя план. Я без одного зуба управлюсь, а пустые пашни оставлять не позволю!

— План осенью сдам,— пообещал Согрин, подымаясь с земли и отряхивая испачканные шаровары.— Только за урожай не ручаюсь.

— Ты и за урожай поручишься. Для того мы комиссию назначим и проверим за тобой поле: как вспахано и посеяно, как заборонено?

На обратном пути в село Согрин поблагодарил судьбу: не допустила она взять наган и отвела на время смерть Гурлева. Даже если бы в запале уложить пулями всех троих, след скрыть уже не удалось бы. Но и с голыми руками чуть не натворил беды. Значит, есть в сердце слабость. И вселил ее туда опять страх. Все рушилось, грозило концом, а до страдания хотелось все-таки сохранить себя.

И положил так: надо еще потерпеть, осмотреться, дождаться удачи.

31

Дня через три, когда перемер земли был закончен, Лукерья передала Гурлеву молву про Ульяну. Оставшись одна, несчастная баба погрузила на телегу скудное имущество, а потом все это вместе с коровой, с овцами и с курами отдала жене Холякова. Людская молва одобряла ее поступок. По словам вдовы, Ульяна решила переселиться в город. Изба стояла теперь заколоченная. Тесовые доски, прибитые гвоздями крест-накрест на окна и двери, зачеркнули весь неустроенный быт.

Лукерья не сказала бы, что Гурлев обрадовался или расстроился. Ничего не могла она угадать по его суровому лицу.

— И сам-то ты тоже хорош, Павел Иваныч,— попеняла

она.— Уж и не мог снизойти до бабы. А велик ли ее разум? И где бы она его взяла? Ты туда-сюда мотаешься, завсегда при тебе народ, один день у тебя на другой не похожий, а с бабой-то и побаять недосуг. А у нее-то, бедной головушки, по всему дню, по всей ночи только одни и те же стены перед глазами да заботы, как бы по хозяйству прибраться. Так-то в такой скукоте одной жить, это ведь все равно, что свое время в ступе чугунным пестом толочь.

— Я ее ни к чему не неволил,— ответил Гурлев.

— А вот и зря! Любой камень-валун надо прежде с местечка сдвинуть, подтолкнуть, потом он дальше покатится сам.

— Она все ради пятистенного дома греблась...

— Коль человека рядом нету, то и за бревна ухватишься. Без какого-то интересу жить невозможно.

— Конечно, в партию ее не призывал...

— Эка, что же ей дала бы твоя партея, коли ты сам бабу вовремя не пригрел. Ведь жена-то — не домашняя скотина, что пришел во двор, рукой ее по спине погладил, походя кусок хлеба сунул — и все. А дал бы настоящее обхождение, душевную ласку, вот она от тебя и не отстала бы.

Лукерья поселила Гурлева в горнице вместе с Федором и взяла на хлеба по уговору за пятнадцать рублей в месяц. А ни рубля, ни копейки он не имел и поэтому, для начала, продал свое кавалерийское седло, в котором провел гражданскую войну. Дарья предложила небольшую ссуду от комитета взаимопомощи, но денег там не хватало нуждающимся бедняцким семьям, и ему пришлось отказаться. О продаже мерина он не допускал даже мысли. Тот, по старости, не мог уже ходить в борозде, но еще годился для более легкой упряжи. Ульяна оставила для него хомут и сбрую, словно предусмотрела заранее, что заботы о пропитании хозяина отныне мерин обязан взять на себя. И пришлось это кстати. Подворное дежурство на пожарке становилось мужикам в тягость. Кони, да и сами хозяева, нужны были на полевые работы, никому не хотелось день-деньской торчать в пожарном сарае возле телеги с насосом и бочки с водой. Принужденный отменить подворную службу, Бабкин побывал в Калмацком райисполкоме, выхлопотал там штатную должность пожарного. Гурлев принял ее с достойным почтением, водворил мерина к стойлу в пожарном сарае, наново смазал телегу, перебрал и привел в порядок насос, отремонтировал лестницу и смотровую вышку, подмел весь двор. Пожарка сразу приобрела вид надежный. Дежурил

Гурлев по ночам. Иногда подымался к нему Чекан. Поглядывая сверху на погруженное в темноту село, на далекие звезды, слушая, как плещет волнами озеро под угором, Гурлев заметно становился мягче, говорил более задушевно, доверительно и открыто, словно все свои горечи, неудачи, заботы оставлял на земле, у лестницы, а сюда, наверх, как кусок хлеба, брал только свою мечту, неуемное сердце и ту часть своей жизни, которой особенно дорожил.

— Может быть, ты думаешь, Федор, будто мне счастливым быть неохота? — сказал он однажды.— Людей призываю, стараюсь для них, а сам себя обделяю. Нет, я покуда с ума не спятил. Готов хоть сейчас одеться и обуться по-праздничному, вселиться в новый дом, иметь все в достатке и красиво жить. Только мне такого счастья мало. Что ж это за счастливая жизнь, если я стану ею пользоваться, а рядом со мной мой земляк, к примеру, тот же Иван Добрынин, станет с хлеба на воду перебиваться? Всем поровну, всем чтобы хорошо было, никому не завидно. Скажешь, так не бывает! А почему же нет? Нас чему Ленин учил?..

Он помолчал немного, как бы проверяя, понял ли Чекан его мысль, поверил ли, затем с грустной ноткой добавил:

— Только вот должность моя теперешняя мне не особенно глянется. Беспрестанно гребтится поработать на пашне. Натура моя хлеборобская, а тут вёшна, и я уже всяко, сидя здесь, передумал. Наверно, отпрошусь у Бабкина дней на десять, вступлю с кем-нибудь из мужиков в товарищество да посею хоть десятины две. Может, и Ульяна вернется...

— Вряд ли,— посомневался Чекан.

— Тоже не надеюсь, но все же снова сошелся бы.

— А ты на Дарье женись.

— Нельзя,— мотнул головой Гурлев.— Ульяна-то ведь на нее завсегда и грешила. А вот поверь, хоть бы когда лишнее слово Дарье промолвил.

Где-то вдалеке бренчала телега припозднившегося с поля мужика. Во дворе Согрина заскулила собака. По переулку, посвистывая, прошли два парня. Потом опять тишина и глушь.

— А помнишь, Федор, как я тогда, на собрании-то, сказывал, с чего человек начался, и упомянул, будто видел расчудесный сон,— Гурлев явно избегал разговора о Дарье.— Я не соврал тогда, но видел-то его не теперь, а когда парнишкой был. Лежали мы как-то с моим дедом Андрианом на печи, на дворе страшная стужа стояла, вот и принялись старой да малой сказки выдумывать. Наслушался я дедовых сказок, а потом и привиделся мне во сне бе-

лый город. Сейчас не могу его в точности описать, а хорошо помню: кругом белые дома, сады, цветы, люди нарядные, вдоволь всякой еды. Ну, еда, наверно, оттого привиделась, что поужинали только картошкой не шибко сытно, а белый-то город не знаю с чего. Но все равно дал я тогда себе зарок повидать такой город, разыскать, где он есть на нашей планете, и с тем, когда началась революция,— а было мне в ту пору уже почти девятнадцать лет,— ушел добровольцем с красными. Это уж потом я понял, что нигде покуда такого города нету, а надо еще его построить. И опять же решил тогда: ладно-де, потерплю, а своего дождусь. Ведь что в душу себе положишь да прирастет оно там, с тем и весь смысл твоей жизни определится. Милее-то уж ничего не будет...

— Я хоть и не видел похожего сна, а вот серьезно решаю: не стать ли мне в дальнейшем строителем? — ответил Чекан.

— Давай,— оживился Гурлев.— Да здесь же вот, на месте Малого Брода, и создадим. Чем плохо место? Земли вокруг хлебородные, на них, если не лениться, дать им настоящее обхождение и труд, вдобавок исключить отсюда кулачество, можно чудеса сотворить.

Сказал он об этом с таким жаром и убежденностью, с чувством неожиданно вспыхнувшей надежды и радости, что Чекан, бросив взгляд с вышки, на мгновение увидел вместо темных крыш и молчаливо замкнутых дворов сверкающие огнями дома волшебного города хлеборобов, ярко прочерченные улицы и бассейны. Это все, вероятно, будет, но как еще далеко до той поры, каким еще длинным кажется путь, что надобно пройти, пока люди будут к тому готовы. А пока что всякая новизна им на удивление, как чудо из чудес. Как раз в эти весенние дни, перед первомайским праздником, товарищи из паровозного депо позаботились и прислали детекторный радиоприемник. Поставил его Чекан на столе в читальне, включил, и когда раздались первые слова диктора: «Внимание! Говорит Свердловск!», мужики шарахнулись к дверям, а дед Савел позднее, уже немного освоившись, долго ощупывал корпус приемника, прицеливался прищуренным глазом вовнутрь, на радиолампы, ахал и хлопал себя руками по бедрам.

В последних числах апреля погода внезапно испортилась. Горы тяжелых свинцовых туч надвинулись на округу, непрерывно сыпал мелкий, занудливый дождь, но первомайское праздничное утро началось ясным рассветом, и вышло на небо омытое, веселое вешнее солнце.

— Даже природа с партейными в заединщине,— обозленно проворчал Согрин, открывая малые ворота на улицу.— Теперь уж сев не задержится, ничего супротив не поделаешь...

Холод и дожди помогли бы ему не засевать половину пашни, вроде бы не по своей воле сорвать записанный на него в сельсовете план. И уже заранее ломило спину при одной лишь мысли, что самому придется становиться в борозду, пахать, боронить и сеять, а батрака нанимать воздерживался, важнее было принять вид трудового крестьянина. Да и батраки не обивали пороги. Вся беднота кинулась на складчину для совместной обработки земли.

В тот утренний час, когда Согрин сел за стол завтракать, возле сельсовета заиграла гармонь. «Это избач, наверно, музыку развел,— подумал Согрин.— Ишь, свой Интернационал тарабанит!» И что-то тоскливое подкатило к сердцу; сладкая шаньга в рот не полезла. Сплюнул недожеванное и встал с лавки.

— Ай, не угодила чем? — спросила Аграфена Митревна.— Не пересолила ли тесто?

Из окна горницы Согрин прежде увидел стоящего на крыльце сельсовета Гурлева. Теперь он маячил перед окнами день и ночь, хоть не выходи со двора и не гляди никуда. Даже ночью, проснувшись от тягости холодного тела Аграфены Митревны, хватая ртом из открытой створки свежий ночной воздух, отворачивал Согрин свой взгляд от пожарной вышки, где двигалась тень заклятого недруга.

У крыльца толпилось человек двадцать. Всех их Согрин знал наперечет. Как на смотру выстроились: партийцы, комсомольцы и вся избяная, безлошадная и однолошадная публика. «Сплошь голодранцы! — свирепо и с презрением промолвил Согрин.— Ни в себе, ни на себе ничего не имеют, а туда же, к званию людей гребутся!» Первым признаком человека он всегда находил достаток, а тут, в этой толпе выпирала наружу нужда. Кончив играть гимн, избач снова развернул гармонь, всей пригоршней рассыпал вокруг задорную топотуху. Афонька, засучив штаны до колен, рванулся в пляс, уминая и расшлепывая грязь босыми лапами. С ним в перепляс вышла Дарья, подбоченилась, двинула могучими плечами, прибрала подол пестрой юбки и поплыла по месиву под дружное прихлопывание в ладони и посвисты. Потом ее сменила Катька, непутевая дочь Варвары Пановой; вышла на круг Аганька, гуляющая с избачом. Начал было плясать Серега Куранов, заправила у молодых, но получалось у него неловко, и тогда его сменил сам Гурлев.

Никогда бы не поверил Согрин, что у этого крупного телом мужика было столько живости, ухватки, залихватской буйности! Наконец Аганька отстала, обмахиваясь платочком, сошла с круга, и под общий гогот вышла вместо нее старуха Лукерья.

Избач без устали продолжал наяривать на гармони. Кончив пляски и луговые песни, он снова как искры бросил в толпу звуки гимна, запел сам, и с ним запели все остальные. Народ еще подходил с обеих концов улицы и из переулка, набралось уже человек пятьдесят, пение Интернационала становилось громче. Согрин не мог дальше слушать и закрыл створку. Но это не помогло. Подобно колокольному звону, пение достигало его повсюду.

Люди построились по двое в ряд. Вперед вышел Савел Половнин с красным знаменем. Рядом с ним приладился Парфен Томин, с поднятым на щите, в уровень со знаменем, портретом Ленина. Дальше, в середине колонны, как на свадебном пиру, появились избач Чекан и его зазноба. Но все это было не диво. А потом Дарья вынесла из сельсовета на белом полотенце большой круглый хлеб, очевидно, нарочито испеченный для праздника, и положила его на вытянутую ладонь Гурлева. Тот принял торжественно, как святой дар, по-солдатски откинув голову и выпятив грудь, встал в первый ряд, плечом к плечу Савела Половнина. «Смело, товарищи, в ногу!» — опять запел Чекан, и все, кто там собрался, разноголосо подхватили, двинувшись по середине улицы вдоль села. «Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе!» — невольно повторил за ними Согрин, чувствуя, что в одиночестве своем теряет остатки былой уверенности. Демонстранты уже ушли, и голоса их, удаляясь, постепенно стихали, но, привалившись к простенку, он продолжал смотреть в окно, словно не мог оторваться от вида Гурлева, под всплесками красного знамени несущего на ладони хлеб.

Немного погодя устало и неровно прошел в кладовую, сел на порог спиной к свету и тут, без сожаления к развешанной на крючьях, разложенной по полкам утвари, решил окончательно: «Надо успеть вовремя уехать отсюда. Не к чему дольше испытывать свою судьбу. Все надо бросить и поскорее уехать».

А жидкая, но дружная колонна демонстрантов с песнями, шумно и весело прошла по всему селу, затем остановилась на поляне у казенных амбаров. Тут Гурлев поднялся на телегу, объявил праздничный митинг и уступил место Чекану. Объяснив значение Первого мая, как дня междуна-

родной солидарности всех трудящихся, Чекан рассказал о плане первой пятилетки, о первых великих стройках в стране, о начавшейся повсюду коллективизации единоличных хозяйств, не миновал и текущих задач Малого Брода, из которых самой главной назвал хлеб и за ним — достоинство граждан. Это он особенно подчеркнул:

— Потому, что впереди нас ждут большие трудности, товарищи и друзья. И только соблюдая свое достоинство, честь и совесть, мы сумеем их одолеть...

А вечером Аганя спросила:

— Ты им сказал правду, Федя?

— Мы обязаны говорить только правду,— подтвердил Чекан.— Иначе я не имел бы права называть себя коммунистом, и меня мои товарищи-деповцы отозвали бы из деревни.

— Я тебе верю и всегда буду верить,— сказала Аганя.— А когда ты вдруг разлюбишь меня, тоже скажи, не таи в себе. Ладно?

— Эх, и чудная ты,— засмеялся Чекан.— Может быть, ты первая отшатнешься? Как знать? Станешь на меня обижаться по мелочам, обиды накопятся, вытеснят любовь. И амба!

— Не амба! Со мной ничего не случится. Лишь бы ты был рядом всегда.

Она прислонила голову к его плечу, прикрыла от комаров руки концами платка. Заря уже давно погасла за озером, но с угора далеко просматривались песчаные берега, темная кромка камышей по ту сторону, тополя и березы за пряслами огородов.

— Лишь бы ты был рядышком,— повторила Аганя шепотом.— Больше мне ничего не нужно.

Чекан обнял ее, губами коснулся щеки и, на мгновение опьянев, прижал к себе. Аганя слабо ойкнула.

— Больно, а сладко! Всю бы жизнь так!

У нее было еще свое, деревенское представление о счастье: хоть изломаться в работе, но оставаться любимой мужем всегда, быть с ним неразлучной, доброй и отзывчивой при любой нужде. В этот ограниченный круг еще не вмещалось желание своим трудом и умом служить людям, однако и не проявлялось никакого пристрастия к обывательской «красивой жизни», как у Лиды Васильевой. Все-таки иногда Лида вставала в памяти, хрупкая и нежная, в аромате хороших духов, в прозрачной кофточке, какой была при последней встрече. Но Федор вспоминал о ней без тревоги, без зависти, как об интересной картинке в давно про-

читанной книге. Теперь многократно дороже, роднее и ошеломляюще прекраснее было каждое прикосновение к Агане, к ее упругому телу, к ее губам, вишнево свежим, и к ее мыслям, лишь пробуждающимся.

— Тебе нет нужды сомневаться,— сказал Чекан.— И надо все-таки отказаться от старых обычаев.

— Я уже отказалась! Подумала сегодня и отказалась. Решуся на все...

— Ух, ты-ы! Вот это для меня настоящий подарок!

— Тебе только кажется, будто я уж такая упрямая и глупая. Это ведь когда с трудом достается, надо беречь. Хватаешься за всякую всячину, чтобы крепче удержать при себе. А у меня любовь первая, да вдобавок не такая простая, как у подруг. Катька обседлала своего Серегу, а я разве сумею? И не нужно. Мне, как за солнышком, хочется идти за тобой. С венчаньем, с гулевой свадьбой было бы, конечно, красивше выходить замуж, но уж коли нельзя, то нельзя. Я согласна записаться — и все!

— Пойдем завтра же! — снова обнимая ее, сказал Чекан.

— Дай мне еще месяц сроку,— попросила Аганя.— Сойдемся, а ни у меня, ни у тебя нет ничего.

— С пустого места начнем.

— Неловко. Я уж который год, как осталася без родителей, на чужом сплю. На жестком. Надо же и мне обзавестись хоть самым необходимым, чтобы рядом с тобой не чувствовать себя постоялкой.

— Пусть будет так,— согласился Чекан.— Днем раньше или позднее, это не имеет значения.

Он старался ни в чем ее не понуждать, не неволить, а давать возможность самой осмотреться и делать выбор.

— А где я стану работать, когда мы сойдемся? — неожиданно спросила Аганя.

— Поженимся! — исправил Чекан.

— Ну, поженимся! Так удобно ли будет жить у попа на поденщине?

— Что, по-твоему, лучше?

— Как не зазорно. Мне-то ничего, а лишь бы тебя не смутить.

— Моя мать в молодости служила у хозяина завода в дворовых девках. Чистила псарню, кормила собак. Никакой труд не зазорный. Но батрачить тебе дальше не следует. Лето мы поживем здесь, а к зиме ты поедешь в город, к моим старикам, и поступишь учиться?

— Это чтоб я на шею села твоим старикам? Не смогу!

— Ты будешь учиться по вечерам, а днем работать на станции. Мои товарищи помогут устроиться. И старики будут рады тебе. Изредка, как позволят дела, я буду приезжать.

— Только изредка,— вздохнула Аганя.— Без тебя я со скуки завяну.

— Но ведь учиться надо?

Аганя согласно кивнула, затем зябко прижалась ближе. От непросохшей земли и от озера потянуло прохладой.

— И знаешь, как это интересно! — ласковее добавил Чекан.— День за днем ты словно поднимаешься по ступенькам вверх, и перед тобой все шире открывается мир.

— Ты этого хочешь?

— Да!

— Значит, я поеду и стану жить у твоих родителей. И привыкну дожидаться тебя!

Чекан укрыл ее спину полой своего распахнутого пиджака и снова прижал к себе. От ее горячего тела, от волос, коснувшихся его щеки, и от рук с твердыми, задубелыми от работы пальцами, которые она вложила ему в ладони, снова наступило легкое опьянение. Так он просидел бы тут самую длинную, даже бесконечную ночь, под сумеречным небом, осыпанным отсветом где-то в глубине, за далекой кромкой земли полыхающих зорь.

Эта неправда, когда говорят, что влюбленные воркуют всю ночь. Самое великое в любви — это молчание.

Чекан проводил Аганю до Дарьиной избы уже под утро и еще постоял потом у ворот, навалившись грудью на прясло.

Во дворе Лукерьи горласто кукарекал петух, а Гурлев, постукивая обухом топора, налаживал телегу для выезда в поле. Мерин, чуя путь, нетерпеливо скреб землю копытом и тыкался мордой в спину хозяина. Давненько, за все зимние месяцы, не удавалось им побыть вместе. Соскучился. Настоялся в конюшне.

— Нно, ты, нно! — отпихивал его Гурлев.— Отстань! Эк весь горб мне обслюнявил! Вот в поле-то намотаешься с бороной, так ласки уж не запросишь. А поработаем всласть.

Разжиженный серый свет падал на землю, выполаскивая с нее темные пятна мрака. Мерин покосился на Чекана правым стеклянисто-карим глазом и тряхнул седеющей породистой гривой.

В раскрытую створку просунулась Лукерья, предупредила Гурлева:

— Лагунок с квасом не забудь.

А Чекану добродушно погрозила пальцем.

— Загулялся ты сегодня, Федюня! Небось, ночка-то показалась короткой?

— Нно ты, нно! — не сердито прикрикнул Гурлев на мерина и опять занялся телегой: подтянул постромки, выправил оглобли по центру, проверил шкворень. Все это делал он со спокойной деловитостью и желаньем, как машинист паровоза перед дальним рейсом. В труде люди одинаковы, если он необходим для них, как источник добра и смысл жизни.

В крестьянском быту Чекану больше всего нравилась именно эта пора, «на коровьем реву», когда утренняя заря лишь начинает наливаться прозрачными красками, а во дворах уже топятся печи, гремят подойники, постукивают топоры, скрипят в уключинах колодезные журавли.

Он присел на крылечко, вытянув ноги по ступенькам, длинно зевнул.

— Иди спать, гуляка! — сказал ему Гурлев.— А не то собирайся со мной в поле. Я тебя пахать научу. Ты не хаживал еще в борозде. Вот попробуй, как нам хлеб достается!

— Думаешь, не сумею? — отозвался Чекан.— Велика ли премудрость?

— Не велика, но без привычки до обеда не сдюжишь. За рогаль держаться тоже надо уметь.

— А что же, я охотно поеду!

— Пожалуй, не надо. Пошутил я. Где уж тебе! Оставайся дома да вместо меня делами займись. Не ровен час. Антропов нагрянет. Он каждую вёшну сам по всему району рыскает. Если меня станет спрашивать, поясни: так, мол, и так, недосуг Гурлеву, посевная торопит!

— Непременно скажу!

— Нынче у меня посевная особенная. Как-то нам поработается в товариществе? Труд вроде общий, а ведь пашня-то у каждого своя и еда из разных котлов.

Гурлев обменял поле у Чайного озерка на поле рядом с землей Добрынина и Михайлы Суркова, чтобы не тратить время на переезды. Но и держал думку: перепахать межи, что разделяли их пашни.

— А ты, Павел Иваныч, обожди, покуда я свежих калачиков испеку,— сказала ему Лукерья, опять выглянув в створку.— Вчерашний-то хлеб уже черствый.

— Надо поспешать, баушка,— закладывая мерина в телегу, отказался Гурлев.— Какой припас найдется, тот и давай.

— Ну, так я с Акулиной пришлю тебе на поле. Она, наверно, пойдет к Ивану, когда чуть ободняет. А лагунок-то с квасом, однако же, не забудь. Я свежий налила, ядрененький, духовитый. И лоб-то хоть перекрестил бы, Павел Иваныч! В поле ведь едешь, на сев! И за ворота ступай наперво правой ногой. Я вот тоже, богу-то не молюся, а обычаи не обхожу.

— Обойдемся без обычаев,— весело отозвался Гурлев.— Лишь бы вёшну вовремя справить!

На телегу он положил две бороны, мешки с семенами, старый, изрядно потертый полог, а сам не сел, направился идти пешком, чтобы зря не надсажать коня. На лице ни единой суровой складки. Брови вразлет. Исчезли из-под глаз темные круги. Свободно расправлены плечи во весь размах широкой груди.

И все-таки кинул взгляд вверх, на впяленный в серое небо купол церкви, а потом то ли намеренно, то ли нечаянно шагнул за ворота с правой ноги.

Днем дороги окончательно проветрило и просушило солнцем. Из каждого двора мужики уехали на вёшну, и село сразу обезлюдело, лишь устало лежали в тени заборов облепленные поросятами свиньи, да, прижав уши, паслись на полянах телята, объедая первую, еле пробившуюся из земли зелень.

В полдень мимо сельсовета важно прокатил на легком ходке Егор Горбунов. Правил конем, осанисто откинув голову назад, и одну ногу, обутую в добротный сапог, опустив на приступок.

— Ишь ты, как Егорка забарствовал,— подивился на него Федот Бабкин.— Сам Окунев эту одежду только в праздники надевал, а этот добрался, даже в будний день модничает. И рожу-то, однако, уже наел. Да надолго ли хватит чужого добра? Нанял двух работников, а сам палец о палец нигде не ударит. Совсем спортился, гнида!

Из-за батраков Горбунова уже внесли в список лишенцев, отчислили к кулакам и тем самым порадовали. По его тупому понятию, он становился в уровень с Согриным, которого возненавидел за прошлые унижения. Вот и сейчас рассчитывал он ошеломить не сельсоветчиков, а именно Согрина, поэтому против его двора придержал вожжи, дал коню остановку. Но успеха не поимел. Согрин собрался в поле раньше всех, оставив дома одну Аграфену Митревну и цепную собаку.

— Ты куда это, почтенный Егор Горбунов, поспешаешь? — с насмешкой окликнул в окно Бабкин.

— Тпру-у! — заорал Егор на смирно стоящую лошадь.— Эка тебя разбирает! — И, повернув голову, приложил ладонь к уху.— Чего баяшь-то, председатель?

— Спрашиваю: едешь куда, нарядный такой?

— В Калмацкое надо сгонять. Бабе обнову купить да сабе картуз.

— В нашей лавке есть картузы.

— А мне надо не здеся купить. Али я позволить сабе не могу?

— Сеять-то начал?

— Послал работников. Самому-то надо за хозяйством доглядывать. Теперя забот полно.

Дернул вожжи, улюлюкнул, кнутом подбодрил коня и опять, приняв важную осанку, помчал в переулок.

В пустом помещении сельсовета гуляли сквозняки, а все равно отвратно пахло табачным дымом от прокуренных за зиму стен. Бабкин в безделье позевывал, листал поселенную книгу и время от времени выходил на крыльцо погреться на солнце. Отлучаться на свое поле и бросить село совсем без присмотра он не решался, все должности ему пришлось взять на себя: посыльного, пожарного, дежурного и даже секретаря. На вёшну он отправил жену и сына, но поле звало самого хозяина.

Чекан занимался письмами. Написал матери и отцу обо всей своей жизни здесь впервые подробно и очень успокоительно, чтобы старики не волновались. Потом для матери вложил в конверт отдельную записку: о женитьбе. Отец всегда был немного горяч и вспыльчив, если что-то делалось без его ведома, а мать сердечнее и умела подготовить его исподволь. Как бы ни поступали сыновья, она одобряла, лишь бы поступки не чернили чести рабочей семьи. У нее на это было большое чутье. Второе письмо Чекан подготовил в депо, своей партячейке, отчитался перед товарищами о работе в деревне.

Во второй половине дня, как и ожидал Гурлев, нагрянул Антропов.

Побыл он недолго, пообедал у Бабкина в избе и велел Чекану немедля собираться в путь. В деревне Сушиной, на окраине района, испуганное слухами о коллективизации и о раскулачивании население сокращало посевы.

— Поедешь туда со мной и останешься дней на десять нашим уполномоченным,— сказал Антропов.

32

Предупредить Аганю об отъезде Чекан уже не успел и поручил Лукерье повидать ее. Он не сомневался: Аганя должна была понять неотложность поручения райкома и терпеливо перенести эту небольшую разлуку.

Перед заходом солнца Егор Горбунов вернулся из Калмацкого и привез с собой пассажирку. Выглядела она по-городски хрупко, неоткормленной, неотпоенной, не то что деревенские девки. На тощей груди под синей шерстяной кофтой торчали крохотные бугорки, поглядев на которые, Егор не признал пассажирку за бабу. А лицом оказалась она привлекательной: волосы светлые и в кудряшках, глаза большие и жадные, кожа на лице и на обнаженных по локти руках молочная, тоньше самой тонкой курительной бумаги. И всю дорогу Егора беспокоил какой-то незнакомый, дурманный запах, опять же не бабий, будто натолкали ему полные ноздри какой-то пахучей травы.

Горбунов доставил ее прямо к ограде двора старухи Лукерьи, подкатив на рысях, с шиком, достойным богатого человека. Взяв из-под облучка чемодан с вещами, перекинув через руку легкое суконное пальтецо, пассажирка поблагодарила и принялась стучать к Лукерье в окно.

— Здесь живет Федор Чекан?

— Здеся! — открывая створку, подтвердила Лукерья.— А вам-то почем знать, милая?

— Я к нему приехала,— сказала пассажирка.— Можно зайти в дом?

— А ты кто будешь? Сестра или иная родня? Про сестру-то вроде бы Федор ни разу не баял.

Та замялась немного, отвела глаза в сторону.

— Жена!

— Же-на? — отшатнулась Лукерья.— Осподи прости, да откудов же ты взялася? Он же холостой! Про тебя и слыхом никто не слыхал!

— Приехала, значит, жена! А дело это не ваше, бабушка! Мы сами с ним разберемся!

Произнесла это зло, без уважения, и обиженная Лукерья отрезала:

— Ну, коль не мое, то ступай отсюдова, милая, ступай! У меня не постоялый двор. И не поглянется тебе моя квартера. Попросту живу. А Федора скоро не жди. Он на всю вёшну в другую деревню отправлен.

А потом, когда та отошла от ограды, плюнула ей вслед:

— Да чтоб ты сгинула, окаянная!

Хотела она еще и кулаком погрозить, но в это мгновение, как из последних сил, вскрикнула Аганя и, закрыв ладонями лицо, навалилась на стол. Угощала ее Лукерья чаем, беседа между ними была тихая и мирная, покуда не появилась перед окошком приезжая. От слова до слова слышала Аганя весь разговор, сидела, потеряв соображение — где она и что же такое с ней происходит? А когда поняла наконец, что беда эта непоправимая и уверения Федора — неправда, иначе зачем бы ехала гостья в такую даль и называла себя женой, не могла проглотить комок в горле.

— Баушка... Баушка...

У нее не было никого во всем свете, кого бы она могла позвать на помощь себе, кроме участливой Лукерьи.

— Ох ты, гагарушка моя раненая,— захлопотала та, пытаясь поднять ее от стола и побрызгать в лицо колодезной водой.— Ну, успокойся, милая, ну, отыми руки-то и вытри глаза! Всяко ведь в жизни бывает, матушка моя!

— Но как же так, баушка?

— Значит, не тот фарт попал! Не всамделишный. Ну и слава богу, вовремя все открылось, а не то натерпелась бы ты позору. И нечего страдать, милая! Найдется другой молодец, может, еще получше, повиднее Федора.

— Никому верить нельзя.

Аганя подняла мокрое от слез лицо.

— Как это обидно, баушка! Ведь только вечор еще Федя сказывал мне: никогда и никого он не имеет права обманывать, коли он коммунист, то не положено ему говорить людям неправду. А меня обманул. Напел соблазнов: вот-де кончится твоя батрацкая доля, поедешь учиться, станешь в городу робить и покуда поживешь-де у стариков. Я всему верила! И не от стыда горе, пусть, кому охота, болтают обо мне, но нету больше веры ни во что...

— Это нехорошо,— строже сказала Лукерья.— Ты лучше в бога не верь, а в человека верь завсегда. Чует мое сердце, тут чего-то не ладно. Может, эта приезжая девка гулящая!

— Не похоже, баушка! Но почему же Федя о ней ничего не сказал?

— А поди-ко, боялся: любить не станешь!

Аганя, снова укрывшись ладонями, проплакалась более тихими слезами. Лукерья заставила ее выпить воды, пошептала подходящее для этого случая заклинание и сочувственно повздыхала:

— Темна водица, ой, как темна! Не торопись, Аганюшка, дело решать.

— Да оно уже решенное, баушка! — собирая мужество, отозвалась та.— Больше мечтать не о чем. Не отдала бы я Федю, если бы он мне ровней был. Постояла бы за себя. Но как же, если все, что было,— неправда?! Куда обиду свою девать? Если уж не жить душа в душу, то не к чему и огород городить. Он станет жить сам по себе, а я сама по себе. Страшно так, баушка!

— Да уж чего, поди-ко, хорошего! — подтвердила Лукерья.— Мужиков везде много, да только где-то между ними есть один-разъединственный! И потому, дождись-ко ты Федора, милая: чего он тебе сам скажет?

Аганя ничего не ответила ей, поправила на голове платок и встала из-за стола.

— Спасибо, баушка Лукерья, за хлеб, за чай, за доброе слово! Пойду опять к своей заклятой доле. Еще коровы не доены. Попадья уж, наверно, ругается.

— Пусть сама подоит. Не велика барыня! А ты ночуй у меня. Одной мне тут скукота. Вот стемнеет, так я тебе и поворожу.

— Не надо, баушка! — твердо произнесла Аганя.— Обидно! Я любовь-то, как милостыньку, не стану просить.

— Ну, так, чтобы сердце успокоилось!

— Я сама успокою...

— Не вздумай, однако!..

— Успокоюсь! — снова сквозь навернувшиеся слезы попыталась улыбнуться Аганя.— На это у меня характеру хватит. Спробую и без любви прожить...

Пошла она все-таки не в поповский двор, а в Дарьину избу. Там бросилась на постель, выплакалась до последней слезы. Дарья вместе с мужиками тоже уехала на вёшну, и в одиночестве Аганя ничего не нашла для себя лучшего, как только доказать Федору, что ничуть она не хуже его приезжей жены, не завалящая, а есть в ней своя гордость, свое достоинство. И чтобы никто не посмел о ней худого слова сказать, будто избач лишь забавлялся и строил из нее какую-то дуру, всерьез подумала об Алехе Ергашове. Этот, по крайней мере, свой, деревенский, и можно привыкнуть жить с ним душевно врозь, как живут многие бабы, поневоле просватанные. При том еще неизвестно: чей будет верх? То ли Алехин, то ли ее? А работа везде одинаковая, любая жена та же батрачка! Потом представилось ей: вернется Федор из Сушиной, не успеет жену обнять, как узнает, Аганя уже замужем, и не будет у него права полюбоваться ее страданием. Так и положила себе: это судьба велит, замужество не надо откладывать, а хоть завтра же с Алехой

записаться и обвенчаться, не затевая обрядов сватания и девичников.

Может быть, удалось бы ей к утру одуматься, но вышло иначе. Сначала услышала Аганя легкие вздохи гармони, а выглянув в окно, заметила в ночной полутьме долговязую фигуру Алехи.

Нехотя, без всякого желания Аганя вышла из избы, опираясь на прясло, позвала:

— Алеха! Иди-ко сюда!

Тот свернул гармонь, по-петушиному закидывая ноги и выставляя грудь, пришагал, не торопясь, с оглядкой, еще не догадываясь, какой успех его ожидает.

— Ты чего опять ходишь здесь? — спросила Аганя.

— Своего часа жду,— ответил тот, ухмыляясь.— К избачу-то баба приехала. Лидкой звать. У Согрина осталася ночевать. Я сам ее видел...

— А тебе-то какая нужда? Я ее тоже видела!

— В руки взять нечего,— хохотнул Алеха.— Как же теперич избач с вами с двумя-то?

— Я ему не жена. Погуляла покуда и хватит,— смелее сказала Аганя.— Это ведь ты завсегда лапаешься и на даровщинке хочешь попользоваться, а избач не таковской, он культурный и обходительный, с ним хоть сколько гуляй, девичьей чести не тронет.

— Будто бы уж святой? — опять хохотнул Алеха.— Нюхал сметану, да не слизнул.

— А я вот тебе дам по шее за то,— сердито сказала Аганя.— По своей мерке людей не меряй! Я ведь кого захочу, того и стану любить!

— Полюби меня,— разухабисто сдвинул картуз набекрень Алеха.— Как за каменной горой станешь жить!

— Да уж хоть не за каменной. Но кругом моя воля. Могу и тебя полюбить...

— Давай сейчас...

Алеха распялил руки, потянул Аганю к себе и, тотчас получив оплеуху, отступил.

— Эк, недотрога! Убудет, что ли, с тебя!

— А не лезь прежде времени!

— Так ты по правде решилася?

— Надоело одной бедовать, вот и решилась! Не возьмешь, небось, замуж? Батрачкой побрезгуешь! Одно дело простую-то девку лапать, а другое — назвать женой! И отец твой не позволит, наверно?

— Отец примет любую, лишь бы жениться. А тебя показать людям не стыдно. Вырядишься, так одно заглядение.

И даже поп как-то нахваливал тебя, за двоих-де работает девка! Так во всех смыслах к нашему двору в масть.

— Только, чур, соблюсти уговор: без венчания я к тебе не пойду!

— Да самое это простое, пустяковое дело,— обрадованно сказал Алеха.— Хоть и не время свадеб, а отец Николай нам сделает скидку и повенчает в любое время.

— Чтоб завтра же...

— А куда ты спешишь?

— Покуда у меня желание есть, пользуйся,— сурово сказала Аганя.— И дальше не спрашивай. Ты возьмешь меня честную. Не покаешься. Но если не завтра, то уж никогда. Теперь ступай...

До утра просидела Аганя без сна, без мыслей, как деревянная, а при дневном свете перебрала пожитки, сложила в сундучок и равнодушно стала ждать, когда приедет на свадебной подводе невольный жених, заберет ее и повезет сначала в сельсовет записываться, потом на венчание в церковь.

Он лихо подкатил к Дарьиной избе на паре гнедых коней под украшенной лентами и бубенцами дугой, с двумя своими дружками из семьи Саломатовых. Все трое были подвыпившими, орали песни и веселились. Аганя покорно села с ними в ходок и, когда на рысях проезжали они по Первой улице, горделиво откинула голову перед любопытными бабами, пялившимися из окон. На крыльце сельсовета встретил их сам Ергашов, такой же поджарый и лупоглазый, как сын, за руку провел в помещение. Проходя мимо дверей читальни, Аганя почувствовала, как все у нее внутри сжалось, заболело, запротестовало против ее поступка. Затем возле стола Бабкина увидела приезжую в нарядном платье. Та свысока и зло требовала подводу. Бабкин отказывал. Все кони были в полях.

— Да, в конце-то концов, почему вы явились сюда? — вскипел он от ее настойчивости.— Ведь вы та особа, что не стала Чекана ждать и нашла себе мужа постарше.

— Хотя бы...— осеклась приезжая.— Вам-то в наши отношения не следует вмешиваться!

Эта новость сначала оглушила Аганю, а разъяренный вид приезжей напомнил Евтея Лукича, своевольного и корыстного. Как же Федор станет с ней жить? Ведь заест она ему век, лишит покоя, отымет радость!

Оттолкнув от себя Алеху, Аганя подступила к приезжей.

— Уезжай отсюда! Не по тебе он...

— А ты откуда взялась? — только сейчас заметив ее, в

сердцах прикрикнул Бабкин.— Чего здесь потеряла?

— Моя невеста! — гордо вступился Алеха.— Запишите нас поскорее. Надо еще в церкву успеть, повенчаться.

— Как ты сказал? Куда записаться?

— В брак! — объяснил сам Ергашов.

— Да ты с ума, наверно, сошла! — заорал на Аганю Бабкин.— Кто тебя приневолил? После Федора еще след не остыл, а ты куда собралась?

Дальше Аганя ничего не помнила, не видела и не слышала. Выбежала из сельсовета, перемахнула прясло в чей-то огород, потом огородами, задами дворов, чтобы Алеха не мог ее достичь и вернуть, птицей долетела до гумен и спряталась там в старом стоге соломы.

Опять, как и прошлой зимой, когда спасалась от Окунева, провела она тревожные часы до темноты. Но тогда никто ничего не узнал, а сейчас о побеге со свадьбы пойдет насмешливая молва и на улицу хоть не кажись. И все-таки позор этот казался легче, чем было бы вечное сознание своими руками разрушенной доли. За дурость, за неверие теперь, по деревенскому обычаю, упала бы она перед Федором на колени и стала бы просить прощения, но и обычай, и раскаяние не искупили бы вины перед ним. Наконец-то разрушались остатки девичьей наивности, просветлялся весь призрачный мир желания только любить и больше ничего не знать. Оказывается, надо не существовать рядом с любимым, а жить; не всматриваться в его глаза, не выискивать в них — говорит ли он правду? любит ли? — а безгранично верить ему и всегда быть другом. Все это пришло к Агане как повзросление.

Деревня Сушино была неподалеку от Грачевки, и Аганя безошибочно пошла по дороге туда. В перелесках и на опушках березовых колков мигали костры, паслись спутанные лошади, вспаханная земля подпирала чернотой мерцающее небо, в колеях дороги и в закиданных черноталом протоках, на стоячей воде, падая, тонули отражения последних всплесков зари.

Верстах в десяти от села, на открытом степном раздолье догнала подвода. Ехали мужик с бабой. Мужик что-то про себя напевал и, поравнявшись с Аганей, оживленно поздоровался:

— Мир дорогой! Далеконько ли топаешь?

— В Сушино,— отходя на обочину, сказала она.

— Не ближне место! Аль немúня пристала?

— Уж такая немúня!

— Ну, так садись на телегу, подвезу! Нам дальше ехать.

В Сушино-то сойдешь, а не то пешая набьешь себе пятки до крови.

Лошадь трусила легонько, мужик ее не торопил вожжами и опять принялся напевать под нос. Аганя присела на телеге рядом с бабой, молодой еще, но щупленькой и болезненной.

— А нам в Каменское,— пояснила баба.— Здоровьем скудаюсь. Вот повсюду доктора ищем, который бы вылечил. Замучился уж со мной мужик!

— Эка! — бодро присвистнул тот.— Спробуй-ко замучить меня! Я хоть до Москвы тебя повезу. Коня продам вместе с телегой, сам босиком останусь, но свово добьюсь непременно, выпользую тебя из хворости. Как ты полагаешь, попутчица: верно я баю-то?

— Я бы тоже так поступила,— радостно подтвердила Аганя.— А иначе к чему было семью заводить?

— То-то же! — победно сказал мужик.— Эт, добро бы дожить хоть лет до ста да вместе же в одну домовину лечь. На веки веков!

Вот оно как: на веки веков! Не иначе! И все пополам!

В Сушино, на мосту через речку, Аганя сошла с телеги, поблагодарила и попрощалась. Уезжая, мужик и баба как будто оставили ей часть своего добра и верности, так покойно ей стало. Уже развиднелось. По ту сторону речки, за мостом, куда, петляя, уходила дорога дальше, горбом подымалась лесистая гора, а за ней, на кучевых облаках пыхнули румяна восхода.

Пастух, собиравший стадо в отгон на выпас, указал Агане, где квартирует уполномоченный от райкома.

Хозяйка двора не хотела будить Федора, а затем все же уступила настойчивости девушки и провела Аганю во двор, к открытым дверям амбарушки.

Федор спал на кровати, подперев щеку ладонью.

Так он спал еще долго, не ворочаясь, и Аганя все время сидела рядом. Проснулся он неожиданно, когда на порог амбарушки взлетел петух, захлопал крыльями и во всю мочь, горласто начал сзывать к себе кур.

— Кыш! — спросонья крикнул на него Федор и тут же, увидев Аганю, удивленно раскрыл глаза:— Это ты?

— Я здесь,— сказала Аганя.— Ты поспи, а я еще посижу...

— Что случилось? — тревожно спросил Чекан, подымаясь.

— Ничего, ничего не случилось. Вчера к тебе приехала гостья. Ее зовут Лида. Ты знаешь, как ее зовут! Она на-

звалась твоей женой, а я хотела выйти замуж за Алеху, потом от свадьбы убежала сюда.

— Ни черта не соображаю,— мотнул головой Чекан.— Снится, что ли? Ну-ка, ущипни меня...

Аганя засмеялась над ним, такой он сонный, неуклюжий, не понимающий, и не ущипнула, а поцеловала в щеку.

— Теперь все ясно,— окончательно пришел в себя Федор.— Ты здесь. В Малый Брод приехала Лидочка. Непрошеная. Незваная. Бросила мужа и отправилась искать другого. Тогда ты решила отомстить мне и скорее кинулась под венец. Ну и как? Хорошо ли?

— Это не от мести, а с горя.

— И сюда прибежала с горя?

— Куда же еще бежать: ты здесь и я здесь! Если уж вместе, то на веки веков! Или прогонишь?

— Прогоню! Иди, ложись спать! И не вставай, пока не выспишься, не станешь веселая. Ну, марш в постель!

Она видела в нем так много радости, что невольно улыбнулась.

— Не прогонишь. Иначе не пришла бы сюда.

— Ну, и ладно, ложись, поспи хоть немного,— сказал он более строго.— Хорошо, нашлась и не наделала глупостей. А Лидочка когда-то была. Теперь ее давно нет. Приезжала женщина, мне неизвестная, чужая, лишь с прежним именем. И забудь про нее!

Он надел гимнастерку, поцеловал Аганю и вышел во двор, прикрыв дверь в амбарушку. Раздеваясь, Аганя невольно подслушала его разговор с хозяйкой.

— Должно, женушка явилась к тебе? — спросила хозяйка.— Наверно, недавно живете? Эт, как добивалась она!

— Еще зимой поженились,— соврал Чекан.— А я дома документ один очень важный забыл, так она привезла.

«Ну и врун! — уже засыпая, радостно подумала Аганя.— Небось, покраснел со стыда!» И все же это была хорошая неправда, даже необходимая сейчас, чтобы люди не сомневались ни в чем, и потому, что наступило последнее девичье утро. И утро это тоже хорошо, и все хорошо, что есть на белом свете доброго, неизбывного!

Счастливая, умиротворенная проспала она почти до самого вечера.

А уж на другой день проснулась по обыкновению рано. В батрацкой жизни в эту пору надо было доить коров и отправлять их в пастушную. Сейчас она могла распоряжаться своим временем, как хотела. Но не вернулся сон. Только занемела немного рука, на которой, лицом к Агане,

спал Федор. Свет, пробивавшийся в щели со двора в амбарушку, создавал тихую, милую полумглу, и обнаженное до пояса тело Федора казалось темноватым, загорелым на солнце. Небритая, колючая щека касалась Аганиного плеча, то место саднило, но неудобство и даже легкую боль можно было терпеть сколько угодно.

Так прошел час или, может быть, два часа,— и все это время Аганя боялась хотя бы пошевельнуться, лишь бы ничего не нарушить.

— Ты здесь? — спросил Федор, открывая глаза.— Это здорово! Я с трудом верю себе...

— Почему с трудом? — не поняла Аганя.

— А положение-то для меня непривычное! Был всегда один, теперь нас двое. Уже семья. И надо быстренько вставать с постели, спешить зарабатывать хлеб.

Он засмеялся.

— Я думала, ты серьезный,— сказала Аганя.— Но такого веселого я тебя люблю еще больше. Такой ты роднее и ближе. Ох, скукота, наверно, жить с человеком, который хоть и любит, но живого слова никогда не промолвит.

— Всему свое время! Вчера я вел разговор с местными богатеями, чтобы провели они посевы сполна и не замахивались на советскую власть. Пришлось обойтись без шуток.

— Я тебя люблю! — повторила Аганя.— Всякого!

— А разве можно любить на выбор? И говорить при этом: вот за это я тебя обожаю, за это ненавижу! В каждом из нас есть что-то свое. Нет совсем идеальных. Только в одном хорошего больше, а в другом меньше. И если любишь, то прежде помоги человеку избавиться от плохого. Вот ты у меня мужественная, и за это я тебя сильно люблю, но за то, что растерялась и засомневалась во мне и чуть не поменяла на Алеху, хочется поколотить.

— Поколоти!

— Не стану! Никогда не дождешься!

Проверив часы, он вскочил с постели и заспешил одеваться.

— Куда ты? — спросила Аганя.— Сначала позавтракай!

— Потом! Потом!

— Зарабатывать хлеб идешь? — тоже пошутила Аганя.

— Надо! Ты у меня не одна! Всему народу хлебушко нужен...

Проводив его, Аганя пошла умываться на речку. Вода еще не прогрелась, по обрывистым берегам виднелись следы весенних промоин, а на песчаной отмели у моста парнишки ловили на удочки пескарей. Сквозь голые вершины берез на

горе проглядывало яркое и жаркое солнышко, пылали стекла в окнах домов, дымились на крышах трубы. И все это, весь окружающий мир, словно узорами, золотыми венцами, украшал первый день ее замужней жизни.

Чтобы не создавать лишних толков в деревне, не ставить мужа в неловкое положение, Аганя через три дня возвратилась в Малый Брод и переселилась в дом Лукерьи. Гурлев еще продолжал в поле посевные работы, а приехал только в субботу вечером попариться и помыться в бане. Его не удивило ничуть, что Аганя тут стала хозяйкой.

— Экие вы, бабы,— сказал он добродушно,— все ждете, когда вас припечет!

33

Почти все предлетье стояла сухая, прохладная погода. Засеянная семенами земля под ветрами начинала пылить, на суглинках появились мелкие трещины, зато леса рано и буйно зазеленели.

Согрин наломался в эту вёшну на пашнях. Пахал один, в две упряжки: коням давал отдых, а сам работал без роздыху. Ухватывал для сна только пору от вечерней зари до утренней, совсем короткую, но убивался так не ради наживы, исполнял дело бросовое: ни себе, ни людям! Для отвода глаз, для видимости. Чтобы никто не мог поставить ему в вину злонамеренное сокращение посевов. Пусть будет их больше, а за урожай не ручался: сколько бог даст! И заранее знал — не вырастет нормального урожая. Не с чего быть, даже если дожди падут вовремя и начнет парить земля в благодатной истоме. Мелко пахал, почти поверху, всего на два-три вершка в глубину, а раскидывал семенное зерно так: где густо, где пусто, где нет ничего! Только обочины пашен, на случай проверки, которой грозился Гурлев, не портил. С краю проверят, а вдоль и поперек поля вряд ли. Да и осенью оправдаться не сложно: не всякое поле ровно родит! Поэтому не побоялся рискнуть обидеть землю, на которой вырос. Отверг себя от нее, как лишенный наследства сын: уходя из дома, со зла плюнул родной матери в лицо!

Пыльные ветры и холодное предлетье словно угождали ему. Да рановато порадовался! Перед исходом весенних дней погода вдруг изменилась. Сначала пронеслись грозы с ливневыми дождями, потом установилось переменчивое, теплое затишье. И полезли, поперли вверх всходы, стойкие

и могутные. Любо-дорого стало по закраинам согринских пашен, только дальше хоть плюнь: сплошное редьё да проплешины. Даже маломальский севак ткнет пальцем и скажет: нагрешил хозяин поля, не постыдился небрежности.

— Это таков-то ты культурный хозяин, гражданин Согрин,— сурово промолвил Гурлев, прищуренными глазами осматривая раскинутые по пашне зеленя.— Таков-то!

Вместе с ним ездили для проверки посевов с поля на поле Бабкин и двое членов комиссии: Савел Половнин и Михайло Сурков. На слово никому из богатых владельцев не верили, по наглядности судили об отношении к советской власти и уже заранее прикидывали, сколько осенью взыскать хлебных излишков.

— Не меня вините, землю,— чувствуя в теле воровскую дрожь, прикинулся смиренным Согрин.

— Так земля-то по всей пашне одинаковая, но пошто же тута, возле межи, ни одного огреха нету и зеленя как зеленя? — заметил Михайло Сурков.

— Пошто? — переспросил Согрин.— По то это, что тут пашня немного в заветрии, у леса под боком.

— Не спорьте,— распорядился Гурлев.— Ну-ко, ты, Михайло, поковыряй пахоту здесь, какая у нее глубина, и сосчитай, сколь ростков приходится на один мерный аршин, а ты, дед Савел, пройди по пашне эвон туда, шагов на пятьдесят вперед, и то же самое сделай там. Сравним, и все станет ясно!

— Ловишь? — не вытерпел Согрин.

— Ловлю! — признал Гурлев.— Теперь я знаю, как с тобой обходиться!

Еще старался оправдать себя Согрин, выискивал причины до безнадежного крика о том, что Гурлев намеренно хочет его погубить, а про себя сознавал: оступился!

— Судить тебя будем, гражданин Согрин! — сухо предупредил Гурлев.— Нельзя тебя не судить!

— Я не виноват,— снова присмирел тот.— Конечно, ваше право судить и миловать, а не виноват я ни перед богом, ни перед совестью. Надо же принять во внимание: отвык я сам-то пахать и с лукошком по пашне ходить. Кажин год трудом работников обходился. И нарочито худа себе не желаю! Ведь не вам же худо, а мне самому: столь поту пролил, но получу-то всего ничего!

— Ты на нашей земле живешь!

Бабкин составил акт обследования посевов, дал расписаться членам комиссии. Согрин даже карандаш в руки не взял.

— Не имею желания. Жалобиться на вас не стану, некуда на вас жалобиться, никто мой голос не будет слушать, но и никакой вины за собой не признаю!

Суд мог состояться еще не скоро, и Согрин рассчитал, что сидеть смирненько, дожидаться, как волку в капкане, пока кто-то придет и расшибет башку, нет смысла. Отгрызает же волк застрявшую в капкане лапу, на трех ногах уползает в чащу и так, трехлапым, живет. А ведь на Малом Броде свет клином не сошелся, велик Урал, еще более велика Сибирь, раскиданы по ним тысячи дорог, и попробуй-ка сыскать в лесах и в горах песчинку! Притом вспомнилось ему, как говаривал Барышев: найдутся мастаки и за хорошие деньги любой документ смастерят, на любую фамилию, на любое происхождение!

Так и определился решительно: все к черту бросить, нагрузить на подводы самое необходимое, забрать семью, как-нибудь в ночь, без свидетелей уехать подальше. Но о своем намерении даже Аграфену Митревну не предупредил: получит команду — поедет. Коней стало жалко, коров и овец, а продавать их не соблазнился, лишь бы не привлекать внимание. Маловато оказалось в наличии бумажных денег. Потратил их на Барышева, не думал, что самому так приспичит. Поэтому и пошел к попу поменять часть золотых десяток царской чеканки. Поп свой человек, не растрезвонит.

Отец Николай провел Согрина в горницу, пригласил за стол, а насчет обмена сказал:

— Где уж мне, Прокопий Екимыч! Скудна и велико неприглядна становится жизнь священнослужителя. Существовать не на что! Источники церковных доходов иссякли. После обедни на блюде одни пятаки и копейки. Молодых лиц в церкви я уже не замечаю теперь, одни старцы стоят перед алтарем, сами зависимые.

Настроение у попа было подавленное, вид недостойный, как с похмелья, и одежда надета мужицкая: сапоги, шаровары, рубаха-косоворотка.

— Что же ты, батюшко, совсем расхлябился? — спросил Согрин.

— Собираюсь слагать с себя сан,— принужденно выдохнул отец Николай.— О сем уже с владыкой, отцом Золотавиным, все обусловлено. Некуда деваться, Прокопий Екимыч! Теперь веру православную ничем не поправить. Представь себе, мужики слушают радио. А бог безгласен. Нематериален. Невидим. Бог — это пустота. Так кто же станет ближе к душе человека? Притом, бог — это беско-

нечные посты, призывы к воздержаниям, к скудости, к покорности перед судьбой, а глас, вопиющий из радиоящика, раздвигающий мужику мир до бесконечных пределов, каждодневно поясняет разные события и явления в государстве, услаждает слух музыкой и, конечно, более привлекателен. Избач потому и поставил радио, что это сила необоримая, неподвластная нам, как гром небесный.

— Значит, струсил, отец Николай?

— Разумное отношение к действительности — не есть трусость, Прокопий Екимыч! А у меня дочери на выданье, и о них позаботиться надобно.

На троицын день колокола звонили как-то необычно, не сладко; бухали и тявкали вразнобой, словно пономарь был изрядно выпивши. Но никого это не смутило. Слух о решении отца Николая успел обежать село, и народ повалил в церковь толпами. Не усидел дома и Согрин. Отправился туда в будничном: не молиться пошел, а укрепить себя в безысходности.

Отец Николай вышел на амвон в самом богатом сверкающем одеянии, как при великих служениях, вроде пасхи и рождества. Лицо у него было строгое, а глаза потухшие, совсем невидящие глаза.

— Граждане! — подняв правую руку, громко и чуть дрогнув в голосе, сказал он, обращаясь к плотно столпившимся по всей церкви людям.— Как священник я всегда принимал у вас исповеди и прощал грехи. Наступило время, когда я хочу исповедаться перед вами и просить всепрощения.

Громко завопили старухи, старики, вскинув бороды, застучали клюшками, кто-то бросил в Николая шапкой, а мужики и бабы каменно молчали, уставившись ему в лицо.

— Бога нет, граждане,— глухо произнес Николай, когда волнение немного утихло.— Веками религия порабощала ваши умы. Я признаюсь вам, единственный бог — жизнь и ее правда! Не хочу вас дальше обманывать. Простите меня!

Он поклонился людям; снова начались старушечьи вопли и снова кто-то бросил в него, но уже не шапкой, а палкой. Николай скинул ризу, взял ножницы и остриг ими спадающую с головы жидкую, рыжеватую косичку, потом снова поднял руку, как в торжественной клятве.

— Отрекаюсь от своего сана навсегда! И вы, кто еще пребывает в темноте, проснитесь!

Согрин не мог поверить ни в искренность отрешения, ни в призывы попа, хотя был поражен его мужеством. Неужели только ради семьи выбрал он себе такую казнь и

пошел на нее добровольно? Протолкавшись спиной вперед, отступил к выходу. На паперти тоже было людно: мужики курили табак, матерились к слову, словно работники, дослужившие у хозяев до срока и ожидающие расчета.

День блистал и ярился во всю мочь. Полагалось бы справить троицын день, отгулять с гостями, а Согрин посрывал с тесовых ворот вывешенные Аграфеной Митревной березовые ветки и затоптал их ногами.

— Осподи милостливый! — ударила та руками по бедрам в испуге.— Ты что эт, Прокопий Екимыч, сам не свой?

— Отстань! — прикрикнул на нее.— Не бабья забота!

И начал готовить две телеги в отъезд. Ночи теперь были короткие, за озером заря с зарей сходились, но времени на выжидание не оставалось. Отзвонили колокола, замолкла церковь, и ни единого проблеска впереди! Земля под ногами стала совсем чужой. Появилось такое странное ощущение: будто не здесь, не на этой земле родился и вырос Согрин, тут он жилец только временный, а где его родина — ничего не известно, как потерявшему самого себя.

Желание уехать немедленно и по возможности дальше, начать где-то жить заново, пока не заставили, не приневолили к этому,— стало неодолимым.

На сборы ушло два дня. Сложил на телегу самую исправную одежду и обувь, посуду и постели, все приданое Ксении, взял в запас четыре мешка муки, пуда три солонины, чай и сахар натолкал в пустой самовар и, укрыв возы холщовыми пологами, увязал новой варовиной, витой из конопли. Золотые десятирублевки царской чеканки велел Аграфене Митревне зашить в подол сарафана, под кружевные оборки, а сарафан надеть и носить как исподнюю юбку. Бумажные червонцы заделал в голенища своих сапог: так сохраннее и надежнее! Только замурованный в подполе наган Холякова оставил пока на месте, решив достать его и взять с собой при выезде со двора.

Так в сборах и хлопотах ни разу не выходил на улицу, не смотрел и не слушал, что творится в селе, особенно в сельском Совете. А в полдень, когда уже все было готово к отъезду, судьба все же настигла. Настойчиво, требовательно постучали в малые ворота. Открыл их Согрин и обмер: стоит милиционер Уфимцев, двое понятых — Аким Окурыш и Фома Бубенцов.

— Гражданин Согрин,— сказал Уфимцев, протягивая бумагу,— ты арестован по предписанию суда. Прошу следовать с нами!

— За что? — еле выговорил Согрин.— В чем я виновен?

— Суд скажет. Он уже прибыл и станет тебя судить открытым показательным процессом.

— А возы-то куда наготовил, Прокопий Екимыч? — заглянув в ограду, спросил Бубенцов.— Кажись, собрался тикать.

— Возы не трогать! — коротко приказал Уфимцев.— До решения суда. Ты, Фома, оставайся здесь у ворот, доглядывай, чтобы во дворе ничего не случилось!

— Не сумлевайся,— подтвердил Бубенцов,— у меня тут и мыша не пикнет в норе!

— Значит, дорвался-таки Гурлев до меня,— принуждая себя к спокойствию, выдержке и покорности, произнес Согрин.— Давно грозился и все же дорвался!

— А не лез бы сам на рожон,— запетушился при этом Аким Окурыш.— Зачем пашню спортил? Она тебе не девка, небось, что спортил, надсмеялся над ней и тем остался доволен!

— Молчи! — бросил Согрин.

Суд над ним назначили под открытым небом, чтобы не тесниться в клубе. По селу известие уже разнеслось; отовсюду к площади у сельсовета стекались люди. Жутко стало Согрину, когда, опустившись на поставленную для него скамью близ накрытого красным ситцем стола, увидел он себя, окруженным сотнями лиц, не выражавших сочувствия. Бывшему царю, уличенному вдруг в конокрадстве, не досталось бы, наверно, столько презрения...

Продолжался суд мучительно долго. Приходилось не раз вставать и отвечать на вопросы судьи Кривоногова, сгорбившись, терпеливо слушать показания свидетелей — Гурлева, Бабкина, Савела Половнина и Михайлы Суркова о том, как был испорчен посев пшеницы, как была затеяна драка на пашне у Чайного озерка, а потом нашлись еще и добровольные свидетели из числа других мужиков, рассказывали суду, как драл с них Согрин самую высокую плату, если приходилось пользоваться его маслобойней и молотилкой, или занимать у него деньги под будущий урожай. Все припомнили, ничего не забыли. Оказывается, зря выставлял он себя благодетелем, прикидывался всегда искренним перед обществом и советской властью. Люди видели его таким, каким был он на самом деле. Только не говорили до времени. И напрасно думал он, будто навсегда останется в стороне от гибели Кузьмы Холякова. Бродили в людях сомнения. Прямо на него никто не указал, доказать было нечем, но, вспоминая Кузьму, и фамилию Согрина не обходили молчанием. Особенно резко говорил об этом избач

Чекан, назначенный в суде общественным обвинителем. «Да, такова психология кулака, что не остановится перед любым преступлением ради частной собственности, интересов своего класса!»

Согрин томился от ярой злобы. Гнул голову. Но не от позора. Не такой мерой измерял издавна свое место в селе. Стыд его никогда не тревожил. Миновал. В богатом дворе ему не было места. Он, Согрин, всегда чувствовал себя выше всех, сильнее всех. Богатство его возвеличивало, давало незримую власть, избавляло от понятий о совести, честности, дружелюбии и добре. Ведь оно не могло бы существовать и накапливаться, если бы хозяин стал брезговать наживой, спекуляцией, чужим трудом, не был бы изворотливым и ловким. «Трудом праведным не наживешь палат каменных». Таков неписаный древний закон. Только его признавал Согрин, его исповедовал, ему следовал и соответственно ему же во все годы советской власти вел жизнь двойную, двуликую, стараясь сохранить нажитое. Мстил за порухи. Да, это было. И, может, будет еще. Кто кого — вопрос еще не решен. А так ли? Чем кончится суд? Ведь в этот черный час рушится все, погибает безвозвратно, словно дом и двор сгорают дотла, а душа вывернута наизнанку и мается в горячем ознобе. Она мается и страдает невыносимо. Ее, привыкшую существовать в темноте и одиночестве, вдруг обнажили, расковыряли, и вот она, как опаленная светом вечереющего солнца, вся наполнилась тяжким желанием не покаяться, не поклониться людям, а сейчас же совершить что-нибудь жестокое, отчего обвинители и вся эта осуждающая толпа шарахнулись бы в стороны и диким воплем огласилась бы улица. А сделать уже ничего невозможно. Сломлена сила. И потому, от этой бессильной злобы тискал Согрин руками колени, с трудом улавливая, что говорил Чекан.

— А не нарушаем ли мы справедливость? — в конце спросил тот, обращаясь к суду.— И не следует ли оказать подсудимому снисхождение, как человеку, который, может быть, заблуждался?..

Крохотная искра надежды промелькнула перед Согриным, он приподнял голову, но тут же опустил ее и еще сильнее стиснул колени: народ зашумел, заволновался, раздались крики, не обещавшие хотя бы малых уступок.

— Наоборот, только ради справедливости Согрин должен понести наказание,— подчеркнуто и громко сказал Чекан дальше.— Ведь зло, совершенное им, было направлено не только против Павла Иваныча Гурлева, не только

против партийцев, но против всего нашего трудового общества. Нам не по пути. Мы стремимся к большому будущему, к богатству для всех, к обилию хлеба, и тот, кто решается губить хлеб, должен быть изгнан...

«Будьте вы прокляты! — стиснул зубы Согрин.— Не было меж нами мира и не станет его во веки веков!»

С трудом осилив себя, чтобы в отчаянии не зареветь во весь голос, он встал потом и выслушал приговор суда о выселении из Малого Брода с конфискацией всего движимого и недвижимого имущества. Даже в глазах померкло. Руки и ноги охолодели, а голову жгла неразрешимая мысль: «Неужто полное разорение? Что же впереди ожидает?»

Уже вечерело, когда из ворот его двора выехали две подводы: на передней сам с женой и дочерью, а на второй сопровождающие — милиционер Уфимцев и Фома Бубенцов. На подоконнике замяукала оставленная в доме кошка. А дом, как сирота с омертвелыми глазами. Хоть бы скрипнуло, хоть бы брякнуло что-нибудь в нем на прощание. Но не от жалости к нему, покинутому, накатило еще раз удушье, затем тяжкая тоска и страх. На крыльце сельсовета стоял Гурлев, а в фундаменте дома, в замурованном револьвере Холякова осталась пуля, что должна была поставить последнюю точку...

За выгоном, перед въездом в Межевую дубраву, Аграфена Митревна сквозь слезы спросила:

— Как же станем жить теперич, Прокопий Екимыч?

— Молчи! — оттолкнул ее Согрин.— Они думают, поди, кончили Согрина насовсем! Сничтожили. Растоптали. А еще посмотрим: так ли? Дай бог, только до нового места доехать. Осмотримся. Обживемся. Приладимся...

34

Безлюдный двор Прокопия Согрина отпугивал одичалым видом, как покинутое волчье логово, где остались недоглоданные кости, клочки шерсти и дурной запах тления. Прежде это не замечалось, а когда открыли настежь ворота, сквозняком вынесло его из конюшни, кладовой и погребов.

Дед Савел Половнин брезгливо поморщился:

— Нечистое место!

Вид одичалости придавал двору и кем-то сбитый с козырька крыши железный петух, много лет оберегавший владения хозяина. Петух свешивался оттуда вниз головой, его качало порывами ветра, стукало о кирпичную стену.

На другом конце стены горбилась голодная кошка, изредка истошно мяукала, не понимая, откуда взялось в доме столько чужих людей. Фома Бубенцов, поставленный сторожить двор, пробовал кышкать на нее, даже кидал камушки, но кошка только ощеривалась, а не убегала.

Весь день заседал сельский Совет. Два десятка депутатов изнывали от тяжкой духоты и табачного дыма. Всем хотелось совершить доброе дело, поселить в дом Согрина какого-нибудь многосемейного вековечного бедняка, пусть-де воспрянет, из больших окон на солнышко поглядит, а кому ни предложат — отказ! Даже Иван Добрынин не согласился:

— Это самого-то себя на позор выставлять! Спаси Христос! Чужое ведь, не мной нажитое. Любой осудит: вот-де дорвался! Да и как же в таких хоромах жить без привычки? У себя-то в избе хоть тесно, зато все семейство у меня на виду, а тута разбредутся по комнатам и углам — бегай, ищи! Не-е, граждане, дозвольте на своем обжитом месте остаться.

Дошел черед до Петра Кудеяра, тот поскреб в бороде, пригладил на лысине волоски и рассудил:

— Воопче, я не прочь. Лестно в большом доме пожить. Чем в избе,для моего ремесла намного способнее. Ну, зато боюсь, покоя лишуся. Не воровал, не омманывал, даровых подачек не принимал, а тут, нате-ко, возьму и обзарюсь!.. Чужое добро...

— Кабы ты самовольно занял,— хотел убедить его Гурлев.— Но мы тебе на владение особую бумагу подпишем.

— Куда ее потом подевать? На вороты, что ли, прибить? Так сорвут ведь прохожие на раскурку, не станут читать. Да и много нам с Надежой, двоим-то.

— Мы к вам еще кого-нибудь подселим. Ты половину дома займешь, на вторую въедет, к примеру, Аким Лукояныч. Всего-то дел еще входную дверь прорубить и второе крылечко поставить. Под одной крышей дружнее станете, может, в складчину почнете робить. Ведь рано ли, поздно ли, все соберемся в одну семью.

— А как двор поделить? — тоже не желая давать согласия, нашел довод Аким Окурыш.— Кому анбар, кому кладовуху, кому завозню или, допустим, нужник? Твое-мое! Так получится. Кому больше, кому меньше достанется. При таких случаях могу я стыд потерять. Надо будет печку топить, так свои-то дрова поберегу, неприметно почну таскать из суседской поленницы. Упаси бог!

— Не дозволяй! — строго предупредил Гурлев.

— Рад бы не дозволить, ноги сами пойдут, руки сами сграбастают.

Гурлев не расположен был спорить.

— Что же, граждане мужики, какая картина вырисовывается у нас в данный момент? — обратился он к заседающим.— От кого прежде народ страдал? От кулачества! Оно доводило людей до бедности и нищеты. Вот теперь царя нету, Колчак и генералы сничтожены, вся власть у народа. И настала пора жить хорошо! Это как понимать? То ли только для брюха, то ли для ума и души? Любая животная нажрется и дрыхнет. Ей ничего больше не надо. У человека круг шире намного. Было бы тепло, светло, покойно, сытно и не бездельно, да робилось всласть. К этому идем! Так нам в будущем положено жить. По-теперешнему ежели сказать, то каждый станет богатым. Ну, однако, не кулаком. Вот уже который год мы тягаемся с кулачеством насчет хлеба, но вскоре предстоит кулачеству полная ликвидация. Прокопий Согрин уже уволен, пусть другим дорогу торит. А тем временем мы вроде как зайцы: уши прижимаем и убегаем в кусты, или же вроде воробьев: пырх-пырх — и на дерево! Отлепиться от старой жизни не можем. Верно, я признаю, непривычно, даже совестно поживиться от чужого достатка. Своим трудом нажитое завсегда чистое. Нельзя грех брать на совесть. Ну тут надо еще посмотреть: какой это грех? Давайте выйдем из темноты, протрем глаза. Нет, это не грех, коли тебе сама советская власть благо навеливает, прямо на ладони кладет: это твоим трудом кулак наживал, стало быть, по справедливости оно твое, бери, обвыкай, и никто не вправе тебя попрекать...

Ему самому все сказанное казалось яснее ясного, но и такие слова на мужиков не действовали.

Дед Савел снова заметил:

— Нечистое место!

Согринских коров и овец все-таки удалось передать многосемейным беднякам и вдовам красноармейцев, погибших на гражданской войне, а коней, упряжь, телеги и кошевые определили в сельпо для поездок за товарами в город.

Зато дележ домашнего имущества Согрина непредвиденно распалил алчность к легкой поживе. Только бы крикнуть: «Берите, кому что поглянется!» — враз сломали бы сундуки, расхватали тулупы, шубы, сарафаны, посуду, ухваты, ложки и чашки. Это Гурлев грустно отметил, взглянув на вдруг ожившие лица мужиков, когда смирняга Добрынин высказал предложение:

— Прокопий-то Екимыч теперича, можно считать, вроде

как упокойный. Сгинул. А коли так, по обычаю, опосля него все имущество полагается раздать на поминки. Вот и с богом бы! Кому желательно, тот пусть примет, упокойнику молитву воздаст, а кому не к душе, пусть по-своему поступает.

— Так и надо решить! — сразу подняли руки несколько мужиков.

— А что дальше случится? — снова поднялся Гурлев.— Спробуем, представим себе: накинулись, похватали, а под конец драка случится! Вот тебе, Иван, попадет, к примеру, тулуп из волчатины, тебе, Петро,— половик, тебе, дед Савел,— горшевик не то сковорода. Так и далее. Всем желающим предметов не хватит, многим ничего не достанется. Споры. Раздоры. И почнете друг дружке кровя пускать.

— Можно список составить и утвердить,— подсказал Кудеяр.

— Тогда обиды начнутся...

Трудно было предвидеть, чем мог закончиться спор о дележе, алчность — баба зловредная! Но кстати дед Савел нашел выход:

— Согрин никаких поминков, окромы что вослед ему плюнуть, не заслужил. Далее, возьмем во внимание: способно ли пользоваться вещами, взятыми с дележа? Нет, не способно! Сколь ты ее ни проветривай, а все же станет она беспрестанно напоминать о прежнем хозяине. С того рассуждения я полагаю: сделать всему имуществу опись, каждой вещи цену назначить и препоручить в магазин сельпо на продажу. Кому что поглянется — покупай, пользуйся. Это на совесть не повлияет, с продажи вещи утратят хозяина. Выручку сдать в казну, не то сирот одеть и обуть.

— А где на то деньги взять? — снова подал голос Добрынин.— У меня вот сроду их не бывало. Тараканы есть, деньгов нет.

— Опять же, раскупят богатые,— вставил Петро Кудеяр.

Федот Бабкин, видя, что Гурлев смутился, ответил сразу:

— Богатым не продавать, а кои мужики неимущие, тем дать рассрочку на год.

Для переписи и оценки имущества Согрина избрали комиссию. Деда Савела Половнина, старика рассудительного и с незапятнанной совестью, утвердили председателем. Дарью — от комитета бедняцкой взаимопомощи, она-де, как бывшая стряпуха Согрина, вернее всех доглядит, Михайлу Суркова — более всех наторевшего в грамоте.

Уже в сумерках, кончив заседание в сельском Совете, дед Савел сходил во двор Согрина, проверил охрану. Фома Бубенцов неотлучно сидел на крыльце, входные двери в дом, в амбары и кладовую были заперты на замки.

— Жутковато все же здесь одному-то,— пожалобился Фома.— На поле один ночую, филин ухает, сова плачет, иной раз волки воют, а мне ничего — не боязно. Здесь же мертво. Наверно, за вороты выйду, на улицу.

— Нельзя! — запретил дед Савел.— Велено на крылечке дежурить, значит, терпи и сиди!

Позднее сюда же наведался Гурлев, но постоял в проеме малых ворот и ушел. Какая-то непонятная тяжесть его давила, как перед ненастьем. И старая рана побаливала.

Федор Чекан увез свою Аганю в Челябинск, к родителям. Горница в доме старухи Лукерьи, устланная чистыми половиками, могла бы сгодиться для Гурлева, а он все-таки после ужина залез на полати.

Лукерья прибрала со стола и помыла посуду, затем села на лавку к раскрытой створке окна, зевнув, перекрестила рот.

— Что за оказия опять приключилась, Павел Иваныч?

— Устал да за день накурился шибко,— сказал он, укладываясь.

— Ну, и кому же согринские хоромы достались?

— Моргуют люди.

— Я бы тоже поморговала. Не знаю, ты слышал, нет ли, но люди бают, скоро и на других кулаков, вслед за Согриным, такая же резолюция выйдет. Куда потом их дома и дворы подевать?

— Подступит время, тогда все увидим и проясним.

— Лучше пожечь дотла,— твердо произнесла Лукерья,— а не то из памяти они не уйдут и к себе своим видом будут приманивать, соблазн наводить. Я много на свете прожила, нагляделась да натерпелась и знаю: хорошему нету предела, но и худое живуче. Изжить-то супротивников долго ли? Как навоз из конюшни в короба погрузить и в загумны свалить. А вот то, глазу невидимое, кое в башке у человека скопилось,— попробуй почистить. Тут одной жизни не хватит. Сколь еще впереди предстоит всяких страданий, не раз, может, придется слезами умыться.

— Не страшно,— убежденно ответил Гурлев.— Была война, сколь нашей кровушки пролилось, а стерпели. Голодные годы пережили. Или вот теперешние заготовки хлеба: хоть и без пушек, а ведь тоже война. Выбора нет: кто кого? Не всем же погибать, как Кузьма Холяков!..

— Ой, вот ладно, напомнил,— спохватилась Лукерья.— Совсем забыла сказать: давеча приходила к тебе вдова Кузьмы, чего-то ей крайне надо увидеться.

— Не говорила зачем? — забеспокоился Гурлев.

— Да я толком не поняла. Кажись, Антоха Белов начал ей досаждать. Выбился из грязи-то в князи, так свихнулся с ума.

Прежде Антон от пьянки воздерживался, если случалось выпить самогонки или браги — не вылезал из своей избы, старался не порочить партийное звание, а заменив Кузьму Холякова на должности председателя сельпо, вдруг сорвался. Жалование было у него невелико, зато в магазине водка не переводилась. Слабый оказался мужик. Не устоял. Шапка набекрень, грудь нараспашку! На собраниях партячейки уже предупреждали его: прекрати, мол, Антон, иначе вылетишь с должности, а, видно, как следует не вразумили.

Вдова Холякова стояла на улице. Ее парнишки, Колька и Митька, как испуганные воробьи, сидели на прясле. В жидком свете сумерек эта исхудалая, горемычная безотцовщина, а также их мать выглядели столь беззащитными и несчастными, что Гурлеву пришлось сначала подавить в себе гнев и только потом спросить:

— Где он?

Вдова показала пальцем на дверь в сенцы.

Белов дрыхнул там на полу, лицом вверх. От запаха водочного перегара брезгливого Гурлева чуть не стошнило. Он взял пьяного за ноги, вытащил волоком в огород и там бросил.

— Завтра мы его из сельпо турнем. Приставал он, что ли, к тебе?

— Вина требовал. Давай, говорит, помянем Кузьму. А я где возьму?

— А ты взяла бы полено, да надавала бы ему по загривку,— уже ровнее сказал Гурлев.— Если еще раз явится, будь смелее, у тебя защита найдется.

35

Обычно охочий до разговоров Фома Бубенцов заскучал в одиночестве. Коротая время, он начал думать: дескать, правильно и справедливо выпнули Прокопия Согрина из Малого Брода. Этакий козырный туз! Доигрался! Слинял. Куда важность девалась.

В молодости, всего с весны до покрова, пожил у него в

батраках, а натерпелся, как за много лет. «Фомка лентяй! Фомка дармоед! Фомка, поди туда, Фомка, поди сюда!» Бывало, поминутно в упряжке. А то и кнутом по спине. За свой стол не пускал. Даже в его нужник ходить не велел.

В памяти оживало много обидного, что невозможно было простить.

В том, что Согрина осудили и выселили из Малого Брода, было что-то новое, значительное, хотя по малограмотности Фома еще не умел правильно оценить и понять.

Он приладился на сходцах крыльца поудобнее и попытался живее представить, что теперь станут делать богатые мужики, какая судьба им предстоит, кому достанутся их пашни, леса и покосы. А главная загвоздка была даже не в этом: без богатых хозяев станет просторнее, но и мужикам неминуемо придется жить как-то иначе.

Мыслей столпилось много, ночь длинная, успел бы Фома в них разобраться, и вдруг их как ветром сдуло: кто-то пробрался в дом. В горнице скрипнули половицы, отчетливо послышался певучий звук: у Согрина сундуки были старинные, с музыкой. Фома насторожился: «Не дай бог, если сам хозяин с дороги вернулся, сбежал от конвоя, может, оружие ищет. Убьет ведь, не пощадит!»

Тайком, согнувшись пополам, Фома пробрался на улицу; прижимаясь к фундаменту дома, осмотрел все наружные окна. Одно из них со стороны переулка оказалось наполовину открытым. «Ну, так и есть,— окончательно убедился Фома.— Даже если не хозяин, то все равно вор в доме».

В сельском Совете в эту ночь дежурил, согласно подворной очереди, Никифор Шишкин, мужик горячий, бедовый. Вместе с ним Фома и накрыл охотника до чужого добра. Они немало удивились, когда им оказался Егор Горбунов. Вор успел заграбастать из согринских сундуков две кашемировых шали, праздничный сарафан, янтарные бусы, лакированные сапоги и плисовые шаровары и еще разную мелочь, что попалась под руку, уторкал все это в мешок, а когда его накрыли с поличным, упал на колени:

— За ради бога простите! На меня затмение нашло. Бес попутал!

Не стерпел Никифор, ударил его по скуле, да и Фома по загривку добавил:

— Чума ты проклятая! От Евтея нажился, эвон какое богатство прихапал, так еще тебе мало! Вот завтра навесим на тебя все, что здесь своровал, да проведем по Первой улице людям напоказ. И будет тебе всенародный суд.

Привели его в сельский Совет, пинками загнали под

замок в каталажку и оставили там до утра. А перед утром Горбунов снял с себя поясок и повесился.

— Прожил, зар-раза, на подлостях, на подачках скверно, нечисто, и подохнуть по-людски не нашелся,— обозлился Никифор, когда вынули Егора из петли.— Видно, позор-то потяжельче, чем любая пожива.

Малый Брод потрясло это событие. Сама по себе кончина Егора Горбунова ничего бы не значила: был и нет! Толки, догадки, споры между бабами и мужиками вызывало непонятное, немыслимое: как же от такого богатства, каким завладел Горбунов по наследству от родственника, мог он решиться на воровство?

Большая толпа людей спозаранок собралась у сельского Совета. Ни одного доброго слова Егору не выпало, но и Никифора и Фому Бубенцова никто не осудил.

Опись имущества Согрина Федот Бабкин временно отложил, пока не проведет следствие участковый Уфимцев.

Гурлев, накануне расстроенный пьянкой Белова, остро переживал и эту беду. Значит, именно он что-то недомыслил, недоделал, не довел до конца. «На лиху беду собаки не лают. Наперед ее надо угадывать! — думал он.— Не стукнуло же в башку наружную охрану поставить». И острым ножом резала душу жалость к Бубенцову и Шишкину: оба теперь пострадают, окажутся под судом.

Посреди дня приехал в Малый Брод на пароконной подводе новый секретарь Калмацкого райкома Авдеин.

Перемены в райкоме произошли без партконференции. Окружком направил Антропова в город на строительство электростанции, а вместо него прислал Авдеина, никем не виданного в здешних местах.

Сразу пошли о нем недобрые слухи.

Гурлев после вёшны в Калмацкое не ездил, но уже заранее знал: Авдеин, не в пример Антропову, шибко ретивый, повелительный и крутой. Поэтому, со дня на день ожидая его, тревожился, опасаясь раздора. «Дело его такое, пусть нажимает, пусть, ежели найдет непорядок, мне выговаривает, но лишь бы по-нашему, по-партейному, без презрения». Самому богу не простил бы он унижения достоинства своего.

В сером костюме, в белой рубахе, при галстуке, на носу очки позолоченные, под ними глаза-бурава, во всю голову лысина, да как у девки — алые губы, щеки румяные. С этакой внешностью сидеть бы Авдеину в канцелярии, шуршать бумагами. Еще и по рукам, вернее других примет, можно судить без ошибки: за рогаль не брался, молотком

не стучал, топором жердей не тесал, ладони без единой мозолинки, пальцы холеные.

«Ни раньше ни позже припер к нам,— неприязненно подумал Гурлев.— Тут такая оказия. Что он может спросить?»

Авдеин при входе ни с кем не поздоровался, встал посреди комнаты, мельком оглядел Гурлева, Бабкина, братьев Томиных и Бубенцова.

— Что у вас здесь происходит? Почему на улице народ?

— Вора ночью поймали,— вставая из-за стола, вежливо сказал Бабкин.— А он в каталажке себя порешил.

— Били, наверно?

— Да так, для порядку. Мужики малость погорячились...

— В милицию заявили?

— Нарочного уже послали верхом. Вот дожидаемся...

Авдеин не дослушал.

— Среди вас партийные есть?

— Почти все партейные,— сдержанно произнес Гурлев.— Я секретарь ячейки.

— Выйдем поговорим!

Гурлев провел его в читальню, запер дверь. Разговор, вероятно, предстоял недобрый, коль без партийцев, один на один.

Сели за стол избача, лицо в лицо. Гурлев достал из кармана кисет с табаком, хотел закурить и сократить волнение, но Авдеин скривил губы, отмахнулся рукой.

— Обойдешься без курева! — И сдвинул брови:— Ничего мне не нужно докладывать. Я все про вас знаю. Перед поездкой сюда ознакомился с протоколами ваших партийных собраний, читал сводки и донесения. Страшно подумать, сколько за прошедший год происшествий: зимой разгромлен хлебный обоз, бандитизм, убийство активного коммуниста Холякова, слухи о пришествии антихриста, цацкание с кулачеством, наконец, сегодняшнее самоубийство какого-то вора. Кто позволил убеждать, а не крушить наших классовых врагов?

Гурлев молчал, плотно сжимал губы, понимая, что Авдеин говорит не без умысла, но грубый тон все же не выдержал:

— Прошу вас, товарищ, не знаю, как звать-величать, говорить не так громко. И не тыкать мне! Мы с вами впервые увиделись...

— А меня это мало тревожит,— не сбавляя тона, оборвал Авдеин.— Или ты глуп и не понимаешь, какая в стра-

не сложная обстановка. Не без причины же проводится партийная чистка, наряду с чисткой советских органов, от примазавшихся и чуждых элементов. Партия решительно переходит к индустриализации страны, к коллективизации сельского хозяйства, к полной ликвидации кулачества... Мы стоим перед фактом обострения международной обстановки...

— Нам это известно!

— Значит, ты сознательно не туда, куда надо, свою линию гнешь!

— Стоп! Не заговаривайтесь! — пристукнул Гурлев ладонью по столу.— Я уже партейную чистку прошел, считаюсь проверенным, никаких шатаний у меня не было. Худо ли, плохо ли, а Малый Брод перед государством не оставался в долгу. План по заготовкам хлеба исполнен, по налогам и сборам уплачено до копейки. Что касается погибели Кузьмы Холякова, я с себя вины не снимаю. Оплошал. За то и понес наказание. Мало? Давайте еще!

— Тебя следовало из партии выгнать поганой метлой. Теперь, пожалуй, мы вернемся к этому делу.

— Ваше право!

— Поаккуратнее проверим, кто ты.

— Мне тоже гребтится узнать: всамделишный вы партеец или снаружи такой...

Было бы промолчать, но слова сами с языка сорвались: поторопился, разгневался, не сообразил, в какую точку попал.

— Да ты, и верно, вражина! — яро, но приглушенно выругался Авдеин.— Я тебе покажу!

— Эк напугал!

— Подай сюда свой партийный билет!

— Для чего?

— Под суд пойдешь! За соучастие в гибели Холякова и как предатель. От людей правду не скрыть. Вот что они о тебе нам написали.— Авдеин достал из бокового кармана пиджака сложенную бумагу, развернул, ткнул пальцем: «Гурлев загубил Кузьму. Взял у него из казенных денег пять сотен рублей, а потом, чтобы долг не отдавать, сманил к бандиту Барышеву, тот его убил в полевой избушке...»

Хуже чем обухом по голове! У Гурлева дыхание оборвалось и в глазах потемнело. Он покачнулся на стуле, с трудом поправился:

— Разрешите взглянуть, кто писал?

— У прокурора узнаешь,— победно сказал Авдеин.— Ему же и станешь доказывать. А пока что с должности

секретаря партячейки я тебя отстраняю. Партбилет сейчас заберу. Подавай!

— Не отдам! — твердо отказал ему Гурлев.— Ты, Авдеин, сначала святую веру из меня изгони, а покудова я коммунист, не смей прикасаться. Давай призовем всех наших партейцев: что они скажут?

— Разводить дискуссии я не намерен. А вот завтра соберу бюро, и тебя исключим. Вы срослись тут, спелись...

— Очень ты далеко заехал, Авдеин! — высказал Гурлев.— Думаешь, я простой мужик, так можно из меня веревки вить не то смолой обмарать. Это очень даже напрасно! Ты сначала с мое пострадай, с мое для партии и Советской власти сил положи, но и то я тебе не дозволю надо мной измываться! Хочешь меня проверить? Могу ли я умереть за свою правоту?

Никогда еще не бывало в нем столько отчаянности и обиды, не рвалось так сердце на части. Он вынул из кармана наган и положил его перед Авдеиным.

— На! Застрели меня! За то застрели, что не отдаю партбилета в твои поганые руки! Струсишь? Так я расписку напишу тебе в оправдание... Кулаку не дозволил бы, но тебе...

Авдеин выскочил из-за стола, побледнел, одичало сверкнул глазами из-под очков, затем выбежал из читальни и тотчас уехал.

Гурлев окаменело посмотрел ему вслед. Когда Федот Бабкин и братья Томины захотели узнать, что же такое тут приключилось, он даже не повернул к ним головы.

Так он сидел еще долго, без мыслей, почти что не видя света. Его знобило. Тяжко заныла рана на теле.

Позднее он признался Бабкину в своей слабости и горько осознал, что сорвался.

— Кулак обрезом, а такой Авдеин словами навек может душу убить.

— У него сила, а у тебя что? — упрекнул его Бабкин.— Тот чихнет и — тебя уже нет. Мы можем всей ячейкой поехать в райком, да будет ли толк? Думаю, миром не обойтись. Для сохранности поезжай в город, там обоснуйся. Там Авдеин тебя не достанет.

— Уехать — значит признать себя виноватым,— не согласился Гурлев.— А я не привычен уходить с поля боя. К тому же хочется вместе со всеми мужиками до настоящей жизни дойти. С должности секретаря ячейки сойду, рядовым партейцем стану работать. Авдеин из партии исключит — пойду выше, не отступлюсь.

Федот посоветовал сейчас же, не медля ни часа, поехать в Калмацкое, еще раз повидаться с Авдеиным, авось отмякнет. Ведь любое наказание партийцу, тем более по ложному доносу,— на пользу только кулачеству. Гурлев не согласился.

Вечером он запряг своего боевого коня в телегу, сказал старухе Лукерье: дескать, содержится Гнедко в конюшне без надобности и пусть покуда другим людям послужит. Вдовой жене Кузьмы Холякова второй конь не понадобился, с одним-то еле справлялась. Привел его Гурлев к Дарье, которая по проворству трем бабам равнялась.

— Ты, Дарена, ни о чем не допытывайся, но прошу мою просьбу уважить,— здороваясь, предупредил он заранее.— У меня один непорядок случился, возможно, отлучусь ненадолго. Гнедко пусть у тебя временно поживет, в домашности пригодится. Да еще: у меня на поле одна десятина пшеницы посеяна. Убери урожай. Пудов двадцать с урожая у себя оставь, потом поделимся, остальное отдай Холяковым. Им своего хлеба не хватит.

Не тому Дарья обрадовалась, что вот и у нее во дворе конь появился, а приходу Гурлева, как к близкому человеку. Бабье чутье вернее глаз. Сразу угадала: к мужику беда подступила.

— А что же, давай! Не мне от добра-то отказываться. Будет Гнедко сыт и ухожен. Урожай не оставлю на поле. Вывезу.

Дородная, сильная, прямодушная, она не умела прикидываться, а если уж дала обещание, то как топором отрубила.

— Вот и партбилет мой припрячь понадежнее...

У Дарьи слезы сверкнули.

— Совсем худо тебе, Павел Иваныч?

— Еще не знаю, но опасаюсь...

Свой партбилет он всегда хранил вместе с партбилетом отца в отдельном бумажнике. Дарья бережно завернула бумажник в чистый платок, расстегнула кофту и спрятала его на груди.

— Не повреди!

— Скорее, сама сломаюсь! Через тебя, Павел Иваныч, я увидела свет. Полюбила! Ну, только моя любовь не такая, в полюбовницы не навелюсь. Зато вернее собаки стану служить.

Гурлева удивило и смутило ее признание.

— Не к месту теперь про любовь.

Дарья утешила:

— Кабы не твоя беда, не стала бы раскрываться. Так будешь знать: не чужому доверился!

В багровом закате догорали прозрачные тучки, остывая, темнело небо. В простенке Дарьиной избы тикали ходики, и казалось, истекает время, кончается пройденный путь, а впереди, в завтрашнем дне только последние версты, закрытые мраком...

Ночь выдалась тихая, прохладная, а в избе Лукерьи стойко держалось тепло, пахло хлебом утренней выпечки.

Гурлев лег спать на полатях, но все равно было зябко. Тревога рассыпала мурашки по телу. Ведь сколь уже пережито, сколь жестокости и несправедливости видано за прошедшие годы, не в новинку и окрики сверху, пора бы привыкнуть, а вот, оказалось, еще не привык. И себя лишь унизил: «На, Авдеин, стреляй!»

А можно ли было сдержаться? Можно ли было позволить Авдеину учинять такую расправу, не считаться с партийной ячейкой, изымать самовольно партийный билет? Для коммуниста партбилет — это судьба! Жизнь! Вера! Наконец, кому и почему поверил Авдеин? Ложному доносу и клевете? При теперешней жизни в деревне все с бою берется. Кулаки, подкулачники, скрытые остатки белогвардейщины и прочие чуждые элементы, вон их сколько, как сорной травы на чистых посевах. Они же в открытую теперь себя не показывают: стреляют из-за угла, из ночной темноты, а где пуля не достанет — клеветой. Очень сомнительно, чтобы Авдеин был таким простачком, не видел и не слышал, как местным партийцам трудно, и если дозволяет себе подобное, непартийное обращение, значит, у него на уме что-то...

Это оказалась унылая и тоскливая мысль, туманное подозрение, не больше! Гурлев попытался его отогнать и взбодриться: дескать, не надо лишнего нагромождать, все прояснится, решится по справедливости и отступит. Однако подозрение в причастности Авдеина к чему-то постороннему и чуждому партии не давало уснуть.

Под утро, когда навалилась дремота, разбудил стук в дверь. В избу вошли два милиционера, предъявили ордер на арест и велели собраться.

Старуха Лукерья перепугалась, запричитала.

Гурлев взял про запас белье, две новые рубахи, попросил у Лукерьи хлеба и сухарей, а на прощание ободрил ее:

— Скоро вернусь. Не горюй!

В улице даже собаки не лаяли. Глухая тишина. Погруженные в темноту слепые дома. Если бы не бренчала по

дороге телега, не фыркала в упряжи лошадь да не сидели бы рядом конвойные — омут!

За околицей Малого Брода придорожный лес не шумел, в безветрии не качались вершины, из глубины не проглядывали кустарники. Черная трава у обочин. Мрачные версты легли впереди. Может, это последние версты. «Последние, последние, последние» — слышалось в цокоте конских копыт.

Всю дорогу Гурлев молчал. Он согласился бы ехать вот так хоть неделю, месяц, год, лишь бы не закрылось небо железной решеткой.

В подвальной камере районной милиции светилась керосиновая лампа, в углу параша, с нар свешивались голые ноги спящих подследственных.

Гурлев оперся плечом о каменный выступ стены и так простоял до рассвета. Теперь — точка! Подвел Авдеин черту!

После утренней побудки, когда невольные постояльцы слезли с нар, лицом к лицу встретился мельник Чернов. Все еще не осужденный, он прижился тут, опустил лохматую бороду.

Чернов опустился на колени против зарешеченного окна, долго молился во спасение души и только потом, заметив Гурлева, просиял:

— Милости просим к нам за канпанью, Павел Иваныч! И тебя гнев божий коснулся!

— Вас проведать решил,— уклонился Гурлев.

— Сюда дверь открыта, отсюда закрыта. С нами придется пожить, испытать, сколь тут сладко. Да обожди еще, клопы накусают, брюхо кипятком прополощешь — линять начнешь! Ничего в мире даром-то не дается. Согрешил или удовольствие поимел — за все бог спросит, а с тебя, Павел Иваныч, полагается взыскать вдвойне. Великое ущемление людей проповедуешь, наводишь смущение.

— И здесь ты не поумнел, Чернов,— заметил Гурлев.— У тебя — свое, у меня — свое, не станем счеты сводить.

— Это черти вас, распутников, породили.

— Так ты, Петро Евдокеич, от меня подальше держись,— усмехнулся Гурлев.

Волосатый цыган-конокрад посмотрел на них и сказал:

— Эй! Черта худом не поминай! Он веселый и вольный.

— Тьфу, ты! — матюкнулся Чернов.— Басурман некрещеный!

Цыган драл зубами жареного гуся и чавкал. Белобрысый парень лет двадцати хрумкал свежие огурцы с холод-

ной бараниной. Старец с жидкой бородкой, похожий на странника, аккуратно, не торопясь, хлебал деревянной ложкой сметану.

Все они, очевидно, уже переругались с Черновым. Прежде грузный, самодержавный, он теперь отощал и усох. Чужое обжорство вызывало у него явную зависть и гнев.

Гурлев отломил половину домашнего калача и подал ему на добавку к казенной каше.

— На,ешь и не мучайся! Нагишом плясать не заставлю.

Его самого на еду не манило. Прислушивался к шагам в коридоре, с минуты на минуту ждал: вот откроется дверь, выведут из камеры, скажут: «Ступай в райком, на бюро».

А время тянулось медленно, нехотя, за один час можно поседеть и состариться.

Цыган успел покончить с гусем, облизав пальцы, рыгнул и начал приплясывать. Белобрысый парень разговорился со старцем. Чернов разминался: три шага вперед, три назад.

После полудня из-за окна донесло Дарьин голос:

— Эй, милок! Тут, что ли, ваша КПЗ?

— Тут! — подтвердил наружный охранник.— Отступи, не лезь!

— Мне Гурлева надо, Павла Иваныча, из Малого Брода.

— Не лезь, говорю! Ступай к дежурному, проси разрешение.

— А ты отодвинься! Дай через окно потолкую.

— Не положено.

— Ты мне законы не выставляй! Пусти, не то двину — картуз потеряешь!

Все-таки она пробилась к окну и громко позвала:

— Павел Иваныч! Ты тут, али нету?

— Здесь,— отозвался Гурлев.— Перестань шуметь, сама под арест попадешь. Зачем примчалась?

— Затем и примчалась, что испугалася. Да и Федот послал. Велено передать...

К охраннику подоспели помощники, силком оттащили Дарью, но Гурлев понял: партийцы его постараются вызволить.

— Ты, небось, ее в полюбовницы взял, ишь, сколь заботливая,— насмешливо произнес Чернов.— Свою-то бабу куда подевал?

— У тебя не спросил,— резко ответил Гурлев.— Сиди уж... помалкивай!

— Дарья вся на мой вкус. Зря я в голодный год над ней

надсмеялся. Погодилась бы. Не любил я свою-то. Да и бедность тогда презирал. Теперь вот дошло до ума: нажитое богатство — это вода в пруду. Покуда створы закрыты — жернова на мельнице крутятся, а прорвется запруда, вода утечет и останется одно запустение. Вот сын меня ограбил. Сам нахожусь как в пустыне...

— Следствию признался или все еще отрицаешь? — спросил Гурлев.

— Про Евтея и Барышева дал показания,— поник Чернов.— На чем стоять, к чему воду мутить, коль все потеряно, мечтать не о чем.

Его смирению не верилось. Побитая собака тоже уши и хвост поджимает, а зазевайся — укусит!

Только на третий день Гурлева вызвали и привели к прокурору. Прежний прокурор Василий Васильевич, старый партиец, перевелся в другой район, а новый, по фамилии Перескоков, человек средних лет, показался усталым и нервным.

Гурлев приготовился говорить и отвечать коротко, в спор не вступать, если начнется нажим, но Перескоков почти безразлично уведомил:

— Вы, гражданин, обвиняетесь в покушении на жизнь секретаря райкома Авдеина и в гибели вашего коммуниста Холякова.

Перескоков ткнул пальцем в лист бумаги и подвинул его к краю стола.

— Ничего не стану подписывать! — уперся Гурлев.— Сначала докажите!

— Это вам придется доказывать. У нас заявление Авдеина и соответствующее письмо насчет Холякова. Вы угрожали Авдеину револьвером?

— Верно, наган вынимал, только не супроть него.

— Зачем же?

— Вы не поверите. И чего напугался Авдеин — не знаю! Мы с ним впервые увиделись. Коснись вас, вы бы тоже не отдали свой партбилет и возмутились наскоком. Этак любой может накричать, нашуметь, ногами натопать, а потом все на тебя свалить. Не честно! Не по правилам партии. Я такого обращения не заслужил. Мой отец, большевик, казнен белоказаками. Мне партбилет тоже не без крови достался...

Гурлев сдернул гимнастерку и нательную рубаху, обнажил грудь: от левого плеча чуть не до пояса багровел рубец сабельной раны.

— Оденьтесь,— отвел глаза Перескоков.— Это не доказательство.

— Так и у Авдеина доказательств нету. Были-то один на один. А что касается поклепа, который мне Авдеин с бумажки вычитывал, так могу поручиться: кулак настрочил! Месть за хлеб! Месть за землю! За всю Советскую власть — месть! Неужели это никому не понятно?

— Будем расследовать. Партбилет все же отдайте в райком. На бюро вас вчера исключили из партии.

— Не отдам, хоть зарежьте!

В камере, куда его снова закрыли, Гурлев прилег на нары. Голова ломилась, так ошарашило обвинение.

И все же оставалась надежда: пройдет неделя, от силы две, и вся эта позорная история кончится.

Но день за днем миновал, как затяжное ненастье, уныло и мрачно, а ничего не менялось. Гурлев дал себе зарок: не стучать в дверь, не требовать следователя, хотя понимал, что может себе навредить. Наверняка ведь не лежит его дело в шкафу. Зато только время и только терпение укрепляли надежду.

Чтобы не мучить себя унылыми мыслями, Гурлев постоянно обращался к прожитым годам, как бы заново проверял себя, и к делам, которые продолжали его волновать. Подступала пора убирать с полей урожай, начинать осенние заготовки, вдовам и сиротам надо бы запасти к зиме дрова, взять на учет неграмотных, определить их в школу ликбеза... Старался представить — хорошо ли справляются без него члены партийной ячейки с этакой уймой обязанностей и неотложных забот.

Дарья два раза в неделю приезжала из Малого Брода, привозила передачи, а свидеться с ней, поговорить, узнать хотя бы, кто на должности его заменил, Чекан или Томин Парфен, охрана не допускала.

Постояльцы в камере часто менялись. Чернова вызвали, и он уже не вернулся. Цыгана и белобрысого парня отправили в исправдом, старца выпустили на волю, а вместо них насажали растратчиков, дебоширов, воров. Приходилось слушать их поганые разговоры, спать бок о бок.

Потом засентябрило, похолодало, начал сыпаться мелкий занудливый дождь.

В один из таких дней, наконец-то, снова вызвали на допрос, но привели не кПерескокову, а к его заместителю Бабину. Тот был местный, Гурлев его давно знал и поэтому переступил порог в кабинет с полным доверием.

— Ну, не соскучился еще, Павел Иваныч? — попросту спросил Бабин.

Начало понравилось Гурлеву.

— А ты, Григорий Сазонтыч, сам испробуй, узнаешь.

— Да, затянулось расследование,— согласился тот.— Много неясности. Я уже три десятка свидетелей допросил...

— И что же?

— Теперь хочу послушать тебя,— соблюдая правила, уклонился Бабин.— Надеюсь на откровенность.

— Я никогда не увиливал и хитрить не умею. Насчет Кузьмы Холякова вся правда изложена в его письме избачу.

— Читал. Оно у меня.

— Так же и в протоколах ячейки.

— Тоже читал.

— От себя могу лишь добавить: надо было самому лично того бандита накрыть! И не знаю, как Холяков, не поставив меня в известность, пошел с ним ночью на встречу. С кем? Кто его на след Барышева навел? Так вот, не тот ли человек, через которого Холяков погибель принял, и на меня состряпал клевету? Сведите меня с ним на очную ставку.

— Письмо не подписано.

— Тогда и говорить о нем дальше не стану.

— Но заявление Авдеина не отрицаешь?

— Тоже навет! С испугу он, что ли? Или по злобе на меня, что спину перед ним не согнул. Как это я посмел?

— Ты что же, в самом деле наганом размахивал?

— С наганом — это моя оплошка! Повинюсь тебе, Григорий Сазонтыч, от чистого сердца, только в протокол не пиши, совестно! Да и писать-то впустую, никто не поверит. Достал я из кармана наган, подал Авдеину: «На, застрели меня, коли я чуждый партии и по всем видам подлец! Расписку дам, дескать, сам напросился!»

— Действительно, не похоже на правду,— засомневался Бабин.

— Пошатнулся я в тот момент. Не ко времени явился к нам Авдеин, взялся с меня шкуру драть. Накануне Антон Белов в пьяном виде вдову Кузьмы изобидел, днем мы решали, кого в домину Согрина поселить, куда его имущество подевать, а ночью Горбунов попался на краже и в петлю залез. Устал я, напереживался, но мог бы сдержаться против барских замашек Авдеина, если бы он не потребовал от меня партбилет...

— Однако придется это показание вставить в протокол,— начал записывать Бабин.— Дальше не мне решать.

— Вставляй, так и быть! И нельзя ли поторопиться? Изведусь я под стражей. Причаливай к берегу. Мне еще

предстоит до окружкома или до обкома добраться, буду там правду искать.

— Есть одно обстоятельство,— начал было, но тотчас оборвал себя Бабин.— Из-за него задержка...

— Не можешь сказать?

— Не могу!

— Еще будешь вызывать?

— Если понадобится.

— Ладно! — согласился Гурлев.— Три месяца отбарабанил за решеткой и еще подожду, только сделай милость, не сочти за излишнее любопытство: кто теперь в Малом Броде вместо меня? Томин или Чекан?

— Чекан уволился и уехал. Когда тебя на бюро исключали из партии, он обвинил Авдеина в левацком загибе. Тот и дал ему «зеленую» улицу. Братья Томины в сельсовет не показываются. Зато Белову оказано райкомом большое доверие. Он теперь во главе. Впрочем, я тебе ничего не рассказывал,— понизил голос Бабин, опасливо поглядев на входную дверь.— Сиди и жди!

— Дозволь в окружком написать.

— Покуда нельзя. Подследственному не дано право.

Многое недосказал Бабин, но Гурлев вышел от него с чувством облегчения и окрепшей надежды.

В ноябре после большой пурги разыгралась метель-высвистуха. Дарья привезла шубу, шапку и валенки. На коротких прогулках во дворе разрешалось брать лопаты и подгребать снег, это после сидения взаперти тоже взбадривало, хотя тоска по воле, по работе продолжала щемить.

Немного развеял ее Петро Кудеяр. Когда его втолкнули в камеру, Гурлев даже отступил в изумлении, зато Кудеяр обрадованно протянул ему руку:

— Здорово живешь, Павел Иваныч? Ну, как оно, житьишко, здесь?

— Оглядись, сам увидишь,— высвобождая ему место на нарах, доброжелательно сказал Гурлев.— За что попал?

— За овечку!

— На чужую позарился?

— Вся наша существования на земле, Павел Иваныч, это бег с кочки на кочку. Вышла у меня оказия. Антоха Белов теперя в Малом Броде бог, царь и земский начальник. Командует в потребиловке и в партейной ячейке. Пришел ко мне, тулуп принес: «Сшей, Петро, боркован!» А я смотрю: согринский тулуп, я сам его шил в прошлом году. «Откудова же,— спрашиваю,— у тебя этот тулуп, ежели он в продаже не числился? Выходит, ты его слямзил, когда

имущество Согрина переписывали?» Так прямо и врезал. Мне с ним, с Беловым-то, детей не крестить. Покуда он был не на высокой должности, в нем худого не замечалось, а как всплыл на поверхность, внизу совесть забыл и кто же он есть. Не поглянулось ему, заорал на меня: «Не суй рыло, не то обожгешься!» Показал я ему на порог. Катись, мол, без боркована — не затеряешься. Мне с тобой ни есть, ни пить, ни квас варить. Да и завсегда у нас с ним любовь такая: один раз друг на дружку посмотрим — неделю есть неохота! Вскоре после того начали богатых мужиков раскулачивать...

— Всех или только заядлых?

— А ты не слыхал, что ли?

— Сюда газет не дают и агитаторов не посылают.

— Подряд Первую улицу вычистили. Никого не осталось. Согрину посчастливило: выселили, разорили, зато на Север не угодил. Теперь ихи дворы заселил беднеющий люд. Мог бы и я двор Саломатова взять, а опять же, как и к Согрину, не пожелал, покуда, окроме меня, эвон сколько нуждающихся. После выселки кулаков пошла команда объединяться. Приехал твой-то супротивник Авдеин, собрал сход, стал призывать писаться в коммуну. Весь-де район, сколь есть деревень и сел,— под одно гребло! Мы ему про колхоз, а он одно свое — коммуна! Ладно: приехал-уехал, колокольцы прозвенели и смолкли, зато Белов будто до одури самогонки напился и начал выслуживаться. Разом приходит ко мне и от порога громким голосом: «Пошто в коммуну не пишешься? Али особого приглашения ждешь, али супроть Советской власти намерения имеешь?» Обозлил меня. Ну, я по-нехорошему и выразился. Думал, утрется и отстанет, а он к случаю подгадал. У Мирона Пестеря овечка потерялась. Туды-сюды: не нашли! Белов и показал на меня: вроде ко мне в печку заглядывал.

— Про коммуну расскажи поподробнее,— настоятельно попросил Гурлев.— Все ли мужики записались? Кто председатель?

— Слово в слово правда: весь район хотят в одну коммуну согнать. Но, видать, дело туго идет. Многое непривычно и непонятно. Кому-то в масть, другим — шуба не по плечу. Надел мужик новую рубаху, чистые шаровары и справные сапоги, а старье жалко выбрасывать. Парфена Томина выбрали председателем. У себя дома он мужик дельный, а в правлении, надо быть, растерялся, не может управиться. Тут дыра, там дыра. Меж собой люди не могут ужиться, соображаловка у нас покуда тугая.

Поясни, Павел Иваныч: завсегда вы, партейцы, баяли про колхоз, а вдруг коммуна?

— Я сам теряюсь в догадках,— признался Гурлев.— Какие-то перемены в политике, что ли? Сижу здесь, как ломоть отрезанный... А сам-то, Петро, чем занят?

— Волосы не чешутся, иголка не шьет. Нахожусь почти в полном безделье. Вот один мастеровой вроде меня наломается, бывало, спина болит, руки-ноги отваливаются. Все мечтал на том свете отдохнуть. А сам с того света уж через неделю стал проситься обратно: «Робить хочу! Без дела — это не отдых, не радость!» Так и у меня. Овечек-то всех согнали в один табун, овчин не стало. Из чего шить тулупы и шубы? Здесь еще, поди, хуже?

— Сам же сложил поговорку: «То не мужик, если бабу не бивал, то не конь, если в упряжи не бывал!» — мягко сказал Гурлев.— Значит, терпи! Я вот тоже пропадаю без дела.

На следующей неделе Кудеяра освободили: овечка Мирона Пестеря, оказалось, в колодец упала.

Как нацарапанная на закопченной стене надпись, осталась после Кудеяра добрая память.

Начался тридцатый год — новая ступенька вверх, после крутого, но уже пережитого перелома в жизни страны.

Длинные темные ночи, зыбкая тишина, мучительная бессонница — казались порой нескончаемыми. Керосиновая лампа с коротким фитилем мизюкала круглые сутки. Изредка в заиндевелом окне появлялся просвет, низкое зимнее солнышко не могло заглянуть сюда и хоть чуточку скрасить унылую, осточертелую обстановку.

В конце января нежданно-негаданно отправили Гурлева из Калмацкой милиции в город.

Провожал подводу Бабин, в напутствие не промолвил ни слова, зато, почти крадучись, пожал Гурлеву руку. И спросить его тоже не удалось: будет суд или продолжится следствие?

Подвода круто подалась со двора, кучер подстегнул лошадь: предстоял путь не ближний!

За околицей начались празднично украшенные куржаком березовые леса. Розовые снега на необъятных просторах. В полнеба красное зарево. Чуть погодя всплыло морозное солнце, давно невиданное, по бокам огневые столбы. Гурлев снял шапку, вроде утереть лоб и брови, но лишь бы втайне ему поклониться.

Рядом в розвальнях сидел конвоир. Гурлев спросил у него:

— Куда это меня?

— Не могу знать,— безразлично ответил тот.— Велено препроводить в исправдом, а бумаги в окружную прокуратуру. Наверно, по твоей уголовной статье так нужно.

Так или не так, а дело сдвинулось с места. В городе на ход следствия Авдеин уже не мог повлиять. И неспроста, вероятно, Бабин выказал дружбу.

И опять впереди по дороге лежали версты и версты, зато не тягостные, без напряженных раздумий: они вели к жизни!

Через три дня он вышел на волю.

Повсюду ослепительно блистал снег. За воротами исправдома, уже на улице, внезапно глаза заслезились. Лицо оставалось спокойным, будто ничего не случилось и нет никакого волнения, а слезы текли по щекам крупные, соленые и горячие. Гурлев смахнул их ладонью, когда увидел Чекана. Тот приехал на извозчике и зябко топтался возле кошовки.

Позднее он еще больше порадовал Гурлева. Районный прокурор Перескоков, опасаясь Авдеина, прекратить уголовное дело против Гурлева не насмелился, но намеренно затянул следствие, пропустил все законные сроки и передал его по инстанции выше. Стало понятным и то «особое обстоятельство», о котором намекал Бабин: честные люди притупили у Авдеина коготки. Чекан так и сказал: коготки! Очень уж хотелось Авдеину утвердить себя недоступным и беспощадным.

— Я беседовал кое с кем в окружкоме,— дальше сказал Чекан.— Кто Авдеин? Откуда? Прислан он из Свердловска. По образованию — историк, лекции где-то читал, потом скатился в оппозицию, левак, для исправления послан на низовую работу.

— А его намерение в одну коммуну объединить весь район? — спросил Гурлев.— Что об этом говорят в окружкоме?

— Не знаю, не знаю! — отрешился Чекан.— Идея какая-то вздутая, вот-вот лопнет, а ничего я пока толком не выяснил.

Извозчик лошадку не торопил, она бежала легкой рысцой. Кошеву потряхивало на изъезженной мостовой. Прямая городская улица, обставленная справа и слева деревянными домами и домишками, тополями во дворах, из низины протянулась по каменистому взгорью до станционного поселка. Там, вблизи вокзала, рабочее семейство Чеканов имело свой дом давней постройки.

Родители Федора и его молодка Аганя, все такая же милая и красивая, встретили Гурлева, словно дорогого гостя. После холодных казенных стен и гнетущего озноба на душе их теплота, чистота жилья и радушие глубоко растрогали. Его тут ждали: об освобождении Федор узнал еще накануне. На столе в большом блюде лежал свежий рыбный пирог, выставлена бутылка с красным вином.

Сразу у порога отец Федора Тимофей Гаврилович поднес Гурлеву полную рюмку.

— С избавлением, Павел Иваныч! Давай чокнемся по обычаю и будем знакомы. Говорят, человек за свою жизнь семь раз умирает и семь раз оживает, но с каждым разом умнеет и крепнет. Вот и считай: если снова вернулся к жизни, то и на твою долю еще немало радости выпадет.

— Батя у меня философ,— засмеялся Федор.— Все движется и все изменяется, и в этом мире все к лучшему.

— Тоскливо жить, когда дни и годы как медные пятаки наштампованы,— отшутился старик.

Мать Федора — старушка, похожая на одуванчик, с пушистыми светлыми волосами и ясноглазая, поставила на стол самовар и велела Агане переодеть Гурлева в чистое. Взятое из сундука белье, рубаха, брюки, еще не ношенные, оказались тесноваты, но пришлось хозяевам уступить: грязное белье и одежду вынесли во двор.

Никто не спрашивал: как, мол, за решеткой-то, небось, нагляделся-навиделся, и трудно пришлось. Зато много говорили в обед за столом и после обеда о семейных делах, дружно и весело строили планы на будущее. Аганю уже определили в вечернюю школу. Федор готовился поступать в институт. Тимофей Гаврилович собирался осваивать новый кузнечный молот и советовал Гурлеву не возвращаться в деревню, обосноваться на производстве...

Как иссохшая грязь отпадает от чистой поверхности, точно так же в этой семье отпадали от Гурлева горечи пережитого. К концу дня он непринужденно, с улыбкой сказал:

— Однако на воле жить отменно приятно.

36

Почти полных два дня шла Дарья пешком по зимней дороге от Калмацкого до Челябинска. Только такая здоровячка могла выдержать мороз, одиночество и суровый ветер. Пришла она в дом Чеканов уже поздним вечером, от порога кинулась к Гурлеву:

— Ох, слава те бог и пресвятая мать-богородица. Нашелся!

Ей сказали в Калмацкой милиции, куда отправлен Гурлев, она и направилась сразу на поиски, а когда в исправдоме узнала, что он еще накануне отпущен, под собой ног не почуяла. Домашний адрес Чеканов был у нее при себе.

— Ну, со свиданьицем! — поздоровалась Дарья и без стеснения обняла, поцеловала Гурлева в щеку. Потом смутилась: — В первый раз согрешила. Не доводилось еще мужиков целовать.

Из этакой дали принесла она Павлу Ивановичу передачу, думала: засудят его и отправят куда-нибудь. При ее бедности что-то последнее продала или променяла, но собрала в запас круг коровьего масла, кусок свиного соленого сала, сдобы и сухарей.

Намеревался он ее дружески поругать: зачем, мол, потратилась, а язык не повернулся, да и приласкать ее тоже не мог — не своя! Еще помнилась Ульяна, дочерна обожженная горем.

— А почему пешком? Гнедко-то где?

— Нету твоего Гнедка,— виновато ответила Дарья.— Не могла отстоять. Белов его в коммуну на общую конюшню забрал.— И, обращаясь к Тимофею Гавриловичу, похвалила: — Ведь вот же, конь, животина, а тоже к человеку имеет любовь! Когда забрали Павла Иваныча — шибко о нем затосковал. Ржет, зовет по-своему, потом есть-пить перестал. Теперь и там, на конюшне, хоть и посреди других лошадей, а не забывает хозяина звать. Я приду попроведать, гриву ему поправлю, кусок хлеба подам — не берет!

— Помолчи! — оборвал Гурлев.— Дальше не сказывай, не могу!

И ни о чем ином, что в Малом Броде творилось, слушать уже не стал. Все семейство Чеканов упрашивало еще погостить у них, отдохнуть, подкрепиться, но уговорить не удалось.

— Душа изболелась, недосуг теперь прохлаждаться! Завтра пойду в окружком: надо прежде партийность восстановить и после — сразу домой! — А у Дарьи спросил:

— Ты мой партбилет, случаем, не принесла?

Она чуть-чуть отвернулась, расстегнула кофту и подала.

— Гляди: не замарано, не помято!

Мать Федора, не в похвалу Дарье, а просто по-женски заметила:

— Спарить бы вас, белых лебедей.

— Я невезучая,— скраснела Дарья.— Хорошие мужики почто-то обходят, а плохих — даром не надо. Люблю Павла Иваныча, только не по-бабьи, по-своему люблю, как могу!

— И я тоже ее люблю,— признался Гурлев.— Не прочь шапку снять, поклониться. Ну до настоящего, чтобы сойтись и жить вместе, оба, наверно, еще не дозрели. Покуда не то на уме...

— Да уж сказывай прямо, Павел Иваныч, стоит меж нами Ульяна! — без упрека, без обиды, а в открытую поправила Дарья.— Стыд промолвить, грех утаить: я уж не раз ей завидовала. Дура баба! Хозяйство порешила, мужика сделала бобылем!

— Оставь ее, не ругай! — попросил Гурлев.

Восстановление в партии решилось не скоро. Так уж заведено: никто слову не верит и непременно огораживает себя бумажным забором. Пока в канцелярии окружкома разыскали протокол бюро Калмацкого райкома — день миновал, потом оказалось, написано в протоколе скупо, невнятно и бестолково — почему применена к Гурлеву такая крутая мера. После окружкома понадобилось идти в ОкрКК, которая занималась государственным и партийным контролем. Принял его сам председатель Худяков, на вид пожилой, в седине и суровый. Минуту молчаливо, напряженно смотрели друг на друга, словно силы примеривали, затем взгляд Худякова потеплел, и он кивнул на стул возле стола.

— Садись! Члены контрольной комиссии уже все ознакомлены с материалами по поводу твоего исключения из партии. Приходится сожалеть о допущенном перегибе, поскольку нарушено одно из главнейших условий Устава, исключен ты заочно. Обвинение следствием не доказано, а прежде партийную чистку прошел благополучно, без замечаний. У нас общее мнение: исключение считать недействительным! Завтра получи выписку и ступай домой, продолжать исполнение партийных обязанностей.

— А кто ответит за мой арест? — спросил Гурлев.— Вам за справедливость спасибо, но ведь перед людьми я останусь запятнанным. Да и с Авдеиным нас мировая не возьмет!

— Мы с ним побеседуем,— туманно пообещал Худяков.

Хотелось еще разузнать: не ломает ли Авдеин политику партии о сплошной коллективизации, почему создает коммуну на весь район, но Худяков заторопился куда-то и попрощался.

Невзгоды закончились, снова можно было смело всту-

пать в кипучую жизнь, брать на плечи прежние тяжести, стало легко, свободно, хотя и без личного счастья.

Дарья разыскала Ульяну и прямо-таки за рукав его потащила. Все у нее получалось живо, круто, словно при безграничной душевности торопилась раздать себя без остатка.

Ульяна квартировала в Заречье, в дряхлом домишке горбатой старухи. Улица напоминала захудалую окраину, хотя протянулась от моста вдоль реки. Домишки, дворишки, хуже, чем деревенские, лишь высокие тополя в палисадах, кружевные занавески на окнах, неистребимый запах помойных ям.

Дарья осталась снаружи, на улице. Гурлеву открыла двери хозяйка, косо взглянула и пропустила вперед. Он, наклоняя голову, прошел через сенцы и сразу попал в полутьму комнатушки, где в святом углу горела лампада.

Ульяна сидела на лавке, сложив молитвенно руки на коленях, вся в черном, и не ответила на вопрос:

— Не прогонишь?

Гурлев постоял, подождал.

— Хоть слово промолви.

— Она в церкви робит прислужницей и строгий обет на себя наложила — год молчать, грехи свои и чужие замаливать,— подсказала хозяйка.— Ты ее душеньку не смущай.

От прежней Ульяны ничего не осталось: монашка, затворница.

— Значит, сама судьба на нее осердилась и от себя оттолкнула,— определила позднее Дарья.

Попутную подводу в Малый Брод они не нашли ни на базаре, ни на постоялых дворах. Одурелая погода разразилась метелью. Потом прояснило и начался крепкий мороз. Снег под ногами хрустел и ломался. В иной раз Гурлев не насмелился бы пускаться пешком в такой дальний путь, но уже совестно стало гостить у Чеканов и, как говорила Дарья, «сильно приспичило» возвратиться поскорее домой. Она беспокоилась о своей избе, а у Гурлева была другая причина: в Малом Броде еще оставался Гнедко, надо его выручать, да и люди в трудную пору переустройства общественной жизни нуждались в поддержке.

В Малый Брод Гурлев и Дарья пришли поздней ночью, насквозь промороженные. Крупные зимние звезды ярко мерцали в глубоком изгибе бездонного неба, в непросветной тьме утонуло ледяное озеро, в улицах безлюдье и тишина.

Сгорбленная, занесенная снегом изба Дарьи сиротливо

выглядывала из переулка. Жилым в ней не пахло: заиндевелые окна, изморозь на стенах.

Дарья сняла шубейку и полушалок, накидала в печь дров и разожгла огонь.

— Вот таковская одинокая участь, Павел Иваныч. Только печка неразлучная подружка. Иная на моем-то месте уж давно завила бы горе веревочкой, замуж не берут, так допустила бы хахалей, а я не могу переступить через стыд. Век бабий короткий, мне уж без малого двадцать пять, природа своего требует, охота жить по-людски, любить, детишков рожать, да не переводилось бы тепло в избе. Тоже ведь и надо мной судьба подыграла...

Лицо ее, высвеченное жарким огнем из печи, оставалось спокойным. Багряные блики метались по стене, по окнам и лавке.

— Ну, однако, уж лучше так век вековать, чем в корысти и бесчестье. Согрин-то, когда я у него стряпухой служила, не раз звал стать его полюбовницей. Сотенные предлагал. А я ему скалкой в лоб посулила. Мне и на голой печи сладко спится. Взлететь бы повыше и оттуда на мир посмотреть. Аганьке-то вон как повезло! Может, и мне такое же выпадет...

Гурлев слушал, смотрел на нее и вдруг удивился: не та Дарья, какую он знал! Прежняя Дарья — смелая на поступки, пробойная, оборотистая, просто заботливая и надежная — раскрыла в себе те же стремления, те же неуемные желания, какие увлекли весь народ. И она была теперь в один уровень с теми, кого он любил.

Пока в чугунке варилась картошка и закипал чайник, Дарья присела на лавку к столу, внимательно посмотрела на Гурлева.

— Ты, поди-ко, меня осуждаешь? Привязалась-де! Нет, Павел Иваныч, я не такая нахальная. А что полюбился ты, за все твое дело, за прямоту, доброту и страдания — не скрывала и дальше не скрою: желаю всегда быть при тебе, у твоего плеча как друг.

— И я того же хочу! — с чувством промолвил Гурлев.

— Вот и уговорились,— улыбнулась Дарья, затем с сожалением добавила:— Накормила бы тебя сейчас шанежками, да ни муки, ни сметаны нет. С урожая все зерно отдала в коммуну.

— Переживем! — бодро ответил Гурлев.

— Спать куда ляжешь? У меня, как видишь, ни кровати, ни полатей в избе не бывало, да и перина одна, а на полу от дверей холодит. Или на квартеру к Лукерье уйдешь?

— С тобой останусь! Нельзя нам теперь разлучаться...

Он еще добавил бы что-нибудь чистое, благодарное, но голос сорвался, а Дарья упала лицом на его раскрытые ладони со сладким стоном и зарыдала.

К утру в избе захолодало. Серый рассвет медленно ложился на снежный покров. Лениво клубились дымки из печных труб над домами, слепо смотрели в улицу заледенелые окна, и, проходя мимо, Гурлев с тревогой думал: кажется, не живо, не без смущения и страха вступил Малый Брод в коллективную жизнь?

Правление коммуны заняло бывший согринский дом. У тесовых ворот стояли Иван Добрынин, Илья Шунайлов и Фома Бубенцов. Говорили они между собой вяло и раздраженно. Гурлев с каждым поздоровался за руку.

— Отчего так забурели? Неполадили, что ли?

— С толку сбилися,— неохотно сказал Бубенцов.— Ты, бывало, сулил нам, Павел Иванович, больше попа: тот — рай на небеси, а ты — удовольствия на земле! Где же те удовольствия? На поверку выходит, не в то место мы угодили. Сам-то ты как?

— По чистой оправдан.

— К нам в коммуну-то вступишь?

— Если возьмете.

— У тебя все ж таки голова супроть наших светлее,— заметил Илья Шунайлов.— Надо быть, наведешь порядок, а не то разбежимся.

— Ловчее было одноличником остаться,— уныло добавил Иван Добрынин.— Знал бы свое и все!

— Его на большую должность поставили,— усмехнулся Шунайлов.— Заведует конным двором.

— Тебя бы туды, да потом посмотреть, почнешь ли справляться! — огрызнулся Добрынин.— Вот спозаранок дворы обежал, зову мужиков: айдате, мол, надо снарядить в поле подводы за сеном, с лесосеки бревна доставить. А покуда соберутся — полдня мимо проскочит: один с бабой не доругался, другой заскудался здоровьем, у третьего пимы прохудились, жди покуда починит. Тут вдобавок в правление тягают: пошто кони стали тощие?

— Мой Гнедко у тебя? — спросил Гурлев.— Жив, здоров?

— Подохнет скоро, наверно. С осени на ем воду возили, а теперя на ногах почти не стоит.

— Довели?

— А я почем знаю! Своей лошаденки у меня не бывало, а тут враз дали под начало три сотни коней, всю конскую

сбрую, телеги, дровни, со всего Малого Брода собрали.

— Конь все ж таки больше принадлежит к мужику, а ты спробуй с птицей поладить,— возразил ему Бубенцов.— Поставили меня руководствовать курями и гусями. С каждого двора согнали в бывший двор Ергашова, видимо-невидимо. Господи помилуй, такое творится, с ума можно спятить: петухи беспрестанно дерутся, куры походя яички теряют, а один петух возненавидел баб. Я иду по двору — уступает дорогу, а на птичниц кидается. Марье Филатовне полноздри оторвал.

— Заруби его — и в горшок,— засмеялся Гурлев.

— Не положено! Надо у правления прежде спроситься...

Парфен Томин, председатель, подъехал к воротам верхом на коне. Сам рыжий, конь тоже, оба медлительные — масть в масть.

— Кого вижу! — удивленно и как-то опасливо сказал Томин, словно Гурлев только-только воскрес.— Павел Иваныч! А мы уж не ждали...

— Могу уехать, если во мне не нуждаетесь,— жестковато сказал ему Гурлев.— Моя честь не замарана.

— Не обижайся, Павел Иваныч,— уже другим, более дружеским тоном поторопился объяснить Томин.— Авдеин тут нас всех в угол припер, пикнуть нельзя. Чуть-чего, обзывается контрой...

При посторонних людях он, соблюдая партийную сдержанность, широко распространяться не стал, зато, пригласив Гурлева к себе в контору, скинув шубу и вытерев ладонью лицо, выложил все, что в нем накипело:

— Измаялся в должности. Ну, разве я председатель? Грамотой плохо владею, на язык мне медведь наступил, материть мужиков совестно. Лично с Авдеиным говорил: «Отпусти, заставь скот пасти, не то семена к вёшне готовить, на все согласен, только уволь!» — «Заставим, так справишься! Почнешь отлынивать — другое место найдем!» А уж это, мол, сам понимай, как угодно. Насчет коммуны заикнуться нельзя. Люди к ней еще не готовы, каждого сумление берет: обещали колхоз и — вдруг коммуна! Пошто? И насчет добровольности... Мы знаем точно, еще в твою бытность, Павел Иваныч, прорабатывали на партсобрании указания съезда партии и прочие документы из центра. Везде сказано про колхозы и добровольность. Тут я думаю: не грешит ли районное руководство?

— Покуда не ясно,— уклонился Гурлев.

— А почему не так! Им вынь да положь все сто процентов. У нас до ста не хватает. Пятеро мужиков — Михайло

Сурков, дед Савел, Белошаньгин Никита, Федор Панов и Прохор Неверов — заявили о желании остаться в единоличном хозяйстве. Михайло, этот из прынципа. Прихожу к нему: «Ты, Михайло, нам проценты понижаешь. Из-за тебя на первое место по району не выйти. Давай, пишись, обобщайся, не то греха наживешь!» А он-таки за свое: «Я не меньше вас газеты читаю. Про колхозы пишут, про коммуны молчат. Пошто? Не живуче, наверно?» Хочу ему втолковать: «Не будь всех умнее, не ставь прынц на прынц. Мы тебе хорошую должность дадим». Авдеин давит: «Давай и давай! Не то из партии вон!»

— Ну, и как дело настраивается? — понимая, что ничего ладного ждать не приходится, все-таки спросил Гурлев.

— Боюсь, к вёшне не подготовимся. Перво-наперво тягловой силы мало. Поморили коней, впроголодь держим. Надо полагать, кулачество оставило после себя незримых сообщников. Подле Каменного озерка недавно пять зародов сена сгорело. Вдобавок, еще и Авдеин у нас фураж поубавил. Мы держали в казенном анбаре запас овса, хватило бы коней перед пахотой накормить, а он повелел половину запаса в суседнюю деревню отдать. Кузнеца нет.

— Был же кузнец-то, Сема Копченый.

— Кузню развалил, сам в Шадрино уехал и семью увез. За хвост ведь никого не привяжешь. Следом за ним, один по одному, уж двадцать семейств избы закрыли и в город подались.

— Это нам, партейцам, в укор!

— Мы пробовали их убеждать, однако не достучались. Со старых времен въелось в мужиков недоверие. Вдобавок, запретить выезд нельзя: все кинулись на строительство. Причина важная. Я спрашивал у Авдеина: как быть? У него только один ответ: сам думай, иначе за развал под суд отдадим. Теперь хоть ты подскажи, Павел Иваныч...

— Сложная положения,— задумался Гурлев.— Далеко живем от города, не то сходил бы куда надо, разузнал что к чему? Я же могу лишь отметить: коль пришло новое время, так по-новому же надо соображать и поступать. Сейчас до сознания людей надо добраться. В их сознании вырастить добрые семена, ясное понимание коллективной жизни. Партейным словом и личным примером...

— Да все это так, только кто станет пример-то показывать? — засомневался Томин.— Тебя бы на мое место, Павел Иваныч! К тебе мужики шибко привержены. Ты у них в полном доверии.

— Меня Авдеин сюда не допустит,— уверенно сказал

Гурлев.— Не сговоримся! Я намеревался было сняться отсюда с учета, в городе поступить в совпартшколу, выучиться и потом снова вернуться в Малый Брод, но, видно, придется еще обождать. Не могу вас, моих товарищей, оставить одних, обязан разделить в экую пору любую трудность.

Томин благодарно пожал ему руку.

— Мы тебя изберем моим заместителем.

— Не гожусь! Авдеин спихнет. Поставь меня на конный двор конюхом. Под начало к Ивану Добрынину. Поскольку я бывший кавалерист, уход за конями налажу, к вёшне их подготовлю. Что иное можно выпустить из внимания, а тягловую силу, без которой на вёшне не обойтись, надо сохранить и содержать в полном порядке.

Томин вдруг опасливо оглянулся и знаком показал Гурлеву прекратить разговор. Раскрыв дверь настежь, в контору размашисто вошел Белов в новом борковане и залихватски заломленной шапке.

Гурлев попрощался с Парфеном, Белову руки не подал.

С конного двора порожние подводы только начинали направляться в поле. Возчики не погоняли коней, те шли умеренным шагом.

Гнедко уже подыхал. Он лежал посреди двора, на мерзлой земле без подстилки, вытянув ноги и шею. Узнав хозяина, конь открыл застекленевшие глаза, тихонько заржал, попытался встать, но снова свалился. Выпала ему доля пасть не в жарком бою, не от спокойной старости в теплой конюшне, а все же он успел в последний миг повидаться.

Гурлев долго сидел подле него, гладил его давно не чищенную шею, расправлял свалявшуюся гриву.

Такая важная новость, что вернулся Гурлев, как быстрая птица в тот же день облетела Малый Брод из края в край.

Поздним вечером в избу Дарьи поспешно пришел Федот Бабкин, за ним вскоре явился дед Савел, затем Михайло Сурков, учитель Кирьян Савватеевич, бегом прибежал Серега Куранов, а потом уж и счет потерялся, сколько оказалось желающих проведать, поговорить и послушать.

— Лично я,— убеждал Гурлев,— не сомневаюсь в правильной линии нашей партии. Она, если надо, поправит! И вас это прошу затвердить.

Мужики же и посоветовали ради сохранения тягловой силы отправить табун и коней на тебеневку. Чем-де содержать их в конюшне при бескормице на старой соломе, надо на оставшееся до вёшны время согнать к Сорному болоту,

на зимнее пастбище. Кони сами найдут чем прокормиться из-под ног. Вокруг болота камыши, кочки с осокой, травы, не покрытые снегом.

Накурили в избе, надымили, зато сообща дельно сообразили, как не порушить хозяйство.

Гурлев вместе с Иваном Добрыниным выбрал на тебеневку только тех коней, которые еще могли выдержать зимнюю стужу под открытым небом. И в тот же день угнал их на пастбище. Дарья от него не отстала. Как и коням, жить пришлось посреди снегов, дерновый балаган не спасал от мороза, грелись у костра, спали попеременно, питались картошкой, жидкой похлебкой, но оба были довольны: уже через неделю кони начали поправляться, нагуливать тело, набирать силу и бодрость. Изредка приезжал к ним верхом Парфен Томин, сообщал разные новости. Авдеин пытался было совсем выжить Гурлева из Малого Брода, а потом отстал: чем конюх мог ему навредить? У Белова в сельпо вскрыли растрату.

Уже заканчивался ветреный зазимок, кое-где на березах появлялись капели, прозрачные, чистые, и сладкий запах весны растекался в ослепительном свете.

Хоть и предупреждал Томин, опасаясь гнева Авдеина, не начинать с раздоров, Гурлев все-таки написал в окружком и в обком, к чему привело создание коммуны, попросил разъяснить: как же быть дальше?

Однажды уже в густых сумерках прискакал верхом на коне от Томина нарочный, парень из семьи Ивана Добрынина. Толком он ничего передать на словах не мог, зачем и почему требуют Гурлева в правление, притом немедля, чтобы одна нога тут, другая там. Пришлось оставить его в помощь Дарье стеречь табун.

Возле правления собралась почти вся коммуна. Люди топтались на талом снегу плотной толпой, напряженно-внимательные. На телегу, поставленную у тесовых ворот, поднялся Томин, снял шапку и объявил:

— Граждане сельчане! Прибыл из Калмацкого представитель товарищ Бабин, и он сейчас вам все как есть разъяснит.

Гурлев, не сходя с коня, подъехал ближе, с края толпы, издали поздоровался с Бабиным, подняв руку. Было, однако, неясно: почему именно он, заместитель районнного прокурора, прибыл сюда, не завелось ли снова какое-то уголовное дело. Почему? Против кого? И облегченно вздохнул, когда Бабин достал из кармана газету.

— Мне поручено огласить для всеобщего сведения

статью товарища Сталина «Головокружение от успехов». Прошу внимательно слушать...

Наступила полная тишина. Даже снег не скрипел под ногами.

Кончив чтение, Бабин добавил:

— За допущенные перегибы, то есть отступление от генеральной линии партии по сплошной коллективизации, нарушения добровольности населения, районное руководство решением окружкома распущено, Авдеин из партии исключен и снят с должности. Коммуна отменяется. Будет колхоз. Обобщаются только конское поголовье и рогатый скот. Птицу и домашний инвентарь предложено возвратить членам колхоза...

— И-и-их, мать моя! — радостно закричал Аким Окурыш.— Давно бы так!

Мужики зашумели, задвигались, это была великая минута полного удовлетворения, торжества правды.

— Теперича, что же, граждане, поскольку коммуна не состоялась, прошу меня с поста председателя уволить,— выступил Томин.— Не по силе мне большим хозяйством руководить. Не управиться. Надо поставить во главу колхоза человека крепкого, умственно дельного, в коем живая жилка беспрестанно не затихает. Надо полагать, впереди у нас не сладкие шанежки и пирожки, нам еще надо свыкнуться между собой, сообща жить и робить. Так что надобно сейчас порешить: кому доверяться?

— Новый райком рекомендует избрать председателем Павла Иваныча Гурлева,— громко произнес Бабин.— Вам он известен...

Возможно, Бабина удивило, что к его предложению люди отнеслись очень спокойно, без выкриков, без суетни и без споров, но это же был свой человек, коренной, всем близкий, прямой и честный.

— А кому еще быть, если не Павлу Иванычу! — выступил вперед Михайло Сурков.— Вот я хотел в одноличном хозяйстве, но поскольку теперь колхоз и поскольку во главе станет Павел Иваныч, первый подаю заявление. Призываю к этому всех...

— И-и-их, мать моя! — опять выкрикнул Аким Окурыш, размахивая шапкой.— Давай, поднимай руки, граждане!

— Обожди,— остановил его Бабин.— Надо послушать самого Павла Иваныча!

— А мне сказать нечего,— не сходя с коня, громко сказал Гурлев.— Я рядовой солдат партии. Солдату не положено уклоняться, если ему доверяют и поручают...

Пятая жизнь Павла Гурлева

1

За окном шелестел тополь, а в его прозорах, между ветками, возникал тусклый рассвет. Но Федор Тимофеевич Чекан проснулся не от шелеста тополя и даже не от прохлады. Приснилась Лида Васильева. Никогда за прошедшие годы о ней не думал, не вспоминал, и вдруг откуда-то из прошлого сон вынес ее облик, чужой и неузнаваемый.

Минуту спустя повеселел: ведь то была на самом деле не Лида, а Аганя, жена, что лежит вот тут на постели. Даже предутренний сумрак не мешает разглядеть ее когда-то пышные черные волосы, теперь уже изрядно поседевшие, и ее высокий лоб, милое лицо, усталое, доброе, с чуть сдвинутыми к переносице бровями.

Он попытался представить Лиду нынешней, через тридцать с лишним лет, что они не виделись. Получилось не очень-то утешительно. Пожилая женщина с тяжелой походкой, немного отвисшим подбородком, с холодными высматривающими глазами. И говорит простуженным голосом: «Не вздумаю никак, о чем меня дочь просила. Еще куда-то надо сходить и чего-то достать?» Весь разговор ее дремуче материальный, поверх души, что называется, вокруг березового столба. Достать, продать, и все не по-честному. Неужели Лида стала такой? Но, слава богу, эта пожилая женщина тоже не Лида, а соседка Степанида Гавриловна, тайно богатющая.

Так и не удалось вспомнить лицо Лиды. Была она блондиночкой, тонкая, хрупкая. И эти черты расплылись как в тумане. Может быть, Степанида Гавриловна была в молодых летах такой же? Но невозможно проследить, когда и как человек стареет, как преобразуются в нем чувства, помыслы и к чему он под конец жизни приходит, если не идешь с ним рядом изо дня в день. Вот Аганя вся помнится смолоду, и потому любовь к ней никогда не отцветала, не менялась, хотя с годами прошла испытание через многие трудности.

Он с нежностью взглянул на спокойное, умиротворенное сном лицо жены и поправил на ней одеяло.

Больше спать не хотелось. Над окном, задевая стекло, свисала тополиная ветка. Внизу, на тротуаре, ширкала метлой дворничиха. Поднятая ею пыль достигала второго этажа и проникала в спальню. Федор Тимофеевич осторожно встал с постели, чтобы не потревожить сон Агани, прошел до окна на цыпочках и прикрыл форточку. Серый сумрак рассеивался, в соседних домах еще нигде не зажигались огни, и на улице тихо, безлюдно, только метла: ширк! ширк! И тут внезапно, как плетью по нервам, в передней зазвонил телефон. Федор Тимофеевич кинулся к нему, чтобы звонок не повторился, зацепил босой ногой за косяк двери и сильно ушибся.

— Слушаю вас! Куда звоните? — спросил в трубку вполголоса.

Сочный женский голос сказал:

— Квартира Чекана? Попросите Агафью Васильевну!

— Она спит! — нетерпеливо ответил Федор Тимофеевич.— Позвоните часа через три.

— Нельзя. Нужно срочно. Разбудите и передайте ей: мы сейчас посылаем машину. Пусть приготовится.

— А если не разбужу? — уже совсем нелюбезно ответил Федор Тимофеевич.— Нельзя звать ее по всякому поводу...

— Это не всякий! Вертолетом доставили из района роженицу в очень тяжелом состоянии.

— Но Агафья Васильевна часа три тому назад вернулась от вас! Нельзя же ей силы выматывать...

— Мы беспокоить не стали бы, если бы она сама не велела. В общем, ждите машину...

— Ну и работа! — огорченно произнес Федор Тимофеевич, кладя телефонную трубку.

Все-таки будить Аганю ему не хотелось. Она провела в родильном весь прошлый день и почти половину ночи, кому-то делала операцию, а домой пришла бледная, усталая и еле-еле добралась до кровати. Но и не будить нельзя. Дело неотложное. Умом он это понимал, а никак не мог заставить руку притронуться к оголенному плечу жены и разрушить ей отдых.

Вернувшись в спальню, решил обождать, пока не услышит сигнала машины, высланной из больницы. А его беспокойство, наверно, как-то передалось Агане, она повернулась на спину и открыла глаза:

— Почему ты сидишь? Босой и без брюк. Что с тобой?

— Звонили из родильного. Сейчас придет машина,—

недовольно сказал Федор Тимофеевич.— Когда это кончится? Чуть что — сразу звонят. А если бы у тебя дома не было телефона...

— Никогда это не кончится, милый! — устало зевнув, ответила Аганя.— И не надо! Но хоть бы один разочек выспаться досыта.

— Я тебя совсем мало вижу.

— Вот и хорошо. Станешь еще больше любить,— улыбнулась Аганя.

— Может, совсем не стану...

— Только ворчливым не становись!

И добавила ласково:

— Отвернись-ка! Дай мне одеться!

При нем она никогда не раздевалась, не одевалась. Он послушно отошел к окну и начал смотреть на осыпанный тающим сумраком тополь, краем глаза замечая, как Аганя поменяла ночную рубашку на халат, а затем принялась торопливо зашпиливать волосы. Вся она была еще как в молодости — стройная и плотная телом, чернобровая красавица, хотя вырастила уже двух парней.

Минуту спустя, она обняла Федора Тимофеевича сзади, приложив к его оголенной спине теплую щеку.

— Здравствуй, что ли! Доброе утро!

— Не задабривай меня,— мрачновато отозвался Федор Тимофеевич.— Ведь и себя ты мытаришь! Неужели нельзя так организовать работу в вашей родилке, чтобы не вызывали по ночам. Если у тебя как у заведующей отделением не хватает уменья и твердого характера,— откажись, уступи место другому!

— Ты, милый, исключаешь опыт и мои руки,— слегка толкнула его ладонью в спину Аганя.— Я не завхоз, а врач! И почему ты говоришь это мне, но сам делаешь точно так же? Ты заместитель директора института, и сидел бы в кабинете, управлял, подписывал бумажки, давал нагоняй сотрудникам, но тебе, однако же, вздумалось самому взяться за проект застройки села Малый Брод.

— Во всяком случае, мы сотрудников, даже наиболее ценных, не заставляем трудиться над проектами день и ночь.

— Родить ребенка, произвести на свет человека только в дневные сроки, да без криков, без мук люди когда-нибудь научатся, а сейчас уж извини, дорогой мой, иному ребенку хочется родиться именно ночью, а матери его приходится трудно, и вот я, врач, обязана по закону совести и моей профессии немедля спешить на помощь,— ласково, но

жестковато сказала Аганя.— И не обижайся, пожалуйста!

Она умылась и оделась, когда во дворе легонько гукнула машина, спугнув стайку воробьев. Утренний свет быстро рассеивался, повсюду растворяя сумрак и низко стелющийся туман. В столовой настенные часы певуче отбили пять ударов, а в соседней улице, погромыхивая по рельсам, прошел трамвай.

— Я постараюсь скоро вернуться,— сказала Аганя, выходя из квартиры.

— Мне надо ехать сегодня в Малый Брод,— предупредил в свою очередь Федор Тимофеевич.— Вчера звонил Гурлев. Просил непременно приехать.

— Передай от меня привет,— кивнула Аганя.— И надолго там не задерживайся. Не забывай, что сегодня 5 августа, а 8-го твои именины. Э, да ты у меня уже старенький,— добавила она шутливо.— Пятьдесят девять лет!.. Господи, как время летит...

— Что делать! Время не остановишь,— не очень весело сказал Федор Тимофеевич.— Было бы лучше такие именины не отмечать... но я успею, дел у меня в Малом Броде немного.

Поднявшись на цыпочки, Аганя поцеловала Федора Тимофеевича в небритую щеку и побежала вниз по лестнице, совсем как молоденькая. Так она всегда укрощала: любовью, верностью, добротой, а более всего — готовностью в любую пору поспешить кому-то на помощь, словно всякий раз на себе испытывала муки и страдания, которые достаются роженицам. И он никогда не мог остановить ее или попридержать, потому что спешила она не просто к мукам и страданиям, а к тем, посреди которых появляется на земле новый человек. «Ты, Федя, не знаешь, как приятно услышать первый крик младенца,— сказала Аганя однажды.— Вы, мужчины, в этом ничего не смыслите. Твои руки и твое сердце привыкли к машинам, к ансамблям жилых районов, которые вы спроектировали и построили, и ты, вероятно, тоже бываешь очень доволен, когда увидишь свое творение не на бумажном листе, но сверкающее, залитое огнями и заселенное людьми. А я присутствую при рождении существа живого, несмышленого, беспомощного, и первый его крик — это заявление: желаю жить, расти, поэтому дайте мне поесть и уложите меня спать! Он — будущее! Значит, мой труд не менее нужен людям, чем твой!» Никогда Аганя не жалела, что выбрала себе такую профессию, умела наделять ее воображением и содержанием, а Федор Тимофеевич никогда не решался в том разуверить.

Он снова прилег на кровать и укрылся одеялом. На подушке, где спала Аганя, осталась вмятина, а из постели еще не выветрился запах духов. Обычно возвращалась она с работы, пропитанная эфиром и остро пахнущими лекарствами, но дома эти больничные запахи ей претили, тут она становилась просто женщиной, желающей, чтобы ее любил муж. Поэтому она сразу же шла умываться, переодевалась во все домашнее, легонько касалась духами волос возле ушей, по одной капельке растирала пальцем по подбородку, возле носа и на шее. Кроме того, духи напоминали ей весеннюю свежесть лесных полян; она часто скучала о деревенской жизни.

Не спалось. Опять припомнилась Лида, безликая, отчужденная. Как хорошо, что судьба не свела с ней. Ведь даже с Аганей за тридцать три года жизни не всегда получалось гладко и тихо. Из-за детей. Он не хотел для них никаких поблажек, пытался вводить более суровые правила воспитания: для жизни нужны хорошо физически и морально закаленные люди. Ушибся — не реви! Допустил ошибку — спокойно рассуди: почему? Видишь несправедливость — не стой в стороне, не поглядывай равнодушно. В драке выбирай сторону тех, кто прав. И учись всегда, во всем делать добро! Добро в большом смысле, к чему направлен весь человеческий труд. Конечно, Аганя так же наставляла их, но с уступками, дескать, когда вырастут, все, что им надо, сами поймут.

На улице уже рассвело. За домами, на той стороне, откуда начинало всходить солнце, небо порозовело, зато во дворе будто добавилось просини: стены домов, и воздух, и даже тополь под окном окутало сине-сизой дымкой. На тротуаре, повизгивая от удовольствия, каталась на спине дымчатая собачонка. На скамейку под тополем начали выходить из подъездов старухи-пенсионерки, чтобы продышаться на свежем воздухе. Жизнь у них теперь пустая, и хотя ни одна не жалуется на безделье, видно, как трудно, неинтересно им жить. Зевают. Какой же это «заслуженный отдых», если уже никто в тебе не нуждается? «А ведь придет такая пора и для нас с Аганей,— печально подумал Федор Тимофеевич.— Продержаться бы еще лет пять-шесть!» Но эту мысль отогнал: пусть дожидается такой поры тот, кто устал и душевно состарился!

Себя он усталым не чувствовал. В прошлый раз Виктор почти позавидовал: «Твое поколение, папа, особенное. Стойкое. Как дубы вросли в землю. Сколько бурь пронеслось, а вы не качнулись ни разу!» Тут он еще имел в виду

и Павла Ивановича Гурлева, для которого в семье Чеканов всегда было почетное место.

Вспомнив Гурлева, Федор Тимофеевич начал собираться в дорогу. До Малого Брода сто километров. Это два часа езды на машине. А надо приехать туда пораньше, успеть застать Гурлева в правлении колхоза, пока он не отправился на поля, где его, как ветер, не скоро поймаешь. И что же у него там стряслось? Почему он так взволнованно сказал по телефону вчера: «Приезжай непременно. Тут, брат, дело такое... опять мы с Согриным встретились!» Обычно звонил в институт, торопил с окончанием генерального плана застройки Малого Брода, а вчера уже поздно вечером позвонил на квартиру, очевидно, не мог стерпеть, но рассказывать ничего не стал.

Все это очень странно и непонятно, думай и предполагай, что угодно, а фамилия Согрина между тем впилась в память как острая заноза. Прошлое хотя и не возвращается, но иногда напоминает о себе, пока живы все те, кто в нем участвовал...

Дорога на Малый Брод, круто обогнув сады и широко разлитое в песчаных берегах озеро, ровно натянутой лентой прорезала хлебные поля с островками березового леса.

Никогда не мог Федор Тимофеевич проехать здесь, чтобы не испытать теплой душевной радости. Аганя удивлялась иногда, как это он, выходец из коренной рабочей семьи, становится похожим на истого хлебороба, приверженного к земле, когда вот этак широко и до дальней дали откроются дремлющие под солнцем и тихим ветром уже побуревшие колосья пшеницы? Между тем не красота самого хлебного поля, не еле слышимый перезвон колосьев, не запах дозревающих зерен, но прежняя борьба за хлеб, суровая и непримиримая, возникала вдруг перед ним: вот и дошагали от нищеты до такого богатства!

Километрах в двадцати от города он сбавил скорость машины. Мелькали на убегающих назад обочинах посеревшие от пыли кустарники, малиновые шапки иван-чая качались над белыми ромашками, прятались в тень подлесков широколистные лопухи, а он, занятый воспоминаниями, словно не видел их. Равнодушно обогнал и автобус, катившийся туда же, в сторону Малого Брода. Да и Прокопий Согрин, сидевший в автобусе у окна в хмуром, сосредоточенном молчании, не поднял глаза, не взглянул ему вслед...

Автобус шел в Малый Брод точно по расписанию. В селе Калмацком шофер объявил остановку на полчаса. Все пассажиры, которым нужно было ехать по тракту дальше,

вышли размяться, покурить, попить в буфете воды. А Согрин продолжал сидеть у окна и, казалось, не замечал ни шумной толпы пассажиров, ни поднявшегося над крышами солнышка, ни реки Течи под крутым угором. Смотрел перед собой, как в темную пустоту. Всякий раз, когда надобность заставляла ехать по этой дороге, где прошлое вставало ему навстречу, он испытывал страх и тоскливое одиночество. Даже не появлялось желание навестить Зинаиду Герасимовну. Сила из него еще не истекла, хотя возраст под восемьдесят, и нет уже прежнего крепкого вида — лицо постарело, вылиняли и разлохматились брови, борода поредела и стала совсем сивой. А Зинаида, по слухам-то, согнулась, бродит, опирась на палку, плохо видит и слышит. За три десятка лет с лишком, что пролетели с тех пор, успел Согрин овдоветь дважды: Аграфена Митревна не бедствовала, но не прижилась после выселения к новому месту, страдала о брошенном в Малом Броде хозяйстве, отчего с трудом протянула лет пять; вторая жена, Анна, тоже зачахла, не сошлась характером с мужем. Вошла в дом ни с чем, побыла без прибытка и ушла на тот свет, ничего не взяла. Ее он не жалел, а Зинаиду иногда вспоминал, но видеть не мог. Стремился напрочь вычеркнуть те годы из памяти. И просил судьбу — навсегда развести его с Гурлевым...

2

А в семье Гурлева назревал разлад. Павел Иванович еще надеялся, что сын его поймет, и пробовал убедить. Так заведено у них было давно: если спорить, то по-доброму, без шума и упреков, а если несогласен, так сумей доказать или же уступи и делай, как сказано. Не решился бы Гурлев звонить Чекану, но спор с Володькой зашел далеко...

Когда Володька был еще школьником и получал иной раз замечания от учителей, приходилось ему разъяснять, что плохо, а что хорошо. Парнишка был способный, но озорной. Не проходило недели без выходок: то девчонку за косу дернул, то кому-то в тетрадку плюнул, то на уроке физкультуры своему же дружку влепил затрещину.

— Ты, наверно, думаешь, будто на тебя управы нет,— выговаривал ему Павел Иванович.— Ну как же, ведь сын председателя колхоза! Попробуй-ка тронь тебя! Этак вот добалуешься, натворишь чего-нибудь пострашнее, да и поломаешь свою жизнь.

Не наказывал. И не потому, что Володька был единст-

венным сыном, а проступки уже тогда отражали его прямодушный характер. Оказывалось потом, что девчонка на кого-то наябедничала, в тетрадке была списана задача с чужой тетради, а дружок во время урока паясничал. Только способы для восстановления справедливости, конечно же, применялись негодные, мальчишеские, и Павел Иванович не мог их поощрять. Всякий раз, объяснившись с отцом, Володька давал слово исправиться, некоторое время приносил домой чистый дневник, затем, при случае, снова срывался, как будто если бы не он, то никто иной не выступил бы против пороков. Однажды, когда он уже заканчивал десятый класс, натворил такое, отчего Павел Иванович долго не мог успокоиться. Стояла ясная, теплая погода. В колхозе посевные работы закончились, кое-где уже всходы подымались, в лесах доцветала черемуха, в личных садах колхозников курились дымовые костры для обережения ягодников от ночного холода, а молодежь бренчала на улицах допоздна на гитарах. Вот посреди такой ночи вызвали Павла Ивановича в сельский Совет. Поняв, что опять что-то случилось неладное, он наспех оделся и пошел туда. В комнате сидел участковый инспектор Яков Парфенович Томин, а перед ним, у стола, зареванная продавщица из магазина сельпо Зинка Юдина. У стены, на лавке, как молодые петушки на насесте, трое приятелей: Володька, Митька Холяков и Женька Сорокин. У Женьки на коленях гитара. Вид у каждого не виноватый, не растерянный, а даже наоборот, будто не их сюда привели, а они кого-то доставили.

— Вот полюбуйся, Павел Иваныч, на этих молодцов,— сказал Томин, кивнув на всю тройку.— Между прочим, комсомольцы и по разговору не глупые, а какое придумали...

«Неужели магазин взломали? — испугался Павел Иванович.— Головы оторву стервецам!»

Хоть и оказалось это не так, все равно поступок был скверный. Позднее, когда Томин стал их допрашивать, Володька потребовал:

— А пусть сначала эта крыса откровенно признается, чем она лучше других девчонок? Мы-то ведь знаем ей цену: из восьмого класса ушла, не захотела учиться, выше троек не поднималась. И почему же она не изъявила желание пойти работать дояркой или телятницей? Ручки не хотела марать или потому, что в магазине тепло, светло, пахнет пряниками и конфетами, и коли есть желание, то и греби в свой карман, сколько хочешь, покупатель оплатит.

Зинка приложила платок к глазам, нервно передернула полными плечиками, а Томин строго предупредил:

— Ты, однако, младший Гурлев, не заговаривайся и не оскорбляй! За это статья есть в законе.

— Да я просто так, для сравнения назвал ее крысой,— более спокойно и не так резко сказал Володька.— Мы как-то вскрыли в чулане пол и нашли крысиное гнездо. Так знаете, чего там было натаскано из дома: обрезки от тряпок, чулки, бумага, яичная скорлупа, пять рублей и почти горсть медных монет. Меня мать подозревала иногда, дескать, это я без спроса деньги таскаю, мне и оправдаться было нечем.

— К данному случаю это никак не подходит,— заметил Томин.

— Не буду настаивать, но тогда пусть Зинка сейчас же скажет, как это она на свою не очень-то завидную зарплату так одевается и шикует в нарядных платьях? Всем известно: своих денег она ни отцу ни матери не дает, тратит их на себя, но все равно на один заработок так много на себя не навешаешь. Посмотрите на нее,— махнув рукой в сторону Зинки, добавил он:— Одного золота рублей на шестьсот...

— Тебе-то что! — зло бросила Зинка.

— Не зыркай так на меня! — ответил Володька.— Я тебя не боюсь! Если понадобится, то и на любом суде это выскажу!

Павел Иванович озабоченно посмотрел на него: ведь парень был прав! Зинку уже уличал народный контроль, да и взыскания она получала то за излишки товаров, то за торговлю из-под полы. Ушлая и ловкая девка! Но прощали покуда: дескать, молодая, успеет исправиться. Сам же он вступался за нее: ее отец был инвалидом войны.

— Так что же произошло? — спросил Павел Иванович у Томина.

— Пока ничего, только угрозы,— приказав Зинке помалкивать, сказал Томин.— Они хотели с нее колечки, брошки и сережки содрать и забросить в озеро.

— Не сразу! — перебил его Митька Холяков.

— Повтори, как произошло,— кивнул Томин Зинке.

— Они не сразу накинулись,— подтвердила та.— Я закрыла магазин и хотела идти домой, а тут они встретились мне, и Володька первый взял меня под руку. Я оттолкнула его и говорю: «Отстань! Не цепляйся!» Он еще крепче зажал мой локоть, мне стало больно, и я снова начала его толкать от себя. «Отстань, говорю! Водки вам,

что ли, надо? Так обождите, схожу, принесу!» Володька не отпускает: «Мы водку не пьем, можешь ее оставить кому-нибудь, а нам надо тебя спросить. Только ты должна ответить прямо и откровенно!» Я подумала, что они спросят о чем-нибудь дельном и согласилась, а Володька говорит: «Ты дура или счастливая? Мы поспорили между собой: по-моему, так ты дура круглая, не знаешь, куда себя девать и не соображаешь, как станешь жить, ежели попадешься; Митька считает, что ты чувствуешь себя счастливой и довольной, но у тебя просто соображения нет, и ты не можешь отличить чужое от своего; а Женька находит, что ты ни то ни се, опоздала родиться и угодила не в ту жизнь, которая тебе полагалась». Мне же обидно стало, не шутка ведь. И сказала им: «Сами дураки и балбесы. Уйдите, не то закричу!» Тогда Митька пригрозил: «Я как поддам тебе, да вдобавок сорву колечки и брошки, закину их в озеро. Вежливости не понимаешь!» Потом Женька потренькал на гитаре и пропел: «Какая милая девочка!» И я стала кричать...

Зинка опять зарыдала, а Томин задумчиво побарабанил согнутым пальцем по столу. У него явно не было желания составлять на ребят протокол. И Павел Иванович тоже не мог сердиться на них. Более того, он их прощал. Разумеется, не за намерение наказать и пристыдить Зинку, а за мысли. В самом деле, чего же девчонка находит хорошего в добытых нечестно вещичках, рискуя своей судьбой? Вдобавок, брови и ресницы подкрасила чем-то ярко-синим, на губах толстый слой белесой помады, будто ела пирожное с кремом, а вытереть их забыла. Не причесана, не прибрана, как полагалось бы. Это, видите ли, мода такая! Но все-таки не следовало ее оскорблять и доводить до слез.

Такое чувство осталось в нем, когда увидел он Зинку совсем с иной стороны. Проплакавшись, она вдруг присмирела, поникла и перестала быть похожей на ту самоуверенную, грубоватую, чуть даже нахальную, какой казалась из-за прилавка магазина. Вынув из кармана ключи, она положила их на стол, затем поднялась со стула и, не подымая глаз, пошла к дверям.

— Это зачем? — ничего не поняв, спросил ее Томин.

— Можете сделать ревизию, а я туда не пойду работать,— пожалуй, очень спокойно ответила Зинка.— Терпеть-то такое!

Парни переглянулись между собой; Павел Иванович не сказал бы, что они торжествовали победу. Все рослые, плечистые и яркие, как подсолнухи в цвету, а Зинка перед

ними — маломерный подросток. Но не смутились.

— Не разыгрывай из себя цацу,— кинул ей вслед Володька.— Никто не поверит!

Томин подобрал брошенные ключи, подкинул их на ладони, как бы взвешивая, и попросил Павла Ивановича занести их к Зинке домой. А парней предупредил:

— Если вам хочется задавать людям вопросы, так собраниями пользуйтесь. Не лезьте, куда вас не просят...

— Вот как! — резко заметил ему Митька Холяков.— Куда же нам лезть?

Решительный разговор с ними Павел Иванович отложил на утро. Он уже давно приучил себя не делать ничего сгоряча, а прежде подумать и разобраться.

На темной улице, в домах не светилось ни одного огонька. Зинка неподвижно сидела на лавке у своего палисадника. Кинув ей на колени связку ключей, Павел Иванович присел рядом и произнес с сожалением:

— Ничего не могу понять. Может, ты их обидела?

— Сами они глупые,— совсем не враждебно сказала Зинка.— Кабы спросили по-дружески, так я бы нашлась, как ответить. А то сразу же: дура, да еще и круглая дура! Женька же знает, какая...— тут она запнулась, помолчала, что-то переживая, и скорбно добавила:— Несчастнее меня нет никого! К нему со всей душой, звездочку с неба для него бы достала...

— Любишь, что ли? — догадался Павел Иванович.

— Наверно, люблю,— тихо призналась Зинка.— Еще с восьмого класса. Потому и тройки все время хватала. Сидели с Женькой на одной парте, плечом к плечу. Он-то ничего, шутки да прибаутки надо мной, а я, бывало, вся как в огне. Учительница что-то говорит,— не слышу, задачку решить не могу. Домой приду, заберусь в чулан, наплачусь досыта. Это ведь он, Женька-то, еще тогда меня стал называть — «милая девочка». Дурак набитый! Я же нравлюсь ему...

— Ты уверена?

— А из-за чего он ни с кем из девчонок не дружит?

— Ну и сказала бы...

— Как не так! Стыдно же! Заявит потом: навязалась на шею!

— Значит, не одобряет тебя,— строже сказал Павел Иванович.— Ты вот и отца с матерью не уважаешь. Это печально, Зинка! Родители у тебя люди славные. Лично я готов всегда шапку снять перед твоим отцом, не столь даже за то, что он на фронте ногу потерял,— на мне самом

тоже еще от гражданской рубцы остались,— а за его верность и приверженность к земле и ко всему нашему делу. Году в тридцать четвертом наш колхоз еле-еле дышал. Чего ни посеем, весь урожай приходилось сдавать государству. Если самим-то, бывало, придется на трудодень граммов по триста зерна, радехоньки были: хоть не досыта, а не одна лишь картошка. Это теперь нет нужды вспоминать, отчего да почему разорилось в ту пору хозяйство, причины зависели от нас и не от нас, но очень туго и трудно жилось в колхозе. Те семьи, которым становилось совсем невтерпеж, и те, что хлеборобством особенно не дорожили, уехали на производство. Силой ведь не удержишь! Василий, твой-то отец, как раз в ту пору женился. Поначалу поселил я их в одной из горниц в бывшем доме Прокопия Согрина. Жить вроде бы можно, просторно и тепло, а когда на желудке тоскливо, работа на ум не идет. Вдобавок, на столе у меня строгая директива: в случае сокращения посевов, недосдачи хлеба согласно плану, срыва поставки молока и мяса, непосылки людей на лесозаготовки и тому подобное,— председателя колхоза под суд! Да почти каждый день наезжали к нам разные уполномоченные. И всякому приходилось давать отчет. Между тем в хозяйстве у нас осталось меньше половины колхозников, а лошадей на десять упряжек и механизации кругом не хватало. На ближних полях, где массивы для тракторов неудобные, на коровах землю пахали. И пахали-то не мужики, а женщины и парнишки. Горе сплошное! Ну, чтобы как-то на этом участке дело поправить, я сюда поставил твоего отца бригадиром. Сама можешь понять, легко ли ему эта работа давалась. Помыкался он вёшну, кое-как план все же сделали, а перед уборочной приходит однажды ко мне вместе с Натальей и кладет на стол заявление: отпускай! Посмотрел я на них: Наталья в тяжести (это она тогда твоего старшего брата родила), сам Василий на человека уж не похож. Язык бы не повернулся отказать им, а вот что-то сжалось у меня внутри, заболело. «Неужели, говорю, Василий, оставишь ты меня в моей трудности? Неужели землю свою разлюбил?»..

Павел Иванович разгладил попавшие под сапог бугорки, раздавив их подметкой, потом оглядел вокруг ночное небо. Не часто и неохотно вспоминал он прошедшее.

— А чем же ты ему сейчас помогаешь? — спросил он, обернувшись к Зинке.— Лестно ли слышать от людей, как дочь кого-то обмерила и обвесила? И ради чего? Думаешь, наверно, что Женька на твои побрякушки и шелковье клю-

нет скорее, чем если бы ты была наравне со всеми?

— Думала!

— Вот за то тебе и влетало,— солидно сказал Павел Иванович.— И перестала бы мазаться, Зинка! Кому охота с твоих губ этакую пакость лизать...

Митька Холяков ночевал вместе с Володькой на веранде. С малых лет прилепился он к семье Гурлевых. Если бы не рыжеватость, что унаследовал парнишка от своего деда Кузьмы Саверьяновича, сошел бы он за родного брата Володьки. После гибели Кузьмы не мог Павел Иванович одолеть в себе вину перед его осиротелой семьей и, подобно Ульяне, помогал чем мог. Тогда же, в двадцать девятом году, нарубил для них к зиме дров, а Семена, будущего Митькина отца, устроил учиться в Калмацкую школу на казенный счет. Не удалось его двинуть дальше, с большой бедности и нужды начались первые годы колхозной жизни. Взял Семена обратно, послал на курсы. Так он и стал в Малом Броде трактористом номер один. А в сороковом году, когда Митьке от рождения исполнился ровно месяц, погиб Семен где-то на подступах к Выборгу. В колхоз прислали потом извещение: дескать, Семен Холяков «пропал без вести», но Павел Иванович не мог этому поверить. Ведь и Кузьма тоже вроде бы «без вести пропал», пока не нашли. Так и Семена начал искать. Выяснилось потом, погиб он действительно, при наступлении по льду попал под артиллерийский огонь и навечно остался лежать на дне озера. С тех самых пор и приголубил Павел Иванович Митьку.

Перед уходом в правление разбудил их, велел позавтракать и садиться за подготовку к экзаменам. Их школьные годы закончились; еще месяц-два и придется решать, чем дальше заняться. Думал еще вчера — вот уже и парни готовы к самостоятельной жизни. А готовы ли? Эта выходка по отношению к Зинке, пусть сто раз справедливая, им чести не делала, а тем более после того, в чем призналась сама девчонка.

— Разъясните мне, откуда в вас такая жестокость? — спросил он у Володьки, когда тот поднялся с постели.— Вы, что же, твердо уверены в том, что наговорили Зинаиде, или шутили от нечего делать?

— Да какая же это жестокость, батя? — удивился Володька.— Хотели обыкновенно выяснить...

— Значит, если «обыкновенно», то не жестокость. А какие слова при этом употребили, как пытались применить силу — уже не важно. Правильно ли я понял?

— Ну, батя, мы не рыцари, а Зинка не великосветская дама. Стерпит, зато пусть знает. Но даже если ошиблись, велика ли беда? По лицу не ударили! Разве ты сам всегда был терпеливым и вежливым?

— Речь не обо мне теперь,— задумчиво ответил Павел Иванович.— Мою жизнь, твою и Митькину невозможно сравнить. Я вот думаю, что жестокость бывает разная: есть вынужденная, есть необходимая, есть враждебная и вражеская, есть бессмысленная, как у шпаны и хулиганов. Как вашу назвать, не знаю.

— Дядя Павел, пропадет ведь Зинка,— вмешался Митька Холяков.— Как поступить с ней иначе?

— Тоже не знаю! Я насчет девчонок не мастер. Вообще в жизни, конечно, разбираюсь немного больше, чем вы, потому, что прожил ее не одну за свои шестьдесят три года, а несколько.

— Это как же, батя: умирал и рождался заново? — засмеялся Володька.

— Из одного качества переходил в другое,— в ответ ему улыбнулся Павел Иванович.— Первая моя жизнь началась у родителей, а закончилась после тяжелого ранения в бою здесь, в Малом Броде. Вторая жизнь началась здесь же, когда ожил я и поправился после ранения, а закончилась в конце двадцать девятого года. Восемь лет пробыл я тут секретарем партячейки. Потом, когда началась сплошная коллективизация, а наряду с ней ликвидация кулачества, выбрали меня мужики председателем колхоза. Продолжалась эта третья жизнь вплоть до войны. А уж самой тяжкой оказалась моя четвертая жизнь. Началась она с первых дней войны и закончилась примерно в пятьдесят третьем году. В последние годы перед войной пошел наш колхоз на поправку, мы тут повеселели, ну а война все сожрала. Больше половины мужиков ушли на фронт. Мне еще раз, после гражданской, повоевать уже не пришлось. Просился, не взяли! Остался я тут с одними женщинами, да со старым и малым. Опять на коровах пахали, хлеб не ели, каждое зернышко отдавали для фронта, а самое-то страшное были похоронки. Как появится в селе почтальон, так, бывало, мы свету не видим; привозил он всегда не радость, а горе и слезы. Пятая жизнь началась хорошо; было, конечно, еще много неурядиц в ней, но все они со временем поправились. Забогател народ. И вот живу теперь в этой жизни вместе с вами.

— И все-таки это одна жизнь,— сказал Володька.

— У тебя пока что одна, а у меня пятая,— возразил

Павел Иванович.— Не могу я их совместить, как ступеньки на лестнице. В каждой я что-то новое приобретал и в каждой терял. Когда был тут секретарем партячейки, потерял Кузьму Саверьяныча и свою первую жену Ульяну, но зато навек подружился с Федором Тимофеичем, с Дарьей и еще со множеством людей, в которых нуждался и которые нуждались во мне. В сознании тоже поднялся. Мне прежде казалось: дескать, любое дело, что поручает партия, можно напором и силой взять, а понадобилось приложиться к каждому человеку душой. Во время войны погибли наши первые партийцы — братья Томины, Белов и Бабкин, да не один десяток первых колхозников, а зато подросли их сыновья и дочери, о которых мне пришлось позаботиться. Не стану себя обелять, будто никогда жестокостью не страдал. Всякое бывало, особенно на первых порах. Но взять ее на свою совесть никак не могу. Никем не считано, сколько в боях моей рукой белоказаков порублено. С кулачеством дружбы не вел. Лодырей заставлял работать. А во время войны посмотрю иной раз, как женщина на корове пашню пашет — уж та и другая от голода и усталости почти что с ног валятся, и в душе у меня слезы, отчаяние, но кричу, ругаюсь, требую. Ведь если не требовать, то пропадем совсем. Необходимость заставляла проявлять ту жестокость, и мне за нее не стыдно. А вы по отношению к Зинке показали жестокость бессмысленную, вроде поиздевались над девкой...

— Пропадет она,— повторил Митька.

— Если пропадет, то не от растраты в магазине, а от того, что влюбилась, да взаимности не имеет,— засмеялся Павел Иванович.

Вскоре парни получили аттестаты зрелости, а до призыва в армию не захотели учиться дальше. Того и другого во время уборочной поставил Павел Иванович в помощники к комбайнерам; Зинка из упрямства или со стыда оставила магазин, один месяц побыла в доярках на молочной ферме, еще месяц в пекарне, но не нашла себя, не привилась и уехала в город. Было в ней что-то, чем она и отвращала Женьку Сорокина. Тот после армии в колхоз не вернулся, остался на сверхсрочной службе, зато Митька снова встал за штурвал комбайна, будто никогда себе иного дела не мыслил. С Володькой оказалось сложнее: этот целое лето колебался между профессиями сельского механизатора и строителя. Советовал ему Павел Иванович поступать в институт, не отставай-де от сыновей Федора Тимофеевича, однако не стал настаивать — по математике и русскому

языку у Володьки были большие пробелы. Выбрал сын все-таки стройку. Тут в известной мере повлиял на него Чекан. Ездил Володька в город и остался у него ночевать. Вечером за ужином произошел разговор, как всегда случается между молодежью и видавшими виды: один спрашивает, сыплет вопрос за вопросом, а другой отвечает. Поинтересовался Володька: что могло заставить Федора Тимофеевича стать строителем?

— По рассказам моего отца,— добавил он,— вы в молодости были помощником машиниста паровоза. Что же изменилось у вас? Поступать на строительный было легче или же разонравился транспорт?

— Ни то ни другое,— охотно объяснил Федор Тимофеевич.— Я и сейчас еще люблю ковать, слесарить, заниматься машинами. Но тогда перед нами стояла проблема: где ты нужнее? Вот моя Агафья Васильевна вышла из батрачек. И деревня для нее все еще роднее, чем город. А кончила она рабфак, затем медицинский институт исключительно ради того, чтобы помогать людям в их страданиях и болезнях. У нее мать скончалась совсем еще молодой, тяжко мучилась, отца тоже болезни унесли. Так разве она могла не сочувствовать больным людям? Я тоже насмотрелся нужды, разрухи в городе и в деревне. Да и время такое подошло: много старого ломали, много нового строили. Архитектура все время стремится в будущее. Как ее за это не полюбить?

В тот же год Володька подал заявление в строительный техникум, кончил его, для практики поработал год на крупной промышленной стройке, а затем вернулся домой. Вовсе и не уговаривал его Павел Иванович, не доказывал: дескать, мы с матерью старимся, без тебя обойтись не сумеем, да и девчонки его покуда не привлекали, но загорелся парень желанием построить Малый Брод заново, чтобы старики доживали свой век в чистых, со всеми удобствами квартирах, молодежь не убегала бы отсюда куда-то на сторону, а наоборот, приезжала бы и поселялась здесь. Белый город — мечта самого Павла Ивановича. Но того же хотели и другие колхозники; у всех это была незаживающая болячка, что нет в селе постоянного кино, нет просторного места, где бы в свободную пору можно было повеселиться, а детишки не сидели бы у матерей на руках и не ютились в бывшем доме Прокопия Согрина, но воспитывались бы в настоящих яслях и садике. Теперь колхоз мог себе позволить многое. Каждый год от полеводства, животноводства и даже от ягодного сада оставалась большая прибыль. Кроме

того, банк давал долгосрочную ссуду, а на покупку новых средств производства уже не требовалось больших затрат: тракторов, комбайнов, автомашин, механизации на молочно-товарной ферме вполне хватало. Да и генеральный план застройки Малого Брода был уже готов в черновых набросках; по уговору с Павлом Ивановичем его делал Чекан. Старая дружба с Федором Тимофеевичем держалась крепко, и Павла Ивановича радовало, что Володька относится к Чекану с доверием, с увлечением обсуждал с ним, как распланировать улицы, площади, какой вид должны иметь жилые и служебные здания. От себя Павел Иванович поставил только одно условие: сначала построить детский садик и ясли, потом водонапорную башню с артезианской скважиной, чтобы перестать возить в автоцистернах питьевую воду из Чайного озерка, а затем Дом культуры. Так и утвердили этот порядок на заседании правления, на общем собрании колхозников и во всех инстанциях сверху. Володьку назначили прорабом. Весной начали стройку. И Павел Иванович даже предположить не мог те неприятности, которые его подстерегали, затем совершенно неожиданно свалились на плечи. Иного, более равнодушного и слабого, они не взволновали бы, тот подчинился бы и перенес их, а Павел Иванович принял очень близко к сердцу и не мог не принять, так как положение оказалось трудное.

Началось с того, что не сложились у Гурлева добрые отношения с новым начальником районного сельхозуправления. До блеска ухоженной внешностью и холодным, высокомерным тоном при разговорах напоминал он Павлу Ивановичу бывшего заведующего райземотделом Мотовилова. Только тот разъезжал по селам и деревням на паре гнедых коней, а этот на легковой машине. Появится в колхозе на пару часов, толком на хозяйство не взглянет, никого до конца не дослушает. И все-то ему не нравится, все не так, как бы он видеть хотел. Плохо и очень плохо — иной оценки ни разу не сделал. И говорит медленно, раздельно, вежливо, как кнутом по лицу похлестывает. Между тем указания, которые он давал на ходу, не отличались ни знанием дела, ни глубиной понятий. Шелуха без зернышка. Слов много, а кинь их на решето и просей — ничего не останется. Бессменный член правления Михайло Сурков, услышав необыкновенную фамилию нового начальника — Зубарь, поздоровавшись с ним и не получив ответа, горестно качнул головой: «Не повезло нам, кажись! Не вышло бы худа, Павел Иваныч! Уж ты, коли что, крепись, не показывай характера!» Агроном Гаврил Иванович Добры-

нин навел справки в Калмацком и посмеялся: «Этот начальник больше года на одном кресле нигде не сидит. Фигура скользящая, без корешков. Надо полагать, райком его долго терпеть не станет!» Но именно потому, что не мог Павел Иванович отделить Зубаря от некогда жившего Мотовилова, с первой же встречи не мог ему подчиниться.

Еще летом, узнав, что Гурлев начал строить на полях крытые тока, Зубарь запретил:

— Это безобразие, Гурлев! Ни к чему! Уж не собираешься ли ты держать намолоченное зерно до зимы, не вывозить его сразу на элеватор в город? Кто тебе разрешил?

— Кто же, кроме колхозников? — постарался мирно объяснить Павел Иванович.— Они хозяева. А гноить свежее зерно под открытым небом нам не хочется. Ведь хорошую погоду на осень заказать невозможно...

— Чепуха!

Между тем не далее как в прошлом году сотни тонн вывезенного из-под комбайнов зерна и временно ссыпанного в поле на открытом току в бурты почти две недели мокли под осенним дождем. Пока их вывезли и сдали на элеватор, муки-то мученской сколько пришлось испытать: несколько раз перелопачивали эти горы зерна, чтобы оно не прело и не горело, да сушили, чтобы довести до кондиции. Много зерна втоптали в землю. Еще больше непригодного к сдаче перевели на корм для скота. Сплошные убытки! А этого не случилось бы на крытом току. Вот потому и не послушался Павел Иванович, отставил запрет Зубаря, а договорился в райкоме и этим летом устроил первый крытый ток за озером, как раз на том лугу, где Зубарь велел перепахать землю и засеять ее многолетней травой для культурного пастбища. Не во зло сделал, а так было выгоднее и удобнее. Место это в центре хлебных полей, земля же под лугом бросовая — орешник да глина, плодородный слой над ними как пленка, дикая трава растет еле-еле. Тот же разумный старик, Михайло Сурков, возражал Зубарю: «Нельзя там земельку-то трогать. Она, поди-ко, уже не одну сотню лет так лежит. Не кормилица. Попробуй вспаши ее, наруши черный покров, останется голой». Гаврил Добрынин, агроном очень толковый и удачливый, показывал даже результаты лабораторных анализов: «Не будут здесь расти многолетние травы!» Однако Зубарь своего указания не отменил, а когда узнал о построенном крытом токе, даже в лице изменился:

— Смотрю я на тебя, Гурлев, и думаю: пора тебе с коня

слезать! Возраст уже пенсионный. На отдых надо!

Если бы сказано это было один на один, Павел Иванович сумел бы с ним объясниться, но тот воспользовался заседанием правления колхоза, где решался вопрос о кормах для скота. Никто из правленцев Зубаря не поддержал, зато сам Павел Иванович почувствовал вдруг себя состарившимся, изработанным и, может быть, уже неспособным заглядывать далеко вперед.

— Если бы хоть образование имел ты, Гурлев! — добавил Зубарь.— А без диплома руководить таким хозяйством уже нельзя. Так что давай-ка готовь заявление. Проводим с почетом!

Промолчал тогда Павел Иванович. Не хватило бы у него выдержки, поссорился бы. А что толку в пустой-то ссоре? Пришлось бы еще и в райком ехать, там разбираться. И не доказал бы ведь никому: возраст действительно такой, что пора «с коня слезать»; образование только от самой жизни полученное, в трудностях и невзгодах. Зато Володька вступился и довольно резко сказал Зубарю:

— Это еще пока неизвестно, кто первый из вас двоих с коня слезет.

Порадовал отца. После таких слов младшего Гурлева, казалось бы, опять все встало на свои прежние места, и не стоило обращать внимание на вежливые, но колкие намеки Зубаря, а все-таки горький, как полынь, осадок на душе остался. Да и сын, как прояснилось чуть позже, выступал только в защиту достоинства Гурлевых. Сам же показал по отношению к родителям черствость и неуступчивость, чего Павел Иванович от него не мог ожидать.

На этой неделе начался с ним явный разлад. Сидели на веранде вдвоем, мирно обедали. И день-то был ясный, без ветра, напоенный запахами отходящего лета. Из окна видно, как под угором плещется озеро. Вдали у кромки камышей, на тихой воде, бездымным огнем полыхает солнечный свет. В улице, неподалеку от дома Гурлевых, Ефим Шунайлов гоняет бульдозер по тракту, выравнивая полотно к началу уборочной. Из кузницы ремонтного цеха доносится стук молотков. А от старого клуба, с крыши, куда подвешен репродуктор, льется тихая музыка. И обед, поданный на стол Володькой, был недурен: зеленый борщ, жаркое с картошкой. Мать уехала в гости к замужней дочери в город, велела питаться в колхозной чайной, но сын сам взялся готовить обеды, и пока что выбрысывать их не пришлось. Вот этак все располагало к хорошему настроению, к сознанию не зря прожитой жизни. А подумал о ней Павел Иванович,

когда взглянул на себя в зеркало на простенке веранды. Прежде брился и одевался перед ним по привычке — были бы аккуратно надеты рубашка и пиждак, да не порезать бы щеки, в этот же раз словно впервые себя увидел много лет спустя. Да, жизнь все же прожита! Чубатая голова уже вся побурела, на лбу морщины, а брови, прежде ровные, загнутые серпом, выцвели, стали короче, и концы у них, как ни приглаживай, загибаются кверху. Глаза тоже не прежние: помнится, серые были, по вечерам темные, а сейчас один цвет — белесый; значит, глаза седеют, как волосы. Время свое берет. Вот и тополь, что стоит тут в оградке возле крылечка, тоже когда-то был стройный, гибкий, кору имел яркую и пахучую, но с годами поднялся к небу, пораскинул крону вширь, над всем домом распялил множество лап, от корня отростки пустил, зато кора на нем стала темная, бугристая, в наростах и трещинах, будто его как веревку закручивали. Да и листья смолоду вырастали в ладонь шириной или с чайное блюдце, сейчас же до вершины мелкие и рано желтеют. «Неужели и у человека его мысли и желания мельчают, как листья у тополя? — с сожалением подумал Павел Иванович.— Или же, наоборот, это лишь сейчас приходит полная зрелость?»

Володька, очевидно, заметил, куда направлен взгляд отца.

— Тополь-то, батя, пора срубить на дрова!

— Чем он тебе помешал? — спросил Павел Иванович.— Мы ведь с ним почти что ровесники. Сажал его здесь учитель Кирьян Савватеич, а я памятью о нем дорожу.

— Все старое хорошо, пока оно себя не изжило,— сказал Володька.— Вот и церковь ломать не велишь!

— Да она еще сто лет простоит, не шелохнется. Здание не виновато в том, что служило религии. С тем же успехом оно может послужить и нам. Эвон в нем какие просторные залы. Чего хочешь можно устроить: музей, музыкальную школу для ребят, место молодежи для спорта. Чем заново траншеи копать и стены строить, так не выгоднее ли снять с церкви купола, крышу поправить.

— И все равно это старье,— упрямо ответил Володька.— Даже Федор Тимофеевич говорит, что здание церкви никак не вписывается в генеральный план застройки села.

— Впишет, если захочет,— не менее упрямо сказал Павел Иванович.— Мы с ним тоже стариться начали, так, выходит, и нас на слом? Такое может желать Зубарь, он босиком по земле-то, наверно, не хаживал, но не ты, младший Гурлев.

— Почему же не я? — усмехнулся Володька.— Отставить старое — еще не значит его унизить. Зубарь унизил бы тебя с удовольствием, ты с ним характером не сойдешься, так не надо этого допускать.

— Советуешь писать заявление и добровольно «слезать с коня»? — встревожился Павел Иванович.— Начальнику управления я не в масть, но тебя не пойму.

— Чего проще! — опять усмехнулся Володька.— Не дожидайся, когда начнут подталкивать в спину.

— Разве кто-то назначал срок, до каких пор мне можно работать?

— Само время потребует. Ты свое выполнил...

— Нужду пережил, людей, как умел, поднял, а дальше вроде бы меня уже ничего не касается. Дескать, живите, как хотите, а я на лежанку пошел, бока себе протирать. Нет, не вправе я так поступать ни перед людьми, ни перед самим собой. Дошагал до нынешней жизни, так дайте же мне и порадоваться на нее, досыта пожить в ней и сполна отслужить должность человека. Иначе куда же силу девать?

Наклонившись, Павел Иванович взял валявшийся на полу железный пруток, скрутил его и завязал узлом.

— Вот еще сколько силы в руках, а в душе и того больше.

— Попросись заведовать молочной фермой,— посоветовал Володька.— Добрынин поведет дело не хуже тебя.

— Дед Иван Добрынин всегда хвалился: «У моего Гаврилки рука шибко фартовая». И верно, получился из Гаврила Иваныча знающий агроном,— согласился Гурлев.— Но пусть еще подождет. Я не стулом дорожу, не званием председателя, а хочу желание свое довести до конца. Построй поскорее Белый Городок на месте Малого Брода, вот тогда и «с коня слезу».

— А может, не белый? — шутливо спросил Володька.— Может, из красного кирпича и цветных панелей? И не городок вовсе, а как в стихе: «Мы, рать солнценосцев, на пупе земном воздвигнем стобашенный пламенный дом!»

— Во, как раз этого я и хочу,— одобрил Павел Иванович.— Не ручаюсь, стоит ли наш Малый Брод на самом пупе земли, но без хлеба ни сталь не сваришь, никакой машины не выпустишь. Стало быть, хлеборобу чести положено не меньше, чем металлургу.

— У тебя честь никто не отнимет, если ты ее сам не нарушишь,— вернулся к прежнему разговору Володька.— Поневоле-то, батя, уходить будет совестно!

— Жестокие ты слова говоришь, сын! — мрачнея, ответил Павел Иванович.— Не этому я тебя обучал!

— Как же не этому! А кто нам за Зинку Юдину выговаривал? Не твое ли это понятие: есть жестокость вынужденная! Теперь мы ее имеем как неоспоримый факт. Быть тебе дальше у руководства или не быть — это не Зубарь решит, но подтолкнуть он к этому может. Надарят подарков, в речах отметят заслуги, поднесут красивые адреса, а ведь все равно станешь ты себя чувствовать отстраненным от дел. Разумнее, по-моему, вовремя уйти самому. Найдешь чем заняться. Например, чем плохо — внуков воспитывать...

— Женись сначала,— серьезно сказал Павел Иванович.— Хватит холостяком по ночам шататься.

— Я это быстренько проверну,— весело ответил Володька.

Он встал из-за стола убрать и вымыть грязную посуду, затем на ходу, посвистывая и играя тарелками, будто ушат холодной воды опрокинул на Павла Ивановича:

— Ты не станешь возражать, батя, если я отсюда, с веранды, обеденный стол уберу на кухню, а поставлю тут свою кровать и до холодов поселюсь с женой?

— Не понимаю! — озадаченно посмотрел на него Гурлев.— Я думал, ты насчет внуков-то шутишь...

— Женюсь, батя! Женюсь! — подчеркнуто весело присвистнул Володька.— Нагулялся. Берусь за ум!

— Уж не на Татьяне ли Согриной? — неожиданно упавшим голосом спросил Павел Иванович.— Всегда возле нее увиваешься! Девка она не бросовая, даже вполне толковая, но ни тебе, ни Митьке не пара! — сурово и почти категорически добавил он.— Нельзя вам на ней жениться...

— Дед Прокопий Согрин встал на пути?

— Именно!

— А мы его возьмем под ручки и с пути уберем! Что у вас с ним было в прошлом, сами разберитесь, без нас! — И решительно, по-гурлевски, отрубил:— Я люблю Татьяну, она меня тоже любит. Значит, вопрос исчерпан!

— Далеко не исчерпан,— сдерживаясь от раздражения, возразил Павел Иванович.— Для нас с матерью Татьяна будет чужая. А если мы ее не станем любить, как родную дочь, то и она нам ответит тем же. Представь-ка себя на моем месте. Задача ведь не в том, что Согрин наш бывший классовый враг. Теперь это все в прошлом. Но мы, как люди, с ним не сходились и не сойдемся. Разные у нас цели для жизни. Да ведь и памятью Кузьмы Саверьяныча я не могу попуститься. За прошедшие годы уж сто раз, наверно,

обдумывал, как и в чью западню он попал, и всегда на Согрина падает подозрение. Когда его выслали из Малого Брода, сразу же тише и спокойнее стало. Случались, конечно, особенно при начале коллективизации, всякие формы вредительства, но хлеба на полях уже не горели, обозы с зерном никто не трогал и от пули из обреза никто не погиб. Значит, не чист был Согрин, только улик не оставил. А теперь вдруг преподносишь ты мне этакую новость: породнись с ним! У меня даже язык не повернется сказать ему: «Милости просим, садись, сват, с нами за стол отведать нашего хлеба-соли!»

— Не зови!

— Ты о Татьяне тоже подумай. Ей-то легко ли придется! Девка ни в чем не виноватая, сбоку припёка к деду, но заметит нашу к ней отчужденность, и вместо счастья-то слезы получатся.

— Неужели, батя, ты злопамятный и неспособен прощать? — как-то очень не по-сыновьи спросил Володька.— Вот это уж действительно жестоко...

— Только к Согрину,— поправил Гурлев.

— И к Татьяне, и к ее матери Ксении, да наконец и ко мне. Вынудишь меня из дому уйти!

Три дня подряд, встретившись после работы, возвращались к устройству этого семейного дела, а договориться никак не могли: Павел Иванович не находил возможности откинуть прошлое; Володька не хотел приносить свои чувства в жертву очень далеким от него интересам. Оба пытались обратиться к разуму, но и тот выхода не подсказывал: по существу-то и отец и сын были правы! Темной тенью ложилось прошлое на молодую зелень. Память о прошлом и неданный еще ответ старой могиле Кузьмы Холякова на сельском кладбище не совмещались в сознании и в сердце Гурлева с любовью сына. Между тем тот уже определенно клонился к мысли оставить родителей. И чем дальше, тем туже завязывался узел разлада.

Не зная, как быть, Павел Иванович позвонил Чекану в город и попросил дружеской помощи. Не для того, чтобы вдвоем насесть на Володьку и отговорить его, но прежде всего для самого себя...

3

За Межевой дубравой, у проселочной дороги сидел старик, босой и без шапки. За спиной у него на свежем ветре колыхалась созревающая пшеница, а рядом была по-

ставлена большая корзина, доверху наполненная груздями. Старик держал на распяленной ладони колосок, выковыривал из него по зернышку и, как ягодки, укладывал в рот. Поравнявшись с ним, Федор Тимофеевич остановил машину.

— Давай подвезу попутно. Устал, наверно?

— Благодарствую. Но поспешать мне некуда. Хорошо тут,— сказал старик.— А на машинах ездить не люблю. От них запах плохой да быстрота: не успеешь глазом моргнуть, как до места доехал. Мне теперич охота вольным воздухом надышаться и всякий мой день удлинить.

— Ноги застудишь. Земля холодить начинает,— предупредил Федор Тимофеевич.— Еще ведь далеконько идти.

— Ништо! Привычные ноги. Хожу босой сразу, когда вешние воды снег унесут. Иначе не могу. Не от нужды ведь. Сын в колхозе агрономом, недавно опять мне новые сапоги справил, да я их надел, примерил и повесил в чулан. Босая нога землю-то лучше чует. Роднее ей на земле-то...

Федор Тимофеевич наконец узнал его: это был Иван Добрынин, бывший распоследний бедняк — неудачник в Малом Броде, когда-то мечтавший разыскать в лесу клад.

На улицах села уже безлюдно и пусто, только вдали по тракту ползет бульдозер, да на остановке автобусов неизменно торчит фигура Софрона Голубева. Свалянную из овечьей шерсти шляпу он всегда держит в руке, на случай дождя, а если небо чистое и ясное, купает голову в солнечном свете. Лысина у него на макушке круглая, подпаленная зноем в окружении редких седых волосков. У себя в доме он только ночует, предпочитая все время находиться на людях. Здесь, на остановке автобусов, как на жизненном перекрестке, собирает новости от приезжих и от своих земляков, но исключительно приятные, хорошие новости, которые могут порадовать его и людей. «Плохого я прежде навиделся,— объяснил он однажды Чекану.— С него пользы нет!» Жители Малого Брода уже давно привыкли к его доброму безделью и подходили к нему, как к колодцу у палисадника, где всегда можно зачерпнуть ведром воды и напиться.

Дом правления колхоза стоит неподалеку за остановкой автобусов, на пологом угоре; за ним по берегу озера роща тополей. Это Гурлев вырастил ее. Березы были бы милее, есть в них что-то певучее, задумчивое и многовекое, но растут они медленно, а тополя поспешливее — за три года вымахали вверх, надушили округу свежими, сладкими запахами. Когда делали еще первые черновые наброски

новой застройки села, Гурлев потребовал: «Здесь всей улицей пора насажать тополей, у каждого дома. Природа — это своим чередом, но надо еще и современную технику как-то загородить, чтобы глаза не мозолила. Обзавелись жители радиоприемниками и телевизорами, понаставили антенн, и торчат они над крышами, как сухостойный лес. А мы к веселой жизни стремимся! Не должна техника угнетать своим видом. И не забудь, Федор Тимофеич, о тротуарах. Непременно запланируй их. Взрослые, по привычке, еще потерпели бы, а вот ребятишкам негде на велосипедах кататься. Когда в школу бегут, то на большак лезут, где машины проходят». Все его пожелания Чекан, конечно, в проекте учел, но к тополям вдоль тротуаров добавил березок и цветущих кустарников...

Всякий раз, когда Федор Тимофеич останавливал здесь машину, встречал стариков, видел доживающие свой век дворы бывших богатых хозяев, охватывало его странное чувство близости прошлого. Вот тут был переулок, по которому приходилось ходить на квартиру к старухе Лукерье; там стояли казенные амбары, а дальше, где сейчас на пустыре поднялся репейник, замкнуто жил кержак Казанцев; на берегу, под угором, еще стоит береза, памятная тем, что подле нее избач Чекан впервые поцеловал свою невесту Аганю.

Все помнилось, было близким, но в то же время далеким. И даже как-то не верилось, что теперешний Чекан и его Аганя и теперешний Гурлев — это те самые, которые жили тогда. Ничего невозможно было сказать только о Согрине. С тех пор Федор Тимофеевич его не встречал, а сейчас не мог представить иначе, как прежним. И весь длинный путь от города до Малого Брода, вспоминая прошедшие в прошлом события, так и не доискался, что встревожило Гурлева?

Павла Ивановича в правлении не оказалось.

— К вечеру, может, появится,— сказал о нем сидевший на крыльце Михайло Сурков.— То ли на ферму ушел, то ли с комбайнерами на поля уехал — не знаю! Забот ведь завсегда полно. Эвон уже хлебные поля доспели, да скоту пастбищ не стало хватать. А мне он еще утром наказывал: ты-де, Михайло, коли Федор Тимофеич прибудет, передай — пусть обождет! — И как бы по секрету добавил:— Чего-то он уж дня три не в настроении...

Свое недовольство намерением сына Гурлев старался на людях не выказывать, но легло оно камнем на душу. Каков же позор будет, если Володька переселится к Татья-

не! Поймет ли кто-нибудь в селе то, чего не хочет признавать и понимать родной сын? И все это именно сейчас, после злого предложения Зубаря «слезать с коня», вдобавок накануне уборочных работ, самых трудных в колхозном производстве. Еще ночью, перед сном, думал: «Не ко времени Володька затеял женитьбу. Не нужны сейчас никакие иные заботы и хлопоты, лишь бы скорее и надежнее провести уборку хлебов. Вдруг непогода свалится»...

А непогода и в самом деле уже с раннего утра начала оказывать признаки. Чуть-чуть поднялось солнышко и согрело землю, воздух сразу загустел, под рубаху заползала испарина, в огородах подсолнечники поникли, во дворе раскудахтались куры и начали купаться в сухом перегное.

— Давай-ка, Владимир, обождем покуда решать твой вопрос,— сказал Павел Иванович, когда тот во время завтрака снова заговорил о женитьбе.— Что тебе так пристало? Если пройдет еще месяц или два, Татьяна, наверно, в теле не усохнет, за другого парня замуж не убежит. Надо ведь еще с матерью посоветоваться да к свадьбе приготовиться.

— Поживем, а потом, если нужно, свадьбу сыграем,— легко ответил Володька.— Я не очень большой сторонник традиций.

— Это не традиция, а порядок. Люди осудят...

— На всех не угодить. Митьку Холякова тоже осуждают: зачем это он замужнюю полюбил? У Веры есть ребенок, сама она на два года старше Митьки и с мужем еще не развелась, а тут в Малом Броде любая девчонка не отказалась бы замуж пойти, но как в песне поется — сердцу не прикажешь, кого выбирать!

— Разумнее поступать надо!

— Тебе, батя, так рассуждать легко, свое уже отлюбил...

— Может, и не любил никогда,— мрачновато заметил Павел Иванович.— В твои годы другими делами был занят.

— А как же сумел жениться?

— Из уважения да по привычке к хорошему человеку.

— Мать говорит: всегда любил!

— Это ей больше знать, чем мне! Не обижал никогда...

— Почему же Танюшку Согрину нужно обижать? Она мне доверилась, полюбила, построила свои планы на семейную жизнь, а я вдруг возьму и откажусь от нее, надругаюсь над ее чувствами! Это Верка Пашнина так в свое время поступила. Еще тогда Митька хотел жениться на ней, а она послушалась сплетен: дескать, раньше мужа соста-

рится, не то поживет с ней Митька да другую, помоложе, найдет. Уехала в город, вышла там замуж за ровню, а любовь-то оставила здесь. Теперь вот не вдвоем мучаются, а вчетвером: мужа бросила, ребенка оставила без отца, на новое предложение Митьки ответа не дает. Стыдно, наверно!

— Я думал, она у родителей гостит,— озабоченно сказал Павел Иванович.— А так — это плохо! Что же Митька от меня скрывает?

— Чем ты мог бы ему помочь? Считаешь его почти родным тебе сыном и тоже начнешь отговаривать.

— Неохота вас видеть несчастными.

— Если так, то позволь поступать, как нам кажется лучше,— резко произнес Володька.

— Ты Веру Пашнину с Татьяной не уравнивай,— не менее резко ответил Павел Иванович.— Хоть и дальняя веточка, но все же от дерева согринского тебе приглянулась. Привьется ли она к нашему дереву? Откинем в сторону социальное происхождение, теперь люди все равные, но быт и взгляды на то, как жить, чем и для чего жить, покуда еще одинаковые далеко не у всех. Это разделяло нас с Прокопием Согриным в прошлом, отсюда начиналась наша вражда, по этой же причине я не доверял ему и не могу доверять до сих пор. В этом мире мы с ним друг другу чужие. Я хочу богатства для всех, он только для себя. И не поверю, если он скажет, будто за прошедшее время целиком изменился. Мне однажды Ксения говорила: «Отец теперь живет еще богаче, чем прежде! Огромный дом, в комнатах ковры, дорогая посуда и денег много, да еще во флигеле квартирантов держит». Между тем ее, родную дочь, выгнал. Только к Татьяне благоволит. Она ведь будет его наследницей.

— Но если не будет?

— Вряд ли! И вот сейчас давай дальше рассудим. Мы тебя воспитывали в своих правилах. А с каким настроением станет Татьяна жить, когда получит наследство? Не увлечет ли оно, не пробудит ли в ней того собственника, который жил в ее дедушке? И не потянет ли она тебя в болото, где только и знают: давай копить деньги и барахло, все давай, давай, наживайся, попускайся совестью и всем чистым, что украшает человека! Мерзко получится! Наряду с тем, что я во многом в прошлом подозреваю Согрина, не хочу, чтобы ты, мой сын, попользовался из его богатства хотя бы одной копейкой! Понял ты меня наконец?

— Нет не понял! — упрямо возразил Володька.— Воз-

можно, ты прав, рассуждая так, но мы ведь движемся в жизни не назад, а вперед!

— Ну, ладно! — положив руку на стол и видя, что разговор идет бесполезный, оборвал Павел Иванович.— Давай-ка лучше о деле. Стройку детсадика пора завершать. На последние отделочные работы в здании даю тебе сроку еще дней десять. Чего не хватает?

— Пиломатериала, электроарматуры и масляных красок.

— Сегодня же составь требование, возьми машину и сам поезжай в Калмацкое. Завтра машин не дам ни одной, все будут двинуты на уборочную. Не управишься в срок, на заседании правления всыплю, не глядя, что сын! Не рассчитывай на поблажки!

Надев пиджак и выцветший от солнца картуз, Гурлев вышел из дома на улицу. Падали с тополя зажелтевшие листья, сорванные посвежевшим ветром. Стайка воробьев копошилась в пожухлом конотопе, изнывая от духоты. Низко, очень низко, да с тревожным гвалтом летали галки возле ободранного купола молчаливой церкви. Небо, еще ранним утром такое чистое и тонкое, подернулось дымчатой пленкой. И бегут, бегут по нему стадами белые рваные облака с темными подпятниками, быстро бегут — значит, быть грозе с ветром. А ячмени в заозерье уже поспели, оставлять их в непогоду нельзя — пригнет ветром к земле, перепутает, повыбивает из колосьев немало зерна. «Все не в пору,— с досадой подумал Павел Иванович.— Ни раньше ни позже еще и сын заботы добавил. Мне надо теперь неотложное дело решать, хлеба ведь не станут нас дожидаться, пока меж собой разберемся. Да кабы не Прокопий Согрин, и разговору-то не было бы: женись, если охота пристала! Приводи в дом хоть Татьяну, хоть иную жену и рожай на здоровье дюжину Гурлевых! Но как же все-таки поступить? Не отступит Володька! Измучаем Таньку ни за что ни про что! Даже если отделить их от себя, все равно покоя не найти. Впрочем, Дарья на отдел сына согласья не даст, хотя самой тоже не сладко придется. Потерпеть уж, что ли? Не показывать виду? Может, как-нибудь приживемся? И, однако же, Федора Тимофеича напрасно я всполошил! Зря. Чем он может помочь мне? Это ведь жизнь, а не книжка, которую прочел, но сразу не понял!»

Завидев издали ковыляющего с палочкой по тропинке возле домов Михайлу Суркова, Гурлев помахал ему рукой:

— Иди-ка, собери членов правления и механизаторов. Все дела в сторону...

— Что так срочно, Павел Иваныч? — не понял Михайло.

— Непогоду-то чуешь?

— Как, поди, не почуять? Эт, свежак из-за озера-то шибает! Мы еще вечор с Гаврил Иванычем перемолвились: ячмени уж сами просятся на уборку!

— Ты, давай, однако, не мешкай! — предупредил Павел Иванович.— Часам к десяти пусть все будут в сборе. Да, пожалуй, кое-кого из комбайнеров позови: Митьку Холякова, Степана Блинова и еще по своему усмотрению. Я скоро буду...

Смолоду привыкнув быть на людях, в их заботах и трудностях, отдаваясь им весь сполна, он обычно сбрасывал у себя дома, за порогом, все семейные неприятности, какие случались. На этот раз расстроенное чувство улеглось не сразу, и чтобы не давать людям повода для всяких домыслов, Павел Иванович переулком пошел к ремонтному цеху. На соседней улице, по пыльной дороге прокатил на мотоцикле Митька Холяков. Гурлев проследил за ним глазами: Митька подрулил к дому Пашниных и легонько гукнул сигналом. Пашнины еще не убрали от двора строительный мусор, их новый беленький домик посреди зелени, в солнечном свете, выглядел очень уютно, отчего Павел Иванович невольно пожалел Веру, которая привезла сюда из города свою поломанную судьбу. Митька еще раз посигналил, Вера вышла ему навстречу, как-то вроде растерянно озираясь по сторонам. «Да не бойся ты парня, не бойся! — мысленно подсказал ей Павел Иванович.— Зачем же страдать! И Митька не очень удалой. Рос рядом с Володькой, в работе всегда впереди, а насчет любви простоват, не умеет девке на ногу наступить. Взял бы ее сейчас на руки да и унес бы!» Это он так представил себе из желания устроить Митькину любовь, а в действительности сам на такое никогда не решался.

На обширной поляне у ремонтного цеха ровным строем стояли комбайны, изготовленные на выезд. Неподалеку от них техник-механик Алексей Стручков, небритый, видом помятый, о чем-то рьяно говорил с шофером бензовоза Леонтием Гущиным. Тот, детина могучий, подпирающий головой крышу кабины, каменно слушал, глядя куда-то в сторону. Он, очевидно, только что привез горючее с Калмацкой нефтебазы; мотор еще не был приглушен, и машина судорожно вздрагивала.

— О чем шумок? — подходя к ним, спросил Павел Иванович.

— Распоряжению не подчиняется,— с досадой ответил Стручков.— Я велю разгружаться...

— Давай заправщика,— перебил его Гущин.— Сам не буду!

— Во, видали его! — горестно сказал Стручков.— А у меня заправщика сегодня нет. Так и до завтра простоишь тут!

— Простою! — подтвердил Гущин.

— А где Крюков Иван? — осмотревшись вокруг, спросил Гурлев.— В отгуле, что ли?

— Самовольно прогуливает,— еще горестнее сказал Стручков.— Всю ночь газовал с приезжим гостем. Нагазовался так, аж разбудить невозможно,— колода колодой в сенцах валяется! Я уж два раза ходил...

— Слаб ты, парень! — строго заметил ему Павел Иванович.— Насчет техники тебя похаять нельзя; спасибо, все машины содержишь в порядке! Но к людям настоящего подхода не выработал. Почему небритый, неприбранный на производство явился?

— Не успел,— виновато признался Стручков.

— А чем был занят?

— Допоздна в цехе пробыл, да встал снова чуть свет.

— И думаешь, это хорошо? — осуждающе заметил Гурлев.— Молодец, что о производстве заботишься, а надолго ли хватит тебя, такого небритого и замученного? Мне как-то на областном совещании по сельскому хозяйству один директор совхоза похвастался: «Я уже два года в отпуске не бывал и каждый день чуть не по двадцать часов работаю. Иной раз,— говорит,— вовремя пообедать некогда, не то что побриться!» Значит, незаменимый человек он! Не дай бог, заболеет, ляжет в больницу, так все хозяйство развалится. Я ему и сказал в ответ: «Выходит, тебе надо должность менять, коли организовать труд не умеешь. Один за всех не сработаешь!»

— Солдат спит — служба идет! — басисто добавил из кабины Гущин.

— Не совсем так, но где-то около того,— добродушно поправил Гурлев.— Иной раз, коли нужда подопрет, можно неделю не спать: день пропустишь, год потеряешь! Но бриться следует каждое утро и рубаху дотла не занашивать. Неряшливый вид люди не уважают. Так что сходи-ка сначала, Леша, умойся, побрейся...

— А мне разгружаться когда? — нетерпеливо спросил Гущин.— Ведь еще один рейс делать надо!

— Обожди с полчаса, я Крюкова приведу,— пообещал

Павел Иванович.— Он же ведь и расписаться за горючее должен.

Прежде чем идти домой к Ивану Крюкову, Гурлев зашел в медицинский участок и позвал с собой фельдшера — Анфису Павловну.

Крюков беспробудно спал в сенях, на свертке старых половиков, уткнув усатое лицо в сапоги валявшегося под столом гостя. Павел Иванович вытащил его к дверям, потрепал за уши и легонько смазал ладонью по щекам, затем приподнял и встряхнул за плечи, но тот кулем повалился обратно на пол.

— Дай-ка ему, Анфиса Павловна, несколько капель нашатырного спирта в ноздри,— не видя иного исхода, попросил Павел Иванович.— Видать, вместе с гостем перебрал сверх меры. Не отравился ли?

— Как же, отравишь таких! — осуждающе заметила Анфиса Павловна, но сунула под нос Крюкову флакон со спиртом.— Экие бугаи!

В полуоткрытую дверь из кухни выглянула жена Ивана — женщина молодая, в жизни веселая; а сейчас лицо у нее было бледное, впалое, искаженное болью.

— Ты чего сама-то, Варвара? — беспокойно спросил Павел Иванович.— Вместе с мужиком бражничала или из-за него расстроилась? Ни то ни другое тебе нельзя!

— Может, расстроилась,— прислонясь всем телом к косяку, сухими губами еле слышно сказала Варвара.— Черти принесли к нам гостя не в пору! Всю ночь пили тут, спорили, хвастались друг перед другом. Думала, подерутся. Ножики и вилки убрала от них, а потом ребенок вроде повернулся во мне...

— Рожать тебе рано,— продолжая отхаживать Крюкова, успокаивающе предупредила Анфиса Павловна.— Надо еще месяц доходить. Иди-ка, полежи в постели, а я восстановлю твоего и к тебе загляну!

Получив лошадиную дозу лекарств, Крюков скоро пришел в себя, а после ведра холодной воды, которой Анфиса Павловна заставила его умыться, окончательно протрезвел. Гурлев не стал ему выговаривать и ругать; время началось теперь плотное, дорогое, и его следовало беречь для других неотложных забот. Собираясь уходить в правление, все же строго погрозил пальцем:

— Гостя сегодня выпроводи! А сейчас иди к комбайнам, прими от Леонтия горючее, разлей по бочкам и приготовь их к отправке на поле. Через два часа будем выезжать на уборку!

Так казалось вернее. Ругань всегда унижает не только того, кто ее заслужил, но и того, кто ругает. «Слабо, значит, что-то в самом, если сдержаться нельзя,— говорил Павел Иванович, когда его кто-нибудь попрекал в потворстве.— Нам работник нужен не поневоле, а вполне сознательный к своему труду и не униженный, но со мной на одном уровне. Такой сделает больше и лучше!» И этого добивался. Задача была трудной, зато у него было прошлое и большой опыт прошлых лет, который подсказывал такой путь. Именно та вынужденная жестокость, которая заставляла прежде начинать с нажима, с категорических требований подчинения, привела к необходимости внимания к каждому, пусть даже самому отсталому члену колхоза, к его жене и детям. Теперь это стало правилом — прежде понять: почему один работает и живет хорошо? Почему другой работает и живет как неприкаянный? Что-то же двигает ими! Одному способствует, а другому мешает! При этом всегда помнил сказанное когда-то Чеканом: «Ты поднялся, так дай же и дорогому для тебя человеку подняться!» А выговорами, нажимами его не подымешь! В трудностях надо помочь, в слабостях поддержать, не злостный проступок суметь простить! Вот так и с Иваном Крюковым: пусть-ка сейчас его совесть помучит!

Но случай этот был пустяковым в сравнении с тем, что задумал Володька. «Просто беда! — огорченно подумал Павел Иванович, прикрыв за собой калитку во дворе Крюковых.— Ведь все равно не поймет он меня, и придется ему уступить!» Из-за этой навязчивой мысли, от расстройства, которое еще никак не мог успокоить, кинул враждебный взгляд на бывший дом Прокопия Согрина, где давно уже был устроен колхозный детсадик. Там, у ворот, галдели детишки, выстраиваясь на прогулку. Перед ними стояла Татьяна Согрина, их воспитательница, показывая руками, как становиться. В ярком утреннем свете, тонкая и гибкая, по моде одетая — платье выше колен, белые босоножки с бантиками, шелковая косынка, наброшенная на оголенные плечи,— и лицом свежая, с диковатыми глазами степной красавицы, производила она очень славное впечатление. По рассказам Ксении, отец у Татьяны был казахский джигит, и потому эта диковатость пересилила все, что могло достаться от Согрина. «Ладно, хоть деда не будет напоминать,— с некоторым облегчением подумал Павел Иванович.— И на том спасибо!» А как-то не поднялась рука, чтобы помахать, поприветствовать ребятишек и Татьяну, хотя прежде ни разу равнодушно не проходил мимо, да и

сама Татьяна почему-то сразу повернулась к дороге спиной, наклонясь к щебечущим ребятишкам.

Было уже без двадцати минут десять. В правлении колхоза в эту пору никаких заседаний не полагалось, но откладывать уборочную, даже на один день, было рискованно. Земля продолжала парить, с озера веяло свежестью, а за навесом у остановки автобусов мохнатый щенок катался на пыльной полянке и счастливо повизгивал.

Взглянув на часы, Гурлев спустился по угору на берег озера. На песчаных отмелях повсюду лежали хлопья пены, набитой плескучими волнами. У плотков колхозные рыбаки сгружали с лодок мотки мокрых сетей. Озерные караси — надежное подспорье. Поварихи на станах ворчат, надоедает им чистить рыбу, а мужики довольны. И питание обходится совсем дешево. Караси эти почти даровые; только за уловы начисляется плата. Не будь уловов, пришлось бы выбраковывать из стада и забивать самое малое десяток коров.

Привезли рыбаки четыре ведра карасей. Но маловато. Беспокоится озеро. Спустилась, наверно, рыба в придонный ил, не то ушла в камыши, в затишье. «Тоже признак на непогоду,— отметил Павел Иванович.— Худо придется хлебам, если ее не опередим!»

А по небу трудно определить — сколько же часов или дней может еще так накапливаться ненастье? Да и наберет ли оно силу? Погрозит вот этак, поморщится, нагонит тревогу и отвалится посуху дальше. Надежда на такой исход слабая. Многолетний опыт научил рассчитывать всегда не на лучший, а на худший исход. Природа ведь! Как захочет, так и поступит. Если бы иметь в руках волшебную палочку, то накрыл бы небо над созревшими хлебами в полях брезентом, загородил бы стеной от порывистых ветров, но хлеборобу не дано в руки волшебства, и надо полагаться всегда исключительно на свою смекалку, находчивость и сознание. Это сознание и требовало сейчас — не упускать ни одного часа и опять решиться на новые конфликты с Зубарем.

Павел Иванович не сдержал усмешки, вспомнив присланный районным управлением график уборочной. Поглядишь на эту бумагу — все от начала до конца правильно, составлено грамотно и разумно, с хозяйским подходом, но, как говорится в народе, «человек полагает, а бог располагает!» График-то составляли специалисты по среднегодовым температурным режимам, по средним срокам созревания культур. Отсюда и раздельный способ уборки, чтобы зерно успело дойти в валках до кондиции, и расчеты нагру-

зок на каждый комбайн. Председателю и агроному колхоза вроде бы беспокоиться не о чем: делай, как в бумаге указано, и будь здоров! Между тем солнышко успело в конце лета поднагнать на землю тепла больше нормы, да ветер изменил направление, и хлеба перестали нежиться, вот-вот начнут осыпаться. Так что же делать при этом: соблюдать график или поломать его, да в предвидении ненастья и жатву провести до начала срока и напрямую, без валков, по сокращенному циклу: поле — комбайн — крытый ток. А вдруг ненастья не будет? Тогда уж наверняка у Зубаря будет право сказать: «Подавай заявление и слезай с коня!»

На обратном пути от озера опять вспомнился вчерашний разговор по телефону с Чеканом. «Напрасно поторопился я,— упрекнул себя Павел Иванович.— Приедет человек, от своих дел оторвется, а мне с ним обстоятельно обменяться мыслями сейчас недосуг. Да и не горит ведь дело! Володька, может, еще поершится да перестанет или уж на крайний срок обождет, когда мать у дочери отгостит. Неловко, даже совестно получилось. Хотя Федор Тимофеич поймет меня, не обидится!» Поморщился и, хмурясь, пнул ногой валявшийся на тропинке камень: «Вот же какая чертовщина случилась! Как будто в этой жизни мне именно Согрина не хватало!»

И все-таки в правлении никто по его внешнему виду не мог бы догадаться, какие еще неурядицы волнуют председателя, кроме уборочной. Один Михайло Сурков, за многие годы изучивший на лице Гурлева каждую черточку, поглядывал искоса.

Собрались только те, кому следовало решать и кто должен был начинать жатву: у стола председателя — члены правления, за ними на стульях вдоль стен — полеводы, комбайнеры, шофера. Агроном Добрынин разложил на столе снопик созревшего ячменя, за которым намеренно ездил за озеро. И уже одежду сменил. В поле предстоит работа пыльная, так надел потертые брюки и выцветший пиджак со следами проколотых для орденов дырок. Захватил с собой из дому брезентовый плащ и резиновые сапоги. Тоже ведь верит в приметы на непогоду, а ответственность за хлеба у него двойная — весной его выбрали секретарем колхозной парторганизации. Впрочем, не у него одного: стоит кинуть взгляд на собравшихся — половина партийцы. Вот и механик Стручков, все же успевший побриться, молодой еще, не обмятый жизнью. Из шестерых комбайнеров — Степан Блинов, Петро Кузнецов и Григорий Бабкин по десятку лет в партии. За всех за них Павел Иванович

поручался, всех их знавал мальчишками, потом юнцами, а теперь вот они уже отцы семейств и мастера первой руки, которым только скажи, так они гору своротят с места и на другое место поставят. «Не перехваливай, не обливай товарищей медом сверх меры,— вроде бы в шутку сказал однажды Павлу Ивановичу секретарь райкома.— Это люди как люди!» Но не учел он, что именно с этими людьми Гурлев был в близком родстве, любил их как старший брат, уважал за сноровку и смелость, за верность земле и потому не мог говорить иначе. Случалось, ребята кое-чем грешили по мелочам, но в главном, в их труде, он мог полагаться на них, как на самого себя.

— Я думаю, каждому из вас ясно, почему именно сегодня, не задерживаясь больше ни часу, надо начинать жатву ячменей,— приступил сразу к делу Павел Иванович.— График уборки ломается и придется нарушать указания. Но что дороже?

— Я в райком уже позвонил,— дал справку Добрынин.— Пробовал доложить и в районное управление. Зубаря по телефонам не доискался, а заместителя, Власова, ты сам знаешь, совсем с буквы не сдвинуть, так я ему просто сообщил, и пока он размышлял, собираясь ответить, повесил трубку. Станет звонить сюда сам — нас дома нет!

— А что в райкоме?

— Первый секретарь в отъезде. Второй ничего определенного не сказал: «Начинайте, если рисковать не боитесь!»

— Боязно или не боязно, у нас выбору нет! — решительно подтвердил Павел Иванович.— Прошу остальных членов правления выразить свое мнение!

— Начинать! — поднял руку Михайло Сурков.— Ишь, свежак-то из-за озера, какой постоянный.

Молча проголосовали полевод Прохор Юдин и заведующий молочно-товарной фермой Панов, человек всегда осторожный.

Гурлев не сомневался ни в ком, но все нужно было еще раз проверить, настроить на боевой лад, да и общее решение надо было записать в протокол.

— Теперь коротко проверим готовность,— сказал он, убедившись в полном согласии.— Начнем с зерноуборочной техники.

Это тоже необходимо было исключительно ради настроя. Все комбайны после ремонта опробованы на холостом ходу. Трактовый путь исправлен. Горючее и смазочные масла есть в достатке. Как всегда, не хватает запасных частей, но тут уж ничего не поправить, придется работать поаккурат-

нее, поломок не допускать. Поэтому Павел Иванович так и сказал, обращаясь к комбайнерам:

— Не мне вас, ребята, учить, как машинами управлять. Однако лишку от них не выжимайте. У нас главная задача: не допускать простоев и не потерять зерно! Ни в соломе, ни в оставленном на жнивье колоске чтобы ни зерна не осталось, и в пути от комбайна до крытого тока, чтобы ничего не просыпалось.

На себя, как и в прошлые годы, он взял материальное обеспечение уборщиков. Неприметно для сторонних глаз, не принижая свое достоинство, помалу перекладывал председательские заботы на Гаврила Ивановича, расширял его полномочия, готовил из него для себя замену. Вот и сейчас, узнав, что Добрынин уже успел позвонить в райком, опередил с донесением, ничего зазорного для себя в его поступке не нашел, даже остался доволен. Правильно действует! И в том, что агроном уже собрался в поле, виделся в нем настоящий работник. Да и странно было бы сомневаться: вся жизнь Гаврила Ивановича, от первого выхода на пашню с отцовой шапкой вместо лукошка до звания агронома колхоза, прошла не без помощи и внимания Павла Ивановича, исключая время, которое Добрынин провел на войне.

— По моей прикидке, поскольку в поле отправляются пять комбайнов, весь ячмень надо убрать к завтрашней ночи,— предупредил Добрынина, закрывая заседание правления.— Попытайтесь успеть!

— Попробуем! — согласно кивнул тот.— Хотя урожай нынче увесистый!

В одиннадцать часов, как было назначено, комбайны снялись со стоянки у ремонтного цеха и один за другим двинулись в заозерье. Передний вел Митька Холяков, но хмуроватость на его лице Павлу Ивановичу не понравилась. «Не уладился, наверно, с Верухой, не уговорил ее! — шевельнулось беспокойство.— Не ко времени любовь! Не в пору! Мне самому, что ли, с Веркой побеседовать...» И, проводив комбайнеров, пошел к Пашниным, но вдруг стало неловко вмешиваться: любовь — это штука настолько тонкая, чувствительная и личная, что касаться ее надо умеючи! Лучше не трогать! Пожалуй, и Володькину любовь тоже не надо ломать: может быть, никакая иная, а только Татьяна составит его счастье на всю жизнь!

В это утро пришлось еще разыскать директора школы, отправить на ток старшеклассников, потом с подводой наладить туда же повариху Катерину Шишову, снабдить ее печеным хлебом и необходимым припасом, чтобы уборщики

ели досыта. Катерина всегда сама просится в эту бригаду. Всем известно почему: там Митька! Заметно по глазам девку — любит его, дурного! Вот и женился бы на ней, а не бегал за Верой, не досаждал замужней и детной женщине. Так нет же, не получается так. Любовь!

В ту минуту, когда Федор Тимофеевич Чекан по Калмацкой проселочной дороге въезжал в Малый Брод, Гурлев поехал в поле.

Так они разминулись в улицах, а Михайло Сурков, очевидно, и в самом деле не знал, куда и зачем отправился председатель.

— Только он не в настроении. Отчего так, опять же не знаю. Вроде бы в хозяйстве для расстройства нет ничего. Вот лишь погода обещает не шибко порадовать.

— Слыхать, Согрин опять появился? — наводя на мысль, спросил Федор Тимофеевич.

— Тому здесь место чужое,— серьезно сказал Михайло.— Раза два, кажись, бывал тут у Ксении накоротке, не больше.

Разомлев от жаркого воздуха, разувшись для легкости и расстегнув ворот рубахи, старик признал любой разговор о Согрине, не заслуживающим внимания, а между тем безделье его томило, кидало в зевоту, и он охотно стал рассказывать о себе, о своих дочерях, которые, не в пример детям Софрона Голубева, никуда из села не уехали, повыходили тут замуж за своих парней, и о внуках, которых уже целый десяток.

— А у тебя-то как в семействе? — поинтересовался Михайло.— Старшой, поди, уж в профессоры вышел?

— Еще не вышел,— ответил Федор Тимофеевич.

— Жизнь идет! Старое старится — молодое двигает в рост! А когда ты с планом застройки кончишь?

— Часть листов сегодня привез.

— Беспременно меня позови, когда станешь показывать их Павлу Иванычу. Как оно получается?

— По-моему, хорошо!

Михайло трудновато вздохнул.

— Жалко!

— Чего?

— Да стариться и выбывать из жизни желания нету. Ведь подумать дивно, сколько на мой век пришлось повидать: в темноте жил, первый трактор в селе видел, первое радио, первый телевизор! Этак вот окинешь взглядом прожитое, так и жаль стариться: чего еще дальше-то нам приготовлено? И не на листах бы посмотреть, каков он, наш

Малый Брод,останется на дальнейшее, но еще успеть бы пожить в нем.

Он поднялся со ступенек крыльца и попросил Федора Тимофеевича, пока нет Гурлева, развесить в правлении уже готовые эскизы, а сам пошел звать сюда Софрона Голубева, Ивана Добрынина и других стариков из числа первых колхозников.

4

По дороге между Калмацким и Малым Бродом произошла вынужденная остановка автобуса — лопнул баллон. Пока шофер заменял колесо, пассажиры разбрелись по опушке леса, а Согрин только потоптался на полянке, разминая ноги, и присел на обочине. Даже с удобствами ездить стало уже трудновато: ныла спина, деревенели суставы в коленках, дальним колокольным звоном щемило уши.

Не так уж и желанна была эта поездка. Нужда заставила, а иначе не сделал бы шагу сюда.

Чуть позднее, когда издали показалось раскинутое по угору село, вдруг трудно заныло сердце.

И вот, наконец, последняя остановка. Еле сошел со ступенек машины на землю — сразу уперся глазами в свой старый двор. Он первый встречает тут, весь одряхлевший, прежде бывшего хозяина: по углам дал осадку, сгорбатился, сливные трубы под ржавой крышей обвисли, резьба по карнизу выкрошилась и зачернела, как изношенное кружево старушечьего платка, каменных ворот нет, кладовуха и амбары потрескались. Зато фундамент дома целехонек и продолжает надежно хранить тайничок, куда был спрятан револьвер Холякова. Много раз за прошедшие годы нападал на Согрина страх, терзал и казнил за то, что глупо и нерасчетливо поступил тогда — не выбросил револьвер прочь, сам против себя оставил улику.

На скамейке у остановки еще одна примета прошлого — Софрон Голубев, уже присогнутый временем. Согрин хотел пройти мимо, но тот остановил:

— А, редкий гость припожаловал! — сказал, не здороваясь.— Скучаешь, наверно, Прокопий Екимыч, о своей прежней домашности?

— Чего мне о ней скучать! — сдержанно и стараясь быть вежливым, ответил Согрин.— Было да пропало, как в огне сгорело! Дураки мы были, Софрон. Этак вздумаешь теперь и диву даешься: для какого смысла греблись тут, себя и людей мытарили?

— Надо полагать, все ж таки, смысл у вас был...

— По дурости. По темным понятиям. Думали, как она жизнь-то построена, так и должна стоять. На поверку вышло иначе. Она же сама и вправила мозги каждому, кто ее сразу не понял.

— Неужто не понимал ты? — явно сомневаясь, спросил Софрон.— На тебя вроде бы не похоже!

— Чем я лучше других казался?

— Может, не лучше, но разворотливее и догадливее. Газеты читал. В один уровень со своим же братом не становился.

— Теперь уж ни к чему вспоминать,— вздохнул Согрин.— А догадливости и у меня не хватало. Иначе не испортил бы в ту вёшну посевы, не заслужил бы суда над собой...

— Да-а, ты тогда маху дал,— согласился Софрон.— Однако вид у тебя наизробленный. Еще, поди-ко, с любой бабой управишься! Ты ведь старше меня?

— Восьмой десяток идет.

— Длинно живешь...

— Да уж так, наверно, бог повелел — самого себя пережить! И ты тоже, Софрон, зря уж мозолишься на земле,— не очень добро сказал Согрин.— Ничего почти от прежнего Малого Брода не осталось, а мы еще век свой не кончили. Выходит, человек дюжее, чем все, что он строит.

— Так и быть должно!

— А зачем?

— Не знаю, как для тебя, но мне на пользу. Живу, покуда, в свое удовольствие. Гневаться не на что! Парни и девки все вышли в люди: Сашка инженер, Миколашка булгахтер, Марейка учительница, Сонька на подъемном крану работает в заводе. Эти от меня улетели, со мной остался Семен, самый младший. Он здесь тракторист-комбайнер. Жаль, не видно отсель нашего дома. Показал бы тебе.

— Недавно построились?

— Уж года три, поди-ко, прошло.

— Впрочем, я ведь не о достатках толкую,— поправился Согрин.— Они есть у всех, кто их желает. Уж не нужда, а машины... телевизоры теперь на уме...

Чуть не обронил при этом о себе хвастливое слово. Теперешний дом в пригороде совсем не в пример старому здешнему двору. Тут осталось три горницы, а сейчас пять да флигель в оградке. И не пустые стены, не домотканые половики на полах. От дорогой посуды буфеты ломятся. За домом свой сад, где каждую осень помногу ведер набирает-

ся клубники, смородины, вишни, яблок, слив. Кажется, большего и желать невозможно. Так что, хоть на вожжах тяни теперь в прежний двор, не пошел бы! Но промолчал об этом, чтобы не возбуждать Софрона против себя, и участливо справился:

— От достатков-то скучаешь, небось? Еще не надоело безделье?

— Я тут при деле нахожусь,— вытерев ладонью лысину, выпрямил спину Софрон.— Приезжему надо куда следует путь указать, со своими приветным словом обмолвиться.

Софрон раздражал неизменным спокойствием, и уже надо было идти дальше, но тело налилось какой-то непонятной тяжестью: Ксения живет в конце Первой улицы, путь к ней лежит как раз мимо старого двора. Его не миновать, не обойти стороной, как невозможно подавить страх перед черной судьбой, словно выглядывающей из окон. Еще недавно было терпимо. Не терял надежду: постоит двор пока, хотя бы с десяток лет. К тому времени век его хозяина кончится, а до покойника не достанет ни рука правосудия, ни людское презрение. Нет спроса с мертвых. И вдруг внучка, Татьяна, сообщила в письме: двор назначен на слом, детский садик переселится в новое, особо для него построенное здание, здесь же, на месте согринского двора, нынче осенью будут закладывать Дом культуры. Радуется дура, сама не зная чему! Зато дед от такой новости несколько ночей провел без сна, без веры в сердце взывал к богу, искал, чем и как оправдаться, если при разборке фундамента найдут револьвер. Ничего путного не придумал, а подступившего страха не перенес, кинулся сюда навстречу беде. Не с повинной. Не с решимостью принять возмездие, которое его дожидалось так долго. Но что-нибудь предпринять. Чем-нибудь и как-нибудь огородить, обезопасить себя.

Стараясь не смотреть на проклятый двор, Согрин как бы ненароком свернул на другую сторону улицы и обочиной, мимо совсем еще новых домов, лишь легко огороженных редким штакетником, прошел до церковной площади. Тут он немного отвлекся, замедлил шаги, без одобрения подумал: «А все равно, та же деревня. Как жили врозь, так и живут». Не оправдались когда-то бродившие слухи, будто «все село станет жить под одно гребло», общую одежду носить и общих жен иметь. Разумеется, болтали тогда всякие глупости. По незнанию болтали. От незнания злились. От злости вредили, кто как мог. Может быть, так об этом и надо сказать, когда снова посадят на скамью подсудимых. Да поверят ли? Кузьма Холяков из могилы не встанет, не придет в суд

обвинять, зато Гурлев на этот раз из своих клещей не выпустит. Не доказать незнания, как не отрубить заранее руки, которыми все совершалось; они-то знали, что делали!

Хотелось мира, покоя, тишины. Все равно ведь некуда нажитый капитал применить. Некуда пустить в оборот. Как икону, что стоит на божнице в переднем углу. Засветил перед ней лампаду, натрудил спину в поклонах, а без толку, лишь себя потешил. Хоть миллионный капитал — цена ему грош! Ни мира, ни покоя не купить! Господи! Какая тоска, какая тяжкая печаль на старости лет!..

Остановившись возле церкви, Согрин в порыве отчаяния хотел перекреститься по старому обычаю, но веры в душе не осталось ни капли уже с давних пор, да и церковь видом была похожа на убогую нищенку. Прежде казалась высокой, сияющей, а теперь не выше пожарной вышки; над колокольней — ободранный, дырявый купол; в пустых проемах, где висели колокола,— поселились галки, уляпали карнизы пометом.

Домик у Ксении похож на скворечник. Не каменный, не бревенчатый, а собранный из готовых, сделанных в леспромхозе щитов. Крыша крутая, по фасаду всего два окна, без ставен. Ни глухих ворот. Ни сараев нет. Это по теперешней жизни — кругом все открыто. Ветры ходят вокруг дома, нигде не запнувшись. Пристройки без надобности: зерном, фуражом, даже печеным хлебом снабжает колхоз. Ксения все же имеет корову, отдает ее в общее стадо, а на зиму запирает в стаюшку, которую сама же сколотила из досок. В огороде у нее растут картошка и морковь, пучится зеленью огуречная гряда, но совсем без толку понасажены тонкие, неуверенные для плодоношения яблоньки. Не умеет Ксения за ними ухаживать, плоды вырастают мелкие, твердые и кислые, а не хочет от людей отставать и забивает труд ни во что.

Равнодушен Согрин к собственной дочери. Как с детства ее невзлюбил, так и осталось. А к Татьяне немножко теплее. Девка бойкая, но тоже ведь девка. Обрывается согринский род. Фамилия еще остается у Ксении девичья, по отцу, но род кончился. Как в пропетой песне, сам Прокопий Согрин последняя точка, последний вздох.

Ни Ксении, ни Татьяны не оказалось дома. В оградке все прибрано, подметено метелкой. На вымытом с песком желтом крылечке раскинут чистый половичок.

Ключ от сенцев он нашел без особых хлопот, тут же под половичком, и, поставив чемоданчик за дверь, сходил в огород, освежил себя огурцами. Хотел было подремать, отдох-

нуть после утомительной дороги, привалился в тень сараюшки на зеленой полянке и не смог: вдруг стало тесно, душно, горько во рту, в уши будто комары залетели. Такого с ним еще не бывало. «Значит, это расстройство так действует»,— подумал Согрин и снова пошел на улицу хотя бы разведать: когда начнуть ломать его бывший двор, кто на эту работу назначен и нельзя ли договориться с кем-то? Ему казалось возможным, крупно кому-нибудь заплатив, успеть выйти из опасной игры с судьбой...

В улице попадали навстречу какие-то девчонки и парнишки; двое мужиков, по виду трактористы, со следами мазута на одежде о чем-то разговаривали у магазина, покуривая; прокатила мимо грузовая машина, обдав Согрина пылью и газом; женщина лет сорока обочиной дороги несла на руках ребенка, кудрявенького, в коротком платьице, и забавляла его, напевая. Жизнь как жизнь, но чужая. Может быть, весь этот народ — сыновья, дочери, внуки прежних Томиных, Белошаньгиных, Еремеевых, Шунайловых, или переехавшие сюда из других деревень? Как знать! А ощущение такое, что это теперь их земля, их село, их солнце. И безразлично им, кто ты такой: то ли проездом сделал тут остановку, то ли от нечего делать приехал по ягоды и грибы? Надо быть совсем без ума, чтобы остановить кого-нибудь из них, вынуть из кармана деньги и попробовать сторговаться!

Куда ни кинь, получалось все безнадежно. И все же надо было выход искать! Не узнал бы себя Согрин, если бы на полпути отступился, признал побежденным. Было так всего единственный раз за всю долгую жизнь, когда в ту роковую вёшну у Чайного озерка заломил ему руки Гурлев и заставил опуститься на землю. Не забывался полученный урок, но и не убедил поступаться хотя бы соломинкой.

У остановки автобусов для новых разговоров с Софроном Голубевым не стал останавливаться, повернул за угор, к правлению колхоза.

Тут мог встретиться Гурлев. С него и решил начинать. Пока не загадывал: удастся ли чего-нибудь выведать, мирной или не мирной окажется встреча впервые за тридцать лет? А никто здесь, кроме Гурлева, не ответит точнее, не скажет вернее про то, о чем написала Танька в письме.

Под окнами правления, в тени палисадника прохлаждался Аким Окурыш. Все такой, как прежде: мал, да лихой! И не состарился вовсе. Любопытство так и сквозит из глаз.

Согрин притулился рядом с ним в тень палисадника, поздоровался за руку.

— Как живется-то, Аким Лукояныч?

— А ништо! — охотно ответил тот, ухмыльнувшись.— Овдовел недавно. Хочу теперич снова к Домне посвататься. Смолоду не удалось, так хоть на кончике жизни с ней побалуюсь...

— Она уж старуха, поди,— веселее сказал Согрин.

— Баба и в сто лет соответствует. Ей не в убыток. Опять же, давно без мужа. Вдвоем-то нам веселее придется! — и по-молодому выгнул грудь.— А ты сам-то, Прокопий Екимыч, тоже, кажись, в одиночестве?

— Любая баба, после Аграфены Митревны, не жена! — убежденно произнес Согрин.— Так себе...

— Ну, это как сам поведешь,— не согласился Окурыш, намереваясь вступить в спор.

Нимало не интересуясь его мнением, Согрин спросил:

— Гурлева Павла Иваныча где найти?

— Ай отвык от деревни-то, Прокопий Екимыч? Хлебороба завсегда надо в поле искать. Весной пашет и сеет, летом пары и корма готовит, осенью урожай убирает. Прежде в зимнюю пору наш брат, мужик, на полатях лежал да самогонку пил, теперь же и зимой полежать недосуг: готовит семена, машины, наукой себя начиняет. Вот так и живем!

— От хлеборобства я, конечно, отстал,— все время сдерживая себя, согласился Согрин.— Но повидать мне Гурлева надо!

— Поди-ко, по личному делу? — хитровато прищурился Аким.

— Вроде по личному!

— Да ты прямее сказывай, Прокопий Екимыч! — засмеялся Окурыш.— В деревне от людского глазу иголку не спрячешь! Слыхать ведь — породниться хотите! Это хорошо! Володька Гурлев твоей внучке под стать. Не прогадаешь на зяте!

«Это что-то уже совсем другое,— удивленно подумал Согрин.— Эк, набежало!»

Татьяна ничего о замужестве не писала, а у Ксении и прежде не было толку сообщать отцу о своей жизни. Как ломоть отрезанный.

— Молодежь нынче старших не спрашивает,— ответил, стараясь не выказывать недоумения.— У нее своя воля. Любовь! Мы прежде женились по расчету, а любовь прихватывали со стороны. И то, какая уж там любовь была: по заулам да минутная.

— А я свою бабу любил,— хвастливо сказал Окурыш.— Она меня, бывало, как робенка обхаживала: этак примет на

колени, ко грудям прижмет и велит спать. А я пьяненький. Покомандовать охота над ней, себя оказать в мужском звании. Не сердилась она на меня.

— Так где же все-таки найти Павла Иваныча? — уже нетерпеливо снова спросил Согрин.

— В поле. За озером,— уточнил Окурыш.— Сегодня начинаем ячмени убирать. А Володька ейный на машине еще утром угнал в Калмацкое. Детишков-то надо ведь переселять из твоего бывшего двора...

— Да-а, славное здание построили для детей,— похвалил Согрин, оглядев новый детсадик. Действительно, он ничем его охаять не мог: высокие стены, облицованные силикатным кирпичом и цветной плиткой, большие окна, как в городском магазине, и внутри, наверно, просторно, широко все задумано.— В нашем детстве такого даже в мечтаниях не виделось!

— Ведь для них живем, для детишков,— перестав ухмыляться, сказал Окурыш.— Если я нахожусь теперич в безбедности, то чем же могу выразить свое удовольствие, как не первой заботой о детях, чтобы они в дальнейшую жизнь вышли безо всяких изъянов? Именно тем! Первый же в моем кармане излишний рубль на них потрачу! Вот с того и было решено у нас на собрании — новостройки начинать с детсадика.

— Старое-то здание, наверно, пойдет на слом? — не очень твердо спросил Согрин.

— Куда же боле девать этакое бельмо на глазу? — брезгливо скривился Окурыш.— Не в музей же сдавать! Тут у нас намечена главная площадь.

Новое здание детсадика, поставленное под углом к правлению колхоза, занимало как раз то место, где прежде был огород, а старое строение отгораживало его от улицы. Отсюда бывший двор показался Согрину совсем убогим, и, прикинув в уме, он согласился молча: «Верно, как бельмо! Пора ломать!» Но это деловое соображение еще больше встревожило. Опять что-то зашумело в ушах, голова слегка закружилась и во рту стало горько.

Говорить дальше с Акимом Окурышем было делом бесцельным. С ним и прежде никто не мог спеться. По наружности этот мужичонко чудак-чудаком, а прикоснись, попробуй предложить ему хоть целый капитал за одну лишь услугу — не просто взъярится, а в лицо плюнет.

Не решаясь спрашивать дальше, Согрин потоптался на месте, как на зыбкой лабде: оступись и провалишься!

— А ты, Прокопий Екимыч, с кем теперич живешь? —

опять полюбопытствовал Аким.— Внуков-то, окромя Татьяны, у тебя, кажись, нету?

— Она одна,— подтвердил Согрин.

— Худо!

— Чем же так худо?

— Тогда станет худо, когда помирать начнешь... Один-то!

Об этом он напомнил без капли сочувствия, как человеку совсем далекому, безразличному и ненужному. Передернув плечами, Согрин отвернулся от него и отошел прочь. Вряд ли сознательно, с намерением ушибить брякнул Окурыш, сколь плохо умирать, не видя вблизи ни одного родного лица, но ушиб сильно. И даже сказанная им новость про Татьяну будто померкла. «Да пусть хоть за черта замуж выходит!» — озлобленно подумал он, медленно проходя под угор, к озеру, откуда дул свежий ветер.

Само по себе одиночество его не страшило. В нем вся жизнь прошла. Для себя. Никого не согрел, но и никому не остался должен. А в последний час не все ли равно: то ли свои соберутся вокруг, то ли чужие! Одна боль: куда сейчас живому деваться?

Чуть позднее, постояв на ветру, когда внезапное раздражение понемногу утихло и ум обрел прежнюю ясность, Согрин нашел предстоящее замужество внучки не безвыгодным для себя. Зародилась снова надежда. «Есть, значит, причина повидаться-то с Гурлевым,— подумал уже менее тягостно.— Как-никак, вступаем в родство. А вдруг удача падет?..»

Чтобы скоротать время до вечера, Согрин сходил к озеру, стоя на плотках, повспоминал: тут, бывало, купался и коней купал, плавал в лодке к заозерным камышам на охоту, в зарослях репейников у плетней любился с девками. Хорошо было смолоду. Но вот и озеро уже какое-то совсем незнакомое: придвинулось ближе к угору, разлилось шире, дальние камыши обмельчали — только шумит и плещет волной, как прежде. Однако даже сквозь этот шум слышно стрекотание каких-то машин на той стороне. Комбайны, наверно, вышли на жатву. Значит, там теперь Гурлев. Что ж, каждый делает то, в чем находит для себя смысл. Только в одном позавидовать можно — фамилия Гурлева еще надолго останется. Был один, стало двое, затем станет четверо и так без конца, пока не заполнят землю!

Согрин старался думать сейчас о Гурлеве положительно, чтобы усмирить в себе перед встречей страх и ненависть, собрать волю, настроиться.

После озера поманило к церкви. Обошел ее вокруг, за-

глянул в разбитые слепые окна, туда, где находился алтарь, и подивился при этом, как память может сохранить в себе даже запах ладана, тающего воска догорающих свечек. Ухо уловило вдруг в грязной пустоте рокочущий возглас дьякона Серафима: «Ми-и-ир-ром господу-у-у помолимся-а-а!», и тонкий ответ отца Николая: «А-аминь!»

День разгорался, потом стал медленно угасать. Жаркая испарина тоже постепенно спадала. Опускаясь ниже, солнце становилось крупнее и к закату налилось краснотой. Сбоку от него наплыла тучка, один раз негромко громыхнула над селом, сбросила немного водяных горошин. Этот редкий дождь, упавший на траву, при свете багряной зари схожий с каплями крови и слез, ошеломил Согрина и снова привел в уныние. «Господи, отбей мне память о прошлой жизни здесь! — горестно пошевелил он губами, неуверенно подняв глаза кверху.— Что же так — шагу ступить по этой земле не могу! Оборони от несчастья!» А ничего из прошлого не забывалось. И наедине с собой Согрин был откровенным: сам он никого не убивал, руки не пачкал, но чего касался, то страдало, рушилось, гибло! Не мог иначе. «Надо, пожалуй, сейчас же уехать обратно,— опять чувствуя тяжесть в теле, подумал Согрин.— Измучаюсь тут, а ничего не добьюсь! Что может сделать бог, которого нет!» Но за своим чемоданчиком, оставленным в домике Ксении, не пошел. Ноги будто сами понесли к дому, где жил Гурлев.

Прежде чем присесть на лавочку у калитки и начать дожидаться хозяина, внимательно осмотрелся. Просторно и чисто живет теперь Гурлев. Как и в домах колхозников — стены облицованы белым кирпичом, окна так широки — можно с возом проехать. За штакетником кусты сирени. На подоконниках горшки с цветами. Занавески тюлевые. Над крышей антенна для телевизора. А в оградку выходит веранда. «На этом месте, кажется, жил учитель, Кирьян Савватеич,— припомнил Согрин.— Да, именно здесь».

Догорали на окнах последние отражения вечерней зари, по улице растекался сумеречный свет. От озера длинной цепочкой, как туристы с похода, возвращались к своим дворам гуси. Пастух пригнал с выпаса стадо коров и овец: мычание, цокот копыт, поднятая с дороги пыль, тонкий запах парного молока, хозяйки выходят встречать своих коров, зовут к себе. Все, как прежде, и все не так. Раздумался об этом и не сразу заметил легковую машину «газик», остановившуюся на дороге. Поднял глаза, когда резко хлопнула дверца. По высокой плотной фигуре сразу узнал Гурлева. Тот, очевидно, тоже узнал сразу, потому и остановился.

Согрин поднялся с лавочки, протянул руку.

— Здорово живешь, Павел Иваныч!

— Здорово! — ответил Гурлев, но руку не принял.— Меня, что ли, дожидаешься тут? Зачем? У нас с тобой вроде бы дел уже нет никаких!

— Да ведь как знать, Павел Иваныч,— покорно заметил Согрин.— Время, конечно, не прежнее, но сама жизнь друг к другу толкает. Ездить в дальний путь я давно не охотник, а вот пришлось...

— Уж не о Татьяне ли решил проявить заботу? — внимательно вглядываясь, спросил Гурлев.— Поздновато, однако! Она без тебя выросла!

— Всяко бывает, Павел Иваныч! Кабы знал, где предстояло запнуться. Сгоряча обидел Ксению. Не подумал. А ведь, окромя Татьяны, у меня больше нет никого. И девка уже на выдании. Я свой долг ей обязан отдать.

— Разве она просит?

— Зачем просить-то! Я и сам понимаю. Донеслось до меня, Павел Иваныч, твой сын на ней намерен жениться?

— Намерен!

— Ты-то не против?

— Это не имеет значения,— подчеркнуто ответил Гурлев.— Любовь не отменишь приказом.

— Все ж таки! Я ведь помню, какой ты до нашего сословия был неуступчивый. Не повлияло бы! — не очень уверенно намекнул Согрин.

— К тому сословию ты принадлежал, а не Татьяна. И в злости меня не к чему упрекать. Я не за себя стоял. Не вынуждали бы...

— Это хорошо, если зла не помнишь. Слава богу, то время прошло! Все вокруг изменилось. И мы стали иными.

— Про себя могу знать, а про тебя не знаю,— твердо заявил Гурлев.— Вдалеке живешь. Но слыхать, ты изменился не очень.

— Живу, как могу!

— Что ж, продолжай живи, только другим не мешай. Не беспокой ни внучку, ни Ксению. Столько лет они без тебя обходились, то, надо полагать, и дальше обойдутся вполне.

— Я им себя не навязываю,— достойно ответил Согрин.— Не помощи от них хочу, а сам готов, сколь могу, помочь. Если захотят, так помогу и больше касаться не стану.

— Какая же у них нужда?

— Вроде ни в чем не нуждаются. Но приданое надо справить!

— На пуховых перинах теперь не спят,— слегка усмехнулся Гурлев.

— Зачем шутить, Павел Иваныч,— скромно ответил Согрин.— Я не в том рассуждении о приданом забочусь. Поженятся молодые, а жить где станут?

— У нас!

— Им же отдельная комната будет нужна.

— Свою спальню уступим.

— Все равно негоже,— не согласился Согрин.— Детишки появятся. Их куда? По моему разумению, так лучше бы отдельный домик поставить!

— Я и сын делиться не собираемся,— поняв, куда гнет Согрин, сказал Павел Иванович.— Нам теснота не мешает.

— Ну и боюсь я, чего скрывать, Павел Иваныч, не ко двору тебе такая сноха придется. Не мирно, не полюбовно мы с тобой жили когда-то здесь. Не отрыгнулось бы ей! Что правда, то правда: наше сословие больше не существует, все мы стали одинаковыми гражданами, все своим трудом живем, но память никуда не денешь! Это лишь на словах говорят: дескать, если кто старое вспомянет, тому глаз вон! Но на поверку-то, бывает, выходит иначе...

— Забыть не можешь? — зло взглянул Гурлев.

— Я давно забыл, могу даже за то спасибо сказать, но вот у тебя-то как? — принужденно вздохнул Согрин.— И об том у меня сердце болит: сумеешь ли ты мою внучку приветить?

— Об этом я уж сам позабочусь.

— Ну и меня не отталкивай, Павел Иваныч. Дай же для нее добро сделать!

— Какое?

— А есть у меня желание все ж таки построить для молодых отдельный домик, хотя бы рядом с твоей усадьбой. Будете жить, друг другу не мешать.

— Строй, если можешь,— опять усмехнулся Гурлев.— Но сначала молодых спроси: захотят ли?

— С чего им отказываться? Не балаган ведь, не избушку на курьих ножках поставлю. У меня кое-какие средства есть. За жизнь-то не пил, не курил, направо-налево деньгами не сорил. Скопил немного. Вот и потрачусь. Одна трудность: где и как материалы достать? И тут, надеюсь, поможешь, Павел Иваныч?

— Вряд ли! — не обещающе ответил Гурлев.— Для колхозных построек сами с трудом достаем.

— А слыхал я, мой-то бывший двор ломать собираетесь? — решился спросить Согрин.— Отслужил уж он...

— Да, будем ломать,— подтвердил Гурлев.— Дней через десять новую постройку заселим и сразу же старую ломать начнем. Надо площадку расчистить и, пока холода не ударили, успеть заложить Дом культуры.

— Эка, даже особый Дом! — как бы удивился Согрин.— Широко шагаете! С этого можно полагать, хламье от старого двора вам не понадобится. Так вот и хочу попросить тебя, Павел Иваныч: продай мне мой бывший дом! Я сам выберу, чего может пригодиться для дела, найму «шабашников» да кое-какие материалы в городе все же достану и к зиме сооружение кончу. Пусть живут на здоровье!

— Ничем не могу поспособствовать,— развел руки Гурлев.— Не мое! Прежде надо самих хозяев-колхозников спросить.

— Я за ценой не постою,— сделал настойчивую попытку Согрин.— Цель всяких денег дороже!

— Старый двор того не стоит, чтобы сейчас людей от работы отрывать и собирать на собрание.

— А само правление решить не может?

— Таких прав у нас нет.

— Сколь запросите, столь и заплачу, не торгуясь,— настойчиво повторил Согрин, чувствуя, что удачи не будет.

— Мы не спекулянты,— терпеливо ответил Гурлев.— У двора есть балансовая цена, износ и все прочее. Но и продавать его нет нужды. Гнилье как дрова используем, а годный материал на полевые станы отправим. Да если бы и продали тебе, все равно без толку. Сельский Совет разрешит строить только то, что предусмотрено генеральным проектом.

— Что за проект? — не понял Согрин.

— Новой застройки села. Самодеятельность исключается! — окончательно разрушил надежду Гурлев.— Лучше прибереги капитал для себя!

— Ох, господи! — с искренним возмущением вздохнул Согрин.— А еще говоришь ты, Павел Иваныч, будто зла не помнишь! Ведь все можно, если захотеть! Ну, был я виноват...

— Давай одно с другим не смешивать,— сурово ответил Гурлев.— Здесь одно, а там, в прошлом, совсем другое! Если есть у тебя совесть, то и пусть она судит тебя... но коли совести нет, сам подумай! Спросил бы я тебя кое о чем, для меня до сих пор непонятном, но, пожалуй, излишне!..

Круто повернувшись, Гурлев отошел к машине, опять хлопнул дверцей и укатил. Согрин бросился на лавочку:

сердце начало куда-то к ногам падать, шум и колокольный звон ударили в уши. И подумал с тоской: «Совсем пропащее мое дело! Не избежать!» А ведь так удачно могло получиться: купил бы двор, сам бы его разобрал в опасном месте и стал бы доживать век в полном покое. «Что ж делать теперь? — застряло в голове.— Даже бежать некуда. Везде найдут. Только умирать осталось!» А умирать казалось еще страшнее.

Переждав на лавочке, пока сердце снова вернулось на место и тяжесть в теле прошла, Согрин побрел к дочери.

Ксения уже заранее приготовила чай. Самовар на столе тихонько поет, сверкая начищенным боком. Чистая скатерть. Расписные чашки и блюдца. Сливки в кувшинчике и тарелка с белыми булками. Все подано, как любит отец. В иной раз посидел бы подольше, не торопясь, попил бы горячий ароматный чаек, на досуге поразмышлял бы о чем-то хорошем, но после разговора с Гурлевым ничего не хочется, никого бы не видел, не слышал, от подступившего гнева разбил бы об стол кулаки.

— Где Танька? Почему ее до этакой поры дома нет? — не здороваясь с дочерью, рывком сбрасывая у порога сапоги, потребовал Согрин.

Не пугливая стала Ксения. На окрик ответила, как ни в чем не бывало:

— Пусть свое отгуляет. Ей это полагается за двоих: за меня и за себя! Ты меня заставлял дома сидеть, как запечного сверчка, так вот я и знаю с тех пор, каково не иметь своей воли.

Из одних мослов и костей сложена баба: руки длинные, с мужичьими ладонями, ступни ног на последний размер. Не придумаешь, в кого уродилась такая?

— Какой еще воли?! — яро сказал Согрин.— Поседела уже, а ума не набралась!

— Сам ты меня умом обделил,— ничуть не смутилась Ксения.

— Обожди, подкинет тебе твоя гулящая Танька младенца неизвестно от какого отца! Ведь сама-то такая же...

Грубо обидел Ксению. Та выпрямилась, давнула ногой половицу.

— У Таньки отец был один. И я его ни в чем не виню. Спасибо ему, не побрезговал, взял некрасивую. Хоть мало, но ласку я от него поимела. И дите мне в радость пришлось! — Это она сказала гордо, будто кукиш отцу поднесла к самому носу.— А ты, батя, не ездил бы, не тревожил бы нас, если не нравится наш семейный порядок.

— Может, тебя стану спрашивать?

— Милости просим всегда, только без ругани. Прежде наслышалась я от тебя ее вдоволь.

— А как же не ругать, если твое бабье понятие происходит от глупости? Ты что же, собралась Таньку за сына Гурлева выдавать?

— Уговору еще не было. Гуляют пока.

— Откуда ж тогда слух о женитьбе?

— Колька Саломатов болтает, наверно. Он подбирался к Танюшке, даже ко мне приходил за подмогой, а она ему дала поворот...

— Ну и дура! — глухо сказал Согрин.— По крайней мере, никто не попрекнул бы прежним сословием!

— А кто попрекает?

— Самого Гурлева вы в расчет не берете!

— С чего это стал бы он попрекать? — искренне удивилась Ксения.— Когда ты прогнал нас, куда мне было деваться? А Павел Иваныч ни слова не молвил, угол нам дал и на работу определил. И когда награды дают, меня не вычеркивает.

— За награды служишь?

— Роблю по совести, не хуже других.

Не сломишь бабу. «Ишь, навострилась тут! — мрачно подумал Согрин.— Где-то совесть нашла. Уродина!» И перестал ругать. Сел за стол, с жадностью выпил большую чашку чаю со сливками, без аппетита пожевал свежую булку. Захотелось вдруг одурманить себя, провалиться в беспамятство.

— Водка у тебя есть?

— Не держу,— сказала Ксения опять удивленно.— А ты разве себе разрешаешь?

— Устал,— опустив плечи, пояснил Согрин.— Жить устал, вот что!

Потом вышел на крыльцо, сел на сходцы и понурился. Экая тяжесть невыносимая! И в ночи нет тишины: где-то все еще стрекочут машины; высвечивая фарами дорогу, в улице проходят грузовики; за переулком поют девки; в обнимку, не таясь, повернули к озеру парень с девкой; чей-то теленок бродит, беспокойно мычит, потеряв свой двор. Нет тишины, нет покоя. По-бабьи поплакать бы сейчас. Облегчить себя. Но за всю жизнь ни одна слеза еще не падала из глаз Согрина.

5

Под навесом у правления колхоза стояла «Волга». Гурлев, посмотрев на ее городской номер, смущенно подумал: «Приехал-таки Федор Тимофеич. Дернуло же меня ему позвонить. И давно ждет, наверно. Неловко. Нехорошо получилось!» А сразу в помещение не поспешил. Постоял в раздумье под впечатлением разговора с Прокопием Согриным. Еще не мог понять странную перемену в себе: куда-то девалась вдруг вся прежняя неприязнь к этому человеку. Не уступил ли? Не пожалел ли, увидев его старым и беспомощным? Прежде думал всегда: если встречу, то все выскажу, все свои сомнения и подозрения, и что не может быть между нами мира никогда, а сейчас только руку не подал, по имени не назвал, но и воспоминание о прошлом обрезал. «Нет, это не жалость и не уступка,— поглубже заглянув в свои чувства, решил Гурлев.— Безразличие! Вот так вернее!» И думать о нем перестал: не потому, что «волк уже без зубов, лиса без хвоста», не из принципа «лежачего не бить», но исключительно из-за той дальней дали, в которой Согрин остался прозябать и существовать. Ведь торчит же где-то на бывшей меже пень от давно срубленного дерева, догнивает, водятся под его мертвыми корнями жуки, черви, всякая пакость, но в вышине сверкает солнце, а вокруг, куда ни посмотри, цветут травы, тучнеют хлебные поля.

В правлении колхоза в такой еще далеко не поздний час бывает всегда оживленно. Днем решать дела недосуг, только вечером. То бригадиры приходят, то животноводы, то просто люди по своим домашним заботам. И сейчас народу полно. Собралось старшее поколение. Смотрят развешанные по стенам эскизы будущего Дома культуры, автостанции, универмага и жилых домов. Тихо переговариваются. И Гурлев тоже сейчас охотно прильнул бы глазами к этим «картинам», где уже наяву виделась его давняя мечта, а неловко перед Чеканом. Тот сидит за председательским столом и что-то объясняет Софрону Голубеву, Ивану Добрынину, Акиму Окурышу.

Кинув запыленную фуражку на вешалку, вытерев руки носовым платком, Гурлев поздоровался и виновато спросил:

— Честишь, наверно, меня, Федор Тимофеич, почем зря?

— Да нет! — улыбнулся тот.— Время не пропало. Вот спорим тут: не очень нравится мой проект.

— Почему?

— А пошто дома в два, в три этажа? — взволнованно запетушился Иван Добрынин.— Пошто не просто дом на

одну семью. Огорода рядом нету, скотину надо держать на усторонье, курей тоже. И самим не шибко ловко придется: ну-ко, походи, поползай в моем возрасте на третий этаж?

— Пожалуй, разумно,— согласился Гурлев.

— Коли у нас земли не хватит? — добавил Окурыш.— Эвон ее сколько вокруг. Чего же тесниться?

— А мне название не глянется,— заметил Софрон Голубев.— Зовемся по старому: Малый Брод! Чего оно значить может? Вроде мы все еще в потемках бродим. Хоть бы река была рядом да поперек ее брод, где бы ходили без мостика, по мелкой воде. Но реки нет, и живем, как люди, а с того старое название надо похерить!

— Насчет названия не мешает подумать,— сказал Чекан.

— Надо ли? — не поддержал Гурлев.— Прежде пословица была: «Хоть горшком назови, только в печь не ставь!» Не в названии причина, а в самой жизни...

Заметив вошедшего в комнату сына, Гурлев подозвал его к столу.

— Привез, чего требовалось?

— Привез! — коротко ответил Володька, молча здороваясь с Федором Тимофеевичем.— Еле выбил. Давали только темные краски...

— Они что, не понимают разве — не склад же красить нужно, а помещение, где дети станут играть! — сердито сказал Гурлев.— Черноту-то разводить!

— Я не взял,— пояснил Володька.— Пришлось в райком идти. Оттуда позвонили директору, тогда прорвало.

— Правильно поступил,— одобрил Гурлев.— Во все двери колотиться не станешь, полдела не сделаешь.

— Везде много строят,— вмешался Чекан.— Потребности в материалах большие. Поневоле приходится пробивать.

— Вот это одно и смущает меня,— обернулся к нему Гурлев.— Напланируем, нарисуем на бумаге, людям наобещаем, а потом и начнем себе лбы расшибать: тут не дают, там отказывают, еще где-то велят обождать!

— Просто своевременно надо оформить фонды,— поделовому сказал Чекан.— Не опаздывать...

— Я не опоздаю,— уверенный в себе, усмехнулся Володька.

— Заране не хвастайся,— строговато взглянул на него Гурлев.— Это у тебя сейчас покуда объектов мало — садик да котельная и водонапорная башня,— а вот как развернем остальные стройки, на месте не посидишь, не загуляешься...

— Мне к тому времени гулять уже не понадобится,—

поняв отца, опять усмехнулся Володька.— А вы, Федор Тимофеич, все листы привезли? — уходя от двусмысленных намеков, спросил он.

— Пока только часть,— ответил Чекан.— Но и эти придется, наверно, еще поправлять.

— Есть возражения?

— Да! Не нравятся многоквартирные дома.

— У нас была договоренность с Федором Тимофеичем проектировать дома двухквартирные, на две семьи,— чтобы не обидеть Чекана, осторожно произнес Гурлев.

— Не перспективно! — возразил Володька.— Что-то очень напоминающее единоличников. Я Федору Тимофеичу тоже высказывал свое мнение. Мы же не останемся на теперешнем уровне. Очевидно, сельское хозяйство, судя по решениям партии и правительства, будет двигаться дальше по пути индустриализации. Мелкие хозяйства станут в таком случае нерентабельными и мало жизнеспособными. Будут создаваться, стало быть, и большие коллективы людей. Наконец все эти наши индивидуальные огороды, садики, свои коровы и овцы, свои куры и сколоченные из досок уборные не смогут дальше заполнить всю жизнь людей...

Такое заявление сына Гурлеву тоже показалось резонным. Строить надо не на год, даже не на десять-двадцать лет. Пройдут, может, немногие годы, и то, что с таким трудом сейчас будет без дальнего расчета сделано,— станет обузой.

— Вообще, тоже надо подумать! — сказал он, а затем озабоченно справился: — Ты, Федор Тимофеич, наверно, еще не обедал? Заморим мы тебя!

— Днем я ходил в магазин — выпил томатного соку и пожевал хлеба с колбасой.

— Извини, пожалуйста!

— Не велика беда! — добродушно мотнул головой Чекан.— Поесть успеем!

— Володя! А у нас дома найдется что-нибудь горяченькое? — на всякий случай спросил Гурлев сына.

— Как обычно: борщ и жаркое!

— Ну и повар! — засмеялся Гурлев.— Каждый день одно меню! Пока матери дома нет, набьет борщами оскомину. Ну, однако, Федор Тимофеевич, чем богаты, тем и рады. Пойдем заправляться! А свои листы оставь тут. Володя их соберет, сложит в шкаф. Слышь ты, прораб! — сказал он сыну, а затем обратился к старикам: — Прощения прошу!

Когда спустились с крыльца и пошли вдоль палисадника, Чекан тронул Гурлева за руку:

— Так в чем же проблема, Павел Иваныч?

— Э, сущая ерунда! — с досадой на себя отозвался Гурлев.— Сначала сильно расстроился, а сегодня одумался. Тебя зря с места поднял.

— При чем же Согрин?

— Володька на его внучке решил жениться!

— И все?

— Ну ты меня пойми: как я мог среагировать?

— Вполне понимаю — пришлось одолевать психологический барьер!

— То ли психологический, то ли черт его знает, какой! Неприятно все-таки! Любого на мое место поставь, так он тоже задумается. Прошлое вроде бы уже далеконько осталось, а вспоминать о нем трудно. Какая-то связь между прежним Гурлевым и мной не обрывается. Жизнь того Гурлева и моя сегодняшняя жизнь, хоть и не схожие, зато корень у них один. Стало быть, не могу я быть равнодушным к тому, что было, если не хочу того Гурлева осрамить. Тот боролся с кулачеством, а я породнюсь.

— С бывшим, имеешь в виду!

— У сердца память прочнее, чем у головы. Оно и не желало признать. Ну, а Володьке на это смотреть не приходится. Чужая жизнь, даже отцовская, это вроде фильма о прошлом. Посидел в кино, поахал от удивления и сочувствия, а вышел на улицу — отправился свою зазнобушку провожать. Мне Володька однажды сказал: «А что особенного, батя, ты сделал, чем бы я, твой сын, мог гордиться?» И в самом деле, если здраво рассудить, то самый я обыкновенный работник, каких в районе и в области не перечтешь: одни на войне Родину защищали, другие на производстве стараются, а я простой хлебороб. Не герой, не академик. Смолоду бьюсь за хлеб для всех. Другие люди металл плавят, машины делают, заводы строят, а я обязан накормить их хлебом. Значит, Володька прав! Тут сказывается, однако, не то, что он не ценит моей жизни, а наоборот, смотрит шире и дальше моего. Но вот намерение его жениться на Татьяне Согриной сразу принять не мог.

— Почему?

— Неожиданно получилось. Вдруг ни с того ни с сего: собираюсь, говорит, жену в дом привести.

— Наши парни хотят быть самостоятельными,— засмеялся Чекан.— А невеста хоть недурна собой?

— Совсем не дурна. И умом толковая. Один изъян — это дед!

— Неужели он жив еще?

— Час тому назад я виделся с ним. К дочери зачем-то приехал.

— Ну и как же беседа прошла?

— А ничего! Я опасался — не закипело бы сердце...

— Удалось сдержаться?

— Как-то все само собой обошлось. Сегодняшнему Гурлеву не о чем разговаривать с прежним Согриным.

— Это, мне кажется, правильная мысль, Павел Иваныч,— поддержал Чекан.— Живые мертвых не судят! Живой думает о живом. Но и ребятам своим мы не судьи. Чего мы хотим для них?

— Всего, что есть хорошего в мире!

— Так очень ли важно при этом регулировать их любовь? Кого можно любить, а кого-то нельзя.

— Спешат!

— Им все же виднее. Лишь бы людьми остались.

— Вот я Володьке и говорил: не потянет ли его Татьяна в сторону от главной дороги? Согрин ее все же приманивает к себе мелкими подачками: золотыми колечками, часиками, разными побрякушками. И наследство не малое ей же оставит, нажитое за чужой счет. Приятно ли сознавать, что мой сын тем же наследством станет пользоваться?

Подходили уже к дому Гурлева, когда позади услышали топот. Кто-то бежал следом. У калитки Гурлев попридержал Федора Тимофеевича, остановился сам.

— Вот оказия! Еще кому-то понадобилось...

Запыхавшись, подбежала соседка Крюковых Маремьяна, женщина ко всяким бедам участливая.

— Варька умирает... Анфиса Павловна послала к тебе!

— С чего вдруг? — тревожно спросил Гурлев.

— Разродиться не может... машину надо, в Калмацкую больницу везти!

— Растрясет на моем «газике»!

— Может, я увезу на «Волге»? — предложил Чекан.

— Обожди, Федор Тимофеич,— сказал Гурлев.— Иди пока в дом, а я схожу к Крюковым, проясню!

Но Чекан не отстал и пошел вместе с ним.

Везде в домах светились огни. Вдалеке за озером вспыхивали зарницы. Неуверенно выглянул из-за тучки тонкий серпик луны и закрылся снова.

— Плохо, что самого Ивана сейчас нет дома,— озабоченно сказал Гурлев.— Я его с горючим в поле послал. Пусть бы сам побегал и узнал, как жену расстраивать в ее положении...

В оградке у Крюковых несколько соседок, собравшись в

кучку, вполголоса судачили. В доме слышался стон. Анфиса Павловна, расстроенная, вся в слезах, встретила Гурлева в сенцах.

— Я ничем уже помочь не могу, Павел Иваныч,— доложила она, вытирая халатом глаза.— Плохо Варваре. Боюсь, не выживет!

— А в Калмацкое можно везти?

— Тоже боюсь! Не довезем.

Допытавшись у Анфисы Павловны, почему именно Варвара не может разродиться, Чекан вспомнил, что в таких случаях из города посылают санитарный вертолет со специалистом или же саму роженицу доставляют в городскую больницу, в отделение, которым заведует Аганя. А позвонить ей отсюда не составляло труда.

— Час или два Варвара еще продержится? — спросил он у Анфисы Павловны.

— Попробую продержать,— ответила та.

В правлении Гурлев долго стучал пальцем по рычажку телефона, пока районная телефонистка наконец отозвалась.

— Гурлев говорит из Малого Брода,— крикнул он в трубку.— Соедини меня с городом. Как это занято? Сначала спала на дежурстве, а теперь уже линия занята! Разъедини и дай мне по срочному заказу! И так не можешь? Тогда дай «молнию»! Слышишь, «молнию» дай! И этак не можешь? Почему? Секретарь райкома разговаривает. Ладно, присоедини меня к его телефону. Нельзя? Соедини, говорю! Ясно! — Он обождал немного, затем спросил ровнее: — Это вы, Петр Григорьевич? Я Гурлев. Извините, оборвал ваш разговор. Беда у нас. Женщина может умереть. Минуты нельзя терять. Ну, спасибо! — И, приложив ладонь к трубке еще раз, повторил: — Давай срочную, девушка!

Чекан взял у него трубку и назвал телефонистке сначала служебный телефон Агани. Ее в родильном отделении уже не нашли: ушла домой. По квартирному она ответила сама:

— Это ты, Федя?

— Я, но у меня к тебе срочное дело,— сказал Чекан.— Тут молодая женщина разродиться не может. Как быть?

— Но я же по телефону помочь не могу,— огорченно прозвучал ее голос.— Разве тебе непонятно?

— Ты посоветуй, как быть? Возле роженицы дежурит фельдшер, но считает ее безнадежной. Еще часа два-три — и конец! Вы же посылаете вертолет...

— Одна акушерка тоже вряд ли поможет. Возможно, понадобится хирургическое вмешательство. А лететь сейчас некому. Все заняты.

— Прилетай сама,— решительно попросил Чекан.— Можешь?

— Боюсь! Меня в воздухе всегда укачивает...

— Вызови такси!

— Ну хорошо! — согласилась Аганя.— Что-нибудь я придумаю. Только мне надо собраться, взять все необходимое!

Положив трубку на место, Федор Тимофеевич облегченно вздохнул.

— Примчится! Она у меня такая!

— Прежде в таких случаях баушки управлялись,— словно пожалел Гурлев.— Баню натопят, положат бабу на полок, живот ей направят...

— Так погибало много.

— Вот теперь и выбирай: то ли в первую очередь Дом культуры, универмаг и дома строить, то ли свою больницу. Население в Малом Броде растет, а фельдшер Анфиса Павловна может оказать лишь первую помощь. Прямо позарез нужны врачи. Но мы ведь еще не такие богатые, чтобы в один год все построить.

— Давай за больницу сначала возьмемся.

— А молодежь как в селе удержать? Люди семейные и пожилые вечером охотно у телевизоров посидят, им жениханиться уже не нужно. Одним свежим деревенским воздухом и поучением следовать примеру родителей ни парней, ни девок не остановишь.

Гурлев опять ушел к Крюковым, а Чекан еще раз позвонил в город, к себе на квартиру. Сначала телефон не отвечал, наконец, послышался голос Виктора. Он сказал, что провожал мать. Аганя все же решилась лететь на вертолете и взяла с собой акушерку.

Чекан вывел «Волгу» из-под навеса и выехал на улицу встречать жену. Прошло, вероятно, минут сорок, а может, больше, когда в темном небе послышался грохот мотора и показались бортовые огни. Вертолет сделал над селом небольшой круг, выбирая место для посадки, затем стал медленно опускаться на бывшую церковную площадь.

— Вот увиделись снова,— пошутила Аганя, прислонясь и заглянув в лицо мужу.— А говоришь, редко видимся! Если бы не ты позвал, не насмелилась бы. Вверху темно, где-то играют всполохи, а земли не видно. Очень страшно. К больной отсюда далеко?

— Почти рядом. На соседней улице,— сказал Чекан, садясь за руль.

— Тогда мигом доставь...

У калитки Крюковых Аганя и акушерка, совсем еще молодая девушка, быстро вышли из машины и почти бегом направились в дом. На крыльце их встретил Гурлев. Аганя на ходу поздоровалась с ним и закрыла за собой дверь. Варвара исходила криком, а некоторое время спустя начала успокаиваться, и через открытую створку окна стал слышен ровный, добрый голос Агани: «Ну, вот и хорошо, милая! Чуть-чуть еще потерпи! Сейчас мы сделаем все, как надо! Вот так! Вот так! Какая ты молодец!».

Страх за жизнь молодой женщины отошел.

— А ведь твоя, Федор Тимофеевич, Аганя все та же, что и была,— стараясь говорить негромко, похвалил Гурлев.— Помнишь, как она Сашку Окунева отхаживала? С рождения, что ли, это заложено в ней?

— Женщины понимают чужую боль лучше нас,— вспомнив утренний разговор с женой, ответил Чекан.— Пока мы постигаем умом, они своим чувством и, наверно, каким-то особым зрением успевают опередить. Вот ты еще колеблешься: брать ли Татьяну в семью? А спросить бы об этом Дарью?

Гурлев не возразил и молча прошелся от крыльца до калитки. Чекан закурил. То ли тревогой и ожиданием чего-то неизвестного, то ли сгустившимся мраком и свежим ветром с озера эта ночь напомнила прежние предосенние ночи здесь. И от этого стало вдруг грустно. Затем в мир ворвался крик ребенка, негодующий, требующий, а голос Агани сказал ему ласково: «Ну, вот мы и родились!»

6

Каждый вечер приходила Танюшка в тополиную рощицу под угором. Пряный запах и непрерывный шум молодых деревьев, по вершинкам которых гуляли ветры, а за опушкой хлестался прибой о песчаный берег, будоражили ее степную кровь. И замирала она в трепетном ожидании почти до беспамятства, когда приходил Володя, до боли сжимал плечи и целовал. А потом они садились на лавочку, еще ранней весной поставленную здесь Володей, и молча смотрели, как за озером догорает вечерняя заря, как вспыхивают и гаснут в темном небе звезды и как неяркий, мглистый свет куда-то далеко-далеко опустившегося солнца, по ту сторону земли, медленно сочится по горизонту к восходу. Иногда они забывались, опьянев от молодости, от неуемной силы, и весь мир будто заслонялся от них. От жажды обсы-

хали губы, глохли уши, бесконечно сладким казалось страдание. Так она любила своего любимого, и если бы он однажды не пришел к ней, отказался, то бросилась бы с плотка в воду. Но Володя ее любил не меньше. Таня это видела, понимала и чувствовала, только вел он себя чуть сдержаннее, чуть разумнее, как должно мужчине.

— Ну, почему ты так поздно сегодня? — спросила она недовольно, когда Володя подошел и обнял.— Я уже застыла тут...

Он снял пиджак, укутал и сел рядом так близко, что тепло его тела сразу передалось ей.

— В Калмацкое ездил, а сейчас еще в правлении задержался.

Чем-то он был озабочен.

— А что случилось? — тревожно спросила Таня.

— Ничего!

— Ты не лги мне! Всякую беду лучше пополам разделить, чем нести ее одному. Так что же?

— Опять сегодня утром вел с отцом разговор.

— Не соглашается?

— Отговаривать продолжает. Советует обождать до осени, чтобы свадьбу справить после уборочной.

— Только ли поэтому?

— Иных причин нет!

Он сказал это резко. Тане не следовало знать всех подробностей, но она по этой резкости уловила неправду и спросила настойчивее:

— Может, Павел Иваныч не желает принимать в свою семью меня? Именно меня!

— А ему-то какая забота? — попытался скрыть правду Володя.— Я женюсь, мой и ответ!

— Так ли? За моей спиной дед...

— Да хоть десяток таких дедов, как твой. Вот если бы ты происходила из рода Рокфеллеров или была бы родней королеве английской, так я бы сам еще подумал.

Оба засмеялись.

— Тебе не нужно думать о том,— серьезно добавил Володя.— Ведь мы станем жить у нас, а не у твоего деда...

— Мы с ним чужие,— без сожаления сказала Таня.— Если бы даже крайняя нужда заставила жить в его доме, то я постоянно чувствовала бы себя квартиранткой. Он мою маму жестоко обидел. Но ведь прекратить с ним родство невозможно. Может, у него в жизни уже просвету нет никакого? Вот и сегодня приехал. Разве прогонишь?

— Я не требую,— безоговорочно сказал Володя.

— Уж лучше не приезжал бы. Мне и так трудно. Скорей бы ты закончил стройку детсадика, перевели бы туда детей, а старый двор деда сломали. Я всегда молчала, не говорила тебе, Володя, а сам представь: каково каждый день перешагивать пороги тех горниц?.. И что люди думают обо мне? Ведь этот двор, как грязная печать у меня на лбу!

— Ну и глупо,— обняв и поцеловав ее в лоб, возразил Володя.— Сломаем двор, а ты станешь Гурлевой, и все эти мысли кончатся.

— И когда же?

— Может, примем совет отца и обождем немного? — не очень уверенно спросил Володя.— Хорошо бы отпраздновать свадьбу в Октябрьскую...

— Это еще почти три месяца ждать?

— Недолго ведь!

— А у невесты тем временем животик заметно припухнет,— насмешливо и недобро сказала Таня.— Ах, как красиво! — Затем нежно добавила: — Ведь ребеночек уже растет тут! Потрогай-ка рукой. И как раз к Октябрьской ему будет пять месяцев. Нет, Володюшка! Нет! Уж как я люблю тебя, а свадьбы справлять не хочу! Ради формы —это не свадьба. Кого обманывать? Лучше по-честному: запишемся и станем жить! У всех на виду.

— Ну, что ж, запишемся и станем жить,— согласился Володя.

— Тебя не беспокоит, как отнесется Павел Иваныч, когда узнает, что сноха явилась в его дом уже с «заказом»?

Она не печалилась от своего положения, беременность давала ей не то гордость, не то смелость для защиты того, кто еще должен появиться на свет и которого она уже заранее страстно любила.

— Имей в виду. Володя, я не вытерплю, если меня начнут унижать!

— Ты говоришь так, будто тебя уже оскорбили,— засмеялся Володя.— Отец если ругнет, то меня. А за мать ручаюсь — она слова не скажет! Мне очень хочется, чтобы ты вошла в наш дом, как входишь в свой, и отнеслась бы к моим родителям с тем же доверием, как к своей матери. Остальное наладится...

— Все-таки трусиха я,— тихо призналась Таня.— Вот так храбрюсь и думаю: за свою любовь хоть на тигра кинусь, а как придется переселяться к тебе, со стыда сгорю.

— Сгореть я не дам,— опять засмеялся Володя.— И до холодов мы у нас на веранде поселимся. Я уже о том бате сказал.

— А он как ответил?

— Нормально,— продолжал утверждать неправду Володя; с отцом еще ничего не решено, но уже нужно было хотя бы неправдой создать Тане доброе настроение.— Может, сразу пойдет еще не все ровно и гладко, пока не свыкнемся, и тут многое будет зависеть от тебя самой. Мне однажды мама сказала: «Ласковый теленок двух маток сосет!» Не держись букой, не прислушивайся к интонациям голосов. Проще говоря: живи! Завтра вечером я тебя заберу к себе...

— Дождаться бы, пока дед обратно уедет.

— Всех не переждешь! У тебя дед, у нас Чекан. А решили, так и быть по сему...

Ночной свежий ветер обдавал холодком. Они ушли с лавочки в глубину рощицы, в затишье, на мягкую траву, устланную опавшими листьями. А не глядя на темноту, мир продолжал жить: бунчали невидимые комары, за озером стрекотали комбайны, где-то в высоте прогромыхал вертолет, шумели деревья, хлестался невдалеке прибой, какая-то птичка цвинькнула меж ветвей. Но только любовь была глуха и самозабвенна...

Уже перед утром проводил Володя свою возлюбленную до ее домика. Дверь в сенцах открыл Тане Согрин и грубо бросил ей из темноты:

— Наблудилась, дура! К чему стремишься, распутница?

Услышав эти грязные слова, Володя сжал кулаки, рванул калитку и хотел кинуться к сенцам, чтобы объясниться со стариком, но Таня сама твердо и достойно ему ответила:

— Твоя ли это забота, дед? Не пекись об моей чести! Не надо!

«Ах ты развалина! — озлобленно подумал Володя о Согрине.— Я бы тебе показал «распутницу», будь ты помоложе! Нашел кого обзывать! Да такого деда впору в шею из дому прогнать, чтобы ничего не поганил. Можно представить, каков он был прежде. Зря мой батя не стал бы его отрицать!»

В своем отце он с детства привык видеть суровость и твердость, но то были суровость и твердость доброжелательные, а в том, что сказал Согрин, слышалась ненависть.

У себя на веранде, не зажигая света, не ужиная, Володя сразу уснул, кинувшись на диван.

В свое обычное время, в шесть утра, Павел Иванович, в одних носках, но уже одетый по-будничному, на цыпочках прошел мимо спящего в общей комнате Чекана, на веранде набросил на сына скинутое на пол одеяло, а затем, присев на сходцах крыльца, обул сапоги. Краешек солнца уже

выглядывал из-за крыш. Все небо было опять запорошено тучками, снова бегут они быстро одна за другой в обгон, а с озера без перемен дует не напористый, но очень сырой ветер. Повернувшись лицом к нему и приложив к уху согнутую ладонь, Гурлев напряженно прислушивался. «Работают парни,— уловив далекий, достигающий сюда стрекот комбайнов, удовлетворенно заметил он сам себе.— Все же успеют!» Беспокойство ночью не отходило от изголовья постели. Так сразу сбежалось: и уборка ячменей, и ожидание ненастья, и Володька с его намерениями, и Согрин, и наметки генерального плана, привезенные Федором Тимофеевичем. А потом еще кинулось в голову неизбежное объяснение с Зубарем о поломанном графике. Только чуть прогляди, ошибись хоть самую малость, дай в руки повод — выговорит так, что свету не взвидишь! «Я ведь бывший кавалерист, меня из седла скоро не сбросишь,— заранее приготовил ответ Павел Иванович.— Голову срубишь, вот тогда упаду!» Зато о Прокопии Согрине ночью мысли только мелькнули и тотчас пропали. Еще вчера не поверил бы себе, как можно не простить, не забыть, а попросту, как пустое место, исключить такого человека из сегодняшней жизни. Изменил и отношение к Татьяне. Упрекнул себя: много лишнего, пока ничем неоправданного наговорил о ней сыну. «Плохи же мы, Гурлевы, будем, если ее в свою семью примем, а не пригреем, отпугнем холодностью и отрешим от нашего образа жизни,— подумал он сейчас утром, умываясь холодной водой из бочки, приготовленной для полива огурцов.— Ищи всегда причину в себе, если в доме порядку нет!»

Вынув из кармана записную книжку, написал Володьке поручение: «С Федором Тимофеевичем сходи на объекты, все покажи, пусть он сам подскажет, где и чего не хватает. На обед приготовь щи, на второе строганину, как делает мать. Да, если станешь оборудовать себе жилье на веранде, так повесь занавески». Почему непременно требовалось занавесить веранду, он сам вряд ли мог бы ответить, но это, наверно, был первый шаг, чтобы устроить быт молодых.

По всей улице еще лежали на земле длинные тени, а Софрон Голубев уже сидел на своем обычном месте у остановки автобусов. Солнце золотило его круглую лысину. Дымок от цигарки тонкой струйкой уносил ветерок. Проходя мимо, Гурлев шутливо спросил:

— Ну, чем сегодня богат?

Софрон мечтательно прищурился; низкий луч солнца ударил ему прямо в глаза.

— Сон привиделся интересный. Будто бы летал я как

птица. Этак руками взмахну, вверх подброшусь и лечу. Через дома, через леса лечу-то, осматриваюсь вокруг, замираю от радости. И ничего мне боле не надо: кружить бы и кружить в синем небе, на землю смотреть.

— Начинаешь в детство впадать? Не рано ли?

— И сноха говорит — век мой кончается, полечу-де скоро на тот свет ногами вперед. Не верю ей. Тоже смеется над стариком.

— Ладно, продолжай кружить в синем небе,— пожелал ему Гурлев.— А что еще новенького?

— Варьку Крюкову в город отправили...

— Знаю!

— Веруха Пашнина, кажись, тоже засобиралась в отъезд. Приходила давеч сюда расписание смотреть.

— Испортит мне Митьку! — тихо сказал Гурлев.— Со своей любовью, как и Володька, время не знают.

— Ты чего баяшь, Павел Иваныч? — недослышал Софрон.

— Да все, говорю, не ко времени! Веруха-то помогла бы родителям в огороде прибраться. Куда спешит?

— Мужик, кажись, ей письмо прислал. Требует! А самато она невеселая. Всю ночь ревела, поди-ко! Аж глаза опухли. С того ревет Верка, что мужик в тягость. Не в масть мужик ей попался!

— Сама виновата,— сочувственно заметил Гурлев.— Судьбу себе поломала, выхода не найдет, тычется по углам, как слепой котенок. И ведь тоже жалко ее! Мучается, небось, как при трудных родах. Варвара Крюкова нынче ночью чуть не скончалась. Кабы не помогли...

— В одиночестве оставаться нельзя ни в каких положениях,— сказал Софрон.— Помнишь, Павел Иваныч, как с той одинокой жизни я чуть себя не решил? А теперь вот, на старости лет, пошто торчу здесь на виду у людей? Пото и торчу, что дома, в четырех стенах сидя, стал бы беспрестанно о смерти думать. Она ведь, тяжесть-то, на одних плечах завсегда вдвое тяжелее. Зато на виду-то у людей — жизнь...

— Только не всякий ее понимает, как надо!

— Кого?

— А жизнь-то! Верка Митьку Холякова любит давно. Сговориться не могут. И любовь ихняя сейчас не ко времени. Митьке-то предстоит в поле работать день и ночь, а каков из него станет работник, если Верка уедет?

— Да ведь как сказать: ко времени или не ко времени,— не согласился Софрон.— Сроков-то для этого занятия нету. Вот хлеб созрел, так надо прибрать его вовремя, а

любовь время не знает. И погода ей нипочем! Люди бают — рожать и любить нельзя погодить! Притом, что она означает? По моему понятию, так хлеб и любовь — это всему начало начал. Коли от того и другого нет удовольствия, то все остальное от рук отвалится и его можно заране похерить. Сытому да во взаимной жизни будет в простой избе хорошо и светло, а голодному, брошенному и в царском дворце будет худо. Вот Прокопий Согрин явился сюда на побывку...

— Мы с ним уже виделись!

— А заметил ты, Павел Иваныч, какая у него тоска в глазах? Вид вроде бодрый, устроенный, но в голосе и во взгляде голимая тоска! Пригреться-то негде. Умрет, так добрым словом помянуть его некому.

— Сходил бы ты к Верке, Софрон! — чтобы не говорить о Согрине, попросил Павел Иванович.— Уломал бы ее покуда задержаться здесь. Мы ей работу найдем.

— Схожу, коли такая нужда. Не знаю, послушает ли?

Уже многие годы по утрам, в эту пору Гурлев начинал свой рабочий день с обхода хозяйства. Сначала в поскотину, на молочно-товарную ферму, на птичник, затем в телятник, в ягодный сад, в мастерские к механикам и только оттуда в правление. По пути записывал свои замечания, просьбы и требования колхозников, чтобы ничего не забыть и немедля решить. Так экономил время свое и чужое. Создавал порядок, твердую дисциплину для себя и для других. Сначала слышались недовольные шепотки: «Все сам ходит досматривает!», но постепенно это вошло в обычай, стало привычным, даже необходимым. Никому не приходилось часами высиживать у председательского кабинета в правлении. И все были уверены: если Гурлев сказал, то сделает! Однажды Зубарь с насмешкой заметил: «Ты, Гурлев, слишком уж положительный! Авторитет зарабатываешь, чтобы из председательского кресла не вылететь!» Тогда Павел Иванович нашелся ответить: «А я таких выражений понимать не хочу! Откуда вы взяли, что положительных совсем не бывает? Если коммунист выполняет свой партийный долг, а руководитель стремится быть ближе к людям, то разве непременно ради авторитета? Без души заработанный авторитет можете оставить себе, а я уж как-нибудь по-своему, по-деревенски обойдусь обыкновенным доверием. Мы живем просто!» Так славно ответил, даже сейчас вспомнить приятно! И правильно! Смолоду не различал: где дело большое, где малое? Всегда больше полагался не на право, не на власть, а на свое сердце. Уж оно-то никогда не обманет, не выдаст. Сначала помоги, вникни, потом требуй — вот оно

как велит! И потому такое оно, что как колос вызрело на земле.

Гурлев подумал об этом исключительно потому, что неудачную любовь Митьки Холякова, как и роды Варвары Крюковой, не мог отделить от всех прочих деловых забот.

— Не удастся Софрону, придется самому взяться,— вслух сказал он и, остановившись посреди дороги, записал в книжечку: «Сходить к Пашниным».

Ему еще захотелось по пути зайти к Ксении и узнать, как она относится к браку дочери с его сыном, но заметил возле калитки Согрина и отвернулся.

Плохо Согрину спалось в эту ночь. Ксения уступила ему свою постель, тело ныло и страдало от усталости, нуждалось в отдыхе, а глаза не смыкались. Думал, злился, ворочался с боку на бок. Перед утром, открыв дверь Таньке, совсем сна лишился.

С восходом солнца оделся и вышел в оградку. Ксения доила корову. Чильк! Чильк! — позвякивал подойник под струйками парного молока. Танька еще нежилась в сенцах, на раскладушке.

— Кого ты вырастила, для какой жизни? — гневно выговорил он Ксении.— Зачем всю домашнюю работу везешь сама? «Ох, доченька, ручки не пачкай; ох,доченька,подольше поспи да оденься понаряднее!» Это такое твое воспитание?

— Как уж могу,— спокойно ответила та, не переставая доить корову.

— Вот и будет мотовка!

Прежде, пока не было известно о замужестве внучки, Согрин испытывал к ней противоречивое чувство. Иногда, как добрый дед, пытался приласкать, одарить безделушками: ведь ей же достанется все наследство! Не росла она у него на руках, малой крохой не взбиралась к нему на колени, не теребила за бороду, не смешила детским понятием. Он признал ее совсем уже взрослой. Но стремился породниться поближе. И она признала, не выказывала никакой неприязни, старалась угодить его мелким прихотям. Все же настоящей родственности не получалось ни у него, ни у нее. Приезжает в гости старик. Называется дедом. Ну, что же — милости просим! И сидят за одним столом, пьют чай, разговаривают, а все как-то с натугой, без сердечности. Прикидывались родней. Поэтому не возникало желание встречаться чаще, взять ее к себе, при своей жизни передать ей все нажитое. А сейчас и притворяться дедом стало противно. Не оценит ведь дедов труд и старание, как проклятое, все

размотает и растранжирит. Не приучена наживать. Непокорна.

— Жаль, не прежнее время,— не унимая гнева, проворчал Согрин.— Я бы ее научил, как до утра где-то любовь справлять и деду хамить... Теперь же прав никаких нет. Палец поднять нельзя.

— Поздно вспомнил, отец,— напомнила Ксения.— Я тебе Танюшку в обиду не дам. Гостишь, так гости подобру!

Из-за этой размолвки отказался от завтрака, который она предложила, а выходя из оградки, хлопнул калиткой. Если бы не крайняя нужда, минуты бы не остался. Как ждать сочувствия от чужих людей, как надеяться на чью-то помощь, когда родная дочь еле терпит!

Солнце вставало над селом, разгораясь. Глубоко просвечивалось синее, в тучках, небо и дальнее заозерье. По большаку, взвалив на плечо три шпунтовых доски, мелко семенил ногами Окурыш, по-чудному одетый: вместо пиджака — потертый солдатский китель, на голове зеленая фуражка пограничника. Согрин брезгливо поморщился, но разминуться с Окурышем не удалось. Остановился перед ним, вежливо приподнял шляпу.

— Мир дорóгой, Аким Лукояныч! Спер, что ли, доски-то?

— У Егорки Попкова отнял! — удало ответил тот, вытирая рукавом пот с лица.— Живет, гнида, из милости, да еще и ворует со стройки. Теплый тувалет себе строит.

— А что же вы его из села не прогоните?

— Пропадет ведь.

— Пожалуй! — согласился Согрин.— Хоть никуда мужичонко, а все ж таки живая душа. Да и народ теперь человеколюбием славен. Надобно прощать заблуждения. Иначе зла накопятся горы.

Это он сказал так в угоду Окурышу, а попрощавшись с ним, сплюнул: «Человеколюбие до тех пор хорошо, пока в карман не залезет. И уж нашли к кому его проявлять. Стоит на земле изба, в избе дыра — таков он, Егорка!» Однако случай этот навел его на мысль о возможном прощении, о покаянии перед людьми, как сделал когда-то отец Николай, перенеся позор отречения от сана священника. И вдруг даже услышал свою покаянную речь: «Граждане! Вот я, Согрин, заявляю вам: от моей злой воли погиб Кузьма Холяков! Хотите судите меня, хотите милуйте!» А что ж дальше произойдет? Чем все кончится?..

Представилось сразу такое, отчего по телу пошли испарина и озноб: стоит перед ним большая толпа, молчит, толь-

ко отовсюду глаза смотрят, полные ненависти. Ведь не верой православной дурманил, не доски со склада украл! «Господи! — пошевелил он обсохшими губами.— Неужели с тем и скончаюсь? Против целого мира один. Как подохший в ту пору Барышев».

Вспомнив, Согрин с отвращением скривился: «Еще этого не хватало мне, чтобы с ним в один уровень становиться! Чего ж это я так раскис? А может, еще ничего не случится?»

Небольшая, но все же надежда опять засветилась.

Часа три медленным шагом человека, ничем не занятого, бродил по улицам и переулкам, без смысла смотрел в окна чужих домов, пока себя укрепил. Завтракать из гордости и от зла к Ксении не пошел, повернул к продовольственному магазину сельпо, мельком подумав: «Ну и судьба у этого дома: сначала жил в нем поп, затем устроили тут клуб, а теперь уже приспособили для торговли!» На том месте, где, бывало, отец Николай, сидя в тени черемухового куста, распивал чай, навалом сгружены пустые ящики, а чуть подальше врезаются в небо три ободранных, наполовину засохших от старости тополя.

Осторожно придерживая стеклянную дверь, Согрин переступил порог, степенно приблизился к прилавку. Его наметанный, зоркий взгляд разом охватил, что есть на полках: марочные вина, рыбные консервы, печенье, конфеты и как поленницы свежий хлеб. И все это посреди аляповатой роскоши: деревенские маляры не пожалели красок, напестрили на стенах, на потолок накидали невиданных цветов, радугой обвели дверные проемы. И стоит под такой радугой продавщица, румяная и грудастая, как мать-богородица, но с холодным, неприветливым выражением на лице.

— Гражданин, выйдите отсюда обратно! Магазин закрыт на учет!

— А ты мне сделай уступку,— не двинувшись с места, требовательно сказал Согрин.— Не сломаешься пополам, если отпустишь пачку печенья и парочку сдобы.

— Сказано вам: за-кры-ваемся!

— Так дай сюда жалобную книгу! Я тебе на память коечего запишу...

Поссорился бы с ней. Она тоже закипела, приготовилась отточенным языком дать отповедь. И случился бы не малый скандал, если бы в дверях не появился Гурлев, заслонив косой луч солнца. Продавщица сразу обмякла, обнаружила улыбку, а Согрин молча выложил перед ней бумажный рубль.

— Решил нашего хлеба попробовать? — спросил Гурлев не очень приветливо.

— Хлеб везде одинаковый,— мирно сказал Согрин.

— Теперь везде! А что же сам в магазин притопал? Неужто Ксения для тебя сдобу жалеет?

— Я на дочь не пеняю, Павел Иваныч! Скупость за ней не водится. Про запас хочу взять печенья и сдобы. На поля собираюсь. Давно от природы отстал. Полежу где-нибудь возле кусточка ракитового. В небо погляжу, куда душа отойдет. Птичек послушаю.

— Не поют уже птицы, в отлет ладятся, а кукушка ячменным зерном подавилась. Осень ведь подступает.

— Я кукушку и прежде не жаловал. Не домовитая она. Как баба гулящая. Но пуще всего, Павел Иваныч, тишины хочу! Надоел мирской шум и суета!

Это он сказал правду: только тишины, только покоя хотелось ему сейчас.

— Если к Чайному озерку собрался, так не найдешь свое бывшее поле,— предупредил Гурлев.— Межи распаханы.

— Не манит туда! В дубраву схожу...

И это сказал правду: бывшее поле у Чайного озерка теперь, как заклятое. Туда, где принял гибель Кузьма Холяков, уже ногой не ступит.

По выходе из села, на большаке, навстречу прокатился молоковоз. Из окошка кабины высунул голову Колька Саломатов, шофер, парень не в отца и не в деда Василия — худосочный, жилистый и носатый. Завидев на обочине Согрина, помахал рукой. Жених для Таньки не очень фартовый, но было бы лучше отдать за него, чем отпускать ее в семью Гурлева. Парень едет, очевидно, на молочную ферму, оттуда повезет свежее молоко в Калмацкое на завод, а если не дурак, всегда может на своей машине лишнюю деньгу зашибить. Шоферу деньги сами напрашиваются: кого-то по пути подвезет от села к селу, кому-то между делом подбросит груз. «С дедом Василием, бывало, не раз сиживали за одним столом на гулянках,— подумал Согрин.— Маленько родней приходились. Так нажитое мной не в чужие руки попало бы».

Вид поскотинных бугров, прежде голых, а теперь засеянных травами, не радовал, и Согрин поторопился миновать их. Неподалеку, чуть в стороне от Калмацкой дороги, есть в лесу болото Камышное. Застойная вода из него отходит в протоку, и тут небольшой ложок с чистым родником. Вода прозрачная, чище стекла; на донышке, как на ладони, вид-

ны обточенные струей гальки и камушки, а самой воды словно нет совсем. Возле берега болота ложок оброс резучей осокой и красноталом, тут же склонилась над водой плакучая ива, расщепленная молнией. «Экое диво! — удивленно подумал Согрин, присаживаясь в ее тень.— С малых лет помню родник, а все еще течет не переставая. Какая же сила заложена в нем?» И покосился на зреющие у опушки леса хлеба: «Тоже сила!»

Здесь у родника, в благодати млеющего под солнцем разнотравья, настроение поправилось. «Хорошо, как у себя в саду или как у друга в гостях,— довольно подумал Согрин.— Всегда бы, вечно бы так!» Сняв пиджак, расстелил его у родника, шляпу повесил на сухой сучок ивы, разулся, оголив ноги, а потом с удовольствием макал печенье в холодную воду, не торопять, жевал, подбирая крошки. Вот она, тишина! Даже слышно бунчание пчелы, перелетающей с цветка на цветок. Но и тут все живое стремится одерживать верх для себя. Вот малая пичуга ловит на лету мух. Вот между обвислыми ветками ивы паук плетет свою сеть. Старый, будто затерянный мир...

Вскоре чуткое ухо Согрина уловило приближающийся рокот автомашины. Приподняв голову, он увидел, как из перелеска, по давно заросшей полевой дорожке, вывалился колхозный молоковоз. Затормозив машину, Колька Саломатов вышел из кабины на полянку, воровато оглянулся вокруг и достал из-под кузова порожнее ведро. «Наверное, в радиаторе мало воды,— сообразил Согрин.— Не налил вовремя, разиня!» Однако, зачерпнув воды, Колька не стал отвинчивать пробку радиатора, а, снова оглянувшись вокруг, залез на верх цистерны и добавил воду в молоко. Так он повторил три раза, из чего Согрин понял, что парень наверняка намерен поживиться. И промолчал бы, не стал бы его отвлекать, как вдруг спасительная мысль озарила голову. Таки дождался удачи! И, приподнявшись от родника, громко крикнул:

— Ты, сукин сын, чего тут вытворяешь?

— А-а! — испуганно попятился Колька.— А, дед Прокопий! Я ничего...

— Как это «ничего»! Молоко по количеству вроде в порядке, зато жирность тю-тю! На коров или на доярок поклеп! Вот пойду сейчас в правление, доложу Гурлеву, в тюрьму сядешь, варнак!

— Неужели донесешь, дед Прокопий? — срывающимся голосом спросил Колька.— На первый раз прости за ошибку!

— Ошибка-то, поди уж, не первая! Ишь, как навострился болото доить. Люди трудятся, ты же их грабишь! — И затем ровнее добавил: — Ты ведь не из простой породы, из раскулаченной. Тебе за малый промах скидку не дадут! Затаился-де кулацкий последыш!

— Теперь такого в помине нет! — возразил Колька, понурив голову и опустив плечи.— Но все же прошу, дед Прокопий, не выдавай! Я за то тебя, дед Прокопий, отблагодарю...

— Чем это можешь ты рассчитаться?

— Не знаю! Как скажешь...

— Ну, если уж только услуга за услугу,— мягче и дружелюбнее прознес Согрин.— Как прежде рядились: баш на баш, без придачи! За грех-то грехом рассчитайся!

— Какой же грех?

— Пустяковый. Сделай и на всю жизнь замолчи.

— Какой же пустяк, дед Прокопий, если навек замолчать? — отходя от испуга, спросил Колька.— На худое дело я не решусь, дед Прокопий!

— Воровать молоко разве не худо?

— Ладно, я подумаю, дед Прокопий.

— Смотри, парень! — погрозил пальцем Согрин.— Я тебе доверюсь, а не пытайся меня обмануть. Сболтнешь, пеняй на себя! Я сяду в автобус и в город укачу, а тебе тут жить надо дальше. И ведь ничего против меня не докажешь! Слова к делу не пришивают.

— Лишь бы по силам.

— Сила не нужна, только смекалка.

— Не пойму никак? — насторожился Колька.— Мудрено говоришь.

— Я на свой бывший дом глядеть не могу! — решительно сказал Согрин.— Он, как бельмо! Ясно! Буду рад, если однажды сгорит дотла...

— Его скоро начнут ломать,— понял Колька.— Без поджога...

— А мне охота, чтоб он сгорел! Гнилье, хлам, но лучше огню предать, чтобы ни бревном, ни доской, ни ржавым гвоздем ничто не напоминало старую жизнь. Мало в ней было хорошего! Вот и возьмись... Исполнишь как нужно, так еще в придачу к сегодняшнему проступку новый мотоцикл получишь! Я не скупой...

— Там же дети! — построжел и вскинул голову Колька.

— Дождись, покуда их переселят. Дом останется пустой, брошенный, никто его охранять не станет. Вроде, произошел такой случай: кто-то мимо шел, ненароком бросил

окурок. Для верности можно бензину плеснуть...

— Этак ты сам управишься, дед Прокопий!

— Мне нельзя! Сразу на подозрение возьмут. К той поре я уеду.

— Да-а, дорого ты с меня запросил, дед Прокопий,— вдруг насмешливо сказал Колька.— Дурачка нашел!

— Значит, трус ты, Николай Саломатов! — раздраженно, сквозь зубы, процедил Согрин.— Воровать горазд, больше ничего!

— Верно, трус я, дед Прокопий,— спокойно согласился Колька,— однако не подлец! Надо было сходить к Павлу Иванычу и признаться, как вчера нечаянно из цистерны молоко на землю пролил и недосдал на завод, чем сегодня три ведра воды доливать. Выговор схлопотать не хотел. Ну, зато сразу за два проступка придется отвечать. Он меня отругает, взыщет, сколь следует, зато поджигать не прикажет!

— Вот и дурак ты, Колька,— поневоле перешел на шутливый тон Согрин.— Чему поверил! Глупость принял всерьез! Мне ведь делать-то нечего. Ах, думаю, стервец, какой пакостью занимается! И дай-ко, думаю, я его припугну! Небось, душа в пятки ушла!

— Не так страшно, сколь совестно, дед Прокопий! По твоему виду никто бы не понял, что в смешки намерен играть...

«Выходит, не очень весело так «шутить»,— скорбно подумал Согрин, когда за перелеском затихло рокотание мотора молоковоза.— Нипочем стал страх! Совесть оказалась в цене. Это у Саломатовых совесть!»

Колька уехал.

Он снова прилег на полянку у родника, опираясь на локоть, но удовольствия от окружающей его благодати уже не почувствовал. Паук продолжал плести в обвислых ветвях прозрачную сеть. Старался, бегая вверх и вниз. В его труде было много терпения, хитрости и сноровки, а все-таки вот хлестнет порывом резкий ветер, прольется дождь, и ничего тут на ветвях не останется...

7

Есть люди, которых как ни украшай, ни отбеливай, а нет к ним никакого расположения. Внешне они вполне благопристойные, вежливые, обычные люди, зато внутреннее их существо всегда словно погружено в мрак, в глазах холод,

в словах, всегда точно подобранных, округленных, что-то намеренное, вынужденное, неискреннее. И не возникает поэтому к ним ни сочувствия, ни доброжелательства, ни уважения к их возрасту и положению. Таким казался Прокопий Согрин прежде, и таким же увидел его Чекан теперь.

После завтрака шли с Володькой на стройку водонапорной башни, в конец села, и встретили Согрина на большаке. Тот медленно, но твердо ступая на мощеную дорогу, направлялся, очевидно, в лес и Федора Тимофеевича не узнал, мельком окинув его равнодушным взглядом.

— Давно он гостит здесь? — спросил Чекан, когда Согрин достаточно удалился.

— Со вчерашнего дня,— ответил Володька.

— Позвали на свадьбу?

— Свадьбы не будет!

— По какой же причине?

— Просто так. Не хотим. Вот вы-то, Федор Тимофеич, для себя свадьбу справляли?

— Не удалось. Обстоятельства были иные.

— У нас тоже есть обстоятельства...— не договорил Володька.

— По-моему, так Павел Иваныч уже согласился.

— Деваться некуда. И перестал возражать. Вроде бы я его вынудил.

— Возможно!

— Но почему? — горячо произнес Володька.— Родители ведь не отдел кадров, не на производство сноху нанимают, чтобы требовать: заполни сначала анкету, напиши автобиографию, представь справку о состоянии здоровья да приложи две фотокарточки размером таким-то!

— Верно! — засмеялся Чекан.

— Если я люблю девушку и она меня любит, то совсем не интересно, кто ее дед! И отец, насколько я его понимаю, печется теперь не столько о том, что было у него в прошлом с кулаком Согриным, как о том, чтобы нынешний Согрин не повлиял на Таню своим богатством.

— Меня такая проблема тоже волнует,— серьезно сказал Чекан.— Я где-то слышал очень емкое выражение: прежде мы страдали от нужды, а сейчас начинаем страдать от сытости! Все в жизни должно быть разумно, рационально, гармонично. Мы уже достаточно много накопили материального богатства, оно продолжает стремительно развиваться, и человек, который его создал, обязан им управлять, не делая себе вреда. Да, надо иметь добротные и красивые вещи, хорошее жилье, нарядную одежду, запас

денег на случай необходимости, но не быть их рабом, не ставить все это конечной целью своего труда. Однобокое желание только «иметь» — это мещанство, обывательщина, житейская узость. Все это, привнесенное из прошлого, на вид не опасное, а между тем, если заглянуть чуть поглубже, оказывается: вслед за поклонением вещам и деньгам идут стяжательство, бесчестие, одиночество и еще кое-что покрупнее. Павел Иваныч и Согрин — совершенно противоположные личности. В прошлом у них была классовая борьба. От нее еще что-то осталось в памяти у того и другого. А содержание самой борьбы изменилось, перешло в идейное качество. Наше поколение стремится передать жизнь в надежные руки своих детей.

— К чему вы клоните? — недоверчиво покосился Володька.— Если хотите поддержать отца против меня, то напрасно тратитесь.

— Как раз напротив! — улыбнулся Чекан.— Я обеими руками голосую за любовь, как за источник чистоты и добра.

— Есть матери, которые при рождении бросают детей, чтобы они им не мешали, но приходят другие люди, этих детишек берут и воспитывают. Потом, когда дети становятся взрослыми, то кто им дороже?

— Наверно те, кто их любил!

— А Согрин только теперь хватился, что у него есть внучка. За что его уважать? Кому нужно его наследство, как случайно найденная на дороге сумка с деньгами? Присвоишь ее, потом мучайся: ведь взял чужое! В этом я за Танюшку ручаюсь!

Такая в нем уверенность, страстность — даже возразить невозможно.

— И для чего нам понадобится чужое наследство — дом, сад и все прочее, если мы с Таней намерены жить здесь и если у нас имеются свои головы, свои руки, свои жизненные цели? — задумчиво добавил Володька.— Хотите знать, Федор Тимофеич: у меня есть наследство намного дороже, чем то, которое может оставить Согрин. Это жизнь и труд моего отца. Его прошлое и настоящее, его мечта о будущем Малого Брода. Вы меня поняли?

— Да! — подтвердил Чекан.

— Об этом заявлять неудобно, не очень скромно, но ведь я и не кричу о том на каждом углу, а признался вам потому, что вы тоже родитель. Всмотритесь в нас, разве же мы — это не вы? Пусть я или ваши Леонид или Виктор поступаем по-своему, в чем-то не соглашаемся с вами, но

это же не равнодушие друг к другу, не отрицание, а стремление к лучшему.

— Наверно, все родители устроены так, что не сразу могут разобраться в том, кого вырастили! — искренне ответил Чекан.— Позднее проверь на себе...

— Не знаю, как батя, но я не придаю нашему с ним небольшому разладу значения. Погодя немного, он сам начнет хлопотать вокруг нас. Дать бы ему право, так всех детишек на свете приютил бы под свое крыло.

— Я видел это сегодня ночью, когда рожала Варвара Крюкова.

— Ничего, скоро у него появится свой внук,— улыбнулся Володька.— Подрастает уже...

— Подрастает? — удивленно спросил Чекан.

— Танюшка беременная,— как мужчина мужчине признался Володька очень довольным голосом.— Впрочем, я об этом отцу не сказал...

Чекан не ответил. Добрачная связь с девушкой таила в себе что-то унижающее чистоту любви, легкомысленное и непрочное.

— Вам не нравится, Федор Тимофеич? — догадался Володька.

— Да! — резковато ответил Чекан.— Мне не нравится сам факт добрачного разрешения супружества. Это вольность.

— Нам, однако, не по шестнадцать лет,— чуть обиженно возразил Володька.

— Все равно!

— Не этого я побаиваюсь, Федор Тимофеич. И не взбучки от бати. Как бы наши неприятности не дошли до Танюшки, не расстроили бы ее, вроде Варвары Крюковой...

— А ты доложи прежде матери,— дружелюбно посоветовал Федор Тимофеевич.— И она, возможно, за поспешность вас не похвалит, но все же найдет выход, вполне достойный...

Ему было неловко вступать в интимные дела семьи, даже такой близкой, как Гурлевы. Но и сознание, что Павла Ивановича ожидает еще один не очень приятный «сюрприз», не придавало особого оптимизма.

Улица оборвалась. Дальше начался выгон, где сооружалась башня над артезианской скважиной. Каменщики заканчивали последние ряды кладки, было их трое, и работали они не спеша.

— Медленно строишь,— заметил Федор Тимофеевич, обойдя стройку.— Я думал, сделано больше...

— Постоянно кирпича не хватает,— не задумываясь, ответил Володька.— Возить из города далеко, на кирпичном заводе очереди, и отец велел сначала закончить здание детсадика.

— Надо что-то предпринимать!

— На увеличение фондов трудно рассчитывать. В будущем я надеюсь только на свои местные материалы. И мне с вами придется поспорить, Федор Тимофеич.

— О чем же? — заинтересовался Чекан.

— Вы уже слышали возражения против ваших замыслов, вложенных в генеральный план,— чуть прищуриваясь от солнца и как бы собираясь с мыслями, сказал Володька.— Но возражения стариков надо еще обсудить с учетом дальнейшей организации деревенского быта. Зато, мне кажется, вы ошибаетесь, Федор Тимофеич, намечая стройки из кирпича облегченного, в основе которого трепел и гранулированный шлак доменного производства. Отложим в сторону вопрос о его прочности. Лично я от него не в восторге. Облегченный кирпич больших нагрузок не выдерживает, морозостойкость у него тоже не очень высокая, на долгий век не рассчитан. Вот давайте-ка, возьмем кувалду и сделаем примитивный опыт: сколько отвалится с одного удара кувалдой от угла нового здания детсадика и сколько с такого же удара от угла старой церкви?

— Все понятно без опыта,— видя решительное настроение молодого прораба, засмеялся Чекан.— Церковь придется взрывать, обычной разборке она не поддастся!

— Ее строили восемь десятков лет тому назад, а кирпич делали вот тут же, в двухстах метрах отсюда...

— Кустарным способом! — весело добавил Чекан.— И с затратами труда не считались. Теперь производство материалов массовое...

— Да, к тому же дешевле кустарного!

— Разумеется.

— Но давайте прикинем: для нас-то выгодно ли? Сколько стоит транспорт? Сколько нужно автомашин ежедневно для перевозок кирпича из города до Малого Брода? Расстояние, сами знаете, не маленькое — сто километров в один конец! Пользуясь путевыми листами шоферов, мы с бухгалтером колхоза можем легко доказать, что свой, местный кирпич по себестоимости выйдет наполовину дешевле. Притом, мы можем строить объекты, не оглядываясь, дадут ли нам фонды.

— Ты, кажется, всерьез увлечен?

— Я вам даже образцы могу показать,— направляясь

дальше по выгону к буграм у болот, предложил Володька.

Там, как помнил Чекан, еще в конце двадцатых годов стояли крытые соломой сараи торговца Ергашова и частенько дымили обжиговые ямы. Вся округа пользовалась красным кирпичом кустарной выработки. Сейчас здесь остались только овражки. Спустившись в один из них, Володька показал, очевидно, им же выкопанную ямку, на дне которой посреди золы и потухших углей лежала грудка недавно обожженных кирпичей, без единой трещинки.

— Сравните-ка с теми, что привозим из города,— немного задиристо и хвастливо сказал он.— И попробуйте не согласиться...

— Преимущества большие,— одобрил Чекан,— но ведь эти изделия штучные.

— Помогите убедить отца и правление колхоза. Пусть дадут средства и людей. Через месяц свой заводик будет готов. По моим прикидкам, больших затрат не понадобится. Самую трудоемкую работу — приготовление глины и формовку можно механизировать. Электрическая линия рядом. Сушку сырца, по опыту наших предков, организуем в крытых сараях, а обжиг в ямах. От сараев до ям проложим узкоколейный путь.

Он энергично начал доказывать свои соображения, на взгляд Чекана, вполне разумные, не лишенные смысла и экономической выгоды, однако не убедил.

— Все у тебя продумано и рассчитано хорошо,— отозвался Чекан,— за исключением, как я понимаю, самого важного фактора. Материальное производство, даже очень выгодное, теряет свое назначение добра для общества, для живущих людей, если оно безнравственно.

— Кирпич и нравственность? — с удивлением посмотрел Володька.

— Хотя бы! — подтвердил Чекан.— Ты выпустил из расчетов проблему топлива. Возить сюда каменный уголь тоже невыгодно. И для кустарного заводика он не пригоден. Значит, в качестве технологического топлива понадобятся дрова...

— Конечно!

— А у вас, в здешних лесах, много ли их осталось? Лет тридцать тому назад по всем окрестным полям стояли вековые березы. Где же они? Почему, куда ни посмотришь, везде молодняк-подлесок? К тому времени, когда поспеет он, ты, Володя, уже поседеешь! Или же станете их вырубать сейчас, лишь бы выгадать на перевозках материалов из города? Тогда что же вы оставите своим детям? Цвету-

щие долины, плодородные и богатые, или же пустыню без лесов, без озер, без птиц и зверушек? Чем будут ваши дети питаться: хлебом, мясом, маслом, ягодами, грибами или же синтетическими таблетками? Я, разумеется, все это немного утрирую, ведь мы с тобой люди близкие и можем позволить себе пошутить. До крайности природу никто не допустит, но и беречь ее надо не потом, а сейчас. Какой же смысл строить новый Малый Брод, село будущего, если не оставить его в зеленом кольце?

— Дрова я имел в виду только в пределах возможных,— ничуть не смутился и не выказал намерения отказаться от своего предложения Володька.— До таких обобщений, как вы, Федор Тимофеич, я не доходил и к нравственным задачам не обращался, но о проблеме топлива соображал немножечко шире. Вот взгляните туда...— он показал на раскинутое за бугром болото.— Запасов торфа хватит нам лет на двадцать, и вдобавок очистится водоем. Вы возразите: торф для обжига кирпичей не пригоден! Пока так. Но кто станет утверждать, будто нельзя придумать совершенно особую конструкцию обжиговой печи, где торф станет служить не хуже дров и угля?

— Что ж, если это удастся...

— Попробуем. У нас не получится, институты и кирпичные заводы запросим.

— А если все-таки ничего нового не изобретете?

— И уже готовенькое глотать не велика честь. Проще простого покупать материалы со стороны да, не считаясь с затратами, возить сюда. Собираемся строить много. Наши соседи в округе тоже не намерены жить на старых обломках. Можно договориться с ними, скооперироваться и построить кустовой комбинат стройматериалов. Так будет совсем хорошо. Затем, знаете, сколько на кирпичных заводах и на стройках половья пропадает? Тысячи кубометров в год! А если из такого половья, вдобавок к кирпичу, организовать попутное производство блоков?..

— Но пока вы создадите свой кустарный заводик или кустовой комбинат, мы не можем остановить проектирование,— чувствуя, что деловые соображения Володьки еще не созрели и пока нереальны, заметил Чекан.— Да ведь и сметную стоимость заранее, не имея на то прочных оснований, нельзя занижать!

— Тогда поищите, не пожалейте труда, как нам строить дешевле, быстрее, прочнее, красивее!

«Нелегко мне с ними придется,— без досады подумал Чекан.— Отец торопит, сын ищет. Оба упрямцы!»

Не вызвали у него недовольства и самовольно сделанные Володькой поправки в рабочих чертежах нового здания детсадика. По сути, они были не очень существенные: служебные помещения сделаны меньше, а коридоры поуже, зато расширены спальни и комнаты для игр.

Надежно и прочно жили Гурлевы на здешней земле. Не ее иждивенцами. Не простыми собирателями даров. Не безмолвными и покорными исполнителями инструкций. И совсем не из пристрастия к ним, к своим друзьям, Федор Тимофеевич мирился с их самодеятельностью, с упрямством, нередко с излишним проворством; ведь не количеством погрешностей определяется настоящий характер, как опечатки не могут испортить хорошую книгу. Кроме того, общение с ними казалось всегда интересным, вызывало свежие мысли; Гурлевы выражали не только самих себя, свои природные качества, но более всего — желания и чувства своих земляков.

— Ты все дома в улицах помести окнами к солнышку, чтобы каждая семья не была обойдена ни теплом, ни светом.

Это сказал так Михайло Сурков. Сидел он в правлении колхоза за председательским столом и, коротая время у телефона, внимательно разглядывал разложенные перед ним листы.

Володька после осмотра объектов отпросился по «личному делу». Догадавшись, что оно связано с переходом Тани Согриной из дома матери к Гурлевым, Чекан согласился.

А время уже подступало к трем часам пополудни. На солнцепеке жарища, испарина. Поникли цветы в палисадниках. Ожидаемое Павлом Ивановичем ненастье, по-видимому, уже приближалось.

Из-под стола торчали босые ноги Михайлы. Его сапоги стояли рядом.

— Непременно надо окнами к солнышку, Федор Тимофеич,— повторил он, уступая стул.

У него в редких волосах возле ушей зажелтевшая седина, над щетинистым подбородком топорщатся по-прежнему лихо, как из проволоки витые, усы. Больше тридцати лет соединяет его с Гурлевым колхозная жизнь. Прежде был он бригадиром у трактористов, затем полеводом, а теперь, по старости освобожденный от всяких работ, числится у Гурлева «запасной головой». Так его в шутку называет сам Павел Иванович, поручая предварительно обдумывать разные дела по хозяйству.

— Солнца всем хватит с избытком в любой ясный день,— показав, как располагаются жилые дома в улицах, попытался убедить Федор Тимофеевич.— Остается мало освещенной только одна сторона.

— Ты выведи на нее все кухни, кладовки и тувалеты,— серьезно предложил Михайло.— А само жилье — только на светлую сторону!

Так и Гурлев заказывал: «Жизнь надо строить веселую!» Значит, именно обращенную к солнцу, как выразил теперь Михайло Сурков.

— Не знаю, слышь, Федор Тимофеич, состоится ли сегодня вечером заседание правления, чтобы обсудить твой проект,— выглянув в окно и раскрывая ворот рубахи, немного погодя посомневался он.— Продержим тебя здесь зазря. Того и гляди, большая гроза набежит, и Павел-то Иваныч, наверно, до ночи в заозерье останется. Утром еще, перед отъездом на поле, он мне наказывал: ежели, дескать, Федору Тимофеичу загребтится домой в город поехать, так пусть нас извинит и поступает пусть по своей воле. Таковское уж дело у нас хлеборобское, что самого лучшего гостя приходится оставлять без внимания. Ну, а коли временем-то немного располагаешь и решишься обождать хоть до утра, не то до завтрашнего вечера, так погости еще и огляди наше хозяйство поближе. Хлеба нынче справные. Прогуляйся в поле покуда.

— Как же я Павла Иваныча в заозерье найду?

— С любой попутной машиной поезжай туда. Крытый ток совсем неподалеку от дороги.

— Пожалуй, съезжу,— согласился Чекан.— Лично договорюсь. С проектом можно пока обождать, тем более, что мне надо в нем еще кое-какие детали продумать...

8

Дорога в заозерье от околицы Малого Брода серпом загибалась по береговому угору, миновала заросшие камышами болотца, где на узких плесах кормились выводки черных гагар. Дальше начинались покосы и поставленные на них стога свежего сена. В косых лучах солнца, уже низко склонившегося к западу, островки березовых лесов хранили сторожкое молчание. Еле приметно качались налитые колосья пшеницы, обступившей дорогу с обеих сторон. А ветер внезапно стих, затаившись где-то.

— Гроза будет,— сказал шофер как о чем-то привычном.

Крытый ток Федор Тимофеевич увидел издали. Длинный навес, куда свободно могла въехать любая грузовая машина, был сделан добротно: на кровле шифер, по бокам проемы для свободной циркуляции воздуха. Под таким зонтом зерно в любой дождь не намокнет. И, глядя на него, нельзя было не согласиться с хозяйским расчетом Гурлева: за год-два окупится это сооружение сохраненным от порчи зерном! Да и сами колхозники перестанут горестно вздыхать и хмуриться при виде набегающей тучки. Не приснился Гурлеву однажды ток под крышей, не случайная мысль запала в голову, а многие годы, сначала с риском для жизни добывая хлеб государству, затем выращивая его на колхозных полях, знал он цену каждому зернышку и труду хлебороба.

Шофер остановил машину, и Федор Тимофеевич пешком прошел чахлый лужок. С другой стороны, прямо через сжатое поле, подъехал на своем старом «газике» Гурлев. На току, под крышей, были уже насыпаны большие бурты ячменя, неподалеку стоял передвижной стан на резиновых скатах, горел костер, у которого хлопотала повариха, а под навесом веселились школьники, помогавшие разгружать урожай.

Прихватив из бурта горсть зерна, почти янтарного, Павел Иванович пересыпал его с ладони на ладонь, с наслаждением понюхал.

— Ай, молодцы ребята! — похвалил он комбайнеров.— Увели все же ячмень от ненастья. Осталось гектаров пять. К ночи закончат, если непогода к той поре не ударит...

— Затишье к грозе? — спросил Чекан.

— Природа сама регулирует. Обрати внимание, как притаилось, примолкло вокруг. Лес ждет. Поля ждут. Птицы спрятались. Комарье и то пропало в траве. Хорошо бы успеть управиться...

Вид у него не усталый, хотя лицо и пиджак в пыли, на брюках полно череды и репейника, колени в мазуте.

— А ты чего, Федор Тимофеич, приехал сюда? — вдруг встревоженно обернулся он.— Ничего не случилось?

— Все нормально,— успокоил Чекан.— Дай мне еще посидеть над проектом. Подумать. Поискать.

— Володька чего-нибудь наговорил?

— И Володька, и старики, и самому мысли пришли. К концу уборочной, когда вы полностью на полях управитесь, снова приеду, и тогда соберем людей.

— Я не против,— кивнул Гурлев.— Лишь бы закладку Дома культуры не задержать.

— На день не задержим.

— По новостройкам Володьке замечания оставил?

— Немного поспорили. Не нравится ему покупной кирпич.

— Чего дают, то и бери! — ворчливо сказал Гурлев.— Выбирать не приходится. Чуть не половину битого привозим. Давнешь — ломается. Но и свой кирпичный заводик, как предлагает Володька, тоже сядет на шею...

— Поиск не повредит. Может, как-то удастся решить проблему.

Гурлев помолчал, потолкал концом сапога валявшийся на земле сучок.

— А чем он занялся, когда ты сюда поехал?

— Отпросился личные дела довершать,— улыбнулся Чекан.— Ты ведь согласие дал?

— Меня бы не вынудили. Сын или не сын,— все равно не уступил бы я. У самого внутри не стало протеста. Вот этак сегодня целый день, как свободная минута выпадет, думаю: не грешу ли перед совестью, не топчу ли себя? Нет, не грешу! Танька-то не лучше сироты. А как же сироту совсем обездолить. Может, она пуще Володьки в привете нуждается. Да вот и Митька Холяков из ума не идет. Любит замужнюю, та чего-то колеблется, так и мучаются оба. Моя бы воля, женил бы парня на этой вон поварихе, у которой Митька тоже один свет в окошке.— И, подойдя ближе к костру, строго спросил девушку в белом платке:— Катерина! Почему не едешь мужиков кормить? Давай попроворнее собирайся, не то дождь хлынет, оставишь голодными.

— Сейчас поеду, с первой же машиной...

— Ну, давай, двигай! Да эвон уже и машина есть на подходе. Сейчас ребятишки быстренько ее разгрузят, а ты забирай свой термос и посуду, не теряй ни минуты!

С тока стрекот комбайнов слышится отчетливо, вламывается в уши, словно из-за ближнего, окруженного жнивьем березняка. Но до них далеко. Километра два. Черными, игрушечными кажутся они отсюда, медленно ползающими у горизонта. Заметив обращенный туда взгляд Чекана, Павел Иванович полюбопытствовал:

— Тебе, кроме комбайнов, еще что-нибудь видится?

— Привычный пейзаж: леса, жнивье, машины и горизонт, а над ним темнеющее небо...

— А я вот привыкнуть никак не могу. Иной раз при-

крою глаза и оживает вдруг передо мной другая картина: хлебное поле, чахлое, согнув спины, жнут серпами и вяжут пшеницу в снопы Иван Добрынин и его Акулина, оба босые, оба хворые. Что ни сноп, то слезы и стон. И Гаврилка ихний, теперешний наш агроном, а в ту пору еще малолеток, тоже босой, в драной рубахе, вместе с родителями мается.

— Если бы мы не умели сопоставлять сегодняшнюю нашу жизнь с пережитым прежде, так не оценили бы по достоинству все, что имеем сейчас. Тебе как председателю колхоза, наверно, приходится очень трудно...

— Легкой жизни я не искал.

— А бываешь ли ты доволен? Не надоело ли?

— Надоесть может безделье да работа, которую без желания справляешь! А я представить не могу, чем бы стал жить, с какого краю на жизнь смотреть, если бы отстранился? Начальник районного управления Зубарь мне уже предлагал: «Слазь с коня!» Характеры у нас с ним не сошлись. Не понять нам друг друга. Но и это меня особенно не волнует. За три десятка лет довелось всяких начальников повидать. И этот посидит да снимется с места. Мне отсюда двигаться некуда. Как той старой березе. У нее корни пущены в землю широко и глубоко, переплелись с корнями других берез; попробуй-ка выкопай ее, пересади в другую среду — за одну вёшну зачахнет. Тут бури гнут, осенние ветры и дожди хлещут нещадно, но, опять же, для нее жизнь такая привычная, а покой где-то под крышей, в затишке станет немилым. Ну, а насчет другого вопроса — доволен ли я?

— Давай уж на полную откровенность,— сказал Чекан.— Как есть!

— Мне перед тобой, Федор Тимофеич, нет нужды рисоваться. Я сам лишь недавно понял, отчего это так получается: ругают, требуют, а ничуть не обидно? Не равнодушие ли? Не возомнил ли я о себе? Понял, когда телевизор купил. Сижу однажды вечером дома, пью за столом чай, смотрю передачи из Москвы. И вдруг вздумалось: ведь это же удивительная вещь, великое достижение человеческого ума, но почему же не испытываю я в себе удивления? Будто уж лет сто телевизором пользуюсь! И сколько еще такого появилось в нашей жизни: всякая техника, телефон, радио, личные автомобили — все это перестало людей удивлять. А вот в прошлом году, на отчетно-выборном колхозном собрании хотел для показа нынешнего уровня экономики хозяйства статистикой поблистать. Вместе с бухгалтером

целую неделю архивную пыль глотал, пока составил таблицы. При частном владении, в двадцать восьмом году, когда ты был откомандирован на должность избача, приходилось на каждого жителя Малого Брода в среднем одна четвертушка коровы, восьмая часть лошади, одна треть десятины посевов! Скудные цифры. А вот что получилось за прошлый год в том же расчете: три коровы, свыше двадцати лошадиных сил и восемь гектаров посевов! Включил я все эти данные в отчетный доклад, а какое же они действие оказали?

— Неужели никого не тронуло?

— Пожилые люди, которые многое видели своими глазами, в ладошки слегка похлопали, да и то не все. Аким Блинов, бывший Окурыш, даже речь сказал, но как всегда не о том...

— Опять о претензиях к богу?

— На свою маломерность больше не жалуется. Заскучал, говорит. До полуночи от телевизора не отходит, а потом, надсадив голову, спать не может нормально. И вот изволь ответить: как эта хорошая, сытая жизнь и почему производит на него такое влияние? Я, конечно, ему пояснил: нельзя объедаться, иначе, мол, непременно отрыжка получится. Ну, Аким, однако, не в счет! Зато другие мужики, хоть и похлопали в ладошки, высказали мне немало справедливых упреков. Они хозяева, и, разумеется, их больше интересует не статистика, не то, как было и стало, а что есть сейчас и что дальше будет! Я позднее все это обдумал: почему же удивительное стало не удивительным?

— Вернее, обычным, Павел Иваныч!

— Пожалуй, именно обычным. Всего стало много. Помнится, летом двадцать восьмого года, когда первый колесный тракторишко появился у нас в Малом Броде, так все население высыпало на улицы его смотреть. А сейчас ни один малец в окошко не выглянет, если слышит, как по большаку проходит целая колонна гусеничных тракторов или отряд комбайнов. Впрочем, если вглядеться, то в сознании обычности есть и свое отрицание: этакая душевная беззаботность. Мы-де стали зажиточными, так не к чему крохоборствовать! Есть у нас такие молодцы, бережливость для них как обуза. Один по небрежности машину сломал, другой зерно на дорогу просыпал, третий без нужды дерево срубил. Ему палка понадобилась, так он целое дерево валит. И не смей за то строгача давать. Принимает в обиду. Дескать, невелика убыль. А ведь мы поднялись пока только на первые ступеньки к богатству. Имея много,

вовсе не значит, что можно сорить направо-налево. И вот потому-то на твой вопрос приходится отвечать двояко: радуюсь, но и частенько досадую! Так бывало, когда мой Володька еще в подростках ходил. Купим ему новую рубаху и штаны, сначала все по росту, по мерке, а чуть погодя, он из них вырастает: рубаха в плечах трещит, штаны на ноги не лезут! Приятно видеть: взрослеет сын! Досадно: еще не сношенную одежду приходится заменять. Это я к тому пример привожу, что довольствоваться достигнутым никак невозможно. Удивляться надо, иначе заскучать можно, вроде Акима, но довольствоваться нельзя...

Не окончив мысли, Гурлев погрозил пальцем и крикнул расшалившимся на току школьникам:

— Эй, воробьи! Кончайте в зерне купаться! Идите ужинать!

Повариха оставила у костра почти половину казана пшенной каши с мелко изрубленным мясом. Ребятишки со свойственной им живостью быстро ее поделили.

— Не всю, не всю выскребайте,— предупредил Гурлев.— Оставьте немного нам.— И спросил:— Не откажешься от полевой еды, Федор Тимофеич?

— Давай!

Тонкий дымок костра, запах березовой листвы и разнотравья, смешанные с ароматом брошенных на приступок вагончика свежих груздей и ячменного зерна на току, а также шумливые ребятишки, аппетитно уплетающие кашу,— это был тот милый мир, в котором Чекану теперь приходилось редко бывать.

— Давай! — повторил он охотно.— И мне пора уезжать...

— Гроза уже близко,— пробежав по вечереющему небу глазами, сказал Павел Иванович.— Я тебя отсюда в село сам доставлю, а там решим, сможешь ли дальше ехать.

Взгляд его опустился ниже, на поля, и вдруг он встревожился, приложил широкую ладонь к бровям.

— Один комбайн остановился! Неужели поломка? Как назло все не в пору...

Чекан тоже посмотрел туда. В просвете между двумя островками леса комбайн показался подбитой птицей, упавшей на землю и приподнявшей крыло. За ней заволоченное тучей небо, а сама она осыпана багряным светом последних отражений зари.

— У Митьки Холякова что-то случилось? — проворчал недовольно Павел Иванович.— Ну да, у него! Он тут работает. Давай-ка, Федор Тимофеич, сгоняем туда...

По пути к комбайнам он еще раз оглядел небо, качнул головой, нахмурился.

— Не успеть все прибрать! На колени бы встал перед ненастьем, низко бы поклонился: обожди еще малость, зацепи пока тучи в горах! А не послушает ведь. Вечный у нас спор с погодой.

По давней кавалерийской привычке к быстрой езде, вел Гурлев свой «газик» круто, не сбавляя скорости. Очень скучно и пусто стало на сжатых полосах, как в квартире, где еще вчера толпилось полно жильцов, а теперь они все выехали из нее, оставив открытыми окна и двери. Свободно ярился на просторе снова начавшийся ветер, задирая копешки обмолоченной соломы, разбросанные по жнивью, и вершинки кустарников.

Не из-за поломки остановился комбайн. Сам Митька, не докончив работы, умчался на своем мотоцикле в село. Вместо него остался возле заглохшей машины агроном Добрынин. Встретил он Гурлева улыбаясь.

— Ничего я с ним сделать не мог, Павел Иваныч! Дмитрий задание перевыполнил и убрал бы остаток ячменя, не появись тут Николай Саломатов...

Лицо Гурлева сделалось злым.

— А Кольку с какой стати сюда занесло?

— Так они же друзья. Николай проезжал тут с полчаса назад на дальний выпас за вечерним удоем молока и попутно подкинул Митьке новость не очень приятную: за Веркой-то, оказывается, ее муж приезжал днем на такси. Увез. Я говорил Митьке: Верку теперь уже не догнать, да ведь и не яблоко же он станет делить с ее мужем! Не повлиял.

— Приказал бы! Ты же и по партийной линии мог на него воздействовать.

— А ты мог бы по любой линии своего Володьку остановить, когда пришла ему пора на Татьяне жениться? Николай же рассказывал тут: твои молодые днем зарегистрировали брак, и Танька уже перебралась к вам.

— Не без моего ведома сделано! — продолжая сердиться, отрезал Гурлев.— У Володьки стройка, а здесь хлеб!

— Трудно оценить, кому что дороже? А кроме того, я уже и остальным комбайнерам дал сигнал вместе с шоферами возвращаться на стан. Пора. Не то буря застанет...

— Да, пожалуй, пора! — согласился Павел Иванович.

Последние блики вечерней зари сорвало ветром с вершин берез. Мрак начал быстро сгущаться. Черная туча в седых космах стремительно набегала на небо, вдалеке ярко вспыхнула молния, и некоторое время спустя донесся от-

даленный рокочущий гром. Посыпался редкий, но крупный и тяжелый, как град, дождь вместе с облаком пыли, поднятой тугим, порывистым ветром. Запорошило сорванными с берез листьями. Какая-то птица, опоздавшая скрыться в лесу, беспомощно упала на жнивье. Гурлев подбежал к ней, поймал и сунул к себе под пиджак. Это был малый сокол, еще не окрепший, с желтой полоской на клюве.

Добрынин сам взялся вести Митькин комбайн к стану. Чекан спрятался в «газике» от дождя и ветра, пока Гурлев, сгибаясь, пробился сквозь встречную бурю к лесу и отпустил там сокола.

Совсем стемнело. Гром грохотал прямо над головой. Молнии сверкали в потоках воды, сброшенной тучей. В «газике» под ногами стало мокро. Смотровое стекло заливало. Павел Иванович включил на полную мощность фары, но дождь лил настолько плотно, что пришлось ехать почти вслепую.

На половине пути к селу, посреди дороги, валялся брошенный мотоцикл.

— А где же сам Митька? — всполошился Павел Иванович.— Это же черт знает какие дела вытворяются!

И добавив скорости, погнал «газик» дальше. Митька шел по дороге пешком, насквозь промокший. Павел Иванович силой втолкал его на заднее сиденье машины и начал строго выговаривать:

— Ну, пойми же ты, дурной, ведь у Верки ребенок. Люб не люб муж-то, приходится ей терпеть. А если любишь, так дай же ей успокоиться, не добавляй терзаний.

Митька молчал, отвернув лицо в сторону.

— Чем тебе та же Катерина Шишова не пара? — И вдруг гневно заорал на него: — Не отмалчивайся, сопляк! Если воли нет, так по-бабьи реви, дери на башке волосы, не то, соблюдая мужское достоинство, матерись, чтобы печаль из тебя изошла! Ну!..

— Что же ты, Дмитрий Холяков, действительно, себя побороть не умеешь? — с упреком добавил Чекан.— Не похвалил бы тебя твой дед, Кузьма Саверьяныч!

Митька пошевелил рукой, сжал кулак и чуть слышно ответил:

— Все равно я своего добьюсь!

— Вот так они, нынешние-то, разговаривают со старшими,— уже без раздражения заметил Гурлев.

Парня он высадил у его дома, потребовав обещание сейчас не гнаться за Верой в город, а еще все хорошенько обдумать. Дождь продолжал хлестать по земле, тускло жел-

тели электрические огоньки на столбах, бурно пенились в канавах потоки. На веранде в доме Гурлева свет горел ярко.

— Придется тебе, Федор Тимофеич, еще одну ночь провести у нас,— сказал Павел Иванович, подогнав «газик» вплотную к калитке.— Иди покуда с молодухой знакомься, а я на минутку еще в правление загляну, нет ли чего-нибудь срочного.

Пришел он домой не через «минутку», а через час, и снова чем-то сильно расстроенный. Увидев его хмурое лицо, Татьяна испуганно склонила голову, зато Володька весь напрягся, приготовился отстаивать свою независимость. Гурлев в кухне сбросил мокрую одежду, кинул под порог грязные сапоги и босиком отправился в спальню.

«Кажется, психологический барьер еще не разрушен,— неодобрительно поглядел ему в спину Чекан.— Неправильно, Павел Иваныч! Нехорошо!» А все-таки не верилось, будто этот всегда прямодушный человек мог оказаться неискренним. Молодожены держались настороженно. На ресницах у Татьяны блеснули слезинки. Вот так, не в уютной теплоте, не под свадебный шум и веселье начиналась их первая совместная ночь.

Чекан отложил на столик недочитанную газету и хотел пойти в спальню Гурлева, поговорить, а в эту минуту сквозь шорох дождя со двора послышались чьи-то тяжелые шаги. Потом за стеклом веранды внезапно возникло размытое лицо Согрина. Дождевые капли стекали вниз, и поэтому создалось впечатление, будто Согрин плачет. Однако он не плакал и не просил ничего, а властно потребовал, постучав пальцем:

— Прогоните девку домой! Нечестно поступаете, граждане! Она вам не ко двору. Танька! Ступай оттуда!

— Уйди, дед Согрин! — становясь впереди жены и открыв створку, решительно сказал Володька.— Мирно прошу...

— Мне на твой мир наплевать! — еще злее и властнее заявил Согрин.— Не по себе березу ломаешь. Ты слышишь, Танька?

Прежде присмиревшая, покорная молодуха вдруг отвела руку мужа и встала с дедом лицом к лицу.

— Зачем ты пришел сюда? Кто нуждается в твоем покровительстве? Маму ты счастья лишил, а теперь до меня добираешься!

— Прокляну! — крикнул Согрин.

— Хоть десять раз проклинай!

— Ни гроша от меня не получишь!

— Вот уж чем напугал! — даже засмеялась Татьяна.— Ты сначала спроси: хочу ли я от тебя тот грош?

— Зато колечки и часики носишь, не брезгуешь!

— Возьми их! С удовольствием от них откажусь...

Она быстро похватала с рук все украшения, зажала их в кулак и сунула Согрину. Он попятился, широко раскрыл от удивления глаза. Таня бросила подарки ему к ногам.

— Распутная безотцовщина! — наклоняясь за ними, рявкнул Согрин.

«Не подобрел Согрин! — подумал Чекан.— Не подобрел!»

И, подойдя ближе к окну, попытался усовестить:

— Зря скандалите, Прокопий Екимыч! Да еще так неприлично.

— А ты что за указчик? — не скрывая ярости, ответил тот.— С какого боку припека?

— Изменяет вам память, Прокопий Екимыч,— напомнил Чекан.— Избача и бывшего общественного обвинителя по вашему делу забыли!

— Извините! — сразу осекся Согрин.— Не мог предполагать свидеться с вами...

Его следы у веранды смыло водой. Ненадолго перемежившийся дождь снова хлынул; это подошла из-за озера новая грозовая туча. Светом молнии на мгновение озарило крыши соседних домов, темный крест на куполе церкви и согнутую одинокую фигуру Согрина на большаке.

— Кто это был тут? Зачем? — спросил Павел Иванович, переступая порог веранды.— Или послышалось мне?

Он еще продолжал хмуриться, зато в глазах зажглась теплота, как бывает при встрече близких людей. Это и обрадовало Федора Тимофеевича, а не белая рубашка, не новые брюки и ботинки, во что Гурлев успел переодеться. Володьку вид отца, очевидно, еще больше обрадовал, обнадежил мирным исходом.

— Дед Согрин звал Танюшку обратно,— сказал он отцу.

— А только одну ее?

— Да!

— Опоздал, эх опоздал, Прокопий Екимыч! — с веселой добродушностью сказал Павел Иванович.— У нас хватка крепкая! Мы ведь, если захватим в свои руки,— не выдерешь!

Он сгреб ручищами Володьку и Таню, обхватил их, прижал к себе.

Чекан следил за ним: не вынуждает ли он себя? Но вот

и последние признаки хмурого настроения исчезли с лица, в голосе нет ни единой фальшивой нотки. Все по-домашнему. Просто. Естественно. Выпустив молодоженов из рук, сел к столу, свободно откинулся на спинку стула.

— Давай-ка, Таня, приступай к хозяйству. Разогрей ужин да добудь из шкафчика на кухне бутыль с настойкой, налей всем по рюмочке. Ты как, Федор Тимофеич, разрешаешь себе? — спросил он, обернувшись к Чекану.

— По праздникам.

— Значит, и сегодня можно! А меня, знаешь, Дарья всегда ограничивает. Этак вот расстроюсь от чего-нибудь на работе, приду домой, так в пору бы рюмочкой подправить себя, а она мне валерьянку сует.

Таня и Володька ушли на кухню, и он, склонившись, полушепотом спросил:

— Поди, напугал я ребятишек давеча? Чего глядели они на меня, как на лешего в темном лесу?

— Грома боялись!

— Грома хватает в природе. Во, слышь, как громыхает на всю округу. А мне опять Зубарь настроение попортил. Хотелось ребятишек-то сразу приветить, пусть живут, горя не знают. Хватит горя, какого мы полной мерой хватили.

— Чего же Зубарю требовалось?

— Вежливо честил, почему мы раньше всех соседних хозяйств ячмени начали убирать? По телефону-то мне ведь не видно, как он злится, по словам понимаю — еще предстоит у нас с ним заваруха. Прежде всего, мне его тон не нравится: я его на вы называю, а он на ты. Вот я сразу ему и заметил: что ж, говорю, товарищ Зубарь, человек вы еще молодой, я вас лет на двадцать постарше и лет на тридцать мой партийный стаж подлиннее, чем ваш, и хоть элементарно полагалось бы вам проявить ко мне уважение. Называется, подбавил газу! А насчет уборки ячменей я ему определенно сказал: мы хозяева, нам виднее! И вот, говорю, сейчас над правлением молнии бьют, громы грохочут, дождь хлещет, а у нас и тревоги нет, что спелое зерно из колосьев повыбивает. Убрали под крышу. Осталось неубранного ячменя всего ничего. Так он за это мое выражение ухватился: выходит, дескать, работа была плохо организована, коли всего не успели убрать! Начал меня вызовом в райком пристращивать. Вижу, не договоримся мы до добра. Взял и положил трубку. Полграфина воды выпил, еле в себя пришел.

— Жаль, ты не слышал, как Татьяна деду ответила,— опуская этот разговор, сказал Федор Тимофеевич.

— Я намеренно не прислушивался, но кое-чего уловил. Пропустил Согрин все самое дорогое мимо себя. Что же ему теперь остается?..

Таня положила на стол чистую скатерть, подала ужин, а Володька налил всем по рюмке вишневой настойки. Держались они еще скованно, неуклюже и торопливо. У Тани не сходил со щек яркий румянец, отчего Федор Тимофеевич вдруг вспомнил свою Аганю в ее первые дни замужества.

— Значит, предстоит мне скоро начинать жизнь по счету шестую,— когда выпили настойки и поздравили молодых, сказал Гурлев по-семейному.— Получу на руки внука, и станем мы с ним выводить свой сорт пшеницы, более урожайной и стойкой к непогоде. Ехал я прошлой осенью в дубраве мимо жнивья. Земля уже заморозком была сильно прихвачена, осенние бури кончились, подле кустарников, в тени, где солнышком не пригревает, лежал тонкий снежок. И обратил я внимание на одно растение у самой обочины, похожее на пшеницу. Сошел с машины, осмотрел его и удивился такому чуду. Высота растения оказалась полтора метра, на целую треть выше «искры», которой мы засеваем поля. Колос в два раза крупнее. В «искре» при хорошем урожае набирается в колосе не более пятидесяти зерен, а в этом я насчитал сто одно, да при том и размером они намного больше. Взял я находку, до нынешней вёшны сохранил, а когда земля чуть оттаяла, раскопал лопатой небольшой участок самой тощей неплодородной земли и посеял зернышки. Пусть дальше плодятся.

Гроза еще продолжалась долго: то подступая из заозерья, то скатываясь дальше в леса. Но все это происходило по ту сторону ярко освещенной веранды, не мешало мирному течению привычной жизни. Володька и Таня ушли в комнату смотреть телевизор. Рассказывая, Гурлев спокойно поглаживал ладонью открытую грудь, как человек, хорошо поработавший и довольный, не растративший себя понапрасну...

9

А Согрин, медленно шагая по скользкому большаку, с трудом добрался к домику Ксении, скинул промокший плащ и сел у открытой двери сенцев. Злило бессилие, невозможность вернуть из дома Гурлева внучку, ее явное презрение к тому, на что потрачена целая жизнь. Какой бы она ни была далекой, как бы холодно ни было их родство,

но, кроме Татьяны, уже никто не мог бы ему посочувствовать и присмотреть в самый последний час. Вместе с тем нечаянная встреча с Чеканом, напомнившая день суда и высылку, показалась предвестницей неминуемой расплаты за гибель Кузьмы Холякова. «Господи, ударь по ним громом, порази их всех молнией!» — безнадежно шевелил губами Согрин, зная наперед, что ничего подобного не случится. И ни Гурлев, ни Чекан, никто из тех, кто пришел тогда в старый мир и разрушил его, не понесут наказания. А все равно, хоть так, чтобы немного ослабло отчаяние: «Будь же они прокляты трижды!»

За полночь вернулась из колхозного телятника Ксения. Громы и молнии, не тронув никого, отвалились от Малого Брода, остался мелкий, морошливый дождь. Равнодушная к отцу, усталая и промокшая Ксения включила свет и тоже присела, опустив вниз руки.

— Эк, упласталась, ударница! — грубо заметил ей Согрин.— А ведь, бывало, в своей домашности чуть не палкой на работу гнать приходилось.

— Телята грозы боялись,— будто все еще не придя в себя, ответила Ксения.— Одних их не оставишь. Ведь они, как малые дети, от страха льнут к человеку, тычутся мордами.

— Очень ты стала сознательная!

— Я уже просила тебя, отец, перестань нас строчить! Надоело выслушивать поучения. Не нравится, как живем,— не гляди!

— Теперь до тебя не дотянешься, такая стала высокая, хоть стул подставляй,— брезгливо и с явной издевкой сказал Согрин.— Ведь с Гурлевым породнилась!

— Ну и чего в том плохого? Вот взяла да своими руками и отдала Татьяну Володьке.

— Э, попусту с дуры требовать! — отвернулся Согрин.— Иная бы сама догадалась отправить вовремя девку в город, внушить ей войти к одинокому деду в доверие. А уж дед нашел бы, как устроить ее судьбу...

— Не догадалась потому, что губить дочь не хотела! Ты ведь всю жизнь для себя живешь! С твоего стола хлеб черствый и во рту горек!

— Молчи! — прикрикнул Согрин.— Слишком много себе дозволяешь! Дольше ни дня у тебя не останусь! Провалитесь вы тут! Сгиньте!

В гневе он снова вышел на улицу. Тучи над селом поредели, в разрывах проклюнулись звезды. В канавах по обе стороны большака полно воды, под ногами похрустывал

промытый галечник. Остановился Согрин уже у палисадника своего бывшего дома, решив напоследок попробовать, не удастся ли самому расшатать снаружи заложенные в фундамент камни и очистить тайник. Глухая ночь, после грозы все село сковано крепким сном, а в детсадике нет сторожей, и поэтому дело опасным не кажется. Но долговековую жизнь прочил он когда-то этому дому: в раствор извести даже белков из куриных яиц добавлял. Как теперь подступиться? Вынуть камни нужно было из-под третьего окна от угла. Нащупав в кармане большой перочинный нож, Согрин обошел палисадник, намереваясь открыть воротца и добраться к фундаменту, но тут с лавочки поднялся ему навстречу Колька Саломатов:

— Явился-таки, дед Прокопий?

— Ох, господи! — оторопело промолвил Согрин.— Да разве можно этак пугать старика?

— Я намеренно не пугал,— не очень-то добро ответил Колька.— Сам лезешь без спроса! Зачем тебя сюда принесло?

— Но тебя, Николай, зачем? В сторожа, поди-ко, нанялся? — оправившись от испуга, съязвил Согрин.

— А мне, дед Прокопий, еще с вечера, как гроза началась, дурной сон приснился. Будто бы горит этот дом. Под громом, под проливным дождем горит, из всех окон огонь полыхает. Вот и вздумалось: дай-ка схожу посмотрю!

— Не в руку твой сон, Николай,— поняв намек и понуждая себя к миролюбию, вроде бы огорчился Согрин.— Какой же ты дурак, если шутки принял всерьез? Я тебе пояснял...

— Пояснял, это верно, дед Прокопий, но учти, если еще раз ночью застану здесь, по шее схлопочешь!

— И не совестно такое болтать?

Опять зашумело и зазвенело в ушах, ноги и руки отяжелели, каждая в пять пудов весом, так согнули к земле — еле удержался стоя.

— Что с тобой, дед Прокопий? — прихватив за локоть, обеспокоился Колька.— Дурно стало?

— Помоги сесть...

Сидя на лавочке и чувствуя, как снова возвращается к жизни, обидчиво упрекнул:

— Пожалел бы старость мою, Николай! Все же роднёй были когда-то! Зачем думаешь плохо обо мне? Вот ты пойдешь сейчас к себе на кровать, брякнешься на нее и уснешь, а мне сон уже давно не дается, обходит стороной.— Захотелось хоть ему, этому парню, совсем уже не родне, немного

открыться.— Было время, не стану того отрицать, не я один, а и твой дед Василий, и другие мужики из богатого сословия оказывали новым порядкам сопротивление. За свой капитал цеплялись, зубами вгрызались. А велико ли оно было у каждого, если с теперешнего времени его оценить? Ведь кошачьи слезы, а не богатство! Теперь — да! Теперь я мог бы позволить себе очень многое! И опять же, выходит, оно безо всякого удовольствия. Внучке наследства не надо, Ксения прежнюю обиду не может простить. Так для чего же сгодится все, мной накопленное?

— Ничего не могу посоветовать, дед Прокопий,— равнодушно отозвался Колька.— А в одной книжке так было сказано: «Я сеял бурю, но жатва дала мне блох!»

— Да, сеял бурю...— поник головой Согрин.— Блохи покоя лишают! Ну, что же, Николай, наверно, уж не увидимся больше. Прощай! Да не сиди тут, не сторожи. Ничего не случится!

Все люди выражают свое отрицание по-своему. Однажды зашел к Согрину в дом квартирант, что жил во флигеле. Деньги за прожитое принес. Иной бы положил их на стол и дальше порога не двинулся, а этот, ушлый, насмешливый, заглянул в комнаты, увидел ковры, зарешеченные окна и прямо в лицо рассмеялся. «В персональной тюремной камере со всему удобствами, хозяин, живешь! Не наскучило в ней?» За это пришлось его из флигеля вытурить и принять на квартиру другую пару, более смирную. Но и решетки из окон пришлось убрать. Не мог смотреть на них. А вот Колька упомянул про блох. «Нет, Николай, в той книжке, где так было написано, нет настоящего горя! — снова выбравшись на большак, подумал Согрин.— Блох можно вытравить, а коли страх и мрак в душе, оттуда их ничем не добудешь! И сам ты Прокопий Екимыч, уж ни на что не годишься! Смирись и жди!..»

Сгорбившись, не соображая куда идет, он свернул с большака в переулок, оттуда на выгон, миновал ягодный сад, обнесенный высокой изгородью, прошел обочинами болота, затем полевой дорогой добрался до Чайного озерка. Начинало светать. Ветер улегся. Ясное, темно-синее небо нагоняло холод. Немного продрогнув от сырости, Согрин поднял глаза и осмотрелся вокруг. Все-таки прошлое позвало к себе. Зачем? Ведь не любоваться же теми ядреными хлебами, что вокруг пораскинулись? Своего прежнего поля уже не найти. Гурлев даже еланки все распахал и засеял. Вот лишь одна береза осталась, у которой прежде ставил Согрин свой стан. Кора на ней вся издолблена дятлами. На

сухих сучках, как на ребрах скелета, висят занесенные ветром клочья полуистлевшей травы. Умерла береза. «Да ведь и мне уже пора умирать,— подумал Согрин.— Чем страх в ожидании, лучше смерть!» Это была печальная мысль, но иной теперь быть не могло.

Все безнадежно...

Путаясь ногами в траве, он прошел дальше по берегу озерка. Еще тихо и сумрачно в камышах, а уже вспыхивают на гладкой воде зоревые румяна. У водопоя, утоптанного копытами лошадей, догнивают столбы давно разрушенной полевой избушки. За ней неоглядное хлебное поле. «Хорошо бы вот здесь умереть,— остановившись на бугорке, подумал Согрин.— Все же были родные места!» Мысль эта показалась желанной. Смерть все закроет и ничего не останется — ни солнца, восходящего над землей, ни холодящего неба, ни полей, ни бога, ни черта, как у комара, попавшего под колесо телеги. А рядом, на тонкую вершинку березки взлетела ворона и громко закаркала, будто уже почуяла и обрадовалась, как начнет выклевывать глаза у мертвого.

— Нет, не выйдет по-твоему,— озлобленно сказал ей Согрин и, наклонившись, схватил с берега крупную гальку.— Сначала умри ты...

Сбитая с вершинки ворона упала в траву, а Согрин прямо по хлебному полю, подминая сапогами густую пшеницу, твердым шагом пошел обратно в село. Там он взял в домике дочери свой чемоданчик, ни слова ей не сказав на прощанье, часа через три рейсовым автобусом покинул Малый Брод, как заклятое место.

Две недели спустя, которые Согрин провел почти без сна, в непроходящей тревоге, вздрагивая и холодея при всяком звонке у ворот, наступила наконец какая-то необыкновенная легкость. Дышалось просторнее, перестало шуметь в ушах, и все тело чувствовало себя взбодренным. Рано утром встал без натуги, хорошо поел, собрал в саду остатки смородины и малины. С двумя ведрами ягод сходил на базар, выстоял цену и продал по своему запросу, без всяких уступок. Потом еще успел получить с квартирантов во флигеле плату за месяц вперед, закрыл дверь в дом на задвижку и от безделья решил проверить, сколько же тысяч набралось в шкатулке. Для порядка. Еще было от вида денег сознание богатства, но и нападала тоска: бесцельный, омертвленный капитал! В старое время пустил бы его в оборот, удвоил и утроил бы, а теперь только одно занятие: раскинул на столе по купюрам и смотрел, как на игральные карты. Но и поиграть-то даже в простого дурачка не с кем. Посидел у

стола, поперебирал эти бумажки, потасовал, повздыхал над ними. И вдруг навалилась усталость, словно невмоготу наработался, вместо бумажек ворочал чугунные плиты. Хотел встать, оперся локтями об стол, а голова закружилась, и глаза сразу застлало туманом...

Ничего не осталось в памяти, как долго продолжался тяжелый обморок или же смерть, приходившая на короткое время. Очнулся на полу, без сил. За окном виднелись в ярком свете вершинки яблонь, а в комнате прежний полумрак и запах какой-то плесени. Попытался встать. Не удалось. Стол был опрокинут. Деньги рассыпались по ковру. Потом из подпечи, где черной дыркой зияла отдушина, выбежали три крысы и, не опасаясь хозяина, принялись, хватая зубами, таскать денежные купюры в подполье. «Вот зря кошку-то не завел,— безразлично наблюдая за ними, подумал Согрин.— Расплодил нечистую тварь...»

А в селе Малый Брод в это утро строители ломали остатки бывшего согринского двора. Такой прочный на вид, фундамент дома сразу рассыпался под напором бульдозера. Обломками и глыбами камня заполнили ямы и погреба, заровняли их, остатки хлама сбросили в промытую дождями и вешними водами канаву из улицы под угор. Даже Ксения, проходившая мимо по своим делам в правление колхоза, не остановилась тут, чтобы последний раз взглянуть на былое богатство отца.

В конце сентября, по первым заморозкам, когда с хлебных полей весь урожай был собран и вывезен в закрома, а на полях зазеленели посевы озимых, побывал Гурлев на своем опытном участке, где посеял зерна «снежного колоса». Крепкие стебли уже созревшей пшеницы все еще стояли на ветру, выносливые, как пришедший к ним с любовью хозяин.

Родительский дом

В поселок Боровое, в ста километрах от города, Павел Андреевич Гужавин приехал уже поздней ночью последним автобусом.

К родительскому дому он прошел от площади ближним переулком, где было совсем темно и глухо.

Малые ворота открыла ему Дарья Антоновна. Она еще спать не ложилась, в кухонном окне горел свет.

Павел Андреевич поздоровался, но протянутой руки она не приняла, о здоровье промолчала и голосом ледяным, чуть не враждебным, спросила:

— Где тебе постелить? В горнице отцову кровать занял Терентий.

— Когда он успел появиться? — подивился Павел Андреевич.— А я думал, придется ждать!

— На такси прикатил. Четвертной расплатился.

— Спьяну, наверно?

— Трезвехонек! Сразу-то я еле признала: телом справный и одет-обут, как с заграницы вернулся.

— Даже не верится,— усмехнулся Павел Андреевич.

— Сам завтра увидишь,— слегка подобрела Дарья Антоновна.— Меня никаким разговором не удостоил. Так что дальше я о нем знать не знаю...

Павел Андреевич взял в амбаре раскладушку, сделал себе постель в огороде возле огуречной гряды. Свежо. Просторно. И небо над головой. Много раз когда-то загуливался почти до рассвета. Вот и осталась привычка к этому месту, обжитому, памятному. Но на этот раз долго лежал с открытыми глазами, бессонница не давала уснуть. Во мраке, в безмолвии все здесь казалось осиротелым, жестоко страдающим.

И проснулся он рано. Во дворах горланили петухи. В большом пожарище солнечного восхода пылало полнеба. В загоне замычала корова, и послышался ласковый говорок

Дарьи Антоновны: «Сегодня нам с тобой расставаться, Буренушка! Давай-ка, напоследок теплой водичкой умоемся».

Корова опять замычала, но уже не призывно, а тихо и благодарно. «Все теперь здесь прахом пойдет,— добавила Дарья Антоновна.— Огнем двор спалит, так хоть место останется, можно построиться заново, а как продадут да новый хозяин вселится, то никто и не вспомнит, кто этот двор когда-то поставил. Дележ-то, милая,— это одинаково, что разбой».

Она высказала то же самое опасение, которое одолевало всю ночь и Павла Андреевича. Не хотел он ехать сюда для раздела, но Терентий прислал телеграмму: «Не явишься в срок, сам распоряжусь».

С высокого нагорья открывалась равнина, над ней еще плавал туман, а дальний лес, зубчатый, с золочеными солнцем вершинами, как горный хребет, подпирал уходящую за горизонт черную тучу.

Отец всегда выходил рано утром в огород встречать восход. Он был уверен, что все живое на земле порождено светом и теплом. Павел Андреевич усвоил его правило, но ни в какие стариковские премудрости не вдавался, а просто в эту пору на чистом, свежем, вкусном воздухе ему становилось легко, радостно жить, милее, чем днем.

В ограде он умылся из рукомойника, подвешенного на крюк у крылечка, и с сожалением подумал, что вот сейчас уже не откроется дверь из сеней, не выйдет отец в нательной рубахе, на босу ногу в галошах, не улыбнется, не скажет: «Со свиданьицем, сын Павел! Заскучал, небось, о родимой сторонке?»

В дом Павел Андреевич не пошел, Терентий еще спал там, на отцовой кровати, хотя мог бы соблюсти приличие и ночевать на полу.

Дарья Антоновна выглядела усталой, даже потемнела лицом. Печь она не топила, самовар не ставила и ничего не готовила к завтраку.

— Ты на меня, Дарена, не сердись,— сказал ей Павел Андреевич.— Затея не моя. Неприятно. Скверно.

— Разлучаться тяжко. Свыклась тут. Ведь сколь годов провела. Приросла сердцем-то! И как его теперь оторвать? — тоскливо ответила Дарья Антоновна.

— А я покуда еще ничего не решил. Вот соберемся все вместе, обдумаем.

Он хотел подать ей надежду, но она не поверила.

— О чем без толку думать? Я в вашем деле не участ-

ница. Отца-то ведь не успели спросить, как поделиться? Оба, ни ты, ни Терентий, даже не попрощались с ним. Телеграммы я вам сразу отбила. Терентий не явился. Не полинял бы и тогда взять такси. Отмолчался. Ну, да бог с ним, он ведь таковский, а тебе вроде бы не к лицу нарушать старый обычай. Со дня на день ждал тебя отец, когда почуял свой последний срок, нет-нет, да и выглядывал в окошко...

— В отъезде был. Далеко в Сибири. Завод посылал.

— Ну, ладно, на этот раз причина нашлась, а пошто же раньше не удосужился? Два года отцу только письма писал, но то ли ты дорогу к нам в Боровое забыл, то ли тоже, как и Терентий, от родной семьи отошел? А у старика одна радость была: с тобой повидаться.

Павел Андреевич густо покраснел.

— Не хочу врать, но почему-то всегда недосуг. Спасибо, хоть ты возле него погодилась.

— От маеты и хлопот все Гужавины-родственники меня избавили полностью. Да и невелики были хлопоты. Старик выбыл из жизни, будто в поле уехал.

Она присела на сходцы рядом с Павлом Андреевичем, положила руки на колени. И в тридцать пять лет ее былая красота еще не повяла. Она не полнела и не худела. Сочные губы, тонкий, слегка вздернутый нос, темные глаза с яркой живинкой, честная, прямодушная — любому мужику она пришлась бы по душе, но ни к кому ее не влекло. Верность Афоне так и осталась при ней, да и к старику привязалась, не оставила его доживать свой век в одиночестве.

— Неужели он ни дня не болел?

— Может, и болел, но на вид не оказывал,— спокойно ответила Дарья Антоновна.— Никого не хотел беспокоить. Это уж я сама приметила: шутить перестал, озаботился чем-то. А весной выписал в лесхозе полкубометра досок и занялся домовину сколачивать. Мне сначала показалось, будто он лодку мастерит, потом испугалась. «Что же такое,— говорю,— Андрей Кондратьич, ты, похоже, в дальний путь собираешься? Не рановато ли?» Он от меня ничего не таил. «Да,— говорит,— изжил я, Даренушка, свою жизнь, пора на вечный покой».

— Тебя он больше всех уважал,— похвалил Павел Андреевич.

— Справедливый он был и понятливый. Иной бы свекор за снохой-вдовой стал подглядывать: не гуляет ли, не тащит ли чего-то из дому? А мы жили на полном доверии. Пыта-

лась я отговаривать: «Придет пора, честь по чести тебя упокоим». Не повлияла. Смастерил он себе домовину с резными узорами, с полировкой. Сам знаешь, никакое дело у него не падало с рук. Да, как на грех, черти занесли к нам во двор Сему Сентеляпа. Андрей Кондратьич хотел уж готовую домовину до времени в амбарушку поставить, а Сема был выпимши, ну и пристал к старику: «Дозволь, сусед, твою домовину опробовать. Мы с тобой одногодки и фигурами схожие. Я полежу, а ты погляди, вроде сам на себя». Андрей Кондратьич турнул его за вороты, потом всего-то на десяток минут в огород отлучился, не доглядел, как Сема все же в домовину залег. Вдобавок еще и грязными сапогами запачкал. Ну, старик и побрезговал, домовину сломал и сжег, сделал вторую. С той поры стал часто задумываться. Ведь плохо ли, хорошо ли живется на белом свете, своей волей в иной мир уходить никому неохота. Я старалась ему не мешать и Женьку предупредила: пусть-де лишний раз к деду не лезет. А вот в тот день, как этому совершиться, встал Андрей Кондратьич с постели рано, за оградкой метелкой подмел, сходил к реке, постоял там у обрыва, потом позвал меня в горницу. «Ты, Даренушка, давай-ка сегодня налевошных шанежек испеки да баню истопи». Я было сразу не поняла: «Не суббота сегодня, чтобы баню топить. Шанежек напеку, поешь на здоровье, а с баней недосуг, надо мне во вторую смену на производство идти». Он-таки настоял: «Нет, Даренушка, просьбу исполни! С производства на день-два отпросись да Женьку к тетке отправь. До завтра мне не дожить». Вымылся он в бане, чистое белье надел, поверх белую рубаху и выходной костюм, шанег отведал, лег в горнице в домовину и велел мне тоже уйти. Часа три не прошло, заглянула я в горницу, а он уж почил...

Она произнесла это возвышенно, с гордостью за старика и вдруг зарыдала, опустив голову на колени.

Прослезился и Павел Андреевич, долго не мог слова сказать — так взволновался, а когда успокоился, сказал душевно и тихо:

— Горюй не горюй, отца уж не воротить.

— Значит, разорять станете осиротелое место? — вытерев ладонью лицо, сурово спросила Дарья Антоновна.

Павел Андреевич промолчал. Тягостно было даже подумать, что вот проживали тут Гужавины из рода в род с прошлого века, и вдруг разметало их в разные стороны, а обжитое место, где осталась дорогая память о детстве, надо губить. Нет, отец так не поступил бы. Он говорил:

«Земля велика, удобна, красива по всей стране. Объездить ее, оглядеть я не прочь, но здесь мне милее. Пошто птицы из дальних краев прилетают обратно в свои старые гнезда? А пото, что они тут родились и тут же взросли. Вот увези меня за моря, все равно, хоть рай там, я обратно вернусь. Посели во дворце — крышу сломаю и убегу».

Издавна у Гужавиных было правило: младший в роду оставался с родителями, все хозяйство наследовал. Полагалось ему не только довершать начатое отцом, но и держать связи со всей родней. Любой из старших братьев или сестер мог приехать сюда погостить, отдохнуть, свой труд положить.

После Андрея Кондратьевича родительский дом достался бы в наследство Афоне. Он и столяр, он и плотник, он и кузнец. Веселый был, добродушный. Недаром так крепко и преданно любила его Дарья. Но не посчастливилось парню: рано погиб.

— Нету у меня денег, не то купила бы я ваш дом на себя,— нарушила молчание Дарья Антоновна.— Если позанимать у родни, то много надо, долго не расплачусь. Или хотя бы в рассрочку взять. Ты как думаешь?

— Не знаю...

— С тобой мы договорились бы, а Терентий не согласится.

— Тебе тоже доля причтется.

— Ничего я не собираюсь выпрашивать. Поклонюсь этому месту, помяну добрым словом моего Афоню и Андрея Кондратьича, вот и все! Трудно уходить, но уйду! Пуще всего за Женьку сердце болит. Куда ему, в десять-то лет, несмышленышу, экие переживания. Он без деда шибко тоскует.

— Да, с Женькой непросто,— согласился Павел Андреевич.

Дележ между братьями и снохой мог бы решиться без особых осложнений, а из-за Женьки дело заходило в тупик. Афоня и Дарья взяли его из детского дома почти ползунком и усыновили, а теперь не выбрасывать же его, как щенка, за ворота.

— Хоть бы дозволили мне с Женькой еще пожить в доме, покуда я другое жилье найду,— попросила Дарья Антоновна.— А Терентий не успел у порога опнуться, сразу принялся выгонять.

— Не прогонит!

— Да он уж и покупателя за собой приволок. Допоздна оба ходили по дому и по двору, все описывали, оценивали.

— Пусть! Но без меня у него ничего не получится.

Терентий все еще спал в горнице. Не отвык прохлаждаться. Смолоду был к труду непривычен. Пробовал отец пристроить его в лесхоз — оттуда через неделю уволили. На шофера учился — ни разу за баранку не сел. Зато пристрастился к гульбе. По всем ночам, бывало, с такими же лоботрясами шлялся, бренчал на гитаре, глохтал дешевую бормотуху и хулиганил.

Отец не вытерпел: «Ты выродок, что ли? Поглядись-ко в зеркало на свою образину. Всю нашу породу Гужавиных испозорил. Никто — человек. Дыра!»

Дважды попадал Тереха в милицию на пятнадцать суток. На третий раз попал бы под суд, похлебал бы тюремной похлебки, но успел в город смотаться.

С той поры домой уже не вернулся. Знакомые люди рассказывали: трезвым его не видали. Пропойцей стал. Босяком. Павел Андреевич еще сомневался, слишком велико было падение брата, пока не встретился с ним: одежонка обтрепанная, стоптанные грязные ботинки, не брит, не стрижен, насквозь водкой пропитан. Продавал он за бесценок чью-то собаку.

Дал ему тогда Павел Андреевич десятку, чтобы хоть в бане помылся, а Тереха сбегал к ларьку, опохмелился, пришел в хорошее настроение и начал уверять: «Обожди, братуха, я себя еще покажу. Лишь бы сильная рука меня поддержала».

Отцу он писал, что живет нормально, как все люди, но пока что нуждается. Выпрашивал деньги. Отец посылал. И вдруг Тереха оборвал с ним связь, притом очень жестоко. В последнем письме, присланном три года назад, возможно, с отчаяния написанном злобно и коротко, он бранными словами отчестил старика да еще в конце приписал: «Все равно ведь подохнешь и ничего после тебя не останется!»

Сколько же надо было иметь в душе пакости, чтобы пророчить родительскому дому погибель!

С большим трудом перенес отец это кощунство. Опозорена была не только его святая любовь к сыну, но и вся вековая привязанность к родимому месту.

Первые строения начинал здесь прадед Матвей. Дед Кондрат, его наследник, сделал пристройки. Андрей Кондратьевич дом и амбар обил фигурно мелкой дощечкой, по карнизам навесил резные узоры, столбики у крыльца выточил на станке, а на гребень крыши тесовых ворот посадил деревянного петуха. Выстругал он его из комля березы, потратив на этот труд множество длинных зимних

вечеров. Петух получился горделиво-осанистый, разноцветно расписной. Даже глаза, сделанные из стеклянных пуговиц, казались вполне натуральными. «Но это вам не игрушка, и не простая поделка,— предупреждал семейство отец.— Петух — птица домовитая, его в чужой двор не заманишь, и занятия у него не пустые, кукарекает не от скуки, а объявляет людям побудку: айдате, мол, робить собирайтесь, да веселее, проворнее!»

Один лишь Тереха не понимал великого смысла петуха на воротах, кривил рот в усмешке: «Деревяшку воткнули и рады!»

Теперь вот захотелось поскорее поглядеть: неужели он так изменился, что и Дарье Антоновне показался на диво?

Из горницы доносился мощный храп, словно Тереха не спал, а репетировал на медной трубе.

Павел Андреевич вышел на улицу, немного постоял у ворот, затем направился угором к реке.

Под крутым обрывом зеркальная вода катилась к излучине. Там она мелко дробилась на каменистом порожке, обдавая брызгами прибрежный тальник.

Вдоль по нагорью — широкая немощеная улица. Почти наполовину заселена она ближней и дальней родней семейства Гужавиных. Прежде Андрей Кондратьевич был здесь за старшóго. К нему ходили советоваться. Теперь право старшóго перешло к Никите Петровичу, женатому на сестре Андрея Кондратьевича.

У его двора древний тополь вымахал чуть не до небес. Дом, как и у Гужавиных, стоит с прошлого века и тоже еще бодрячок: не подгнил, не пошатнулся, смотрит в улицу весело.

Никита Петрович всегда числился в лесхозе ударником, хотя никогда не гордился своим портретом на Доске почета. «Работа есть работа,— говаривал он.— Суть дела не в заработке, тем более не в славе. Живой интерес, удовольствие — вот это поважнее всего. На бóльшее я не замахиваюсь, на то не учен и способностей невпрохват, зато что умею, то умею, теплой душой обогрею!»

Ел он много и сытно, а телом не поправлялся, но тетка Александра к старости располнела и округлилась. Идут рядом, в точности как палочка и кругляш.

Судьбу осиротелого дома нельзя было решить без них.

— А, вот и ты тоже явился! — сердито заворчала тетка Александра, выходя навстречу Павлу Андреевичу.— Слетелись братовья, как вороны, добычу делить! Унюхали! Про-

водить отца и помянуть его по обычаю не нашлись, а к дележу и звать не пришлось.

— Слетелись! — не стал отпираться Павел Андреевич.— Только вот не знаю, что же получится?

— Ну, хороши сынки, ну, хороши! — не унялась Александра.— Вы с Терехой поделитесь и улетучитесь, а весь позор достанется нам: «Гужавины-то. Гужавины до чего докатились: ни стыда, ни совести».

— А с каких это пор ты меня с Терехой равняешь? — не обижаясь на упреки, спросил Павел Андреевич.— И почему?

— Ты тоже шибко-то не хвались,— смягчилась Александра.— Не в частом бывании, реденько кажешь глаза в Боровое. Не изломался бы лишний раз отца попроведать или у нас погостить. С чего бы нос задирать перед нами? Ай, мы хуже вас, городских? Эвон вечор Тереха мимо окошек прошел и, право слово, хуже чужого, в нашу сторону даже не покачнулся. Да, батюшки мои, сколь же он на себя форсу нагнал: в новом кустюме, при галстуке, в шляпе, в золотых очках.

— Дарена мне уже сказывала про него,— снова удивился преображению брата Павел Андреевич.— Сам я с ним давно не встречался. Но ведь не по внешности надо судить. Одни блестят мишурой, иначе нечем похвалиться и выделиться, другие нахапают богатства и тешат себя. Знавал я одного: на правой руке — часы золотые, на левой — из платины, да еще карманные — с бриллиантом.

— Перещеголял братец тебя, Павел,— с усмешкой произнес Никита Петрович, выходя из спальни и здороваясь.— Подфартило ему. Вот, к примеру, бродит старатель по тайге, всякие клады и залежи ищет, и вдруг попадает ему серебряная струя, а в ней, посередке, золотой самородок. Так же случилось и у Терехи. Ты, мать, расскажи-ка, чего тебе про него Федора Мелентьевна сообщила,— обратился он к Александре и засмеялся.— Нарочно не придумать такое!

— Ты, Паша, поди, еще помнишь Феньку Клещиху, Ивана Парамоныча дочь? — спросила Александра у Павла Андреевича.— Этакая носатая, губастая, на обе ноги вихлястая.

— Помню ее хорошо.

— Так она и прибрала Тереху. Федора Мелентьевна сама, своими ушами от Феньки слышала. Фенька, хоть и уродка, не шибко грамотная, зато головастая. Баба — ух! И еще сто рублей на придачу! Повстречала его где-то

пьяного, обнищалого, приволокла к себе на квартеру, раздела, разула, в постель уложила. До утра он пробыгался, продрал глаза, узнал Феньку и хотел убежать, а та его штаны спрятала и объявила: «Теперь ты мой! Никуда не пущу! Вот тебе поллитра, вот закуска, какой в ресторане не сыщешь. Пей, ешь до отвалу, только не отлучайся!» Обзарился Тереха, остался. Две недели не просыхал. Фенька поила его вином. Всего-то ходу было Терехе: кровать, застолье да тувалет. Потом зачала она его водкой пополам с пивом глушить. Ершом. И получилось у него отравление. Рвотой чуть не изошел. На том кончилась пьянка.

— И вправду, не придумать такое,— невольно улыбнулся Павел Андреевич.

— Всякому мужику надо давать умную бабу,— убедительно произнес Никита Петрович.— С недоумками и раструсами жить намного опаснее.

— Фенька с Терехой даже в церкве венчались,— добавила Александра.— Так она его обуздала.

Могла бы возникнуть надежда, что преображение Терехи как-то и к его душе прикоснулось, сделало ее более чуткой, но, судя по поведению здесь, загнуло далеко не к добру.

— Зря вы с Терехой дележ затеваете,— сказал Никита Петрович.— Любому дозволено права качать, а выставлять личный интерес превыше всего на свете, хоть и охраняет закон, считаю зазорно. Родительское место нельзя губить, будь оно по цене дорогое или дешевое. Покуда оно есть, значит, и ты не блуждающий по земле, а и у тебя есть свой корень и приют, коли понадобится. Сейчас под горячку сотворите безобразие, потом не однажды покаетесь и поплачетесь. Боль сердца никакими деньгами не окупишь.

— Помогите уговорить,— предложил Павел Андреевич.— Со мной он может не посчитаться.

— Взять бы ухват да припереть в угол! Вот как надо Тереху-то поучить, а не словами улещивать,— топнула ногой Александра.— Я еще припомню ему, как он покойного отца изобидел.

— Расплеваться с братом не мудрено: он туда, я сюда — и конец! — заметил Павел Андреевич.— Только и это не по-Гужавински!

В палисаднике шумно чирикали воробьи. Желторотые птенцы обучались летать, а в траве затаилась кошка, и родители подняли тревогу. Александра вышла проводить Павла Андреевича и попутно прогнала ее палкой.

— Ишь, проклятущая! Своих дитенков беспрестанно

облизывает, а чужих-то не жалко. Мало, поди-ко, ей дома еды, так нет же, охота еще поживиться. Тоже ведь как у людей: я страшнее, я сильнее, и рот у меня шире намного, значит, захочу — проглочу и не подавлюсь!

Большое солнце уже вставало над крышами домов, на теневой стороне улицы свет, приглушенный сумраком, был жиже, окна темнее, зато ярко освещенная сторона, блистающая, слепила глаза.

Тут, почти по соседству, проживал еще один родственник, Игнатий Корин. Родство было не очень-то близкое: жена Корина, Зоя Платоновна, приходилась племянницей Андрею Кондратьевичу. Но Корин не признавал, дальний он или близкий. «Ты прежде смотри: каков перед тобой человек? — говорил он.— С того и отмеряй ему свое внимание, уважение или презрение».

Время — не время, а к нему, чтобы он не принял в обиду, следовало непременно зайти.

По виду мужичок неказистый, с корявинкой на лице, с лысиной до затылка. Умел он, как и Андрей Кондратьевич, все делать своими руками. Обстроился ничуть не хуже людей. Небольшой его домик на три окна в улицу обгорожен садиком, где есть сирень, и акации, и тополь с белой березой. Во дворе флигелек, амбарушка, погреб и добротная баня рядом с колодцем. В комнатах, когда бы ни зашел к нему в гости, все прибрано, чисто вымыто, изволь у порога разуться, надеть домашние тапочки и тогда уж ступай за стол. Была у Корина еще одна страсть. Каждое лето брал он отпуск и вместе с такой же малорослой и рябенькой Зоей Платоновной отправлялся в вояж. Облетали они уже весь юг и запад страны, плавали на пароходах по Волге, по Днепру, по Енисею, везде фотографировались на память, и на целую зиму хватало у них добрых воспоминаний.

— А я уж сам собирался наведаться к Дарене, поглядеть, как же вы управитесь с ней, да хоть малость ее защитить,— прямиком высказал Корин.— Не бросать же одинокую женщину без подмоги!

Павел Андреевич стерпел этот укор.

— Не вижу, кто ее собирается обобрать?

— Давай, Паша, не станем вилять, начистоту давай, по-мужски. Отцов дом продадите, деньги поделите — и до свиданьица! Дарена — женщина видная, найдется подходящий, по ее нраву, человек, она с ним обкрутится, не станет же век вековать в одиночку, захочет новую семью завести. А Женьку куда подевать? Об этом подумали?

Парнишка с рождения осиротел, теперь у него второе сиротство. Раз в приемышах побывал, сроднился, и опять по новой в приемыши. Дарена его не обидит, а новый отчим сумеет ли так же, как Афоня, приветить?

— Женька записан на нашу фамилию, а о том, что усыновлен, покуда не знает.

— А вырастет и узнает, что его выкинули — никому из вас, Гужавиных, не простит! Будет вернее, если вы нам его отдадите на воспитание. Мало ли племянников у дядей и теток живут. Мы с Зоей бездетные. Без детей двор все равно что пустой. Иной раз утром проснусь, от тишины можно оглохнуть. Тем более Андрей Кондратьич заранее мне на Женьку доверенность выдал. Не на бумаге, а на словах. Если-де, чуть-чего, мальчик окажется без внимания, то свои руки подставь и своим трудом определи его к взрослой жизни.

— Дарена не согласится,— убежденно сказал Павел Андреевич.— И не советую об этом с ней заговаривать.

Корин сердито сверкнул глазами:

— Тогда учти, Паша, и Терентию передай, я вас на всю округу ославлю, если Дарену и Женьку обидите!

Мужской разговор с Кориным, хоть и чуточку возбужденный, понравился Павлу Андреевичу. После него, больше, чем после разговора с теткой Александрой и Никитой Петровичем, все сомнения и колебания отпали. Ничто не должно разрушаться!

Из лесхоза доносило ширканье пилорамы и частый перестук движка. Дальше по угору недвижимо стоял сосновый бор, и оттуда наносило свежий запах живицы. Бор погибал от запустения и вырубок, словно те, кому он был дан во владение, не собирались здесь жить.

Женька сидел у ворот на скамейке босой, не подпоясанный ремешком и такой же горько задумчивый, как и Дарья Антоновна. Он не встал навстречу Павлу Андреевичу, не кинулся его обнимать, а потупился и стал смотреть в сторону.

— Ты чего же нахохлился? — добродушно, как прежде, спросил Павел Андреевич. — Буканко тебя укусил, или дурной сон повидал?

— Дяди Тереши боюсь,— признался мальчишка.— Он велел нам с мамой убираться отсюда. Не разрешает здесь жить.

— Ты, наверно, ему нагрубил? — понимая его душевное потрясение, попытался отвлечь Павел Андреевич.

— Я молчал.

— Ну, и дальше молчи. Мы сами с ним разберемся.

— Почему он меня чужим называет?

— Так ты же не его сын.

— Да еще и приблудным.

— А это уж совсем ерунда. Скорее, мы с ним приблудные. Оба дома не живем, только в гости сюда приезжаем на время.

— Тогда зачем надо дедушкин дом продавать? Дедушка тут все делал и делал, а вы оба приехали и еще какого-то старика привели.

— Давай не станем разбираться: зачем, почему? Вот я поговорю с дядей Терешей, и все прояснится. Согласен так?

— Ладно уж!

Женька оживился. Жизненные горечи у детей всегда быстро проходят. Им бывает достаточно одного доброго слова.

А Дарья Антоновна уже собрала свои вещи, навязала узлов.

В горнице на отцовой кровати неприбранная постель, на полу шерстяное одеяло, истоптанные половики отброшены в дальний угол.

Терентий и покупатель сидели за круглым столом, оба разгоряченные затянувшимся торгом.

Верно, брат стал неузнаваем. Пополнел. Брюшко нагулял. Плечи не корчит, как прежде. Держит голову прямо. На переносице очки в золоченой оправе. На правой руке широкое обручальное кольцо.

С одного беглого взгляда Павел Андреевич убедился, сколь круто вынесла «серебряная струя» Терентия снизу вверх.

Покупатель не шел с ним ни в какое сравнение. Худенький старичок. Под носом жидкие усики. Пиджак и брючишки заштопаны. Зато глазаст и чрезмерно подвижен. Ерзает на стуле, говорит быстро, каждое слово выстреливает.

— Шесть тыщ! Довольно! Больше все хозяйство не стоит.

— Восемь! — упрямо твердил Терентий.— И оформление купли-продажи за твой же счет.

— Шесть! Дороже не дам!

— Восемь — и по рукам! Здесь же природа, река, в город автобусы ходят. Где еще такое место найдешь?

— Природа славная, но она в состав хозяйства не входит. Не дорожись, Терентий Андреич! Не в очереди стоят

покупатели. Отпугнешь высокой ценой, а потом и за бесценок рад будешь отдать.

Павел Андреевич с тем и другим вежливо поздоровался.

— О чем так торгуетесь?

— Желаю сделать приобретение, да хозяин шибко настырный,— с досадой сказал покупатель.— А вы кем изволите быть?

— Это мой старший брат,— вспыхнул Терентий.

— Значит, вас уже двое, хозяев-то,— смекнул старичок и насторожился: — Только не вздумайте меня объегорить! Я хоть и не шибко грамотный, но соображение имею. Строения у вас не новые, придется многое ломать, переделывать.

— А хоть все сломай! — бесстыдно объявил Терентий.— Тут мы тебе не указчики. Но цену снижать не станем! Он говорил уже не от себя, а и от брата, чтобы ему угодить, себе придать вес.

— Вдобавок тебе же и вся мебель достанется.

— Мебелишка у вас своедельная.

— Да, ее отец мастерил,— подтвердил Павел Андреевич.

— По теперешнему времени она для печки на растопку годится, – упорствовал покупатель.

— Ладно, две сотни рублей можно скинуть,— заторопился Терентий.— Кабы не срочность. Мне тут недосуг прохлаждаться.

Павел Андреевич стоял перед ним, вглядывался, не появится ли на его лице хоть чуточное смущение, но Терентий лишь помрачнел.

— Так ведь и мне не от простой поры,— сказал покупатель.

— Оба вы напрасно торгуетесь,— прекратил спор Павел Андреевич.— Еще не решено, продавать ли родительский дом. Ты, брат, поспешил. Я тебе доверенности не давал, с Дареной ты не советовался, родственников вообще обошел. Извинись перед этим гражданином за беспокойство, и пусть он домой отправляется...

Старик сразу понял, что дело не состоится, и полной горстью высыпал на Терентия брань:

— Прохвост, зараза тебя возьми!

— Но, но! — грубо оборвал Терентий.— Сократи язык и поимей немного терпения. Все равно назначим дом на продажу! Погуляй покуда по местности...

Старик плюнул на пол:

— С тобой дальше разговаривать не хочу!

Он хлопнул дверью и ушел. Терентий хотел выдержать марку, показать себя брату честным и справедливым, но с раздражением не справился:

— Я не для себя же старался. Больше выручим от продажи, так и на каждый пай больше достанется. Мужик денежный и здорово соблазнился. Пенсионер. Намерен сад вырастить, фруктами и медом промышлять. Делать деньги надо уметь! На мою цену он все равно согласился бы.

Перед ним на столе лежала опись всего движимого и недвижимого в хозяйстве, которую он успел накануне составить. Терентий подал ее Павлу Андреевичу:

— На, смотри, все ли учтено? Возможно, Дарья что-нибудь утаила, не могу поручиться.

— Эту бумажку порви,— предложил ему Павел Андреевич.— Не пригодится...

— Ты, что ли, с кем уже сторговался?

— Не начинал! Продажа не состоится.

— Сам сюда переселиться намерен?

— Переехал бы, да тут работы себе не найду.

Терентий недоуменно уставился на него.

— Значит, не так, не этак, а как же? Чужому человеку отдать? Дарье?

— Она не чужая.

— Я ее за родню не считаю!

— Воля твоя! Но у нее равная доля в наследстве с тобой и со мной, да еще Женьке в придачу.

— Так пусть мою долю мне выплатит наличными деньгами.

— Обойдешься,— усмехнулся Павел Андреевич.— Говорят, ты богатый стал, даже пьянку забросил.

Терентий не почувствовал скрытой насмешки, развернул плечи, откинулся на спинку стула:

— Хотя бы! Нагулялся вдоволь и образумился.

—А Феньку-то любишь?

— Я днем на нее не смотрю, а ночью все кошки серые,— хохотнул Терентий.— С лица не воду пить, с фигуры не манекена делать. Зато она баба с большим умом. Она меня первая поддержала и пожалела. Не отопрусь, всю молодость провел я беспутно. Почему так — не стану доказывать. Тема эта глубокая, в ней, как в омуте, всяких чертей дополна. Может, еще в ту пору надо было взять меня да встряхнуть, а я слышал только попреки: и тунеядец-то, и выпивоха, и шатун — конченый человек! Но ведь люди все разные. Ты стал инженером, у тебя на учение хватило характера. Работаешь, и в этом твое удовольствие. Но есть

ли у тебя время дать волю душе? Нету! Живешь, а истинного вкуса жизни не чуешь! Зато я иначе смотрю: пока не состарился, надо от жизни взять все.

— Не считаясь с бесчестием!

— Какое же это бесчестие? Лучше, что ли, было бы ломать хребет изо дня в день? Ты мне родной брат, Павел, от тебя не стану утаивать: без любви с Фенькой живу, зато в полном довольстве.

— Работаешь где-нибудь?

— Приходится. Чтобы злые языки не болтали. В одной конторе оформился сторожем. Сутки просижу на вахте, двое свободен. Трудовой стаж накапливается, и милиция не пристает.

Он снял очки, аккуратно протер их белым платочком и победно покосился на Павла Андреевича:

— Еще что спросишь?

— Пить перестал, куда же теперь свободное время деваешь?

— Находится дел,— опять уклонился Терентий.— Иногда жене помогаю. Недавно в городе особнячок подсмотрел, собираюсь купить. Цена сносная — двадцать тысяч...

— Ого! — изумился Павел Андреевич.

— Не хибара ведь, не на семи ветрах, а вполне по нашим желаниям,— внушительно произнес Терентий.— Строение из кирпича, четыре комнаты, пятая кухня, веранда, чулан, фруктовый сад на усадьбе, огород десять соток, водопровод, канализация, газ, водяное отопление, телефон...

— Видать, жена у тебя большая добытчица! Но надолго ли? — холодно спросил Павел Андреевич.

Глаза у Терентия тревожно забегали. Наверно, он и сам не был уверен в прочности привалившего ему капитала, но и честно признаться, чтобы не унизить себя, совести не хватило.

— Экономим: рубль к рублю, копейка к копейке! И, конечно, деньги с неба не падают, лишь иногда в прорехи текут, тут их и надо ловить...

Он сказал осторожно, с оглядкой, не выдавая промысел Феньки.

— Однако, Павел, мы уклонились. Давай кончать с разделом. И по домам. Если ты намерен все хозяйство Дарье оставить, то клади мою долю в наличных деньгах на стол, я тотчас уеду, а ты дальше поступай как угодно. Про чужие судьбы я знать не хочу.

Он встал из-за стола, прошелся по горнице, пнул ногой

сброшенное на пол одеяло, распахнул настежь окно.

— Не кипятись, не выказывай, каким тебя воспитала Фенька,— потребовал Павел Андреевич.— В довольстве, как сыр в масле, купаешься и неужто еще не насытился?

— Не ты ли мне предел установишь?

— Прежде попытаюсь тебя убедить. В нашей семье, начиная от прадеда, никогда дележей не случалось. Ты первый затеял. Забыл давний обычай: двор Гужавиных неделим! Он корень, а мы всего лишь отростки. Афони нет, зато Женька остался!

— Ему место в приюте!

— Наглец ты, Тереха! Как у тебя язык повернулся. Вот и мальчишке успел уже выдать семейную тайну. Чего этим выгадал? Заставил его пострадать. Если еще раз обмолвишься, предупреждаю, при нем же дам тебе оплеуху.

— Так! Так! Эвон куда дело зашло! — как бы только что догадался Терентий.— За моей спиной сговорились. Недаром же я перед поездкой сюда к адвокату сходил, потом заранее опись составил. Миром не договоримся. Придется в суд подавать.

Павел Андреевич взял у него опись, просмотрел и с усмешкой вернул ему в руки.

— Все чашки, ложки, ухваты зачислены. А почему же за печкой тараканов не сосчитал и в подполе мышей не учел?

— Посчитаю, если понадобится... Да вот еще отцов шкапчик остался. Ключи от него Дарья мне не дала.

— Значит, не понадеялась.

Павел Андреевич сходил на кухню, взял у Дарьи Антоновны ключи от заветного шкафа, подвешенного на крючья в простенке. В нем хранились все семейные документы за многие годы. Там же лежало письмо Терентия, присланное отцу, последнее, злобного содержания. Видимо, старик его не раз перечитывал и держал наверху, сразу под крышкой.

Терентия перекосило. Он это письмо хотел цапнуть, но Павел Андреевич успел отобрать.

— Не тронь! Оно нам еще пригодится...

— Уличить меня собираешься?

— Мы, Гужавины, жили пока без позора, а ты помнить обязан, чем отцу век поубавил.

Лезть в драку Терентий не осмелился, однако побагровел, и глаза у него стали свирепыми.

— Мало ли, чего могло быть! И все же права на наследство отец меня не лишил. Ведь и от тебя он тоже

мало радости видел. Ты еще раньше меня убрался из дома.

На дне шкатулки были сложены стопками почтовые переводы вместе с деньгами. Не часто, не из месяца в месяц посылал их отцу Павел Андреевич, а накопилась тут изрядная сумма. Отец всегда сообщал, что перевод пригодился, между тем ни рубля не потратил. Сберег. Но почему, для чего? Он никогда не выказывал себя скрягой, даже осуждал тех, кто имеет кубышки, а по-человечески не живет. И не догадался бы Павел Андреевич, как оценить поступок отца, если бы не подсказала Дарья Антоновна:

— А куда было тратить? Нам хватало моего заработка и пенсии Андрея Кондратьевича. Иногда он доставал переводы, перебирал их один за другим, а потом письмо Терентия заново перечитывал. Думаю, тут в шкатулке были у него и горе, и радость!

Павел Андреевич не стал развязывать стопки, положил их обратно, а Терентий вцепился:

— Не прячь! Эти деньги надо тоже в опись включить! Не имеет значения, что ты посылал. Все, найденное в отцовом доме, подлежит разделу на равные доли.

Прямо он не глядел. Ему было явно неловко запускать руку в чужой карман, но кучка наличных денег завораживала.

— Настаиваешь? — спросил Павел Андреевич.

— Требую! — категорически ответил Терентий.

Пересчитывать трояки и пятерки он взялся сам, так казалось надежнее, но деньги все-таки жгли ему руки, он часто сбивался, разнервничался, а тут еще в горницу прибежал Женька сказать Павлу Андреевичу, что для рыбалки уже все приготовлено.

Терентий топнул ногой и заорал:

— Брысь отсюда, паршивец! Черти тебя навязали...

Это выплеснулось из него неожиданно, сразу обнаружив необоримую неприязнь к сироте. Испуганный Женька заревел. Дарья Антоновна схватила его, прижала к себе. Пожалуй, она взяла бы ухват и отходила им злого обидчика, если бы не опередил ее Павел Андреевич. Чуть позднее он и сам удивился, как это вышло, что в одно мгновение резким ударом сшиб Терентия с ног. Тот стукнулся затылком об пол, а когда очухался и поднялся, злорадно сказал:

— Я тебе, Пашенька, и это пришью на суде при разделе! Хоть и брат — драться не смей!

— Однако тебе было сказано: Женьку не тронь! — погрозил ему пальцем Павел Андреевич.— Повторишь если — снова получишь!

— А я твоих угроз не боюсь!

— Извинись и скажи Женьке, что обругал его не намеренно, если есть в тебе хоть капелька совести!

Гнев у того и у другого остыл, но они еще продолжали смотреть холодно и враждебно.

— Не хочешь? — спросил Павел Андреевич.— Тогда сейчас же вали отсюда! Не состоится дележ!

Составленную опись он порвал на клочки, выбросил в окошко, на ветер.

— Обращайся в суд. Адвоката найми. Не то двух. Твоя Фенька оплатит. Только вряд ли что-нибудь выиграешь!

— Что мое, то отдай! Так и суд порешит,— повторил свое желание Терентий.— Я вот сейчас схожу в поселковый Совет, призову оттуда комиссию, заново движимое и недвижимое перепишем, оценим да еще и акт на тебя за побои составим.

Ничто под ним не шаталось, не колебалось.

— Ты прежде фамилию перемени,— насмешливо заметил Павел Андреевич.— Гужавины меж собой никогда не судились.

— Ничего, так сойдет.

— Ну, что ж, станем судиться! — согласился Павел Андреевич.— Оказывается, человек ты без роду, без племени. Я еще по наивности думал: дескать, сговорюсь с тобой, и в один голос мы скажем: «Наш дом — это наши отец и мать, наше детство и родина! Место, где проживают Гужавины, на всей земле для них — одно-разъединственное!»

— Перестань меня агитировать,— обозлился Терентий.— Место, место, а что оно значит для меня, если тут уже не живу...

— Только учти, не я и не Дарена выйдем на суд с тобой. Всю родню позовем. На одной стороне станешь ты со своим адвокатом, на другой мы: кто перетянет? И не просто за наследство станем судиться. Еще и спросим: за чей счет ты богато живешь, что в тебе выше...

Павел Андреевич не сказал, что же есть выше всех благ в человеческой жизни, но и так было понятно: место среди людей! Если нет в тебе совести, не дóроги честь и достоинство, никого не жалко, никому в беде не хочешь помочь, подбираешь объедки с чужого стола, тяготишься трудом, то не миновать тебе всеобщего позора и людского презрения.

Терентий понуро уперся глазами в стол. Розовое довольство у него на щеках потускнело. Казалось, он взве-

шивал: выигрыш или проигрыш. Не лишиться бы уже нажитого?

— Ты, Павел, таким вражиной меня представил, в пору американским буржуем назваться,— после длительного раздумья произнес уныло Терентий.— Возможно, я перехватил. Очень даже возможно. Но неужели я совсем конченый, безнадежный и хуже голодной собаки? Не подумай, будто я угроз испугался. Здесь испозорят, а в городе весь позор как дождиком смоет. В Боровое могу не казаться.

Терентий поднял голову, протер платочком очки, снова надел их:

— В конце-то концов, не миллионы надо делить. Каждому из нас причтется от силы тысячи две.

Он еще не высказывал своего согласия, но уже начал томиться от желания стать выше себя, как случалось и прежде после попоек. Тогда он словно подымался из грязи, трезвел, оглядываясь по сторонам, и при виде яркого солнца, чистого неба устремлялся к душевному очищению.

— Понятно, деньги могли бы мне пригодиться. Купим особняк, так еще на устройство понадобятся,— как о невозвратимой утрате, однако благородно, без сожаления сделал новый шаг к уступке Терентий.— Я так и рассчитывал. И не думай, будто я не переживал ничего! Легко ли со всеми разлаяться?..

Павел Андреевич выжидал, когда он дозреет, понимая, сколь трудно Терентию выпускать на волю жар-птицу.

— Но если по правде сказать, так это Фенька настропалила меня,— вдруг вырвалось у него признание.— Она же меня и к адвокату водила на консультацию...

— А разве ты своим умом жить не умеешь? — спросил Павел Андреевич.— Взял бы отрезал — и баста!

У Терентия дрогнули губы, какое-то слово осталось на кончике языка. Он еще подумал, поколебался и, наконец, припечатал ладонью об стол.

— Ладно! Ради отца, чтобы не порочить его светлую память, не станем ломать давний обычай. Отступаюсь!

Для него это была торжественная минута великодушия: он не просто согласился с братом, а дарил, жертвовал, воздвигал себе памятник.

— Не такой уж я дурной!

Потом он сам же, под диктовку Павла Андреевича, написал соглашение о признании Женьки наследником всего неделимого хозяйства, оставленного Андреем Кондратьевичем. Было заявлено, что ни сейчас, ни в будущем никаких претензий по наследству братья Гужавины своему

племяннику не предъявят. Подписались оба. Ниже подписалась Дарья Антоновна. Позднее подтвердили соглашение Александра Кондратьевна, Никита Петрович и Корин. Затем документ заверил поселковый Совет.

— Ну, вот, покончено честь по чести,— похвалился Терентий, усаживаясь за семейный стол обедать.— Родительский дом — это действительно, как святая купель. Поблудишь по белу свету, приедешь в него весь испачканный, а окунешься в купель-то, и опять ты человек человеком!

Зато после обеда он снова помрачнел, замкнулся, долго сидел на крылечке, горбатился. Возвышенные чувства оказались недолгими. Он явно сожалел о содеянном и ругал себя за поспешность, а путь назад был отрезан, написанное пером — не вырубить топором!

При нем Павел Андреевич вместе с Женькой поправили и подкрасили деревянного петуха на крыше ворот. Терентий туда не взглянул. И рано, задолго до прихода городского автобуса, не прощаясь, вышел из дома. Шагал, шагал вдоль улицы, медленно, нехотя, пока отчаяние не повернуло его назад. Постучал он в окошко горницы, позвал Павла Андреевича и выговорил почти принужденно:

— Слышь, брат! Сделай же и для меня доброе дело: отдай те деньги, кои хранятся в отцовой шкатулке! Прошу! Не могу я к Феньке вернуться с пустыми руками.

Взял, не считая. И даже вечереющее солнце не обогрело его, закатилось за белое облако.

Все для Анны

Над дальней дубравой всходило раннее солнце, лучистое, но холодное, когда они тропинкой позади огородов, а затем узким переулком вышли ко двору Спиридона Кувалдина.

У прясел, в зарослях репейника и лебеды, на пожухлой траве взгорка ярко сверкала роса: усталая земля, перед тем как встретить осеннюю непогоду, надела свой лучший наряд.

Неподалеку, над яром, стояли в обнимку, как сестры, три березки, тоже нарядные, в желто-багряном убранстве, а ниже, за песчаным мысом Шутихи, плескались в тихой воде белые гуси. Чуть подальше, где улица делает крутой поворот вдоль берега, перед деревянным мостом, пастух собирал стадо на пастбище.

Деревенского утра, наполненного запахом парного мо-

лока, навозной прели и ядреной огуречной свежестью, ни тот, ни другой не замечали.

Кувалдин, густо загорелый, с большими жилистыми руками шагал крупно, увесисто, изредка поводил плечами, болезненно морщился и ни разу не оглянулся на Чумакова, который шел за ним, как на привязи. Фетровая шляпа и брезентовая куртка Чумакова, опоясанная патронташем, были изрядно помяты и испачканы грязью. На выходе из переулка он остановился, бросил погашенный окурок в колею дороги.

— Ты отведи меня, Спиридон Егорыч, в сельский Совет, пусть оформят протокол. И отдай мой паспорт, а сам ступай к фельдшеру, так будет надежнее...

— Без тебя знаю, что делать! — сурово ответил Кувалдин.— Иди, как велено! Я позору принимать не желаю. Без сельсовета и без фельдшера обойдусь...

— Не чужак ведь я. Не убегу. Отвечать придется — отвечу!

— А ты мне в родню не напрашивайся! Я и ближнему соседу на слово не верю. Иному пришлому мог бы простить, но тебе — никогда! Век бы не встречать и не видеть!..

Чумаков понурился и нехотя пошел за ним дальше. Решить дело мирно, по-доброму, не привлекая внимания со стороны, конечно, было бы гораздо разумнее...

Возвращались они с Долгого болота, что в трех километрах от деревни. Кувалдин нес на согнутой руке плетенку из ивняка с живыми карасями, а у Чумакова висел на плече рюкзак и пустой чехол от ружья.

Дом Кувалдина стоял на углу переулка и улицы, в глубине палисада. За частоколом, за густыми кустами акации и сирени, были видны мощные яблони, увешанные крупными плодами, а подле окон еще продолжали буйно цвести мальвы и махровые астры. Три окна в кружевной резьбе, с ярко голубыми ставнями, выходили в переулок, а шесть, смотревших в улицу открытыми настежь створками, выставляли напоказ богатую обстановку парадных комнат. Наружные стены дома, обитые дощечками в «елочку», покрашенные изумрудно-зеленой краской, крыша под оцинкованным железом, тесовые ворота и кирпичный гараж за ними будто доказывали, что созданы с любовью, на долгий век. А ведь не так уж давно на этом месте подслеповато щурилась старая изба Егора Кувалдина, мужика, не умевшего приспособиться к жизни. «У меня фарту нет,— всегда безнадежно говорил он о себе.— Чего ни начну, выходит не в масть, кособоко, криво!»

Зато сын, Спиридон, размахнулся.

— Красиво и крупно живешь,— не удержался от похвалы Чумаков.— Не каждому так удается.

— Можешь мне позавидовать,— останавливаясь у ворот и принимая похвалу, как должное, ответил Кувалдин.— Без занятий не сижу, не дожидаюсь, когда удача и на мою долю выпадет. Все сам делать умею. Все могу, коль захочу!

Чумаков направился было во двор, но Кувалдин остановил и показал на скамейку у палисада.

— Нельзя! Жди тут!

Из ворот вышли остриженные белые овцы, за ними, степенно покачивая крутыми боками, хорошей породы пестрая корова с загнутыми рогами.

Чумаков подумал чуть-чуть с иронией и скрытой усмешкой: должно, скучно и тягостно быть тут хозяином, изо дня в день до одури израбатываться с единой целью — тешиться нажитым. Однако все эти мысли сразу вылетели из головы, когда, провожая скот, вышла хозяйка.

В темном платье, в галошах на босую ногу, повязанная белым платком, она ничем не отличалась от обычной деревенской женщины, с утра озабоченной и занятой. Но лицо, тронутое легким загаром, крутые брови и большие глаза, светлые и глубокие, как ясное небо в полдень, все прежде близкое и очень любимое вдруг ошеломило Чумакова. «Нюра! — чуть не вырвалось у него.— Как ты здесь оказалась, Нюра?» Не хотелось верить, мало ли случается схожих лиц. А все-таки это была она, Нюра Погожева.

— Ступай, Анна, обратно,— распорядился Кувалдин, перехватив отчаянный взгляд Чумакова.— Овечки и корова сами уйдут к пастуху.

Анна переступила подворотницу, но, заметив Чумакова, который ей слегка поклонился, вспыхнула, гордо отвернулась и тотчас ушла обратно.

— Э-эх! — выдохнул Кувалдин.— Надо бы тебя, Чумаков, в проулке оставить... Да, ладно. Никуда отсюда не отлучайся. Я сейчас баню истоплю, кое-чего приготовлю. Сначала тело попарить придется...

— Разреши в дом войти,— попросил Чумаков.— Я твою Анну не съем, а поговорю — не убудет. Может, она меня чаем напоит. Пить хочется.

— Обойдешься! — отказал Кувалдин.— Прислуживать не разрешу Анне и говорить с ней тебе не о чем. Покойников с кладбища обратно не возят. Пить хочешь, так эвон в палисаднике бочка с водой.

Чумаков пытался вспомнить, чем и когда в молодости мог обидеть Спирьку Кувалдина? Не дружили. Не шлялись вместе по улицам. Спирька бывал в клубе часто, но держался на отшибе. Из-за девчонок ссор и драк не случалось. Кто-то из парней однажды сказал, будто Спирька ходит в клуб только смотреть на Нюру Погожеву. Тогда это позабавило, и вообще было смешно даже подумать, что Спирька мог бы в кого-то влюбиться. Притом он, как и многие, знал, что Степка Чумаков и Нюра Погожева — неразлучная пара! Да, были тогда неразлучными и мечтали о будущем...

Дальше вспоминать было тяжело, и Чумаков стал думать о том, откуда же взялась вражда у теперешнего Спиридона Кувалдина к нему, Степану Чумакову? Не из-за Нюры ли?.. Пожалуй, только из-за нее. Большой ревнивец, наверно...

Никогда не забыть, как чудно пела она на клубной сцене. Сколько счастья бывало у нее на милом лице, когда кончался концерт.

И вот где-то на перепутье, что ли, Спирька Кувалдин все-таки перехватил ее.

В размышлениях и догадках Чумаков отсидел на скамейке уже часа два. Кувалдин, по-видимому, все еще топил баню или был занят чем-то другим, даже мельком не выглядывал из ворот, не проверял. Да и в доме, как в нежилом, было тихо, лишь во дворе изредка хрюкала свинья и урчала собака, чуя вблизи постороннего.

Свет осеннего солнца становился прозрачнее. На белесом небе появились широкие туманные полосы, затем начали набегать рваные тучки, к вечеру могло разразиться ненастье.

Чумаков съел привезенную из города пачку печенья, но водой из бочки побрезговал: там плавали мухи. В доме напротив, у открытого окна сидела старуха, перед ней на столе кипел медный самовар, источая пар. От одного лишь вида этого самовара Чумаков ощутил во рту сладость.

Старуха оказалась приветливой, подала ему из окна большую расписную чашку крепкой заварки с кусочком сахара для прикуски, и, пока он, обжигая губы, утолял жажду, участливо попытала:

— Ай, дело какое есть к Спиридону?

— Есть! — подтвердил Чумаков.

— Ты, однако, не сплошай, держи ухо востро, он ведь не любитель проигрывать. А чего к нему в дом не идешь?

— Охота на улице воздухом подышать,— соврал Чумаков.— В городе живу, там такой свежести нет.

— Вижу, вижу — не здешний,— покивала старуха.

Зато он ее, хоть и не сразу, узнал. Это была Милодора Леонтьевна, вдова, вырастившая пятерых сыновей. С одним из них, Федькой, Чумаков вместе уехал в город, но там они потеряли друг друга.

Поблагодарив Милодору Леонтьевну, он вернулся на скамейку, где оставил рюкзак.

— Зачем туда шастал? — подозрительно спросил Кувалдин, открывая малые ворота.— Про меня узнавал или жаловался?

— Про тебя узнавать нет нужды, ты весь на виду,— принужденно усмехнулся Чумаков.— А старуха славная. По-прежнему добрая. Хорошим чаем меня угостила.

— Не проговорился ей?

— Ни-ни! Понимаю ведь...

— Ну, ладно! Айда, баня готова.

Он провел Чумакова через чисто прибранный двор к задним воротам, в огород. На мгновение Анна выглянула в кухонное окно и сразу же задернула занавеску. Чумаков приметил ее лишь краешком глаза.

— Шагай, шагай, не пялься по сторонам,— поторопил Кувалдин.

Тут во дворе была его земля, и, куда ни глянь,— все принадлежало ему. Для Чумакова эта земля представлялась совсем чужой, не здешней, не той, что на улице, на взгорке, на берегах речки Шутихи, а словно взятой откуда-то из холодного края. Милый образ Нюры Погожевой, оживший вдруг и неотступно волновавший его на улице, здесь растворился.

Баню Кувалдин построил тоже с большим старанием: точеные балясины у крыльца, застекленная веранда, теплый предбанник с широким окном и парная с высоко выведенной над крышей кирпичной трубой.

Чумаков достойно оценил уменье Кувалдина украшать свой быт, а вслух ничего не высказал. Все это богатство, порядок, опрятность напоминали искусственные цветы на похоронных венках.

— Наверно, твоей Анне даже передохнуть недосуг от такого хозяйства? — не очень учтиво спросил Чумаков, проходя в предбанник.— Скребет, моет, наводит блеск... Когда же вы успеваете хоть немного развлечься?

— Ну, и что? — начиная раздеваться, ответил Кувалдин.— Недосуг, верно! Но ведь не на чужого работает.

Свое — не в тягость. Зато и живет — иной бабе так не приснится. Это ты посчитал ее ниже себя, взбрыкнул копытами и умчался отсюда, а для меня она — королева! Все для нее, все ради нее! Не будь Анны, разве стал бы я этакую домину на месте отцовой избы возводить и комнаты всяким барахлом начинять? На кой черт мне пристала нужда покупать легковую машину, когда я на совхозной по всей округе мотаюсь? Без нее, без Анны, может, стакнулся бы я с дружками-приятелями возле бутылки, кончил смену — и валяй! Гуляй на все четыре стороны, продувай жизнь по-сволочному!

Чумаков посмотрел на него с удивлением.

— Не верится? — усмехнулся Кувалдин.— А мне самому порой дивно: сколь я могу! Анна ведь не просит ничего, не требует. Я стараюсь угадывать ее желания и тотчас исполнять. К примеру: для чего мне вот этакая шикарная баня понадобилась? Была у нас тут банешка, еще отцовская, как говорится, на четырех пеньках. Один раз Анна в ней угорела, в другой раз простудилась. Что делать? Не губить же ее! Договорился в леспромхозе, купил там сосновый сруб, сам его перевез, сам на фундамент поставил, окна, двери, веранду сам смастерил, даже класть печку и каменку никого не нанимал.

— Анна довольна?

— Чего ей довольной не быть? Такой бани ни у кого нет.

Он даже подобрел и обмяк. «Да, все для Анны, а себя хвалит,— покосился Чумаков.— И не знает, доставил ли радость?»

Еще на пути от Долгого болота возникла у него к Кувалдину неприязнь. Самоуправство, высокое самомнение — все это было еще терпимо, а вот эта, не раз повторенная фраза: «Все для Анны, все ради нее!» — явно намеренная: дескать, Анна в своей жизни не прогадала, живет и бога благодарит, что от тебя уберег ее...

И не сдержался, не щадя самолюбия Кувалдина, кинул:

— Ты себя, Спиридон, тешишь больше, чем Анну!

— Можешь думать, как хочешь,— почти равнодушно отозвался тот.— Мне твое мнение — в печь на растопку! Поможешь дробь со спины изъять и сгинь, чтобы я тебя больше не видел. Мог бы вообще в наши края не показываться! Кой черт тебя сюда натолкнул?

— Родина не забывается.

— Да уж велика ли тут твоя родина? И станет ли она тебя призывать, коли ты бессовестно покинул ее!

— Учиться хотелось.

— А что же с тех пор сюда ногой не ступал? Пока жили мы, кушаки потуже затягивали, тебя где-то ветром носило, а сейчас, когда житье наладилось, явился свою охотку справлять,— повысил голос Кувалдин.— Я понимаю: ну, взял бы корзинку, направился по ягоды, по грибы или хоть так, от безделья, на полянке полежать, а то ведь посыкнулся на перелетную птицу. Ей, бедной, и так уж спрятаться негде, повсюду в нее стреляют, так еще ты при полном охотничьем параде прибыл сюда на разбой...

— Не на разбой,— поправил Чумаков.— У меня билет есть, и я сверх нормы не взял бы.

— Все вы такие, пока на виду,— сказал Кувалдин, добавив ругательство.— И не обеляй себя. Про честность не тебе говорить. У тебя смолоду ее не бывало. Вспомни-ка Анну! Сколь она из-за тебя настрадалась? Какие ты ей золотые горы сулил? За других девок я не ходок, но за Анну никогда не прощу...

«Ну, вот,— убедился Чумаков.— Все-таки из-за Анны». Но своей вины перед ней не признал. Не было вины. А произошло тогда непредвиденное...

— Мы с ней просто дружили,— избегая подробностей, чтобы не злить Кувалдина, сдержанно произнес Чумаков.— Она мне, конечно, нравилась. Живая. Веселая. Пела красиво.

— Стоп! Больше ни слова о ней! — приказал Кувалдин.

— Ладно. Замолчу.

— Я тебя не за этим загнал сюда,— непримиримо-враждебно пояснил Кувалдин.— Исправь, чего натворил, и мотай аллюр три креста.

Продолжая ругаться, он разделся донага, подставил Чумакову свою упитанную, поросшую волосами спину.

— Посчитай, сколько застряло?

На пояснице и чуть ниже кровяными коростами было покрыто двенадцать дробин. Видимо, дробь была уже на излете и только продырявила кожу.

— Надо бы ранки чем-то промыть,— посоветовал Чумаков.

— Водой нельзя,— строго сказал Кувалдин.— Можно заразу внести. Эвон возьми с подоконника водку.

— Вата есть?

— Не держим. Валяй так, ладонью пошоркай.

Такое зверское лечение он, однако, долго стерпеть не мог.

— Стой! Полегче, что ли, нельзя? Ведь не с бревна

кору сдираешь. Дай дух перевести! У-ух, саднит как сильно! За одну эту маяту мало тебя в болоте утопить...

— Получилось нечаянно,— веря, что действительно произошел непредвиденный случай, сказал Чумаков.— Впрочем, не понимаю...

— Нечего понимать! Смотреть надо было, куда целишься! Спросонья или с похмелья ослеп? А ежели бы ухлопал меня?

— Я не только смотрел, но и внимательно слушал. Кругом болота, в безветрии ни камыши, ни лес не шумели. Ночевал в копешке сена, встал затемно, не дремал, а вот когда ты мимо меня прошел, не увидел.

— У меня лаз в камыши не тут. Левее.

— Значит, я увидеть не мог. А туман еще с вечера наползал. Было желание уйти, переждать, пока туман весь рассеется, а вдруг смотрю, подле камышей, с краю плеса, что-то шевелится. Утиный выводок, думаю...

— Кой черт, утиный! Это я наклонился и начал из воды ловушку доставать. Только взялся за нее — грохотом оглушило, а спину будто кипятком ошпарило...

Горбясь, прикрываясь полотенцем, Кувалдин открыл дверь в парную, велел Чумакову хорошенько распарить березовый веник, плеснул на каменку ковшик воды и, укладываясь на полок, язвительно произнес:

— А ружьишко было у тебя хреновенькое. С настоящего ружья мне пришлось бы похуже.

— Нет, дельное было ружье,— не согласился Чумаков.— Шестнадцатый калибр, дальнобойное, и дробь кучно ложилась. Здесь почему-то вся дробь вразброс?

— Теперь оно уже отстрелялось. Со дна не достать.

— Зря ты его забросил туда.

— Скажи спасибо, что вгорячах самого тебя не сломал, как сухую лесину.

— Но бьешь хлестко. Сразу сбил меня с ног.

— Убегал бы! Или ждал, что кинусь к тебе целоваться?

— Испугался. Ты, как леший, вылез из камышей и в драку...

Чумаков легонько попарил ему веником спину, стараясь не бередить ранки. Кувалдин, закрыв глаза, молча переносил боль, расслабился, гнев в нем утихал.

— Маловато жару,— сказал он, хотя Чумаков уже весь обливался потом.— Плесни на каменку еще раза два.

— Уши жжет!

— Поддавай, говорю! Ишь, как разнежился в городе.

Спасаясь от острого жара, хлынувшего из каменки,

Чумаков минут десять сидел на полу, поливал себя холодной водой, а Кувалдин так и не слез с полка, похлестывал себя веником, сгибался и разгибался, покуда полностью не распарился.

В предбаннике они сдвинули скамейки поближе к окну. Чумаков попробовал выковыривать дробинки шилом, но ранки закровоточили.

— Валяй без инструмента, выдавливай пальцами, как бабы с лица угри удаляют,— сказал Кувалдин.— Заодно терпеть...

Удалив таким способом дробь и смазав пораненные места водкой, Чумаков пристально осмотрел добытое.

— Эта дробь не моя!

— Ты стрелял — и вдруг не твоя,— не поверил Кувалдин.

— Мелкая. Бекасинник. А у меня крупная дробь. Можешь убедиться.

Он достал из патронташа несколько патронов, выковырял шилом пыжи.

— Действительно, не похоже,— сравнив, недоуменно произнес Кувалдин.— А чудес не бывает...

— Мог быть кто-то другой,— невольно начал припоминать Чумаков.— Вечером, когда я возле копешки устраивался на ночлег, подходил ко мне парень, тоже с ружьем, только с одноствольным, тридцать второго калибра. Попросил спичками поделиться. Я думал, он тут мимоходом. А ты, когда ловушку доставал, как стоял: лицом к восходу?

— Восход был у меня за спиной.

— Значит, были мы с тобой лицом к лицу.

Кувалдин посображал и кивнул головой:

— Пожалуй. С того места, где ты стоял, мне в спину не мог попасть.

— А кроме того,— облегченно вздохнул Чумаков,— я сидячую птицу никогда не бью, только в лёт. На этот раз тоже намеревался с первого выстрела поверх камышей спугнуть выводок, поднять на крыло, потом уж из второго ствола послать в цель. Наверно, тот парень стрелял одновременно...

— Ну, что же, Степан Чумаков, зачти мою оплеуху в отплату за Анну и дай бог не встречаться нам,— не уступил Кувалдин.— Ружье я тебе деньгами возмещу, паспорт после бани отдам, убирайся и не поминай меня лихом. За оказанную помощь спасибо. Один бы я не управился.

— Позвал бы Анну, если фельдшера хотел избежать.

— А ты имеешь ли понятие о мужском достоинстве?

Лично я скорее подохну, чем покажу себя жене в неприглядном виде. Она может пожалеть, поспособствовать, а в душе посмеется и с той поры уважать перестанет. Муж для нее всегда обязан быть на большой высоте. Сколько годов потрачено, чтобы ее к себе приучить...— Он явно проговорился о том, чего не следовало никому говорить.— Насчет фельдшера тоже не велико достижение. Пришел бы не насморк лечить. Моментом вся деревня узнает. И почнут ребятишки вслед дразнить: «Дядя-подранок!» Прозвище повесят, и носи его потом, как собака ошейник!

Продырявленную дробью рубаху он бросил в печку на каленые угли, а пепел смешал с золой, затем с хозяйской дотошностью прибрал в бане, смыл полок, надел чистое белье, у зеркала причесался.

— Как же ты, Спиридон Егорыч, объяснил Анне это неурочное мытье в бане, да еще вместе со мной? — добродушно спросил Чумаков, уже не опасаясь новой вспышки озлобления Кувалдина.— Она ведь меня узнала...

— Соврал. Встретились, дескать, на Длинном болоте, старое знакомство припомнили, а ты, дескать, с вечера оступился в камышах, продрог за ночь и попросил побаниться. А что в дом тебя не позвал и чаем не напоил, так это уж мое право, ни к чему Анне сердце травить.

Ревность опять заклокотала в нем, взгляд потемнел.

— Всполошил ты ее, а я оплошал, не следовало тебя ей показывать.

— Я не виноват перед ней,— искренне сказал Чумаков.— Не могу догадаться, за что ты меня то и дело облаиваешь? Когда-то и что-то было. Не век же помнить! Была Нюра Погожева. Теперь уже нет той Нюры, а есть Анна Кувалдина, почти незнакомый мне человек. Она твоя, и отбирать ее я не намерен. У меня своя семья есть.

— Она ведь за тебя замуж-то собиралась...

Кувалдин словно захлебнулся на этих словах, отвернулся и молча начал обуваться.

Чумаков на минуту прикрыл глаза; опять нахлынула не то боль, не то горькая досада. Любил ведь Нюру! А судьба разлучила. У Нюры заболела мать, младшие сестренки были еще несмышлеными, и она не решилась уехать. Договорились так: приедет в город позднее, он ее подождет. И не приехала. На письма не отвечала. Последнее письмо, которое он ей написал, вернулось с отметкой почты: «Адресат получать отказался». Почему? Надо было тогда же съездить сюда, повидаться, выяснить, но заговорило чертово самолюбие, обида, притом, спешить из даль-

ней дали, куда его занесло, без надежды, без уверенности в успехе, казалось, уже не было смысла. Из родни тут никого не осталось, мать заколотила избенку и переселилась в другие края, к брату. Постепенно любовь к Нюре утихла, на место утраченного пришло другое. Так уж водится: все заживает от времени.

— Немало случается казусов: рассчитывал на одно, получилось совсем иное,— сказал он, стараясь казаться равнодушным.— Я собирался, а ты женился.

Кувалдина это даже взбодрило: ведь он оказался в выигрыше, достиг, утвердился, а жизнь назад не пятится: что его, то навеки его — силой не отобрать. И соблазнила сладость отмщения.

— Теперь дело прошлое,— усмехнулся он.— Я только того и ждал, когда ягодка со стола упадет. Пока ты здесь отирался, не мог я с тобой потягаться. Ходил в клуб, пялился на деваху, с тоски помирал. Даже потом, когда ты уехал, она и слушать меня не хотела. Уламывал ее, уговаривал: «Забудь Степку! Пока с матерью валандаешься, он себе в городе другую найдет. Любил бы, так не оставил бы одну».

— Тогда ты подлец!

— Смотря по тому, как рассудить и с какой стороны посмотреть,— нашелся Кувалдин.— Я тебя подлецом считаю, ты — меня. Каждый соблюдает свой интерес. Я совестью поступился не ради себя, а ради Анны. Что ее ожидало? Чем ты мог ее осчастливить? Сам-то еле-еле, на голой стипендии, на чужих квартирах, на всем покупном. Я ведь насквозь прочитывал ваши письма и знаю, как она отвечала: «Милый, любимый, без тебя и песни не поются!» Моя сеструха в ту пору письмоноской работала, так делай вывод: связная ниточка, не доходя, обрывалась...

— Боже мой,— как от удара, замотал головой Чумаков.— Люди без совести!

— А зачем совеститься, если иных путей не нашлось! Я ведь не по-твоему, а от души Анне счастья желал. Этакой товар, да за дешевку нигде не купить. Сама-то Анна много ли в себе разбиралась? Ты поманил ее, песни ее нахвалил, свел девку с ума, будто она такая звезда, что с большой лестницы не достать, и тем ей только страдание доставил. Зато я хоть совестью попустился, больше ни в чем себя упрекнуть не могу. Все для Анны, все для нее! Чего же ей еще надо?

— Теперь она для тебя лишь поет?

— Выкинула она эту блажь. Недосуг. Вечером телеви-

зор посмотрим и спать: мне поутру на работу, а ей успеть бы по хозяйству управиться,— не поняв, что имеет в виду Чумаков, ответил Кувалдин.— Только иногда, если меня нет поблизости и никто ее не услышит, попевает вполголоса. А ведь пыталась было тоже уехать. Когда в тебе разуверилась, узнала где-то про народный хор при Дворце культуры в городе. Я за ней по пятам хожу, про свою любовь твержу, а она одно повторяет: «Помоги добраться туда!» Вскоре выпал путь, послал меня директор совхоза на заводе запчасть получить. Взял я Анну с собой. И по дороге решил: «Нельзя ее в тот хор допускать. Потеряю вконец. Девка смазливая, найдутся охотники, пойдет она по рукам, слыхал, какая у артистов вольность насчет разного прочего? И пришлось снова совесть похерить. Задержался я там, нашел к руководителю хора подход, вечер посидел с ним в ресторане, выложил: дескать, невесты лишаюсь и поделать ничего не могу. Ну, он ее на второй день принял на пробу, послушал песни и начисто забраковал: «Не мечтай, девушка, нет у тебя настоящего голоса. Для деревни годится, а в наш хор, извини, бездарностей не берем!»

Чумаков молча слушал эту поганую исповедь, наливался гневом. Он убил бы Кувалдина, окажись ружье. Убил бы! А Кувалдин между тем, понимая, что Чумаков переживает самые горькие, страшные минуты душевного потрясения, с новой усмешкой добавил:

— Совесть скинуть не диво! Не я первый, не я последний, кому не хочется прогадать. И никто не вправе меня осудить. Я не ради корысти, а для любимой. Вот спросить бы тебя: чего ты достиг, чем мог Анне светлую жизнь предоставить? За какие доблести она по сей день не может тебя из сердца выкинуть?

Он опять выдал сокровенное, мучительное, но на этот раз не оборвал себя, а грохнул кулаком по скамейке:

— Давеча, как увидела, ведро слез пролила. Молчит и плачет. Еле ее успокоил. И детей от меня она не хочет иметь. Чужих детишек приветит, своих не надо! Почему? Не чумной же я?

— Хуже! — ненавистно сказал Чумаков.— Ты, Спиридон Кувалдин,— оборотень, или того хуже — вампир!

— Но, но! Полегче чуток! Анне о моих поступках ничего не известно. Я только тебе повинился, но и то ради моей к тебе ненависти! Чем ты лучше меня, чем дороже? Ладно, я простой шоферюга, а ты кто?

— Инженер.

— Не велика шишка. И видом почти не красавец.

— Ты зло посеял, теперь урожай собираешь,— сдержанно сказал Чумаков.— Уйдет от тебя Анна, все равно когда-то уйдет, когда совсем опостылеешь...

Он кинул на плечо рюкзак, открыл дверь предбанника, спустился с крылечка. Кувалдин выбежал вслед.

— Стой! Не доводи до греха! Один через двор не пройдешь! И остановиться не вздумай, кинуть Анне словечко.

— Ты меня перед ней опозорил и мне рта не заткнешь. Анна должна знать правду!

Ничто не представлялось столь дорогим и крайне необходимым, чем именно это: сказать Анне правду!

У задних ворот, перед входом в ограду, Чумаков оттолкнул Кувалдина в сторону.

— Боишься? Душонка дрожит?

Тот сжал кулаки, затем бешено рванул на себе ворот рубахи и вдруг обмяк, судорожно, сорвавшимся голосом спросил:

— Неужели несчастья ей хочешь? Наши с тобой дороги сошлись и снова на век разойдутся, а ей-то как?

Анна неподвижно стояла у крыльца, все в тех же галошах на босу ногу, и юбка на ней, как разглядел Чумаков, была застиранная, на рукаве кофты заплатка. Не от нужды. Она, встретив взгляд Чумакова, быстро смахнула сверкнувшие у переносицы слезы и пошевелила беззвучно губами, прощаясь.

Поэтому Чумаков и не сказал ей уже готовое сорваться с языка: «Не верь! Ничему не верь! Я тебя очень любил. Очень!» Не мог сказать. Пусть думает, как внушил ей Кувалдин. Это все, что теперь можно сделать для нее доброго, истинно человеческого.

Проводив его на улицу, Кувалдин протянул руку:

— Благодарю! Ты, Степан, лучше, чем я полагал.

Его руку Чумаков не принял, не ответил и, горбясь, удрученно пошел по дороге к автобусной остановке.

На весь бабий век

Вечернее чаепитие для деревенского жителя — это милая пора отдыха от дневных трудов, время душевного умиротворения.

Половина дома Сапожниковых, занятая Маремьяной Васильевной, обращена окнами к реке, за ней, на высоком взгорье, леса и в полнеба закатное зарево. Мглистый полу-

свет уже смыл в улице вечерние тени, улеглась на дороге пыль, стихло мычание коров, подоенных и запертых на ночь в загоны.

Медный самовар на столе под стать дородной хозяйке. Лет ей за пятьдесят, а лицо без морщинки, светлое и приветливое. Пьет она чай со сливками, сахар вприкуску, по стародавнему правилу.

Наш разговор ведется неторопливо, слово за слово, доверительно, и только иногда Маремьяна Васильевна, вспоминая, то улыбнется, то слегка нахмурится, вздохнет и голос понизит.

— Что же, себе судьбу ведь не выберешь! Уж какая достанется. Вот и любовь тоже. Иные играют в нее, балуются, не то еще чего-нибудь вытворяют, а на мое понятие — самое это дело святое, поскольку кладет она начало всей жизни. При хорошей-то любви никто еще не жаловался, что-де судьба не удалась. Во всех бедах и горестях, она, любовь-то, теплый уголок и прибежище. Да и сносу ей нет на весь бабий век!

Бывают и посреди нас вертушки, чего и говорить, бывают, но не по ним надо судить о верности, а вот по таким, как Настасья Степановна, с которой мы под одной крышей живем.

Трудно, очень даже тяжко детей народить, поставить их на ноги, приучить к честности и совести, а все ж таки решиться взять на себя чужое страдание, как довелось ей, уж куда как труднее.

Ну-ко, каждый день и час, тем более в ночную пору, когда и тебе хочется быть кем-то обласканной, попробуй смирись, виду не покажи, каково печально и тягостно! У меня у самой сердце прострелено, коротаю век в одиночку, а и то диво: экая она, Настасьюшка-то, стойкая однолюбка!

Мы с ней в один год вышли замуж. Я выбрала кудрявенького, на словах обходительного, а Настя взяла парня озорного, неучтивого, у коего больше хиханьки да хаханьки на уме.

Сыграли мы наши свадьбы в один день, в субботу, а в воскресенье война началась.

Никифора Настасьиного проводили на фронт прямо из-за свадебного стола. Одна ночь досталась молодым, но и то по-летнему короткая, когда заря с зарей сходятся. А моего Андрея лишь через месяц призвали. Так-то восемнадцати лет от роду оказались мы с Настей солдатками.

Вскоре начали поступать на солдат похоронки. Сперва

овдовела Василиса Согрина, остались у нее на руках пятеро ребятишек, мал мала меньше. А уж потом и счет потеряли.

Наверно, одна я почту получать не боялась. Моего Андрея взяли в какой-то штаб писарем. До фронтов далеко, в бои ходить не приходилось, окопы не рыл, в голом поле в слякоть, в стужу не замерзал. Настя, бывало, спросит: как, мол, Андрей-то, жив ли, не ранен ли, а я признаться не смею. Ее Никифор с переднего края войны не выходил, писал часто: «Нахожусь в окопе, немцы стрелять перестали, тихо пока, вот тороплюсь, родимушка, тебе письмецо заготовить. Любонька ты моя!»

За два года войны с Никифором ничего не случалось. Боевые ордена заслужил. Обнадеживал Настю: «Скоро фашиста добьем, готовь, родимушка, брагу, солдата встречать!»

И вдруг как обрезало: нет писем! Со страхом стала Настя похоронку ждать. Тоже не дождалась. Обратилась в военкомат... Еще немало времени миновало. И пришло извещение, как обухом по голове: «Рядовой Никифо́р Сапожников без вести пропал».

Иные овдовевшие бабы ставили на кладбище «пустые кресты» в память о своих мужьях и поминки справляли. Настасья креста не поставила. Не могла. Не было ясно: где и когда что-то случилось с Никифором, не сквозь землю же он провалился? Хоть, мол, и война, а не тот он человек, чтобы пропасть без следов!

И принялась искать мужа. До конца войны целую стопу бумаги на запросы истратила. Но все без толку.

Испятнала война солдат ранами, покалечила, навязала хворобы. А мой Андрей, как с курорта приехал: свежий, бодрый, в новом обмундировании. Каждый день с выпивки начинал, три месяца ни за какую работу не брался, а во хмелю из себя строил героя.

Невзначай нашла я у него в кармане две фотокарточки. На одной городская мамзель, не сказать, что старая, но и не молодая. Волосья по плечам раскинула, правую руку в перстнях выставила на стол, в локотке согнула. Шея тонкая, тело тощее. Справный хахаль не позарился бы, а мой Андрей, видать, не поморговал. На обороте фотокарточки надпись: «Дорогому Котику. Надя». На другой фотокарточке тоже бабешка, но эта сама себя шире. Глазки узкие. Хотела я эти фотокарточки в печку бросить, но Андрей у меня их отобрал. Да еще и кулаком замахнулся.

— Не жалеючи, врежу! Небось, сама тоже не постовала.

И понес поливать понапраслиной.

Пыталась я его образумить:

— Нам тут было не до распутства. Походи по дворам, спроси, легко ли бабам жилось? Да и у своей матери узнай про меня: видала ли она, слыхала ли, чтобы я честью поступилась?

Разумный муж задумался бы, нашелся как-то поправить свое положение и сберег бы семейную жизнь, а он того пуще взбрыкнул:

— Значит, никто на тебя не позарился? Никому не нужна оказалась! Выходит, я хуже всех! Какой же интерес с тобой жить?

Будь бы он выпивши, нашлась бы я простить его. А был Андрей трезвый. Упала я на лавку и слезами вся улилась.

После развода на первых порах поселилась я у Настасьи. Она в своем доме проживала одна, уж без стариков. Да и работали мы с ней вместе: Настя на молочной ферме коров доила, а я растила телят. Друг от дружки мы ничего не таили. Хлеб пополам. Даже спали на одной кровати. Иной раз на великий праздник, чтобы от людей не отставать, купим бутылку красного вина, пирогов настряпаем, постелим в доме чистые половики и справим гулянку. Попоем песни, попляшем, Никифора помянем, а уж насчет слез — дали зарок: не реветь. Слабостям не поддаваться! Мы — бабы деревенские, хребты у нас дюжие!

Одна беда, от охочих мужиков не стало отбою. Про себя не скажу, так ли уж я была хороша собой, зато Настасья в ту пору находилась в самом соку. Обеим нам не стукнуло еще и тридцати годов...

Первым проторил к нам дорогу бригадир-полевод Павел Сысоич, видный и басовитый. Поздним вечером незвано-непрошено ввалился в дом, вынул из кармана поллитру.

— Составьте компанию, бабоньки! Одному пить невесело.

Прогнать мы его не решились: как знать, может, он с добром пришел?

Подала я закуску, обе с Настей пригубили по рюмке.

Часу не прошло, Павел Сысоич захмелел и принялся меня из дому вытуривать.

— Пойди прогуляйся, Маремьяна, на улице. Мне надо с Настасьей поговорить.

Вижу, куда гнет, и Настя вдруг побледнела. Поднялась я с лавки, подхватила его под руку:

— Вместе пойдем, Павел Сысоич! Ты сейчас не в том

состоянии, чтобы с молодой женщиной посекретничать. И, не дай бог, до твоей жены донесется!

Вытолкала его, а на улице прямо сказала:

— В следующий раз, Павел Сысоич, если опять на Настю взыграешь, позову соседей в свидетели да при них твою бесстыжую рожу помелом разрисую!

Этого отвадили, Кирюха Блинов к нам повадился. Чуть свечереет, он уже тут: сидит, курит, лясы точит. Доусмерти надоел! Да и в деревне ведь запросто понимают: ходит, значит, ночует! Пристанет на бабью честь пятнышко — не отмыть!

Мне, разведенке, носить позор было не по плечу, а Настя не переставала ждать своего Никифора.

— Тебе, Киря, уж сколько годов? — спросила как-то Настасья.

Тот хотел возраст надбавить, сказаться постарше.

— Не ври! Тебе не свыше двадцати,— обругала Настасья.— Мне и Маремьяне лишь в младшие братья годишься. Неужто посреди девок пару себе не найдешь?

— Девки сразу ставят условие: женись! — признался Кирюха.— А зачем рано жениться? Охота еще на подножном корму погулять!

— Подножного корму полно в огороде. Туда и ступай!

Мой бывший муж Кокин вскоре женился, взял Симку Балабину, продавщицу из продуктового магазина. Раздобрел на ее хлебах. Для забавы и для прогулок купила ему Симка мотоциклет, потом на легкую работу воткнула. Прежний завклубом уволился, Кокин и занял свободное место. Хоть бы чего-нибудь понимал в деле, а взялся. Не стала бы я ни хаять его, ни хвалить, пустоцвет все равно останется пустоцветом, кабы не распускал про меня дурную славу. Вымолвить стыдно, чего напридумывал. А мне и заслониться-то нечем.

Настя меня утешала:

— Клевету надо мимо ушей пропускать. Один с зависти и со зла, другие сдуру, не разобравшись, в колокола звонят. Не век же слушать. Потешатся и перестанут.

Все годы, сколь мы с ней прожили вместе, не переставала я диваться ее твердости и доброте.

Вот у кого надо бы иным мужикам характера призанять!

Купил наш совхоз племенного быка, по кличке Баян. Привезли его на ферму опутанного веревками. Бросили на автомашину мосток и волоком Баяна спустили на землю, а как дальше его препроводить в отведенное помещение,

мужики не нашлись. Боязно подступиться! Боднет Баян, возьмет на рога — в живых не оставит.

Из боязни надумали они силой с ним справиться. Взяли на распялки, вшестером тянули, а Баян уперся в землю — и ни шагу вперед.

После дойки Настасья собралась домой, а как увидела, что Баяна так мучают, заругалась на мужиков.

— Самих бы взять на распялки да хорошенько кнутом постегать! Тоже принялись бы артачиться.

— Ступай, баба, своей дорогой! Не храбрись! Это тебе не с коровами нянчиться! — оскорбились те.

— Поглядим, кого он скорее послушается...

Сбегала Настасья в коровник, надела белый халат, принесла чистую тряпку, ведро теплой воды, пучок свежей травы и пошла к Баяну. Тот на нее уставился глазищами, замычал, а она ему:

— Да не трону я тебя, не трону! Вот сейчас умоемся, травки пожуем и на отдых.

Хоть бы дрогнула перед этим страшилищем.

Прежде погладила Баяна ладонью по спине, потом его морду водой помыла, тряпкой досуха вытерла. Он поначалу еще дичился и косился на нее, потом присмирел и даже принял траву. Веревки уже не понадобились. Настасья сняла их и на коротком поводке отвела Баяна в стойло.

А уж как мой Кокин ее изводил...

— Ты простодырая, беспонятная, Настя! — говорил он.— Работница хорошая, передовая, а нет в тебе настоящего смыслу. Вот Баяна пожалела, но себя ни чуточки не щадишь! До конца жизни, что ли, станешь Никифора дожидаться? Сколь мне известно, из числа «без вести пропавших» кое-кто в плен сдавался и после войны поопасался возвратиться на Родину...

— До чего же, Кокин, ты подлый! — сказала Настасья.— Ты ли можешь понять настоящую любовь и страдание...

На пятнадцатом году после войны дозналась она от кого-то про особые госпитали, где прибраны государством немощные калеки-фронтовики. Взяла в военкомате адреса. Разослала запросы: «Не числится ли у вас рядовой солдат Никифор Сапожников?» А для себя решила: если снова неудача постигнет, придется ставить на кладбище «пустой крест».

Ни один ответ не порадовал. Последний пакет Настасья, даже не открывая, сунула в комод, где переписку хранила. А меня будто кто невидимый толкнул, все ж таки,

думаю, надо проверить. Распечатала, прочитала, и руки-ноги у меня обомлели. Сообщалось, хоть и не очень подробно: «Сапожников Никифор Демидович находился на излечении с 1944 по 1974 год ввиду тяжелой контузии. Выписан и направлен по месту жительства».

Настасья тогда чуть ума не лишилась. С одной стороны, счастье — отыскался муж! С другой, беда хуже прежней: куда же он по пути домой потерялся? Почему за все годы весточки не подал?

— Отстань ты, Настя, от него,— вздумала я ее образумить.— Все они, мужики, одинаковые!

— А ты по своему Кокину не измеряй,— возразила она.— Покуда сама не увижу, ни во что не поверю!

— Опять поиск начнешь?

— Сделаю все, что могу! Не знаючи, любая понапраслина кажется правдой. А может, помочь ему надо?

Тогда же обратилась она в милицию: так и так, прошу розыски объявить.

Не знаю, кто и как занимался ее делом, многих ли трудов это стоило, но долго ли, коротко ли, а милиция нашла мужика. Оказался он далеко, на Северном Урале, в тайге.

Собралась Настасья туда. Лето кончалось, частые дожди набегали, по утрам иней падал. По экой погоде даже до ближнего поля ходить не манило.

Отговаривала я ее: простудишься-де, намаешься в чужом месте, а то ли примет тебя Никифор, то ли на порог не пустит — заране не угадать.

— Нет, поеду! — заладила.— Поговорить надо с ним.

Напросилась я в попутчицы. Вдвоем все же способнее.

Леспромхоз оказался в дикой глухомани. Край земли.

Уж на третий день, поздней ночью добрались до места. Снегопад начался. Сквозь него огоньки в избах еле приметны. Деревенька старая, кондовая, с незапамятных времен.

Переночевали в доме шофера, с которым от станции ехали. Он еще по дороге рассказал про Никифора. Да, есть-де такой, давненько тут проживает. Работает пилоправом, одинокий мужик, не пьющий, не баламут, только не охочий на разговоры. Каким случаем прибыл сюда? Дружка своего доставил, Семена Пантелеева, сына Марфы Григорьевны, местной учительницы. В каком-то госпитале Никифор и Семен повстречались, а после выписки расставаться не захотели. Семен без правой руки, без левой ноги. Никифор взялся его до дому сопровождать, потом сам тут

обосновался. С виду он вроде бы не нарушен, все части тела при нем, но после контузии его падучая бьет. Марфа Григорьевна, как Семен ее скончался, уговорила Никифора быть ей вместо сына.

Я пока слушала — наревелась досыта. Господи, думаю, за что же это, неужто мало на земле горя, чтобы еще и ни в чем не повинных людей разлучать?

Жена шофера накормила нас ужином, напоила чаем с брусникой, уложила спать в горнице. Намыкались мы по дороге да намерзлись с непривычки в тайге, наволновались донельзя и до утра глаз не сомкнули. Только дрема подступит, будто подтолкнет кто-то, заставит очнуться. Настасью еле-еле удержать удалось, она бы тотчас побежала к Никифору.

Утром хозяйка привела нас к Марфе Григорьевне в дом. Старушка уж совсем старенькая, лицо в морщинах, спина присогнута. Огорчили мы ее: Никифор сказался ей холостым и безродным, она и надеялась при нем своего последнего сроку дождаться... Но очень даже чутко приняла страданье Настасьи, похвалила за верность.

Судьба шибко надломила Никифора. Поседел, усы отпустил, в глазах поздние сумерки. Этак случается, когда человек отшатнется от мира, душевно ослабнет, погасит в себе живинку и топчется на одном месте, вроде перед неодолимой стеной.

Увидел перед собой жену, протянул к ней руки, но зашатался и грохнулся на пол. Принялась его падучая бить. Уж такая ли это проклятущая хворь, со стороны смотреть, и то становится дурно. Мы втроем на Никифора навалились, чтобы хоть он голову свою не расшиб, и еле управились.

Первое слово, кое мы услышали от него, когда он в себя пришел, было то дорогое, заветное:

— Родимушка!

Хоть и скупо, чаще обрывками, лоскутками, что еще не затуманило временем, порассказал он нам о себе.

Случилось такое с ним на польской земле. Наши войска шли в наступление. Встряхнуло вдруг Никифора. Отбросило. И все! А когда очнулся, пошевелиться не мог, засыпан землей. Выбился из-под нее, чуть собрался с силами, но толком не мог сообразить: где он, почему вокруг тишина и ни единой живой души? Небо голубое, солнышко на закат склонилось, на поле трава опаленная, а он один посреди этого поля. Попытался подняться на ноги, идти куда-нибудь, какое-никакое жилье искать, но разум опять заму-

тился. Во второй раз очнулся уже в чьей-то избе. Лежит в постели, незнакомая баушка над ним склонилась, шевелит губами, говорит что-то, а у него же только гул в голове, ничего не слыхать. Оглох! Потом подошла девчушка годов четырнадцати, в кружке воды подала.

Уж потом, в госпитале, узнал: деревенские поляки подобрали, малость выходили и переправили к нашим.

Больше года он был на излечении как неизвестный солдат. Где-то сняли с него гимнастерку вместе с орденами и личными документами. Попал в госпиталь разут-раздет, вдобавок глухой и вроде бы не в себе. Да падучая привязалась. Только уж на второй год пребывания начал мало-помалу отходить, стало в голове проясняться.

До той поры не понимал своего положения, а как вспомнил, что есть у него молодая жена, свой двор, родня, да как представил, каково-то будет жене при его инвалидности, порешил одиноким остаться. Любил ведь Настасью не как-нибудь, не просто житейски, а все в ней сошлось: мать, отец, сестры — все про все, самое дорогое!

— Думал даже кончить себя,— признался Никифор.— Кабы Семен, искалеченный, не нуждался в подмоге, зарылся бы обратно в землю.

— И поступил бы бессовестно,— выговорила ему Настасья.— Пусть бы от тебя половинка осталась, и то не отказалась бы от нее. Страдание не страдание, если разлуке конец. О себе ты подумал, а меня к кому приравнял? Что же, по-твоему: любовь — это так, до поры, до времени, покуда все ладно и хорошо, а пристигнет испытание, надо в разные стороны разбегаться?

Отгостили мы в доме Марфы Григорьевны пятеро суток. Никифор уволился из леспромхоза, старушке на зиму дров наготовил. Звали ее к нам, примем-де как мать, но она отказалась: старому дереву в другом месте не прирасти.

Жить бы да жить Никифору и Настасье в любви и согласии. Никифор — мужик работящий. Но и здесь, дома, его прищемило. Многие земляки встретили недоверием. Иные даже спрашивали напрямик: не сочиняешь ли, будто не по своей вине документы утратил, не сдавался ли немцам в плен и почему столь долго себя не оказывал, не в колонии ли за измену срок отбывал? Насчет колонии подозрение сразу отпало, предъявил Никифор справки из госпиталя и леспромхоза, а на все остальное ничем ответить не мог. Без бумажки голое-то слово никто во внимание не взял. Только фронтовики, кои сами на войне семь бед повидали, отнеслись с пониманием, понапраслин не строили,

но ведь сорную траву с поля не вытравить, если кто-то ее подсевает.

Я позднее дозналась: это мой бывший муж, Кокин, оказался зачинщиком. Ему от простой поры бросать тень. Любого мужика или бабу, бывало, всяко охает и осрамит, родного отца оконфузит, если поперек ему скажут. Все плохи, с изъянами.

Свою судьбу я благодарила не раз: вовремя развела она меня с Кокиным. Не построился бы у нас мир в семье...

А какой же расчет имел Кокин, когда взялся ставить Никифора под сомнение? Тот ведь ничем-ничего, худого слова ему не говаривал. Зловредность — это само собой, из характера ее не выжечь огнем, не вырубить топором. Надо было Кокину еще и самого себя показать: вот-де какой я догадливый, на два метра сквозь землю вижу! И вдобавок — зависть! Не мог стерпеть Настасьину преданность мужу.

Мы с Настасьей и при Никифоре не расставались. К ее дому сделала я для себя пристройку с отдельным входом.

В воскресный день сидели мы втроем за столом у Настасьи. Она сдобных шанежек напекла, самовар поставила, и вели мы душевный разговор о детишках. Настасья ходила в тяжести, вот-вот надо было рожать, а я, бездетная, намеревалась удочерить сиротку из детского дома.

Погода стояла ведренная, створки в окошках раскрыты настежь.

Вот сидим, пьем чай, ведем беседу, как вдруг подошел к окну посыльный из сельсовета, Иван Парамоныч.

— Никифор! Ступай к председателю. Насчет тебя из Польши какой-то пакет поступил...

Мужик чуть чаем не поперхнулся.

— Не надо пугаться,— предупредил Иван Парамоныч.— Пакет не казенный. Что-то о твоих документах...

Оставили мы на столе недопитые чашки с чаем, наспех оделись-обулись и скорехонько явились в сельский Совет. Председатель, Федор Никитич, встретил нас на крыльце. Поздоровался честь по чести, но распечатанный пакет подал не Никифору, а Настасье.

— Весточка прибыла к тебе через двадцать годов...

Лежало в том пакете сложенное угольничком, писанное рукой Никифора письмо с фронта. Помятое, надорванное, от времени пожелтевшее, но адрес был еще разборчивый. Настасье! Вместе с ним было прислано еще одно письмо — сельсовету, от польской гражданки Ядвиги Яблоньской. Наполовину по-русски, наполовину на своем языке.

В тот год войны Ядвига вместе со своей бабушкой нашла близ деревни советского солдата в беспамятстве. Взяли они солдата к себе в хату, бабушка сняла с него гимнастерку с орденами и личными документами, спрятала подальше, а Ядвиге наказала: ежели фашисты придут, станут про солдата допытываться, надо соврать им: вовсе, мол, это не какой-то приблудный, а хворый племянник. Ден через пять, когда солдат уже начал оживать, ворвались полицаи, в хате все перерыли, а солдата уволокли и бросили где-то. Бабушку застрелили. Наверно бы, Ядвигу та же участь постигла, только она успела в поле убежать, попала к партизанам. Те потом подобрали солдата, а куда дальше подевался, ей уже неизвестно. Долго стояла хата пустая. Ядвига выросла, замуж вышла и вот недавно надумала с мужем хату сломать, новый дом ставить. Под застрехой, где голуби гнездились, нашли спрятанную гимнастерку, а в кармане оказалось письмо, которое солдат не успел жене отослать.

Дальше обращалась эта польская гражданочка в наш сельсовет: если-де жена солдата жива-здорова, передайте ей низкий поклон, письмо вручите и справьтесь, как с гимнастеркой поступить: на ней же ордена и медали...

Ой, трудно сказывать, что с нами творилось, покуда письмо прочитали! У меня сердце слабое, слезы всегда наготове, но и Настасья, при ее-то характере, тоже не могла удержаться. У Никифора руки места не находили: он все ж таки мужик, солдат, ему не положено достоинством попускаться.

— Баушку жалко! — вот и все, что он нашелся сказать.

Отписал Никифор ответ, поблагодарил за находку и попросил Ядвигу прислать гимнастерку посылкой. Должен бы, дескать, сам приехать, да одному, без сопровождения, здоровье не позволяет, а жена в тяжести, и оставлять ее здесь неспособно.

Федор Никитич заверил его письмо сельсоветской печатью, чтобы не случилось сомнения, тот ли это Никифор Сапожников.

В деревне от двора к двору молва быстро разносится. Недоверие к Никифору разом отпало. Кокин язык прикусил.

Вскоре прибыла посылка из Польши. Гимнастерка грязная, в налипшей земле, один рукав почти напрочь оторван, это, наверно, когда снаряд подле солдата взорвался, так, может, воздушной волной, не то осколком задело. И остался на ней след войны.

Зато ордена и медали полностью сохранились. Справа — гвардейский значок и Красная Звезда. Слева два ордена солдатской Славы. В кармашках гимнастерки в целости документы и Настасьина фотокарточка.

Хотел Никифор ордена с гимнастерки снять, на пиджак разместить, а Настасья не позволила.

— Нет! Ты сначала надень на себя гимнастерку, дай поглядеть, ведь в солдатском обмундировании я тебя еще не видала.

Тот исполнил ее желание, надел эту рваную, грязную гимнастерку, ремнем подпоясался, впервые лицом посветлел.

Вывела его Настасья на улицу.

— Пойдем! Всем людям я тебя покажу!

А я тем временем, хоть и не верю ни в бога, ни в черта, чуть не молилась: как хорошо, что сотворенный мир стоит на вечном добре! Ведь заглохло бы все, одичало без нашей душевности друг к дружке, когда не только в счастье, но и в несчастье люди остаются людьми...

Самовар на столе, остывая, тоненько, с перерывами, пел. Кошка поднялась с подоконника, широко зевнула и спрыгнула в палисадник. Зашипели часы на комоде, отзвонили прошедшее время, как бы провожая его в бездну вечности. В тишине и теплом сумраке растворились былые горечи и печали, и невидимо, неотвратимо подступало что-то, еще нам неведомое.

СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Иванович Черепанов

РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДОМ

Редактор
В. И. Харьковский
Художник
В. В. Штукатуров
Художественный редактор
А. Н. Конюхов
Технический редактор
О. Я. Понятовская
Корректор
С. М. Кадошникова

ИБ № 1495

Сдано в набор 08.05.87.
Подписано в печать 28.09.87. ФБ 03013.
Формат 84×108/32. Бумага тип. № 2.
Гарнитура литературная. Фотонабор.
Печать с фотополимерных форм. Усл. печ. л. 21,0.
Усл. кр.-отт. 21,0. Уч-изд. л. 24,05.
Тираж 15 000 экз. Заказ № 1480.
Цена 1 р. 80 к.
Южно-Уральское книжное издательство,
454113, г. Челябинск,
пл. Революции, 2.
Областная типография
Челяб. обл. управления издательств,
полиграфии и книжной торговли,
454000, г. Челябинск,
ул. Постышева, 2.

Сергей Черепанов

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ